



**Дружба
народов**

3/2020



В номере:

«А дальше-то что?..»

Получивший в минувшем году премию «Ясная Поляна» роман Сергея САМСОНОВА «Держаться за землю» («ДН», №8—10, 2018), где события разворачиваются на Донбассе в наши дни, критика сравнивала с «Тихим Доном». В новом романе «Высокая кровь» (это своего рода приквел) Самсонов открыто ступает на шолоховскую территорию — казацки хутора и станицы времен Гражданской войны: «Война эта сожгла понятие родимой стороны, чужой земли и возвращения домой, поскольку родина теперь была повсюду и нигде, напополам и вперекат принадлежащая тебе и красным. И вот эта-то неразделимость всего, что вокруг, неизбежность топтать одну степь и дышать одним воздухом и закипала в людях ненавистью...»

«Ты однажды придёшь...»

Всё вроде бы просто: он и она — коллеги, семейные люди за тридцать, «солнечный удар» и — не соединившиеся судьбы. «Ни жирной точки, ни последнего “прости”», отдельно прожитые жизни со всеми сопутствующими: тоска одиночества, поиск себя и своего места в меняющейся стране и обретение житейской мудрости. Но увлекающая, звенящая от напряжения интонация, с которой в повести «Сочинительница птиц» Галина КЛИМОВА воссоздает дух московской старины и раскрывает тайну бурятского ламы Итигэлова, пишет о деревянных мостовых северных русских городов и цветущих бугенвиллиях израильской зимы, заставит прозу жизни отступить.

«Это люди твои. Человеки. Земная пыль»

Время и времена — одна из «вечных» тем поэзии. Взгляд из современности в античность с ее мифами о богах и героях — и дальше, и глубже в ветхозаветный мир — вот что интересно в стихах Ефима БЕРШИНА и Александра ТИМОФЕЕВСКОГО. О времени как о мериле человеческой жизни размышляет поэт Сергей ПАГЫН: «Легчает жизни вещество/ и переходит в свет». И ему откликается Андрей ДМИТРИЕВ: «Золото жизни/ всё-таки найдено/ и явлено миру».

Подводная часть айсберга

«Катастрофические события, произошедшие в последние несколько лет с Украиной... многим кажутся самодостаточными. Однако процесс новейшего раскола Украины не просто связан с другими, менее очевидными процессами, происходившими со страной за последние 20—25 лет, но и определяется во многом именно ими», — так определяет свою задачу автор эссе «Украина и Россия»: синергия ресентиментов Игорь СИД.

Время в зеркале переписки

«Я думаю, ты не обличил Астафьева, когда он лобызался с дурачащим всю страну... язык не поворачивается, чтобы назвать его президентом. Тебе это показалось неприятным, но допустимым в борьбе с Зюгановым (какой там, к дьяволу, коммунизм, как будто ты веришь в его возвращение!). А когда я сел рядом с Зюгановым на пресс-конференции, посвященной, кстати, финансированию науки, образования и культуры, это сочлось не менее, как предательством. Вот уж, с кем вы, мастера культуры?..»

Это Валентин РАСПУТИН пишет в 96-м Валентину КУРБАТОВУ.

В этом номере — их письма 1990-х—2000-х годов.

Дружба народов



**Независимый
литературно-художественный
и общественно-политический журнал**

**Основан
в марте 1939 года**

Адрес редакции:
117218, Москва,
ул. Кржижановского, д. 13, стр. 2,
журнал «Дружба народов»
Телефон (многоканальный):
8-499-519-02-12

**E-mail: dn52@mail.ru,
Сайт журнала:
<http://дружбанародов.com>**

Юридическая поддержка:
Congress Consulting.
Свидетельство о регистрации
№ 73 от 14.09.1990 г.
в Министерстве печати
и массовой информации РСФСР.
Свидетельство о регистрации
товарного знака № 288681.
Зарегистрировано в
Государственном реестре
товарных знаков и знаков
обслуживания РФ
12 мая 2005 г.



Отпечатано в ОАО «Можайский
полиграфический комбинат»,
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93;
www.oaomprk.pf тел.: (495)745-84-28;
(49638)20-685

**Редакция не имеет возможности
рецензировать и возвращать
рукописи.**

**Во всех случаях полиграфического
брака в экземплярах журнала
обращаться в типографию, указанную
в выходных сведениях.**

**При перепечатке наших материалов
ссылка на журнал «Дружба народов»
обязательна.**

Сдано в набор 20.01.2020.
Подписано в печать 17.02.2020.
Формат бумаги 70 x 108 ¹/₁₆
Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,1.
Уч.-изд. л. 21. Тираж 2000 экз.
Заказ 5150. Цена свободная.

Редакционная коллегия

Главный редактор Сергей
НАДЕЕВ
Ольга
БРЕЙНИНГЕР
Ирина
ДОРОНИНА

Ответственный секретарь Елена
ЖИРНОВА

Первый заместитель главного редактора Наталья
ИГРУНОВА

Галина
КЛИМОВА

Владимир
МЕДВЕДЕВ

Заместитель главного редактора Александр
СНЕГИРЕВ

Редакционный совет

Сухбат
АФЛАТУНИ

Муса
АХМАДОВ

Ольга
БАЛЛА

Дмитрий
БИРМАН

Денис
ГУЦКО

Иван
ДЗЮБА

Валентин
КУРБАТОВ

Ольга
ЛЕБЕДУШКИНА

Фарид
НАГИМ

Илья
ОДЕГОВ

Кнут
СКУЕНИЕКС

Сергей
ФИЛАТОВ

Ренат
ХАРИС

Вячеслав
ШАПОВАЛОВ

ЭЛЬЧИН

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Сергей ПАГЫН. Легчает жизни вещество. <i>Стихи</i>	3
Сергей САМСОНОВ. Высокая кровь. <i>Фрагмент романа</i>	7
Ефим БЕРШИН. Стансы	68
Галина КЛИМОВА. Сочинительница птиц. <i>Повесть</i>	71
Александр ТИМОФЕЕВСКИЙ. Мифология. <i>Стихи</i>	107
Роман СЕНЧИН. Девушка со струной. <i>Рассказ</i>	110
Даниэль ОРЛОВ. Билет на Луну. <i>Новелла</i>	124
Ирина БОГАТЫРЁВА. Семейный портрет на фоне гор. <i>Рассказ</i>	136
Андрей ДМИТРИЕВ. Свет по ту сторону тьмы. <i>Стихи</i>	153
Дмитрий БИРМАН. Два рассказа	157
Алексей КОЛЕСНИКОВ. Мир непобедим. <i>Рассказы</i>	164
Алёна ЖУКОВА. Числа. <i>Рассказ</i>	185
Арина ОБУХ. Спина к прозаику Гоголю. <i>Рассказ</i>	193

НАЦИЯ И МИР

Игорь СИД. Украина и Россия: синергия ресентиментов	196
---	------------

ПУБЛИЦИСТИКА

Людмила СИНИЦЫНА. О дивный Арзамас!	217
---	------------

КРИТИКА

Евгений АБДУЛЛАЕВ. Дети стекольщика. <i>Десять поэтических сборников 2019 года</i>	232
--	------------

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Валентин КУРБАТОВ — Валентин РАСПУТИН. Напрямик. <i>Время в зеркале одной переписки</i>	244
---	------------

БИБЛИОНАВТИКА

Ольга БАЛЛА. Высокий модерн в поисках Другого	265
---	------------

ПРАВИЛА ИГРЫ

Борис МИНАЕВ. Красота обречённых	269
--	------------

SUMMARY	272
----------------------	------------

Сергей Пагын

Легчает жизни вещество

* * *

Легчает жизни вещество
и переходит в свет.
И кроме света ничего,
пожалуй, что и нет.

Ну, разве только — смерть травы,
прозрачна и чиста.
Слетает с тёплой синевы
не лист, а тень листа.

Вот и твоя бесплотна нить —
кружится на ветрах.
Её уже не уловить
рукам небесных прях.

И слышишь ты в пространствах сих
как звонки и тонки
надмирных ножниц золотых
напрасные щелчки.

* * *

Рукавом, пропахшим весёлой влагой —
виноградной кровью, бурлящей тьмою,
вытираешь лоб, говоришь с собакой,
говоря на деле с самим собою.

Пусть вино побродит в дубовой бочке,
наберётся истины и мерцанья...
Каждый миг кончается многоточьем,
каждый звук кончается умираньем.

Пагын Сергей Анатольевич — поэт. Родился в 1969 году в Молдавии, в г.Единцы. Окончил филфак Бельцкого пединститута. С 2000 г. — главный редактор регионального издания «Норд-инфо». Автор пяти книг стихов, в том числе «Перед снегом» (2012) и «Просто жизнь» (2017). Дипломант Международного поэтического конкурса им.Н.С.Гумилёва «Заблудившийся трамвай» (2010). Лауреат премии «Молодой Петербург» (2011) и др. Живет в г.Единцы.

И теперь ты чувствуешь всё острее:
кислый вкус дымка от дворовой печи,
что горит, безлиственный воздух грея,
замирание снов,
убывание речи.

А начнут мести снеговые метлы,
и графин наполнишь ты жизнью винной,
мы тогда оставим глоток для мёртвых
и немного музыки
неисполнимой...

* * *

«Призрачны воды,
объявшие спящего пьяницу...»
Из японской поэзии

Прозрачны воды, призрачны, прозрачны.
Объяли душу, хлынули вовне,
неся в пространство водочно-табачный
печальный дух,
плывущий в тишине.

Он спит на лавке. Локоть под щекою.
Прижат пакет потёртый к животу.
Стоит амур с отбитой головою
и целится стрелою в пустоту.

Куда стрелять, в кого стрелять? Мы тоже —
часть пустоты, лоскутья сна его...
Зудит оса.
Идёт домой прохожий,
телесное теряя вещество.

* * *

В сумерках тыквы мерцают как фонари,
словно шары желаний, пущенные из другого
света, пространства, воздуха — изнутри
легкой сквозной земли,
переходящей в слово,

чем и была она...
Куст на меже, осот,
ну, а в ботве горят тыквы, не угасая.
Вдаль чернозёмным небом, сгорбась, мужик идёт,
тащит мешок картошки,
медленно исчезая.

* * *

Сентябрь стирает границы
меж небом и твердью земной.
И светом источены лица
и листья ветлы надо мной.

И дерево тихо рябится
стоящим живым озерцом.
Где рыбина тут и где птица,
где облако свито в кольцо?

И можно в предчувствии воли
травую сухою по грудь
пойти в опустевшее поле —
и в небо случайно свернуть.

* * *

Зимою дереву не больно,
к тому же — ветвь сухую срезал...
Поглажу ствол его невольно,
и с шаткой лестницы я слезу.

Зажмурюсь, стану бестелесным
молчаньем, сном, покоем — будто
в бездонный обморок древесный
сам погрузился на минуту.

* * *

Сморгнуть бы смерть — да как её сморгнёшь?!
Не тёмная соринка, не ресница.
Запоминай листа сухого дрожь
и паданец клюющую синицу.

Ещё одной предзимней тишиной,
орехом юным и случайным клёном
прирос мой сад — нетленный и сквозной,
в сердечных небесах укоренённый.

И в нём с вином дощатые столы
и лампы керосиновой мерцанье.
И те, кто смертной наглотался мглы,
здесь обрели безмерное дыханье.

* * *

Душа,
продуваема ветром,
исхожена снегом с дождём,
промыта и тьмою, и светом,
давай мы ещё подождём.

Пусть память в смятенье босая
по комнатам ходит твоим,
с трудом в тишине узнавая
всех тех, кто был ею любим.

И, тая, качаются лица
в горящих огромных слезах,
не в силах уже отразиться
в легчайших сквозных зеркалах,

в неясных полуночных окнах.
Пусть вещи, утратив объём,
то, вспыхнув, мерцают, то блёкнут...
И всё же, душа, подождём —

и воздух вдохнём мы текучий,
чтоб речь до конца нам избыть
на выдохе,
тронув паучью
обросшую инеем нить.

* * *

Когда январь, и стужа с небосвода
бесшумно сходит на земную твердь,
такая надвигается свобода,
что и неважно — жить ли, умереть...

Дыши, дыши — на том и этом свете
всё те же воздух, почва, высота.
Есть дерево вишнёвое у смерти,
есть вешняя текущая вода.

И ляжешь в снег,
и в нём продышишь лунку,
его обнимешь широко, любя,
и сладкую почувствуешь ты муку —
а то трава проходит сквозь тебя.

Сергей Самсонов

Высокая кровь

Фрагмент романа

От автора. Книга эта затевалась как авантюрный «истерн», в котором будут скачущие кони, стрельба из наганов, ограбленные поезда, похищенное золото, двойные шпионы, предатели и рыцари, заостеневшие в своем благородстве, — с решительным намерением сочинителя вернуться в собственное детство. Вот только «кто хороший, кто плохой» и «за кого — за красных или за белых» для выросшего автора явились столько трудными вопросами, как и для его персонажей. История обросла таким количеством подробностей, что опубликовать роман в журнале целиком «физической силы-возможности нету». Для «ДН» выбран «серединный кусок», дающий представление о героях и узле их судеб.

XLIII

Февраль 1920, хутор Мало-Западенский, Маныч, Кавказский фронт

Шли будто уж в одном исподнем. Литой, мерзлый воздух жег липким железом. Стекленили животные слезы в глазах и ломило в груди с каждым вздохом. Садящееся солнце, задернутое дымной мглой, просвечивало, как сквозь матовое стекло. Какая-то надмирная, космическая тишь незыблемо стыла по всей замертвевшей степи, лежащей под снегами словно миллионы лет. Безжалостная красота торжествовала во всем этом огромном снежном мире, где человека как бы еще не было и никогда уже не будет, где люди не нужны — само их неприсутствие и стало обязательным условием вот этой нерушимой красоты.

Лошадиное порсканье, скрип седельных подушек, звяк сбруи, мягкий гул тысяч конских копыт не нарушали в этом мире ничего и лишь подтверждали, что ты еще жив, еще слышишь и чувствуешь.

Яворского уже не била дрожь. Не только руки в тонких шерстяных перчатках и ноги в стременах, но будто и сами легкие залубенели, и сердце, казалось, не билось. «Сердце мое ледяное... уже не болит... не болит», — бубнил он про себя начало чего-то еле брезжившего, повинуюсь неискоренимой привычке к составлению слов, идя за этими словами, как легавая собака по прихотливым петлям заячьих следов.

Самсонов Сергей Анатольевич — прозаик. Родился в 1980 году в Подольске. Автор романов «Ноги» (2007), «Аномалия Камлаева» (2008), «Кислородный предел» (2009), «Проводник электричества» (2011), «Железная кость» (2015), «Соколиный рубеж» (2017). Лауреат премии журнала «Дружба народов» (2018) и премии «Ясная Поляна» (2019) за роман «Держаться за землю» («ДН», 2018, № 8—10).

Рядом ехал Извеков, похожий на монаха в насунутом остроконечном башлыке. На плечах у обоих были нашиты погоны. Густая конная колонна 7-й Донской бригады, к которой примкнули они, уйдя за Маныч после засады у Балабинского, змеей ползла по балкам, совершая обходной маневр и нацеливаясь в правый фланг растянувшейся, растрепанной 9-й армии большевиков — ударить в стык ее с 8-й и прорваться к Багаевской, к Дону, на расстояние дневного перехода от Новочеркасска. Правее шел Кубано-Терский корпус генерала Агоева — на тонконогих кабардинцах и приземистых, двужильных карачаевцах.

Курились белым паром морды дончаков, клубились облачка дыхания у выжженных морозом безулыбчивых лиц с заиндевелыми бровями и усами, тоскующие глаза, пристыв, смотрели тускло, едва храня животный теплый блеск.

Весь страшный корпус Леденёва теперь был правее от них — если вклинится в глубь рассеченного белого фронта, устремится на Проциков, увлекаясь прорывом, ложным чувством свободы, господства, то упустит их за спину бесповоротно, и перед ними, конной лавой, останется лишь красная пехота, до беззащитности неповоротливая, — обреченная. Но упустит ли, а? Да и сами — дойдут ли вот по этой заснеженной мертвой Луне, сквозь палящий вот этот, изжигающий воздух, что скипелся до твердости камня по обе стороны сиротской клетки ребер и уже не кусает — раздавливает? Мороз, мороз — во всех походах, и в том феврале, в незабвенном Степном, и в этом, два года спустя. Господь отступился от нас? Но разве же красным теплее?

С неуволимостью стусились сумерки, мороз нажал еще — до одеревенения, до растительного безразличия к участи, до какой-то радости исчезновения, и как будто теперь и ненужно, проступили в сиренево-пепельной мгле миражи нищих хат. Измученные взводные колонны на рысях рвались в тепло, спирались в проулках, ругались, едва не дрались за места в куренях и сараях.

Офицерам 2-го полка достался выставший заброшенный курень с разбитыми окнами — по горницам тянуло мертвым холодом, но искать дом теплее уже не было сил. Все двигались, словно лунатики, — кандальниками, бурлаками.

— Алимешкин, печь.

— Застрелите, вашбродь, а на двор не пойду. Силов моих нет.

Валились где придется, лепились и жались друг к другу, пытались согреться, взаимно напиться неведомо где в теле сохранившимся теплом... и вот зачадили сырые дрова, в глазах и горле зашипало от едкого дыма, завоняло овчинами, сукнами, ременной амуницией, портянками, и вместе с этим смрадом неведомо откуда — от печи ли, из самой гущины ли скучившихся тел — божественно-живительное потекло, разлилось и окрепло тепло. Оно лилось извне, исходило от каждого ближнего и теперь распускалось внутри, в животе — как ответ, как признательность каждого каждому.

Затиснутый соседями, Яворский благодарно терпел их живую, вонючую тяжесть в обмен на сугрев. «Вот это я и буду вспоминать, если, конечно, доживу до богадельни, — подумал он, нашаривая портсигар. — Вот этот ночлег и тепло перед тем, как опять подыматься в седло и идти убивать. Да еще тот костер, вокруг которого, наверное, и волки замерли, на время связанные шатким перемирием перед таким необычайным светочем, которому как будто и неоткуда взяться. Да-да, в Карпатах, с Леденёвым и Халзановым, с Зарубиным, которого мы все-таки убили. Такая же бесстыдная, звериная потребность человека прижаться к человеку. Почему же нам всем, уставшим от взаимного убийства, издрогшим, обмороженным, не прижаться друг к другу, чтобы не околеть? Наконец отогреться... Ага, возжаждут все любви — и взрослые, и дети... веселые звери вмешаются в игры, и девушки в пляске прильнут к ягуарам. Нет, тут надобен какой-то небывалый, чудовищный мороз. Полное холода. Окончательная чернота. Наверное, должны прийти чужие — как самая мертвая стынь, такие уж совсем нечеловеки, с таким непризнанием всех русских, всех детей людьми, чтобы поняли вдруг: друг друга убивать уже нельзя — нас всех идут убить чужие».

— Какие чужие? О чем ты? — толкнул его Извеков.

— Не знаю. Видимо, германцы — исконные враги России. Чудовища из преисподней, железные машины, марсиане, — ответил он, поняв, что бессознательно бормочет вслух. — Но ясно, что это должны быть не люди.

— Ты, брат, не заболел? Похоже, бредишь?

— Это давно мое единственное состояние.

Отогревшись, офицеры завязали разговор.

— Слыхали, господа, под дедушкой Антоном конь споткнулся на смотру? Свалился у всех на глазах. С палкой ходит наш главнокомандующий.

— Постыдились бы, сотник.

— Недобрый знак, хочу сказать.

— Да вы еще и суеверны, как баба.

— Как считаете, господа, обвели мы Леденёва вокруг носа? Увлечется преследованием? — спросил молодой подхорунжий с щеголеватыми усишками на женственном лице и влажными газельими глазами, Аркаширин.

— У этого мужика очень длинный нос, — ответил есаул Бурмистров. — Оперативный кругозор, стервец, имеет — нельзя не похвалить.

— Вот кого бы достать, — мечтательно протянул Аркаширин. — Что же вы, господа партизаны? Ходили к черту в гости да так с ним и не свиделись?

Взгляды всех обратились на Яворского с Извековым.

— Вас там не было, подхорунжий, — сквозь зубы процедил Извеков, глядя перед собой. — Да будет вам известно, убить его, как выяснилось, вовсе невозможно.

— Это что же, он заговоренный? — засмеялся Аркаширин. — Не врут казаки?

— Да, представьте себе: одного с седла снимешь — вырастает другой. Тело рушится и умирает, а дух вселяется в другого человека — и вот вам новый Леденёв. Такой же и еще страшней. Слыхали сказку про бессмертного дракона, которого никто не мог убить?

— Да, много Леденёвых в красных, — согласился Бурмистров. — Талантлив наш народ. Так что нечего сетовать на одного. Заметил сей красный Стюарт наш маневр или нет, а легче нам от этого, пожалуй, и не будет. Морозец-то, а? Не дай бог, заночуем в открытой степи — так поутру уж многих не добудимся.

Заговорили о стратегии, о предстоящей завтра операции, о паническом страхе целых красных стрелковых полков перед шашкой и об их же безумном, человечески необъяснимом упорстве.

Все тесней прижимались друг к другу, проваливались в сладостное забытие, ворочались, толкались, ругались грязными словами, как под хлороформом.

— Что же ты, брат, раздумал дезертировать? — сказал Извеков в ухо Яворскому, по-прежнему выстукивая зубами от озноба.

— Дезертировать нынче, мой милый, не столько бесчестно, сколько попросту глупо — замерзнешь.

— А смысл?

— Стоит ли жизнь того, чтоб прожить ее до конца? — усмехнулся Виктор. — Сужу, конечно, по себе, но человек, я полагаю, так устроен, что даже если не желает жить, то все равно не хочет умирать. Да и потом: если мы до сих пор еще живы, то можно в сомнении своем предположить, что Бог нас для чего-то бережет.

— Для чего же, скажи на милость.

— Ну ты же знаешь, для чего я остался у красных в тылу. Да только наш Ангел неведомый использовал нас как мужеский предохранитель «Секунда» по два рубля с полтиною за дюжину. Верней, как искусственный орган, футляр для надевания на собственный.

— А я не жалею. Мы убили холерных бацилл. Так сказать, большевистскую матку. К сожалению, не самую главную, — отрезал Извеков, дрожа под тулупом.

— Ну да, мир стал лучше на несколько человек.

— Хватит, Витя. Око за око, зуб за зуб — иного я уже не знаю, да и нет ничего. Или девочка, ангельчик, слезинка ребенка, которую ты должен утереть? Только в ней

и остался Господь? Да только чем же она лучше прочих девочек? Где четыре великие княжны? Что с ними сделали, за что? А почему же ей спасение? За что такое счастье должно ее папаше выпасть: целехонькой и невредимой дочушку получить? Ведь этот хлебный Ротшильд до всей этой петрушки, должно быть, в прогрессистах состоял, равно как и все миллионщики наши. Хотели царя поудобнее, да и не царя, а сами Россией владеть, едва только в рукав сморкаться отучились. Как пить дать, конституции хотел, у мужиков хлеб забирал и все спускал на то, чтобы растлить тех самых мужиков. Пока народ в окопах гнил, на каждом пуде хлеба наживался, одной рукой кредиты брал у подлого царизма, а другой газетенки печатал на эти самые кредиты. Лубок для народа, где Гришка Распутин царицу... тьфу, мразь! «Глупость-измена», «глупость-измена» — ну вот и получай за собственную глупость и измену. Ведь сами себе брюхо резали на манер самурая, надеясь в это брюхо побольше запихать, безумству храбрых пели песни, всем этим нашим горьким, андреевым, скитальцам подпевая. Вот то и получили: если царские дети не святы, то и ваших сожрут бесноватые свиньи, которых вы в народе воспитали... Как думаешь, жива? — спросил вдруг, оборвав себя.

— Возможно, этот Ангел и впрямь ее зачем-то держит при себе. При штабе, при важном больном. Может быть, при самом Леденёве. Товарищ наш и вправду ведь в известном смысле болен. Расщепление личности — шутка ли.

— Нет, почему он меня все-таки не удостоил разговором? — в который раз уж повторил Извеков. — Мне кажется, ему бы было не худо объясниться. Не мне, так себе самому объяснить. Ведь как-то же он себя мыслит, намерен дальше как-то жить. Неужто в самом деле поддался сатане? Решил стать красным идиотом, божком, во власти, в почестях, в довольстве? На братской, казачьей крови? Не помня родства, даже имени собственного — так можно жить, скажи?

— Так ведь Ленин и Троцкий — такие же клички, и ничего, живут себе, огромный тигель строят, чтоб выплавить в нем нового Адама. Тут в переплавку все должно пойти: и фамилия рода, и старое братство, и даже любовь. Отрекаться старого мира — так полностью, со всеми потрохами.

— Так что же, он, по-твоему, уверовал? — поперхнулся Извеков. — В огонь-то этот очистительный? Да в собственную шкуру он уверовал! В счастливый билет, какой ему дьявол подсунил: бери! Что было его, врага твоего, все будет твое! Бог не дал, а я дам! Тебе одному! Ведь одному из миллионов, один только раз во все времена выпадает такое — как ключ к замку, как неразменный рубль. Как и вся революция эта — один только раз. На твою жизнь пришлась революция: кто был ничем, тот станет всем. Ну же? Давай! Видишь, как я отметил тебя? Покорись мне, прими на чело начертание зверя, шапку с красной звездой на свою самородную голову — вся земля задрожит у тебя под копытами. Был православный тихий Дон, крещеная Россия, а будет твоя Чингисхания... Послушай: а как же мы раньше-то не замечали? Ну, вот эту печать у него на челе?

— Не замечали — значит, не было, — ответил Яворский. — А потом проступила, как симпатические чернила на будто бы чистом листе. Надо было только выждать время — на огне подогреть.

— Бывает такое?

— Есть многое на свете, друг Горацио... Иные сыновья с годами становятся все больше похожи на отцов.

— Но то сыновья. Сыновья на отцов, брат на брата. Родная же кровь.

— Вот именно, кровь. Не ее ли мы, братскую, лили?

— Ну, знаешь, это слишком невозможно. Похоже на безумие.

— Ну так и творим невозможное — есть от чего сойти с ума, — усмехнулся Яворский. — Ты сам-то, кстати, там не обознался? А что, немудрено. Себя не узнаешь. Давно последний раз смотрелся в зеркало? Я, например, в последний раз взглянул и обомлел: разве мама такого любила? Все мы, Женя, невольно или вольно угодили в этот тигель. Как там у апостола Павла? Не все умрем, но все изменимся. Мы, Женя, очутились на свободе беспредельной, во всю, как говорится, широту русского

человека — так чего же удивляться, что даже внешняя оболочка наша?.. Даже если мы уцелеем и явится возможность жить в России — непостижимым образом большевики сочтут нас нужными в будущем обществе, — это будем совсем уж не мы.

— А ты готов принять их приглашение? — разъярился Извеков. — Ждешь — подадут тебе Россию? Последняя труба пропела и предложила всех в нетление — и господ, и товарищей? Восхищены будем на облацах в рай большевистский? Нет, Витя, если уж мы умерли, то остается нас с тобою только закопать. Да я уж лучше буду гнить в земле, вцеплюсь в нее всеми зубами, коль примутся они меня на небо восхищать, воскресения от них не приму — пускай еще три раза убивают. А ты неужели и вправду надеешься физически переродиться в комиссара? Да они же нам всё показали еще в семнадцатом году. Куда они нас всех намерены определить. Вот именно на небо — там тесно не будет. У тебя за спиной виселиц нет — так что же, полагаешь, они тебя помилуют? Витя, не выйдет. Физиономия не та. Ты ходишь, смотришь, дышишь по-другому. Один только вид твой, одно только слово будет для них напоминанием, что есть другая форма жизни, кроме них самих. Что их прямое назначение — чистить стойло. Какое уж тут равенство, когда пока ты жив, не уничтожена прямая неизбежность сравнивать себя с тобой, а стало быть, и чувствовать себя скотиной? И проживешь ты ровно столько, сколько потребуется, чтоб тебя к ближайшей стенке прислонить. Руки им целовать — не поможет. Да и черт бы с нами. Казаков жалко. Всех мужиков. Ведь полтораста миллионов прививают к социализму. И получают пустыню — ты сам это знаешь, — ибо не только мы, дворяне, им противны, но и такие, как Халзанов с Леденёвым. А может быть, и лучше, что пустыня. Все умрем — ничего не останется, кроме смерти самой, да и ее дни будут сочтены: кого забирать?

— То и будет, что и нас не будет? — рассмеялся Яворский. — Да только, Женя, никогда так не было, чтоб ничего на свете не было.

— Империю Российскую мы, может быть, и проиграли, но душу свою я им не отдам. — Извеков как будто не слышал его. — Да и лукавый что-то не торопится ее у меня покупать — ни за гривенник, ни за полушку, ни за Конную армию. Счастливого билета мне не выдал, чтоб я свою судьбу на чью-то обменял. Я, знаешь ли, считал себя красавцем, а тут выясняется: рылом не вышел, — закончил он со смехом.

XLIV

Апрель 1918, Великокняжеская, Сальский округ Донской области

По станичным проулкам от перрона пополз шепоток: все головы в смушковых солдатских папах, защитных фуражках, рабочих картузах, треухах и бабьих платках, как флюгеры под ветром, поворачивались к отряду из двух дюжин всадников, которые ехали с величественным равнодушием, как гости из какой-то неведомой земли, где они и подобные им владеют на правах степного суховея, все как один на чистокровных донских жеребцах, покрытых пестрыми коврами и пасхальной алой парчой из разграбленных ризниц, кто в линялой солдатской одежде, кто в синих казакинах и малиновых черкесках тонкого сукна, все с богатым оружием в серебре и чеканке, крест-накрест в пулеметных лентах, клыкастых пулевыми остриями.

Оравы мальчишек бежали за ними, глаза на червонно-золотую кобылицу с меловой, будто мертвой, освежеванной ветром до кости головой, пугающе косившую на них рубиновым выпуклым глазом, казалось, выточенную из одного с хозяином куска.

«Леденёв, Леденёв...» Он будто бы и сам не мог поверить до конца, что его партизанский отряд в четыреста фронтовиков и вчерашних мальчишек-подпасков и пахарей безраздельно господствует на пространстве в четыреста верст, без боя забирает казацки хутора, являясь их хозяевам-защитникам немым воплощением парализующего ужаса, неумолимым войском ангелов, восставших против самого Господа Бога и низвергнутых с неба на землю, вытаптывающих конскими копытами озимые хлеба и питающихся человеческой плотью, поедая детей.

Как осекшийся волос с линияющих спин бугаев ветряными порывами, сдувало с курганов казачьи разъезды, завидевшие всадников на красных, с подрезанными чуть ли не по репицу хвостами дончаках. Стекались к Леденёву рассыпанные по округе мужицкие отрядики, поврозь шли воевать за землю осмелевшие иногородние и казаки, которые всю жизнь пахали на быках. Но все же слишком мало было их — приходили в казачьи пределы как ветер, не несущий пока ничего, кроме смертного страха, и хутора переходили из рук в руки с такой же быстротой, с какой вершило свой поход равнодушное вечное солнце: на рассвете белели, на закате краснели или наоборот.

Весенним палом разлилось по Дону антисоветское восстание, от прародителей по крови унаследованная, неистребимая в казачестве, как тяга к самой жизни, правда своего, единоличного оторвала породных воинов от бабьих курдюков и свела их в полки возрождаемой армии — на защиту родимой земли от «холерных бацилл большевизма». В несметных списках разошлось по округам воззвание нового Войскового правительства — позабыть все былые обиды и взаимно покаяться, соединиться казакам с иногородними и выгнать из своих пределов всех жидов и комиссаров. Сулили атаманы мужикам казачьи привилегии, козь встанут с казаками заодно, — и замер мужик на развилке: к кому прилепиться?

На леденёвские четыре сотни партизан — три шестисотенных полка. Тут хоть кем прослыви, а все едино выдают за Маныч, словно сыворотку из порточного молока... И вот он ехал шагом вдоль железной дороги — минуя курени под жестью, похожие на каменные крепостицы купеческие двухэтажные дома, галантерейные лавчушки, общественные бани, магазины. Потом по Атаманской улице, оставив за спиной краснокирпичные казармы военно-ремесленной школы. К огромному домине низложенного окружного атамана Феоктиста Дементьева, где ныне угнездился Сальский штаб красногвардейской обороны во главе с комиссаром Зарубиным.

Подъехав, спешил, поднялся на крыльцо. В большой многооконной зале — тяжелая прокуренная полутьма, толкуются и рассаживаются командиры. В полянке электрического света — кумачный стол президиума. Остролицый Зарубин в суконной гимнастерке без ремней, поднявшись, одним только взглядом стянул к себе всех, заставляя замолкнуть и окаменеть в напряженном внимании каждому слову.

Леденёв вдруг почувал, что не знает Зарубина, человека, с которым бежал из австрийского плена и делился одеждой и хлебом, — увидел его в каком-то другом, неведомо откуда павшем свете, как некоего машиниста, не покладającego рук все время становления Советской власти, неумолимого, непроницаемого мастера, ткача, вытягивающего жилы из всех живых людей, собравшихся здесь, сплетает их, накручивает на стальные веретёна, не властный над собой, сам по себе и для себя не существующий, а только для машины, для рассвета, на сотворение которого над миром, быть может, уйдет вся их кровь.

— Товарищи командиры, — хрипло начал Зарубин. — Обстановка становится крайне тяжелой для нас. Германские войска разбили наших братьев — донецких шахтеров. Под угрозой оккупации Ростов и Таганрог. Пользуясь этим, контрреволюция все выше подымает голову. Большинство казаков тут, в Задонье, настроены к нам откровенно враждебно. По сути, никакой Советской власти на Дону уже не существует. Последний оплот ее — мы. С севера, из-за Дона, наступают полки атамана Попова, на востоке казачьим восстаньем охвачены Куберле и Орловская, на западе объединяются белогвардейские дружины манычских станиц. Так называемая Добровольческая армия повернула с Кубани назад и движется к нам в гости с юго-запада. По сути, мы уже закупорены между Салом и Манычем. Отрежут от Царицына — придется умирать. В связи с этим Донревком постановил — покончить с нашей партизанщиной. Нет больше платовцев, мартыновцев и прочих — есть бойцы трудовой Красной Армии. Нет больше ваших хуторов и ваших домов, — сказал он, словно выжигая в мозгу у каждого тавро, — есть лишь Советская Россия. Если каждый станет думать о своей судьбе, то всем будет смерть.

— Дозвольте слово! — выкрикнул из зала Ситников, мослаковатый, жилистый

мужик с худым безрадостным лицом, подернутым землей, которую пахал всю жизнь. — Только уж направдок, чтобы мы понимали. Вот вы, товарищ комиссар, гитарите: нету больше домов у нас, так? Нажмет казарва — тогда оно и вправду делать нечего, придется отступать от родных своих мест. Добро свое кинуть — опять же пожалуйста, хучь и жалко, признаться, всю убогую нашу имуществу казакам оставлять. Был единственный бык у кого — принесем его, стало быть, в жертву: что же, через него самому пропадать? А с семействами нашими как? Баб своих да детишков — куда? Под казачьи плети, а то и похуже? Ить ишо по зиме офицеры шли злые, чисто волки в облаве: и рубили, и вешали, и надругивались как хотели над трудящимся классом, — а теперь и подавно казак озверел, потому как уж силу над нами почуял. А ну как зачнут счета подводить, на домашних-то наших квитаться? Мы-то им насолили — тоже ихнего брата, кто пушал пропаганды, расстреливали.

Партизанский народ загудел:

— Верна! Верна! На кого же покинем? Как же в бой-то идтить, ежли дома родные кровя убивают?

— Это вам не быки.

Под рукой Леденёва пугающе властно задышал еще не округлившийся Асин живот, наполненный каким-то стойким охранительным теплом, таинственной работой внутреннего роста, и Леденёв почуял ее всю, подзащитно прижавшуюся тонким телом к нему, как будто передоверяя Леденёву свою ношу: сбереги нас — и в то же время ощущая невозможность передать, безысходно-покорно отпуская его: ну, иди, все равно ведь уйдешь, мы уж как-нибудь сами, сама...

— Тут уж вы как хотите, а должны мы их в отступ с собою забрать, коль собьют нас. Хучь до Царицына придется пятиться, все одно за собою потянем, и как потроха себе, значит, не выпустишь без того, чтобы жизни возят не решиться, так и их нам не бросить, что значит родные.

— А кто за Манычем живет, сейчас же всех вести к Казённому мосту, покудова не поздно. Леденёву вон, а? Аккуратно гитарю, товарищи?

— Я понял вас, Ситников, — отрезал Зарубин. — По своим хуторам, сколь возможно, упредите родных: пусть берут только самое необходимое. Собирайте семейства в обозы, уводите их к Великокняжеской. Но если ту или другую слободу займет противник, мы ничего не можем сделать. Не имеем мы права рвать фронт. Иначе на наших плечах дойдут не только до Казённого моста, но и до этого стола.

Спустя минут тридцать штабного совещания, где было решено удерживать левобережье Маныча от Мокрой Кугульчи до Егорлыка, все поднялись и потянулись к выходу.

Над жестяными крышами особняков — невыносимо голубой разлив небес. Заливисто чулюкали неугомонные в своем простецком счастье воробьи. Зарубин посмотрел на Леденёва таким взглядом, каким глядят нищие на просящих у них подаяния:

— Семья твоя где?

— В Гремучем — где ж ей быть?

— Жену почему не забрал? Казаки не давали?

— Свои, — ответил Леденёв, почувствовав, что не командует мускулами на левой щеке. — У всех семьи по хуторам — теперь, считай, уже под белыми. Свою бабу забрал — давай и наших выручай, тоже будем держать при себе. В подолах бы запутались, пеленками себя связали по рукам.

— Не знал я тебя, — Зарубин смотрел на него, как будто открывая в Леденёве что-то родственное, и радости ему в том не было.

— Что ж, будем знакомы, — оскалил стиснутые зубы Леденёв.

— Я рад, что ты все понимаешь. Пожелаю тебе — сам знаешь чего...

К ночи, шибко запарив коней, Леденёв прискакал в Целину. Отряд стоял лагерем на двух сторожевых курганах, зажегши для отвода глаз костры вокруг кирпичного

вокзала и пакгаузов. По ложбинкам, в бурьянах, лежали пикеты, смотрели в зияющую темнотой апрельскую ночь, наполненную шорохом и треском отживших свое сухостойных будыльев, загадочным шуршанием, пыхтением, будто звуками чьих-то шагов. В траве шевелились, сопели ежи. Ночь увеличивала звуки, заостряла слух, рождала тревожное чувство обклада.

Роман поднялся на курган и прилег на земле, глядел в сине-черную вышнюю пустошь, засеянную в глубину мерцающей полой Млечного Пути. Падучие звезды полосовали вороное небо, возвращаясь во прах от своих светоносных начал, но меньше их не становилось, словно на месте погибавших тотчас загорались новые. Происходившее в Гремучем с Асей, внутри нее, под сердцем, в животе было такой же неисповедимой тайной для Романа, как и порядок угасания и зарождения всех этих звезд в ночи. Их было так много, что он не находил меж ними ни клочка безжизненной, не осиянной черноты, и свет их, хоть и трепетный, неверный, был неистощим. Никто не знал, одна лишь Ася ведала, каким он будет, как станет похож на него, Леденёва, их сын. Да, сын и похож, поскольку она, казалось ему, взяла обязательство подарить ему именно сына и, подчинившись силе леденёвской крови, повторить все мужнины черты, ничего будто и не добавив, не навязывая от себя, как земля, приняв семя, вслепую отдаст ростку свои живительные соки: ковыль так ковыль, тюльпан так тюльпан, сиреневый бессмертник так бессмертник.

Насыпавшийся конский топот потревожил его. На лице у Початкова, вернувшегося из разведки на Гремучий, не обнаружилось глаз.

— Казаки набегли! Сотни три на погляд, а то, может, и боле. Все проулки забиты и по балкам разъезды.

— Что ж, следом увязались — ехал долго?

— Другое, Ромка, — поморщась, Початков мотнул головой за плечо.

Средь полудюжины разведчиков, измученно сползавших с седел, один сразу бросился Роману в глаза — своим мягким очерком, будто девическим. Леденёв захватил жеребца под уздцы и впился снизу вверх в затравленно расширенные, дурнотные глаза своей сестры. Признав его, задержалась по-лягушачьи и заголосила:

— Пожгли-и-и!.. Ой!.. Ромка! Пожгли-и нас! Курень... все... спалили-и-и-и!

— А Ася?.. Ася где?! — чугунной пешней ударили в сердце, как в мерзлую землю, и били еще, никак не в силах рассадить, пронять до чего-то, способного мыслить и чувствовать.

— Гришка прибег! Мой Гришка! Колычев! Тикайте, мол, с хутора, не то концы вам наши наведут. Настёнку первым делом хороните... А куда? Чижелая ить да и так-то... Метемся как курицы — ну? до тебя? А Гришка — нет, нельзя к тебе, сквозь казаки до Целины, поймают. Давайте, мол, к Дону, в Багаевскую.

— Куда? К кому?!

— Да к ним же, к зятю их, к Халзановым.

— К кому? — обезголосел Леденёв. — Забрал кто? Гришка?! Ну?!

— Степан повез, в бедарку посадил... В Багаевскую, да! Там, мол, никто искать не будет... И послушали, да! Спровалили Настёнку от греха — такое он нам... Мол, ты-то им враг, а с бабой воевать — душа не налегает... а энтим-то, чужим, какие заследом прискачут, вовзят без разницы, кого давить, ишо и потеху, мол, сделают, так-то... И сделали, анчибелы, — пожгли-и!.. Все гасом облили, что батя в потах наживал, ничего забрать не дали, сами всё на подводу метали к себе. А сами-то, кубыть, и красные армейцы — перевязки на шапках такие же, как у твоих. И отцу-то гутарят: ты, мол, богатеи от чужого труда, с такими у советской власти разговор короткий — что у нас, трудового народа, заграбил, на все энто теперича кострибуция вышла тебе. А батяня наш горький где стоял, там и сел, чисто как параликом зашибленный.

— Ася где? — Леденёв отупел до одеревенения: Халзанов, Гришка, красные пожгли... какие красные, когда там казаки?

— Так Степан же увез, говорю! Мовет, и зря. Народ-то с хутора побег кто как до Целины. Кого поймали казаки, а кто утек, как я вот... Как знать, куда ей зараз лучше?

Гришка так наказал: коль доберутся до Багаевской, пушай идут к халзановскому куреню, к сестре его, Дарье, — пушай она Настёну и схоронит у себя. А довез ли Степан, уж не знаю.

— Тут они, Ромка, — хрипнул Початков. — Домашние наши. До полсотни подвод, а кто пеши. Хошь не хошь, а теперь не расстанемся. К Казённому мосту вести всех надо, с собой за Маныч в отступ, слышишь, нет? От Мечетки нажмут, Кугульчу оседлают — куда нам? А с жененкой твоей... тут уж, видно, теперь только Бога просить.

— Бога?.. — Роман, вскочив, вцепился ему в ворот, не владея затрясшейся челюстью. — За своих будешь Бога просить. Мишка! Сотенных ко мне! — И разжалась рука, отнялась: да куда ж ему бить? На Гремучий? Или уж до Багаевской? Канула Ася. Упустил скользкой рыбой из рук, решив, что сможет целиком, всегда предназначать себе сужденное.

Страх отнятия Аси потянул его к Дону, а вокруг пригнетенно ждала и не слышала струнного гула его накрученных на ворот и выматываемых жил беспомощная, подзащитная, теперь уже тысячная толпа земляков, скрутив Леденёва по рукам и ногам своими бабьими подолами и детскими пеленками.

— Бери обоз, Початков, веди к Казённому мосту.

Предчувствие непоправимой беды ослабило хватку на горле: он не один, еще есть люди, готовые сберечь оторванную Асю для него. Степан, брат родной, и Халзанов... Что за долг отдаст Леденёву? А может, ловит на приваду? Забрали заложницей Асю? Даром, что ли, писульки подметывали — есаула сулили, если к белым отряд уведет?.. Нет, Халзанов не мог — человечья в нем правда заложена, ну а если и не человечья, то вполне леденёвская: как себе самому можно верить — придушил его смех. И уже подымало Романа предчувствие Асиной целостности, даже будто бы вешнее знание, что нельзя затолочь в смертный прах всю их с Асей единую, едва только начавшуюся жизнь. Все справедливо, но не это. Даже взглядом тяжелым коснуться ее живота — это против завета людей... может быть, и не с Богом, но с чистотой своих же матерей, детей, со всем, что родится и тянется к солнцу на этой голубой земле. А если можно повредить и Асе, тогда не только Бога нет, но и ничья жизнь не свята. Никто для Леденёва тогда не человек, и сам он человеком ни для кого уже не будет.

XLV

Февраль 1920, Нижний Солёный, Маныч, Кавказский фронт

Поднявшись на курган, Северин увидел длинную походную колонну конницы, идущей на рысях ему навстречу. В первый миг щипанул сердце страх, но каким-то неведомым чувством, проснувшимся в нем сверх пяти человеческих, он тотчас угадал своих.

Спустя минуту стало видно остроконечные будённовские шапки, похожие на шлемы древних русских витязей, качавшиеся поплавками среди курпейных и овчинных бурунов, английские шинели, полушубки без погон, кумачные нашивки, наконец и знакомые лица бойцов — это шла Партизанская, в чьих рядах прижились и чужие, враги, вкорененные, неотличимые, пересаженные Леденёвым из гущи бывших белых казаков. И почему же это Леденёв вдруг повернул лавину к Дону?

Сергей не дрогнул от вопроса «на кого?», а сразу понял, что предсказанное Леденёвым худшее сбылось: казачья конница, неведомо уж чья (Гусельщикова? Павлова? Агоева?), прорвала фронт левее и устремила к Дону, на Багаевскую, врезаясь клином в стык двух наших армий.

Гамза подтвердил справедливость северинской догадки. Партизанская шла в авангарде, комбриг-один был обозлен и тотчас начал жаловаться на комкора:

— Третьи сутки без продыха — из боя на марш, с марша в бой. Что ни дыра, меня туда пихает, несмотря на потери. Полтора ста бойцов за три дня, а ему хоть бы хны — остальные бригады прижеляет. Казачков своих, каких повыручил из плена. Сил моих больше нет, а посему немедленно подаю вам заявление: пускай либо смещает меня с

должности, либо делает распоряжения согласно справедливой очереди, а не так, чтоб у меня бойцы замученные были и опять я кругом выхожу виноватый, что они от устатку не держат удар.

— Ну а у вас в бригаде бывших белых нет?

— У меня батраки, ставропольцы, все как есть за Советскую власть с первых дней. А что он заместо погибших кого ни попадя пихает, так не я ведь просил, а его пожелание.

— Чюпахина, комвзвода, знаете?

— Пропал вчера Чюпахин. Говорю же, потери. А что он вам?

— Да вот беляк и оказался под личиной, и не враги его убили — нам пришлось. В своем глазу бревна не видите.

— На это у нас Сажин есть, — озлился комбриг, осаживая разыгравшегося кабардинца. — С него и спрашивайте за контру. А мне когда уж в душу каждому заглядывать? Не бежит — так и свой, а чего он за пазухой держит... Не я таких под наши красные знамена зазывал — который раз вам повторяю. К другим-то они, пленные, не шибко и идут, а к нему, Леденёву, — как собаки к хозяину. Чуют, значит, за чью спиною будут целы... — и, оборвав себя, толкнул коня вперед.

Да уж, Сажин. От самого Дона Сергей не сказал тому ни слова. Теперь необходимо видеть Зою. Велел своим конвойцам устроиться на ветряке и, подсогревшись, дожидаться Леденёва.

Нажал ветер с севера, тоскливо завыл в причаленных мельничных крыльях. Сергей, нахохлившись, сидел в проеме раскрытых ворот, смотрел на хутор, на дорогу, пытался распутать тяжелый, застывший клубок все тех же обрывчатых мыслей. Усилием воли, внушением, как в детстве на вокзале, когда задерживался поезд, вытягивал из мертвой заснеженной пустыни еще одну проворную серошинельную змею, а с ней и штаб, и Зою, и намертво запаянного изнутри, непроницаемого Леденёва. И вот сквозь неумолчный сиплый гул и детскую жалобу сиверки пробился приглушенный, мягкий рокот, и рысью потекли сквозь хутор эскадроны Горской.

Спустя минут пять увидел и штаб: Леденёва, Челищева, Мерфельда, Носова на соседних тачанках, а в задке пароконных саней — закутанную в шубу Зою. Да, в донскую, казавшуюся сказочной, боярской, шубу, покрытую дымчато-синим узорчатым шелком, наподобие той, в какую наряжался Леденёв, когда изображал рождественского деда перед малыми детьми. Из-под пухового платка, испуганно расширившись, взглянули на Сергея ее строгие глаза, меняя цвет неба, погоду, температуру воздуха и тела, так осветив пространство между нею и Сергеем, что на мгновение все прочие, включая Леденёва, перестали быть.

Заставляя себя не смотреть на нее, Сергей подъехал к Леденёву:

— Поговорить бы нам. Наедине.

— Шпиона нашел? — комкор глядел перед собою отрешенно, не то как столетний старик, которому и ложку-то до рта уже тяжело донести, и хочется скорей в могилу, не то как человек, приготавливающий себя к хирургической операции, о которой он знает, что та, вероятней всего, бесполезна или прямо убьет его.

— Не я. За меня нашли. В политотделе армии. Приказано арестовать, — со злобным напором сказал Северин, опять почуяв детскую обиду, страх и отвращение к этой будто бы ставшей понятной в комкоре равнодушной покорности.

— Кого же это?

— А Колычева вашего, — ударил Северин, надеясь проткнуть Леденёва до чего-то живого, способного почуять хотя бы унижение и тотчас же откликнуться привычным, естественным движением (давить!) на всякую попытку притеснить его, согнуть, лишить неотъемного — воли. — Он и шпион, раз атаманский сын! Кулак!

— Ага, и чуб казачий носит. Говорили ему, дураку, чтобы сбрил. Ходил бы, как я, голомозый — тогда б и ухватиться было не за что, — глаза Леденёва смотрели вперед все так же стариковски тускло и покорно. — Тут, брат, не то что чуб с усами, а все

потроха из себя надо вымотать, жену туда же выбросить, детей, чтоб взяли тебя в будущую жизнь.

«Безумен», — подумал Сергей.

— Так что же с Колычевым? — хрипнул. — У Сажина приказ.

— Пушай арестовывает, если догонит. Челищев, пиши. Политотделу армии, Колобородову. Против ареста моего начальника разведки возражаю категорически. Свою вину перед трудящимся народом бывший урядник Колычев Григорий искупил в боях с деникинскими бандами. Как старый боец и доброволец Красной армии считаю себя вправе Колычева под арест не выдавать как преданного делу революции бойца и ценного работника. Без доказательств нет вины, а посему либо представьте таковые, либо буду смотреть на вас как на скрытую контру и пособника белых бандитов со всей происходящей из этого суровостью. Точка. Леденёв.

Колеса вертелись неостановимо, тачанка будто бы поддакивала каждому леденёвскому слову, неизгладимо уж впечатывая каждое в свидетельские показания, в донос на себя самого.

— Вы что, не понимаете?! — закричал Северин, ведя Степана рысью наравне с тачанкой. — Да они против вас это все, против вас! Если ты им его не отдашь, так самого же могут за неподчинение...

— А ежли отдам, — усмехнулся Леденёв, — чего он там, Гришка, покажет, а главное, чего они запишут. И так, и эдак худо, а? И вообще: своих, брат, отдавать никак нельзя, иначе себя потеряешь... А ты будто жалеешь меня? А как же воля партии? Она всегда права — или уже не так?

— Я справедливости хочу. Я тоже партия. В ней всякие есть. Да! Вот так!

— А вот прислонят Гришку к стенке сей же час — и будет тебе справедливость. Так что, брат, выбирай, — заглянул Леденёв ему в душу, ни на что не надеясь и ничего не обещая. — Коль не считаешь, что он враг, что все мы тут тарантулы, кто в белых был, так словом своим подтверди, поставь комиссарскую подпись под этим письмом.

— Да ну зачем же вы политотделу армии буквально угрожаете расправой?

— А потому и угрожаю, что под каждое слово кровь лью, и свою, и чужую. Слышал такое: победителей не судят? Хотя черт его знает: у нас нынче, может, как раз-таки наоборот.

Сергей ничего не сказал: их всех толкало безотложное — ударить во фланг или в тыл прорвавшейся коннице белых. Всего остального пока еще попросту не было. Валуны конских мускулов показались стальными узлами и поршнями, с мерным остервененьем ходящие ноги гнедых дончаков — рычагами незримых колес, а грудные их клетки — паровозными топками, и бешено мятущийся белесый пар их сапного дыхания лишь увеличил это сходство живых коней с железными машинами.

Разлившись в полнеба, багряно сиял задержанный дымчатым флером закат — донского берега должны были достичь до темноты, а Партизанская, ушедшая вперед, уже и повстречала белые разъезды, и, вероятно, завязала бой с полками правого казачьего крыла.

Сергею непереносимо хотелось обернуться к Зое, найти ее глазами, осадить коня, дожидаться и заговорить — вызвать на откровенность, объяснить, чего надо бояться и почему ей надо рассказать ему все без утайки. Да что же «все»? Чего она ему еще не рассказала о себе? Какой на ней грех, когда она давно уж сирота, отец — богатый адвокат — давно исчез и всякая связь с ним разорвана? Гимназия, книги, французский, стихи? Теперь с этим в будущее не берут? Ведь вот она вся, в чужой донской шубе, в которую ее заботливо укутали штабные эскадронцы, непостижимо для самих себя робеющие перед ней. Безжалобно выносит все и помогает — сестра всем бойцам. Но Сажин будто что-то знает, он ведь о каждом что-то знает — больше, чем говорит. И кто чей сын и брат, и внучатый племянник — по целому гроссбуху, наверное, собрал на каждого и возит с собой в саквояже. А вот бы заглянуть в тот саквояж и вообще пустить за особистом слежку — ввиду его кавалерийской косолапости и острого ума. Куда он, к примеру, опять подевался?..

Взгляд Сергея запнулся об убитую лошадь, уже обынделевую, как туша в леднике. По шляху стали попадаться следы панического отступления красноармейских стрелковых частей: опрокинутые или попросту брошенные патронные двуколки, брички, сани, передки орудийных запряжек с хвостами перерубленных построков и косо торчащими дышлами, трехдюймовая пушка об одном колесе и опять лошадиные трупы в уродливых позах, с откляченными крупами и свернутыми шеями, с подломленными против сгиба и окоченевшими в последнем судорожном напряжении ногами. А вот уже и люди — казалось, что их убили не белые, а грянувший в степи чудовищный мороз, та мертвая стынь, в которой замерзают на лету и падают на землю птицы, какая-то надмировая безличная, бесчувственная сила, которая не разделяет воюющих людей на красных и белых и вообще уравнивает человека с деревом и камнем.

Лишь при взгляде в упор — и лишь в глазах Северина — то были именно красноармейцы, настигнутые и покошенные белой конницей. За ними гонялись, топтали конями и сзади рубили — от левого плеча через грудную клетку или по черепам; встречавшие же смерть лицом к лицу и с поднятой над головой для защиты винтовкой упали с разрезанными искусным низовым ударом животами, схватившись за прорехи, из которых полезли потроха, и долго еще, видно, корчились и ползали по снегу, разматывая и таща за собой перевитые веревки кишок

Обмякли в отвратительном успокоении тяжелые, мослаковатые руки с воронено-железными пальцами, а лица многих были удивительно чисты и строги в своей отрешенности. Распахнутые и пристывшие глаза молодых голощеких парней смотрели на небо, казалось, в несказанном, неведомом живым восторге просветления, как будто обрета то бесконечное и ослепительное счастье, за которым они и пошли от родных куреней.

Так что же, они умерли счастливыми? — спросил Сергей себя и тотчас же ответил: — ну а как же? а за что же еще отдавать свою жизнь, не жалея?.. но почему-то не поверил сам себе. Ему вдруг стало жутко и противно, как только представил себя лежащим вот так, с такими же восторженными и в то же время отрешенными глазами. Нет, солнечный смысл борьбы не потускнел в его глазах, но ему вдруг отчаянно не захотелось, чтобы белый казак, проезжая, посмотрел на него как на падаль да и попросту как на предмет, и чтоб с него, Сергея, не стащили сапоги и не раздели до исподнего лишь потому, что надо спешно продолжать преследование.

Он хотел воевать, как и прежде, но он хотел и жить, не желая ослепнуть, оглохнуть, исчезнуть из мира — тем более из будущего, который только предстоит построить, тем более из этого, несказанно прекрасного самого по себе, из мира, в котором сияет вот такой багряный закат и мириадами крупниц искрится снег, где рысью идут и похрапывают живые, горячие кони, где небо, мороз, пробуждение солнечным утром и Зоя, которая тоже не может и не должна исчезнуть никогда.

Достигли маленького хутора, который и на карте вроде не был обозначен, в десятка два беленых куреней, обнесенных оградой из придонского камня. По единственной улочке, по ископыченной толоке только что пронесся бой. Тянулись стежкой трупы — теперь уже в темных черкесках с мельхиоровыми газырями: Партизанская выбила терцев из хутора и, рекой обтекая жилой островок, устремила на запад, на Янченков.

Давая отдохнуть заметно припотевшим и тяжело дышавшим лошадям, бригада сделала коротенькую остановку. Леденёвские конники спешивались, кормили коней из шинельной полы последними остатками овса и разговаривали с ними как с людьми, виня за длинный, трудный переход и упрашивая потерпеть.

Сергей подъехал к Зое, отозвал, и, посмотрев ему в глаза все тем же строгим взглядом, она поднялась из саней и пошла вслед за ним к одному из сараев.

— Снимите полушубок, товарищ комиссар, — потребовала в спину. — Мне надо поглядеть на вашу рану.

— Потом, потом... Послушай.

— Нет, сейчас, — вцепилась она в отвороты его полушубка, пытаясь усадить на кладку из пудовых кизячных кирпичей.

— Послушай же! — Сергей поймал и стиснул ее руки. — Ты все мне должна рассказать. Про себя, про родителей — кто они. И как ты к нам сюда попала. Если мне не расскажешь, то будут спрашивать другие, из чека! Ты меня понимаешь?

По лицу у нее прошла судорога, и она оттолкнула его с ненавидящей силой, впилаясь с брезгливым отвращением и прошипела:

— А ты, значит, добренький, да?

— Да ты ж для меня!.. — сдавил ее пальцы до слабого хруста, почуяв, как вся она сжалась в отчаянном и обреченном усилии замкнуться, отгородиться от него, Сергея, не впустить в свою жизнь эту злую, непонятную силу, которая, как холод, лезет ей под кожу, внося все больше изменений в ее существо, добираясь до самой сокровенной глубины, — и почему-то вспыхнули в сознании Сергея леденёвские бредовые слова: «Тут все потроха из себя надо вымотать, жену туда же выбросить, чтоб взяли тебя в будущую жизнь». — Мне все равно, кто твой отец, хоть трижды генерал. У Мерфельда вон тоже отчим — ну и что?.. Но мне надо знать. Есть люди, которым у нас дали власть, и они ею пользуются для себя, они не поглядят, что ты тут помогаешь, а укажут, что скрыла!

Она молчала, глядя внутрь себя, как будто вслушиваясь в собственное сердце и гадая, сможет ли и дальше быть одна, не доверяясь никому из тысяч кочевых, ожесточившихся людей, и вдруг подняла на него как будто презирающий и ничего не ждущий взгляд:

— Ну, слушай, а потом не жалуйся. Все, что я раньше говорила, — это, в общем, правда. Вот только одно... Ты о «Елпидифорах» слышал? А про Игумновскую мельницу? Пароходы, зерно, уголь в шахтах — и наследница всего этого я. Ну, должна была стать. Я не просила и не выбирала, от кого мне рождаться. Нас вообще не спрашивают, хотим ли мы прийти на этот свет. Хотя, как понимаешь, я не жаловалась. Все брала. Все, что нажито дедом, отцом... зачем мне одной столько? Пол-России кормили, — произнесла с юродской важностью. — В конце концов, все это наше невозможное богатство и не могло бы перейти ко мне и ни к кому, ведь это же просто смешно, что человек, который сеет, смалывает хлеб, каждый день слышит запах поджаренной булки, не может досыта наестся этим самым хлебом. А мы, кому весь этот хлеб принадлежит, лет до двенадцати уверены, что булки и пирожные берутся прямо с полок, вообще из воздуха, и даже их есть не хотим — ни с тертым миндалем, ни с медом, ни в мороженом. Ну, вот весь мир и засмеялся, и все мы попадали от этого хохота. А дальше — ты, верно, уж знаешь, — мать от отца сбежала с офицером и меня захватила с собой.

— А зачем же пошла к Леденёву?

— А чтобы искупить вину перед трудящимся народом, — ответила зло, издевательски. — Со страху ушла. Пришли за мной те самые, облеченные властью, и я, уж прости, испугалась. Ведь те же самые вопросы: кто отец? Они многих забирали. Купцов, управляющих, судейских, врачей, адвокатов. Офицеров, конечно. Ну, тех, которые ни за кого воевать не пошли — погоны спорили и поддевки надели. Один такой жил с нами по соседству, Туманов, поручик, дрова для нас с мамой колол, говорил, что не хочет бить штыком в чье-то пузо, тем более русское, сторговал у кого-то кобылу и пошел лихачом. Выезжал до пяти тысяч в месяц — удивительно просто: ведь голод, от чахотки мрут люди, от тифа, а седоков не убавлялось, даже наоборот — спекулянты, мешочники... — Зоя будто уже начала заговариваться. — Вот за ним и пришли — он зачем-то бежать, на втором этаже раму выломал, и его застрелили. Для нас он был Туманов, а по рождению Григорьев. В общем, тоже скрывал — совершенно как мы. Потом забрали Чудакова, архитектора, тот, правда, вернулся и даже получил у нас работу и паек, да только иных не доищешься. Рассказывали страшное. Что будто там, в чека, всех вместе раздевают, и женщин, и мужчин, — ну вот я и подумала: неужто мне придется раздеваться на глазах у всех? — Она так засмеялась, как будто заскрипели под ногами деревянные ступеньки. — Пошла за Леденёвым. Все говорят, что страшный,

но он сам себе страшный, он в Саратове бредил при мне, говорил, что устал возить смерть в тороках. Все каких-то матросов жалел, которых под Сарептой порубил.

«Каких матросов?» — проскочила у Сергея мысль, но он был слишком занят Зоей, которая все говорила:

— А вот Михельсон, чекист, что у нас поселился, тот страшный — он смотрит на тебя с такой хозяйской, знаешь ли, улыбкой, как кот на говядину. Так что я лучше тут буду, в армии, я ведь тут никого не боюсь, мужиков наших всех. Они хоть и убийцы, все равно больше люди, чем такой комиссар. Они и впрямь друг другу братья, все, все одной семьей живут, и они меня в эту семью свою приняли. Я им сейчас нужна почти как лошадь, без которой не прожить. Как милосердная сестра, да хоть как блядь. Чем меньше женщин, тем они нужнее — вот видишь, какой шубой оделили?

— А дальше? — Сергей почувал, что уперся всеми чувствами в какую-то непроницаемую стену, что он почти не различает Зою в будущем, что даже если, взявшись за руки, они пойдут вместе в одну и ту же будущую жизнь, он будет чувствовать сопротивление обычного, живительного воздуха, а Зоя — сопротивление воды.

— А это ты, ты мне скажи... — вода поднялась, и она захлебнулась. — Что со мною у вас будет дальше?

— Так почему же ты мне раньше все не рассказала?

— А Шигонин? — подавилась она.

— Что Шигонин?

Она приподняла на вдохе плечи, словно пытаясь удержать собою, как плотиной, хлещущую воду, и посмотрела на него с угрюмым вызовом, как провинившийся ребенок-беспризорник, который хочет есть так сильно, что не понимает, что воровать нехорошо.

— Его из-за меня чуть не убили. Тогда, в Новочеркасске, в госпитале. Они ведь за мной приходили, те двое. «Не бойтесь, Зоя Николаевна. Мы за вами — от вашего батюшки».

— И ты... — задохнулся Сергей, — не пошла?

— Да где же мне было? Все как во сне, лунатик, ноги отнялись. Они б меня и увели без возражений, да тут Шигонин, кавалер... — давилась Зоя смехом, по-детски, до икоты. — «Эй, вы что? Кто такие?» А тут и ты, еще один влюбленный. Загнали овцу обратно в отару, не отдали волкам на растерзание... Ты хочешь знать: пошла бы я с ними, когда бы могла выбирать? — спросила она, отсмеявшись и глядя на него всем тем же голодным, нелюдимым взглядом беспризорника. — А я не знаю. Там ведь совсем другая жизнь, ци-ви-ли-зованная, чистая — в самом что ни на есть буквальном, физическом смысле, безо всей этой грязи, без вшей. Там лоун-теннис и швейцарский шоколад, там ромовые буше от Фельца и шашечки-сливки от Флея, Салоники, Неаполь, море Средиземное, и наплевать, что все это украдено у миллиона мужиков, которые по буквам пальцем водят и губами шевелят при чтении. Тебе-то перед ними вон как было стыдно, а мне — пожалуй, нет. Не подействовал на меня граф Толстой, «После бала», хотя и ах как славно уронить слезинку по забитому русскому мужичку... — она с наслаждением била Сергея. — Там все как в детстве, понимаешь? Они бы, эти двое офицеров, забрали меня в детство, где одни только добрые люди, где все меня любят, как мама, где столько всего несказанного... в одной только природе. А тут... тут другая природа, тут только холод, ветер, снег и мертвецы, всё мертвецы да мертвецы и все живые ровно мертвые... идут, идут куда-то умирать, и надо всем той Леденёв, как зверь мировой. «А может быть, она и вправду, — подумал он со страхом, — лишь затем и пошла к Леденёву, чтоб уйти от нас вовсе?»

— Ты пойми, — Зоя будто услышала, — я не боюсь, что мне тут будет тяжело, что я тут с вами пропаду, ну, что убьют меня, как всех. Я готова работать, как все, я давно уже не белоручка, я могу быть сестрой, преподавать могу... французский, грамоту, но я хочу жить, понимаешь ты, жить, как ты, верней, как Сашка с ее пузом, а не ждать каждый день, что за мной придет кто-то. Этот страх меня съест. Вы или

признайте меня человеком, целиком, навсегда, или уж истребите, как вошь. Если все время ждать, когда наступит жизнь, то это-то и есть смерть.

Пронизав северинское сердце, заиграла тревогу труба, повелительный и обрекающий голос ее взлетел над жалким хуторком и надо всем огромным миром, отрывая Сергея от Зои, подымая, взметая бойцов на коней, рождая над землей все убыстряющийся мягкий гул как будто бы низринувшейся с перевала снеговой громады.

— Зоя, я... — поймал он ее руку. — Я сделаю все, и не думай! На тебе вины нет! Это сволочь одна попутать меня вздумала. Есть честные люди, настоящие большевики, и они не посмотрят, какого ты класса, они будут смотреть в человека.

Спустя три минуты он поднялся на длинный увал, где маленьким семейством каменных пустынных застыли Леденёв, начоперод и вестовые.

Все горизонты были уж полынно-сизы, и снежная равнина под тускнеющим небом казалась засыпанной пеплом, как ландшафт отпылавшего, никому уже не страшного ада. И вдруг как будто кто-то потрянул над этой пепельной равниной гигантским мокрым веником — и вся она покрылась черной зернью конных сотен. В атаку так не ходят — так бегут.

— Наступает Гамза — хвостами вперед, — хмыкнул Мерфельд. — Налетел на громаду.

— Второму конно-горному дивизиону занять увал, садить шрапнелью через головы, — сказал Леденёв, склоняясь над раскрытой перед ним трехверсткой. — Комбригу-три вести бригаду этою вот балкой, от Ёлкина кургана развернуться лавой и во фланг. Я с Горской справа.

Сергей уже знал, что Леденёв несколько не смущается развалом и даже хаотичным бегством своего авангарда, давая врагу распасться преследованием своих расстроенных и рассорённых головных полков и забирая эту сконцентрированную вклиненную силу в тиски своих отборных, свежих эскадронов, за что и прослыл у белых генералов сатаной, «отцом обмана». Казалось, генералам давно пора понять, что если он бежит, то только для того, чтобы убить, но леденёвская фантазия была неистощима, и лава его, иссякая, откатываясь, расступаясь, как ветхозаветное море пред народом Израилевым, забирала в себя казаков, как в воронку живого, чистокровного смерча.

— Да как же это, Рома? По озерам? Ты погляди, какие чаканы — из пушки не возьмешь! — воспротивился Мерфельд. — Если выдавят в эти вот дебри, вся бригада завязнет.

— А пускай их выдавливают. Правее взять от тех озер — так, стал быть, и они ишо правее заберут, чтобы меня на склизкое нагнать, вот в это дефиле, — иностранное звучное слово Леденёв произнес с какой-то уже детской важностью и удовольствием. — Растянут свой фронт, как бычинушку на пяле, — туда-то центр удара и перенесем. Партизанскую кинешь, подкрепляя резервным полком, когда мы ее за спину пропустим. Делай... А ты чего такой линиялый, комиссар? — царапнул взглядом Леденёв Сергея и тотчас, как по букварю, прочитал его душу: — Из-за девки своей трусишься? Что, Сажин, подцепил? Офицерская дочь? А то и генеральская? Тут ить не ошибешься — благородная кровь резко сказывается. А ты его зачеркни, — сказал он таким обыденным тоном, каким бы посоветовал потуже затянуть коню подпруги.

— Что?.. Чтобы я... коммуниста?.. — ответил Сергей, словно припоминая, что он должен ответить.

— Ах, коммуниста, — протянул Леденёв, смотря на него, как на падаль, которую напрасно тронул сапогом. — За революцию воет вместе с нами? А что такое революция, зачем? Жегалёнка спроси вон, и он тебе ответит: чтоб любить кого хочешь, а не ту, до которой допустят, как племенного жеребца до матки на заводе. А какая же это, брат, лучшая жизнь, ежли ты даже любушку за себя взять не можешь? Ты его заграждаешь, коммунист коммуниста, а он, как бог, будет решать, жить тебе с ней иль нет?

— И что же, убить? Самому? — Сергею хотелось оглохнуть, запаять себе череп

свинцом, чтобы не слышать речь врага, не чуют его правоты — а главное, своей навстречу тяги.

— По мне, так за бабу свою — придави, — смотрел на него Леденёв неотрывно, ни в чем не убеждая и никуда Сергея не выталкивая. — Уж верно, от лихого человека, от откровенного врага отбить не поколеблешься, а что ж от своего, пускай и коммуниста, если он, как овцу, ее хочет зарезать? По-твоему, если он именем революции действует, так уже и не гнусь, а напротив, наш красный угодник?.. Ну, все, недосуг. В Багаевской договорим — живы будем, — приговорил и судорожно выдохнул.

XLVI

Апрель 1918, Багаевская — Гремучий, Черкасский округ Области Войска Донского

Взыскующий, казнящий женин взгляд выталкивает за порог: зачем явился, коль опять уходишь? Максимка же глядит с таким доверием, что страшно становится. «Папанька, а ты много красных зарубил?» В руках еще живо, горячо ощущение легкой тяжести сына.

Описав полный круг, Халзанов вернулся в Багаевскую. Бывало, много дольше, чем два месяца, ждала его Дарья — с чужедальной неметчины, из австрийского плена, но и тогда такой тоски в ней будто не было. Тогда была сверлящая тревога за его, Халзанова, жизнь, но давящего чувства потерянности на своем же базу — и в помине.

— Остервился народ. В упор один другого не угадывает. Всю жизнь обок жили, кубыть насквозь друг дружку видели: иной-то и дрянь человек, прижимает соседа на каждой копейке, или вор, конокрад, или, допустим, взбеленится спьяну, а все ж человек, не волчицу сосал. А нынче кого ни возьми — как наизнанку вывернутый, того и гляди, шерсть клочками полезет. Да уж лучше бы так, натурально, и вылезла — сразу видно, что зверь без подмеса. А то ить человек по всему: облик, речь человечьи, и родителей чтит, и детишек ласкает своих, а как иногороднего увидит — хучь старика, хучь бабу, хучь мальчонку, у кого родня в красных, — так зараз же бешеный делается, тоже как и обратно они, мужики, — шептала Дарья, привалившись и смотря на Халзанова так, как будто и его уже не понимала: что ж там заложено, в Матвеевой середке, за бесконечно близкими чертами его ожесточенного лица. — Ты-то нешто не видишь за своими стратегиями? Ну так я расскажу. Как набежали перед вами Стёпка Свечников и Прошка Мартемьянов, так и заехали на баз к Давыдковым. Аркан на переруб — старуху в петлю. Вольно ж мне было в эту пору мимо проходить. Так к обедне народ потянулся — за вас, своих заступников, молиться. Заступились! От старух защитили, от Игнатовой бабы! Детишек... — уже безголосо зашипела она и передернулась, как кошка, срыгивающая рыбью голову. — Это что ж за война? Лушка-то у Степана в ногах волочилась чисто как повитель. Тот мальчонку схватил да как хряснет его черепком о соху. Как саму меня вдарил — сердце остановилось възят, будто жерновый камень исделалось, не могу его боле нести: шаг ступлю — так и лопну. А потом как прозрела: а Мироновы-то? Наш-то вовсе у красных начальник! И побегла я к Стешке упредить. А примчалась — мычу да руками машу чисто дурочка. Мы-то сами, Халзановы, — кто? Красные? Белые? — засмеялась со злобным напором. — Казаки вот вернулись, так за красных считаемся, потому как Мирон, а Давыдков придет — станем белые через тебя. И куда нам деваться? Разве ты нас с собой в переметных суммах увезешь? А сейчас подарил бабьей радостью — вдруг понесу? Что тогда? Плод травить? Ну а как? Поди, и молоко от страха пропадет. Подумывал об этом или нет? Да уж где там тебе? Напаскудил, как кобель, — и «сотня, шагом марш».

— Погнали мы красных — больше уж не заявятся, — сказал Матвей, и веря, и не веря собственным словам.

— Ой ли?! А пришли-то к нам кто — вы, не вы? Доблукались в степи. Уходили людьми, а вернулись волками. Я ить нынче на Прохора, тоже как и на Стёпку, глядеть не могу, а не то что гутарить. Мне, знаешь, душегубы не сродни. А уж какой в парнях был ласковый да песни как играл — голос чисто серебряный. Не придут, говоришь,

больше красные? Да как же это так? А за грехи? Поди, уж зубами до нашего горла потянутся — за детишков своих. Тошно жить. Всех боишься. Своих же соседей. Через эти-то казни и вовсе ума бы лишиться, жалеть, что не слепыми родились. Скотине позавидуешь: пускай и мы бы жили ничего не понимаючи. Не приведи господь ишо раз увидеть такую красоту. Так ить нет же, иные навыворот спятили, те же самые бабы, ребята: не от казни бегут без оглядки, а совсем даже наоборот, как на зрелищу ходят. Сами стали казнить: раз увидели — и приохотились.

Халзанов уж видел: дружины станичных казачек, возглавляемые стариками, и смешные, и страшные, сами расправляются с иногородними, громят их хаты и базы, отнимают скотину, имущество, гонят их из Багаевской в голую степь, побивая мотыгами, кольями, с остервенением ширяя зубьями тройчаток, плюя в неизвестнаемо распухшие сине-черные лица, заставляя ползти на карачках, не давая подняться, пригибая к земле. Бегущие за следом казачата осыпают гонимых камнями и комками земли: «Нате вам! Жрите! Накось попробуй казачьей землицы, мужик!»

Однажды он напуском, угрожая стоптать, разогнал вот такую процессию, да разве всех и каждого удержишь? И спрашивал себя с недоумением: а не того ли он и сам хотел? Согнать Давыдковых, Клычковых, Дорофеевых со своей испоконно казачьей земли, руки им перебить, вырвать всем языки, чтобы и заикнуться не смели о ее пределе?

Казачьи сотни уходили из Багаевской парадом. На глазах у станичного схода, стариковской и бабьей толпы, хорунжий Васька Туголуков, гарцуя на гнедом красавце-дончаке, потрясая арканом и кипенно щерясь, гремел:

— Господа казаки! Братья и сестры! Я клянусь своей честью и именем прадедов, что этой вот веревкой захлестну Иуду казацкого рода Мирошку Халзанова и приволоку на этот майдан к вам на суд!

Хотели, чтобы и Матвей поклялся в том же, но тут уж разом онемели старики, как посмотрел на них обламывающим взглядом:

— Я сам над собой не насильник. Что брат мой родной принял красную веру, так это у меня на сердце кровью запеклось. Так что же, хотите, чтоб я себе душу расчесывал, кубыть горячий уголь к ранке прислонял? Я за нашу и вашу казацкую волю третий месяц с коня не слезаю, кровь таких же, как сам, казаков лью, а не немецкий квас, как раньше, на германской. А вы тут возле печек стервеете от злобы. Сперва беритесь за оружие — тады и голос подымайте. И никакие их превосходительства мне в этом деле не указ. Да попомните крепко: кто на Мироново семейство даже глянет косо, а не то что... с самими то же самое проделаю, чего над ними учините, не дай бог. Родня они мне, а за Мирона не ответчики. Отец-то мой кто? Вы, может, и его за красного считаете? А меня за кого?

Отец был плох, давно уж с базу носа не казал без особой нужды, согнулся, как столетний, под тяжестью позора. Борода, черный волос закуржавел, как на крещенском морозе, прошитые сединым серебром. Будто плутом прошла по Халзановым эта война, бороздой разделила семью, да и как права была Дарья стократно: теперь уж и от красных жди беды, и свои казаки смотрят волком.

Матвей как будто даже позавидовал всецело, без подмеса красному, не раздираемому голосами крови Леденёву: тому хоть комиссаров можно не бояться, понятно, от кого беречь семью, — и тотчас же вспомнил, что ведет свою сотню по его, леденёвскую, душу.

За околицей, на телеграфных столбах — два десятка повешенных. На проводах, на перекрестках, сыто огрузнев, восседают семействами вороны, как маленькие черные архиереи на кровавом причастии. Смерд кала, мочи и растерзанных внутренностей. Неумолчно звенят роящиеся тучами изумрудные мухи. Босые, в подштанниках, ноги. Дегтярные провалы выклеванных глаз. Из стиснутых зубов торчат распухшие обклевки вываленных языков. А вот на одиноком, опаленном у корней караиче повешены вниз головами двое: их медленно поджаривали, пока не закипела кровь и не забулькали мозги в обуглившихся черепах. И не в этих

растресканных, покрытых черной коркой, как печенная в золе картошка, головах Халзанов, проезжая мимо, видел свое будущее, а в том равнодушном, привычно-покорном согласии, с каким смотрели на вот эту пыточную смерть идущие за ним в Гремучий казаки.

Повитая куравом степь неотразимо чисто зеленела всходами молодой беззащитной травы, еще не потемневшей возле корня, еще не налившейся буйными соками. Встающее солнце подбирало росу, и там, где проходили кони, ложился по траве ручьистый дымчатый след. Заходились в экстазе любовного гона чирковые селезни. Шелкоча, туго хлопали крыльями утки в воде, перекликались красногрудые казарки. От маньчжских плавней, непролазно заросших камышом и кутгой, несло живительной прохладой, серным запахом ила и тины, горьким запахом преющихся вербных корней.

Халзановская сотня волочила на хвосте небольшой, из полутора взводов отряд, особое назначение которого ни для кого уж не было загадкой.

Поравнявшись с Матвеем, нашептывал Гришка-шуряк:

— Хороша, говорю, у вас служба: в караулах не надо стоять, а ежели бой какой, так опять в стороне вы. А он мне и гутарит: да уж, хороша — с баб-то юшку давить да старикам столетешним салазки гнуть. Что ж, думаешь, мед? Давай поменяемся. Нехай офицера, антилигенты занимаются: ужасно они, брат, голодные до этого дела, кубыть всю жизнь дожидались, а теперь дорвались. Вот я и смекаю, Матвейка: а ежели и у нас в Гремучем наделают делов? Ну а ежели там Ромка уже наворочал? Вот зараз идем мы домой и не знаем, найдем ли своих в невредимости. Матвейка! Под сердце подкатывает, как подумаю... Тогда уж всех их, краснокожих, в кровину, в душу, ежели зараз кого из своих не из своих не найду. Да только ить надо сперва поглядеть, чего там, на хуторе, стало. А энти-то, какие под Ведерниковым, с дурным интересом идут. Им тут не проживать, а я на своих хуторных хочу прямо смотреть, а не наврде бешеной собаки, какую от жилья хозяева прогнали. Я и с Петро вчера сцепился: кубыть ничего ему Ромка не сделал ишо, а и энто тут же — пушу, мол, Леденёвым красного петуха, и все тут. А уж такого мне совсем не надо — сам знаешь: Грипка. Вот ить как! Нет лютее врага, а семейство его мне, выходит, родное. Чего делать-то, а?

— А то и делать. Бери разъезд — беги до хутора, — притянул Матвей Гришку к себе и шипел ему на ухо. — Грипку, Грипку свою выручай. А батя ихний с братом пускай жененку леденёвскую увозят от греха. Да к Дону, к Дону пушай правятся, об Целине и думать чтоб не смели — до партизан им ходу нет. Нам зараз велено все семьи их, какие в хуторе найдем, в обклад взять, наврде как табун в загон, чтоб Ромка со своими мужиками выручать их кинулся. На голос крови, будто рыба на приваду. Хучь силом ее выпихни, бабу, а только чтобы через час ее там не было.

— А Грипку, Грипку-то куда?! Матвейка, слышь? А мож, уволим энтих калмычат по-тихому? Они нам кто? Да за таких Господь, кубыть, по сорок грехов нам скостит, ровно как за змею. Ты только мигни — приберем. На леденёвских мужиков и спишем — мол, он и налетел, анчихрист, порубал.

— Нет, Гришака, не выйдет. Кого из наших зараз на такое подобьешь? Петра твоего? Стёпку с Прошкой? Остервились казаки. Самого приберут, только вякни такое. А эти, какие с Ведерниковым, гляди, сейчас в обход потянут, чтоб в хутор как красные, с юга войти.

— Так что ж им тогда всем семейством бежать? — дрожливо всхлипнул Гришка. — А к Дону-то на что — топиться?

— Скажи: пусть везут леденёвскую бабу в Багаевскую. А там уж Дарье от меня наказ, чтоб спрятали, — у нас никто искать не будет. Где хочешь их прячь, хучь за пазухой, но женского рода чтоб не было — ни присухи твоей, ни Ромкиной жалмерки и подавно. А не то, брат, такое на совесть свою можем взять, что вовек не замолишь. Ну! Делай! А то вишь, наострились уже.

Отряд хорунжего Ведерникова машистой рысью обгонял текущие по шляху взводные колонны — сворачивая головы направо, казаки с недоумением смотрели на ряженных: мелькали красные приколки на папахах и защитных фуражках.

— Гля, братцы, изменники едут! — хохотнул Богучарсков. — Никак до красных подались. На ходу перекрасились!

Хорунжий Ведерников, здоровый черноусый казачина на полукровном англичанине, поравнявшись с Матвеем, блудливо оскалился и покровительственно козырнул, словно он-то и был настоящей причиной движения всех, как ветер, гонящий по тракту объедья соломы.

— Отбываю агитировать за власть советов, сотник. Вот она, матушка, да вот он, батюшка, — похлопал по головке шашки и по кобуре.

Широкие в поставе выпуклые зеленоватые глаза были как-то бездумно, отрешенно прозрачны, в изгибе пухловатых губ было что-то от улыбки калмыцкого Будды, стоящий воротник суконного кителя врезался в кровно-розовую шею, и во всем его облике было столько беспечной свободы, что Матвей раскаляющим зудом в руке почувствовал неутолимое желание ударить.

Перевел взгляд на шурину: Григорий придержал коня, отбил от взвода четверых своих хуторных казаков и бездорожно поскакал к бурьянистому гребню балки, ниспадающей к Манычу. Что он обгонит ряженных на час, Матвей не сомневался. Тревожило другое: а ну как Леденёвы Гришку не послушают и Ромкину жененку в Багаевскую не отправят? А ну как побегут до Целины? А до Багаевской добраться — шутка ли? Ведь тоже сквозь заставы и секреты.

Сознание неотстранимой беды, перед которой он не только был бессилен, но и вез ее в Гремучий, придавило его. Вот этим самым шляхом он ехал на смотрины, еще не ведая, что едет за судьбой. Отсюда, из Гремучего, взял Дарью, отобрал ее у Леденёва, а теперь вот, выходит, идет и за второй его любовью. Вольно же тебе было так широко прославиться, мужик, навлечь на свою голову такую хитропутаную операцию — захлестнуть тебе шею, как неuku, да не одним арканом, а тремя, и хоть один из трех, а уж не разорвешь.

В низине показался хутор. Халзанов и в родной своей Багаевской за последние восемь лет прожил только полгода отпусками-урывками: сперва действительная служба, потом одна война, другая — а в Гремучем так и вовсе будто только во сне и бывал. Томительно-сладостный дух чернозема все острее щекотал ноздри пахарей, рожakov здешних мест, но лица казаков не расплывались в мечтательных улыбках, не оттаивали, а напротив, смурнели, сведенные, как кулаки для удара всей силой. Никто из них не знал, что ждет его дома, и каждый ехал так, словно всю будущую жизнь его, судьбу его родных уже предрешила какая-то внешняя бесчеловеческая воля — и только неведение отделяло его от того, что уже нес в себе, как жизнь или смерть в своих легких.

Втянувшись в хутор, взгомонили, заозирались с жадностью гремучинцы, насилу сдерживаясь и выравнивая строй, вытягивая шею, привстав на стременах, как будто вырастая по направлению к родимым куреням, дрожаще-срывистыми голосами выкликая хозяев, и вот уж свешиваясь набок, с седла обнимая домашних, выскакивающих с база, словно из пожара, кидающихся с визгом на гостей.

Коротким ливнем на Гремучий опрокинулась нечаянная радость, оплескивая мертвые сердца казачек, что иссохлись в тоске по любимым и кровным, а через час опять начнут черстветь, как в засуху земля, запекаться все той же тоской неизвестности: когда же приведется в следующий раз и даст ли бог вообще когда-нибудь увидеться.

Иногородняя часть хутора притихла, как лисий выводок в норе, притаенно прислушиваясь к лошадиному топоту, к голосам казаков и будто бы наивно веря, что если затаиться и зажмуриться, то эти страшные соседи их, вступающие в полные права над их жизнью и смертью, немедля растворятся в воздухе, как морок.

Все казалось нетронутым — от резных жестяных петухов на коньках до горшков на плетнях. Леденёв, надо думать, берегал родной хутор для будущей жизни, как и Гришка хотел сохранить для себя — не запятнанным кровью и не выжженным наполовину (ни на мужицкую, ни на свою, казачью, какую разорили бы в ответ), со

всеми колодезными журавлями, с железными и камышовыми крышами, с засыпанными млечным снегом яблонями своего заповедного детства.

Какой же еще новой, иной и лучшей жизни тебе надо, когда все уже есть? — как будто спрашивал Халзанов Леденёва и каждого гремучинского мужика, ушедшего от дома воевать за мировую справедливость, повинувшись какой-то родившейся раньше него, мужика, непостижной тоске, и тотчас говорил себе: «Это у нас все есть, да и то не у всех. Они за то, чтобы им лучше жить, воюют, а мы за свое коренное довольство, за то, чтобы всю землю на Дону под собою оставить».

Он знал, что увидит, продвигаясь вглубь хутора, но сердце все равно сщемило, едва схватил глазами смоляное облако, расплывшееся в небе, как выпущенные морским чудовищем-октоподом чернила в бирюзовой воде.

Раздав необходимые распоряжения, крупной рысью поехал туда, где когда-то впервые столкнулся с зеленым еще Леденёвым и не смог обскákat его на глазах у ничьей еще Дарьи. Навстречу несло запах гари. Достигнув окраины, увидел пылающее на отшибе подворье. Пламя то мускулисто вздымалось, то клонилось под ветром, перекидываясь на сараи и сохи плетня, и вот уж над заплавленными огненной рудой крышами зазыбился, потек дрожащий воздух, как будто сама твердь небесная расплавилась от жара.

Налетающий ветер раздирал огневые полотнища на лоскуты, разносил над толокой летучие ворохи искр. Толпа хуторских стариков, баб, ребят полукольцом охватывала двор, замороженная вот этим светочем беды, который затмил само солнце.

По шляху пылили подводы, с мычанием тянулось угоняемое тягло — народ бежал на юг, от выезжавших будто прямо из пожара, из огненно кипящей преисподней казаков.

Когда Матвей приблизился к плетню и лицо опалило прихлынувшим жаром, в курене и сараях вовсю уж трещали и лопались матицы. Болящими от дыма, ожженными глазами он вглядывался в жалостно-благословенные, угрюмо-неподвижные, страдальчески изломанные лица, напрасно силясь угадать среди них кого-то из леденёвской родни. Увел Гришка всех?..

Никто не выл, не бился головой о землю и не приник к распластанному телу, сросшись с мертвым в окостенении последнего объятия. Но вот в онемевшей, почти не шевелящейся толпе живых, готовых вмиг отпрянуть от разлива пламени, Матвей различил что-то мертво недвижимое, подобное колоде, кряжистому пню. То стоял на коленях могучий, седогривый старик, который показался столь похожим на отца, что Халзанов аж вздрогнул. Точно так же слиняли, словно пеплом подернулись всклокоченная грива и окладистая борода, точно так же обуглилось, почернело лицо и у бати, убитого крещением Мирона в большевистскую веру и позором на весь их халзановский род.

С перекастистым грохотом лопнула балка, и крыша куреня с тягучим скрипом, с живым подвывом, визгом поплыла и обломилась до земли, взметнув клубы пламени и огненных искр. Постарев с быстротою пожара, леденёвский отец не мигая смотрел на уже невесомый в распаде скелет своей жизни, докрасна накалившийся и горящий, как кровь. В пристывших, немигающих глазах плясали отблески огня, в упавших по швам земляных, узловатых руках была такая страшная, глухая обезволенность, что Матвей отвернулся.

Еще одна толпа народа грудилась у ветряка, от нее отделился казак на гнедом дончаке, ударился наметом под гору, и Халзанов узнал в нем Григория. Лицо того сводили судороги, раздвигая рот в произвольной бессмысленной улыбке. Взгляд был текуч, неуловим — как на солнце, не мог посмотреть на своих хуторских. Осадив жеребца, длинно выругался:

— Народ к ветряку набежал — наши все, казаки! Испугались, что мельницу тоже спалят. А энти-то черти — под красных, так наши старики за колья — ветряк отбивать... чуть не цокнулись! Насилу завернул, сказал: уговорюсь. Ведерников, мать его черт, себя за ... укусит, лишь бы кровушки власть насосаться. Гутарю ему: ветряк

леденёвский, а хлеб? Наш, казачий! Весь хутор оставишь без молова. О как воюем, брат, — самих себя жрем. Чужих не надо при таких своих.

— С Леденёвыми что?

— А вон погляди — теперь уж, кубыть, не подымет. Ить на шестом десятке в люди вышел, а зараз откуда пришел, туда и вернулся, как мертвый во прах, — оттеснил его в сторону Гришка.

— Бабы, ну?!

— Грипка, дура, убегла верхи — к брату Ромке! Хотел было силом ее сдержать, да тут ветряк, сбежались наши хуторские: Гришка, выручай! Красноуки хутор мельницы напрочь решают. Иди, мол, к ним, анчибелам, от нас парламентаром.

— Ромкина, Ромкина?

— Спровадил насилиу. Беременная зараз — пузо уж видать, вот и охали, клячились. Степан повез, брат. К тебе, к Дашутке в гости. А хучь и в Целину — мужичье-то вон, ишь, побегло от нашего казацкого суда. Какие-нибудь да уйдут, особенно кто без имущества. Мовет быть, и она уже сегодня у мужа была бы.

А и впрямь, может, зря он все это придумал? Попробуй еще доберись до Багаевской, приютись невидимкой среди настороженных казачьих куреней. А тут, в степи бы взяли — лучше? Куда? В Целину? Коль побежала с хутора, так все, мужичка, партизанка.

Тут на него нашел неизъяснимый страх, соединенный с жалостью и отвращением, какие испытываешь, когда от нужды иль нечаянно губишь совсем еще слабое, предельно близкое к утробе ли, к яйцу ли существо, когда внезапно прикасаешься к чьей-либо новой жизни, ощущая, что жизнь эта вывихнута уже в самой своей первооснове, — к раздавленному дикому утенку, не различенному в траве, к бельмастому щенку, который, верно, так и не прозреет в отличие от братьев и сестер, к уродливому жеребенку с доверчивыми, устыженными глазами и обреченными усилиями встать на шаткие, негнущиеся ноги.

Через миг ему стало смешно. В орлянку играем — все на кон поставили: любовь свою, родителей, потомство. Сегодня тебе — завтра мне решка выпадет. Такая война. Не ваши ли Советы начали резню? Сперва офицеров на фронте, потом в Новочеркасске кого ни попадя имущих, потом по Манычу, по Салу мирных казаков — за те же самые погоны, за лампасы. Стариков не жалели, кужат. Для вас жалких нет, а ваши неприкосновенные?.. «Положим, они виноваты, да и мы ить не меньше, — обрывал он себя. — Решили: ежели для красных Бога нет, то и нам божью правду можно уж не блюсти».

И много еще думал, смотря на порхавшие в воздухе антрацитово-черные хлопья, на бегущих с баграми и ведрами хуторских казаков и казачек, боящихся, что пламя перекинется на их, соседние, дворы, захватят гумна, огороды. Крутил жгутом одну и ту же мысль о всеобщей и взаимной виноватости, но в оправдание себе не получалось выдать ни капли: виноваты-то все, а живот этой бабы — на нем.

XLVII

Февраль 1920, Верхний Янченков, Кавказский фронт

Все делалось по леденёвскому замыслу. Вскипевшая в намете Горская бригада покатила в обход непролазных чаканных разливов, и навстречу ей хлынула лава левофланговых терских полков, клокоча, разливаясь, как пламя по веревочной петле, которой ловят скорпионов пастухи, — забирая правой и правой для охвата утекающей Горской.

Сергей, не отрываясь от бинокля, видел, как два живых потока несутся встреч друг другу по своим невидимым излучинам со скоростью степного весеннего пожара, наперегонки поглощая копытами ничейную заснеженную целину, и как от этого нетронутого чистого куска остается лишь узенький полумесяц земли. Кровавой алой каплей мигало над родным леденёвским потоком бригадное знамя, само летучий конь,

с которого содрали кожу. Казаки, забирая правее, накатились своим левым флангом на правый фланг Горской, выдавливая Леденёва на «штыки» чаканной непролази, но Леденёв, уж миновав озера, протянул всю бригаду меж казачьей дугою и дебрями, как нитку сквозь игольное ушко, с неуловимой быстротою взял левее, меняя направление удара, и вонзился уже в самый корень чужого крыла. Так рубят в подмышку уже на последнем сближении, выметывая шашку снизу вверх под занесенную, предельно напряженную руку привставшего на стременах противника, — ударом, что уже никак не отразим и достает до дерева артерий.

Сергей дрожал, кидая взгляды на прикинувшегося к биноклю Мерфельда и извертевшегося в нетерпении Гамзу. И вот когда сердце его, казалось, вообще остановилось, нечеловечески невозмутимый Мерфельд наконец-то оторвал от глаз бинокль.

— Пора и нам. Делай, — сказал он Гамзе.

— Сам вижу, — огрызнулся комбриг. Он, казалось, хотел бросить Мерфельду что-то еще — «твое высокоблагородие», обидное, — но какая-то уж посторонняя воля вступила в управление всем его существом.

Ощерившись, он выскакал пред строй и, повернувшись к линии двойных колонн лицом, разом вырвал из ножен драгоценную шашку. Взял переплывающего кабардинца на дыбы.

— Бойцы-ы! Орлы революции!.. — предельно поднятый осиплый его голос сорвался на повизгивающий хрип. — Не щадя своей крови... Шашки к бою! В атаку марш-э-марш!

Блеклый ливень клинков хлобыстнул снизу вверх, иссек сизо-белесую настуженную пустоту над головами партизан, блеснул в последней сукровице дымного заката. Сергей едва успел поднять клинок, как Степан без его шенкелей сам рванулся в намет и понес, забирая предельную скорость. Неудержимо полетел навстречу белый плат земли, глаза застлали слезы, выбитые ветром, и сквозь них ничего уже не было видно — лишь полынную сизь вечно недосыгаемой дали. Но вот эта сизь вскипела во весь горизонт — навстречу будто бы пошел буран, превращая и воздух, и землю в летучий снежный прах и белый мрак. И вот из этой бешено кипящей мглы, как фреска Страшного суда, что проступает сквозь известку на стене, уже знакомо и нестрашно появились призрачные всадники — крылатые черными бурками, похожие на воинство химер-нетопырей, — но и впрямь разжиженным оказался их строй: ушли, ушли на левый край за Леденёвым не меньше двух, а то и трех полков, растянув, истончив посередке свой фронт.

Сергей почуял торжество: прорвем!.. Но тут вдруг показалось, что Степан по брюхо провалился в снег, и сердце ссудорожил страх: увязнем!

Снег под копытами летящих эскадронов и впрямь стал глубок, но странное дело, неистово мелькающие ноги лошадей взбивали его как огромную, распотрошенную перину, вздымая вихрящийся пух надо всем этим миром. Сыпучий, молодой, недавно наметенный, снег будто вовсе не мешал остервенелому карьеру, и вот из бешеного курева возникло смугло-синее кавказское лицо, в упор ударил взгляд расширившихся глаз, как будто с краями налитых чернилами, — рванув что было силы поводья на себя, Сергей плашмя отвел удар, и руку у него едва не вывихнуло в кисти. Ушел вперед и тотчас же увидел уже двух, идущих на него, — заметался в себе, на скаку разрываясь меж их занесенными шашками, горячечно отсчитывая конские броски и замеря боковые расстояния. И тут один, идущий слева, всплеснув руками, выгнулся дугой, роняя шашку и поводья, — Мишка срезал его из нагана.

Сергей терялся в ближней схватке, когда две лавы, войдя друг в друга, словно вилы в вилы, закручивали хаотическую коловерт, когда его швыряло, прибывало непонятно к кому и надо было уклоняться пируэтными, вести коня полувольтами, вертеться флюгером, сворачивая шею, и самой своей кровью, зрячей в кончиках пальцев, сторожить каждый сабельный всполох. И вот он угодил в такую железную метель, в

безвыходную давку конских мускулов — прорвав два ряда, эскадрон Тихомолова смешался с сотней гикающих терцев.

Они ничего не боялись — сходились грудь в грудь, с кошачьей гибкостью увертывались от ударов и искусно рубили, коварно, исподнизу, витками, наотмашь и с такой пробивающей силой, что свинцовая боль ударяла в сведенные пальцы, во все твои суставы от запястья до плеча.

Один, потерявший папаху, с обритой синеватой головой и рыжими бараными глазами, зарыскал шашкой в воздухе с такою быстротою, что у Сергея начала отвертываться кисть. Отбившись двукратно, он сам кинул взмах, рубя по погону, — абрек ответил молниенным закрытым ударом... клинок его, дав вспышку фотографического магния, с шипением скользнул по северинскому клинку до самого эфеса, и будто бы маленький смерч скрутил кисть Сергея жгутом, корчующая электрическая сила рванула шашку из руки, оставив в ошкуренных пальцах отчаянную пустоту.

Не успел обмереть от сознания: «все!», потому что вот этот дающийся очень немногим прием восхитил его, словно ребенка невиданный фокус. Пустая правая рука сама взметнулась к голове, по-детски защищаясь, как от солнца, бьющего в лицо. Лишь по какому-то наитию толкнул Степана влево и послал вперед — жиганула резучая боль, и опять не успел рухнуть сердцем от ужаса перед калечеством, и немедленно следом, одновременно с болью пришло ликование, верней, какое-то неописуемое чувство, которое, быть может, ощущает дикий зверь, сам себе перегрызший заклепленную лапу, чтобы уковылять на свободу.

Джигит лишь кончиком клинка достал его запястье. Все время бывший рядом Жегалёнок и еще двое красноармейцев окружили Сергея и прикрыли его. И терцы стали заворачивать коней, один за другим вырваться из перемешавшейся, раздерганной и поредевшей толпы.

Ведомая самым комкором Горская, расклинившая белый фронт правее, устремила в прорыв. Донская нажимала слева, грозя забрать ядро агоевского корпуса в кольцо. Рассеченная натрое белая лава разлилась рукавами, утекая на волю, как вода в три пробоины, еще, наверное, надеясь перестроиться и слиться, но уже ища спасения на льду реки Подпольной и на том берегу.

Сергей привстал, ощупал руку и понял, что дубленый полушубок спас ее. Все мускулы его дрожали с такой частотою и силой, словно выбрался из полыни. Ладонь, потерявшая шашку, зудела. Ранение было пустячное, но все-таки манжет набряк от крови. Он судорожно вырвал наган из кобуры и тотчас же передал его в левую руку.

— Который раз уж скобленило вас, — сказал Жегалёнок, перевязывая ему запястье. — Зато сразу видать: как есть сознательный боец. Не робеете вовсе да и выкомариваете ничего себе так, подходяще, как, скажи, на коне родились.

— А шашку, видишь, потерял, — дрожливо улыбнулся Северин.

— Да разве беда? Зараз же и добудем вам новую, да ишо и получше, гурду в серебре. У них ить, черкесюк, оружие богатое, а скакунам иным и вовсе цены нет. Поедмте скорей, товарищ комиссар.

Все пространство до самого берега, как громадный загон орешками овечьего помета, было усеяно порубленными терцами, в своих раскрывшихся бурках и длинных черкесках вблизи похожими на сшибленных в полете черных птиц. Громадные лохматые папахи, сбитые с голов, напоминали срезанные венчики огромных черных хризантем, а обнажившиеся выбритые головы казались детски маленькими. Своих, красноармейцев, было меньше — и чем ближе к реке, тем все реже. И лошадиных трупов много меньше, чем людских, как и бывает после сечи: коней в ней задевают, как правило, нечаянно, в чем Сергей находил даже и справедливость: коней-товарищей, спасителей, в каком-то странном смысле было жалче, чем людей. Красноармейцы по своим коням рыдали, ложась на открытые раны ничком, друг по другу же — нет.

— Энтот мой! — хрипато крикнул Жегалёнок, пустив коня за прозрачно мелькнувшим справа белым жеребцом без седока. — Аргамак! Истинный бог, аргамак!

Сергей хотел взмахнуть на маковку кургана, чтобы оглядеться, но тут Степан встревоженно всхрапнул и встал, как врытый, пугаясь трупа в тонко перетянутой черкеске. Сергей уже не мог разглядывать лица убитых, всегда вызывавшие чувство ничем не разъяснимой тайны, — за сегодня насмотрелся на своих и чужих.

Спустившиеся сумерки избавили его от этого труда: на пепельном снегу, под трупно темнеющим небом было не видно ни выражения лица, ни характера раны.

Подъехал Жегалёнок, ведя за собой в поводу изловленного аргамака, тонконового, статного, с лебединым изгибом черно-окровавленной шеи.

— Самохин, прими! — крикнул он и, тотчас же слетев с седла, вцепился в убитого коршуном. — А я что гутарил. Богатая справа. Вот она вам и шашка, товарищ комиссар. Такую и нашему любушке поднести не зазорно.

«Ну вот я им и свой, — подумал Северин со сложным чувством отторжения, стыда и удовольствия. — Уже и мародерствуют при мне, убитых раздевают. При Шигонине бы постеснялись, наверное... А как же мне без шашки? Законные трофеи — и кони, и оружие».

— А энто что такое? Портмонет? — потрошил Жегаленок убитого. — Опять же вам, товарищ комиссар, нужнее — тута чистых листков ишо много.

Сергей хотел брезгливо оттолкнуть протянутую записную книжку, но любопытство перевесило: под «кожей доброго товару» могла быть внутренняя жизнь убитого врага, та жизнь, в которую никак иначе не проникнуть.

— А ну прекрати! — прикрикнул, стискивая книжку. — Еще портки с него сними. Поехали. Живо!

Орудия двух корпусных дивизионов уже сотрясали массивы тугого, студеного воздуха, неумоимо слали трехдюймовые бризантные снаряды на тот берег. Изрубив окруженных и загнав убегающих терцев и кубанцев на лед, идущие в погоню леденёвцы были встречены сильным пулеметным огнем из-за речки и, отхлынув от берега, рысью стекались на призывные звуки полковых своих труб, подбирали стенающих раненых, съезжались за курганами во взводные ряды и шагом уходили в отбитые у белых хутора, растянувшись, как обозы на ярмарку.

На смену им уже ползли как будто побывавшие под ледником колонны 21-й стрелковой дивизии — занять рубежи вдоль по берегу, вдолбиться в промерзшую землю насколько возможно.

Сергей увидел Леденёва. Тот ехал с полудюжиной конвойцев вдоль колонны — как всегда, нестигаемо прямо, но и в нем ощущалась какая-то пугающая изработанность, вроде и объяснимая, но в то же время будто бы не связанная с той работой смерти, которую он сделал за сегодня.

Сергею опять показалось, что этот человек уже вплотную подступил к какой-то неведомой черте, значение которой знает лишь он сам. Да что же это за отметка, какой такой ноль, полюс холода? Предел неверия в большевиков? В то, что партия примет его навсегда таким, какой есть, не желающим и не могущим себя переделать? А может, уже в саму революцию? В то дело, за которое он столько раз водил людей на смерть, за победу которого лично заплатил человечески несправедливую цену — любовь, так что, кроме самой революции, у него ничего не осталось?

Пока в корпусе ждали высокую ревизионную комиссию, леденёвских товарищей, можно было считать, что место встречи Леденёва с ними и есть та самая незримая черта, на которой должны разрешиться все его, Леденёва, сомнения, что эти-то двое и должны подтвердить: мы верим тебе, ты нам нужен. Но Халзанов был мертв, Зарубин ранен так серьезно, что едва мог дышать, — и какой такой встречи, с кем еще мог хотеть Леденёв, кому еще мог верить целиком и больше, чем себе, да еще и на этой земле, где у него, как знал Сергей, никого не осталось?

Да, были родные: отец, брат, сестра, быть может, целые и невредимые, потерянные лишь на время, но искать их следы надо было на Маныче, где-то в Великокняжеской, а Леденёв шел на Багаевскую, к Дону.

Колонны Партизанской втягивались в хутор. Поколебавшись, не поехал за

комкором, а повернул на двор приземистого куреня. Тут, на отшибе, встала пулеметная тачанка. Красноармейцы заводили лошадей на баз.

— Вы какого полка, ребята? — спросил Сергей, остановив Степана среди них. — Не Кубанского будете?

— А сам-то ты кто?.. Прошу прощения, товарищ комиссар. В потемках не признали. Так точно, Кубанского.

— Чюпахина знаете? Фому Проговорева?

— Так погинули оба за Манычем. Кубыть, мертвые оба лежат. Попятнили нас белые, зато зараз мы с ними хорошо поквитались. А зачем же вы спрашиваете? Мовет быть, к ордену хотите их представить за низаветное геройство? А что? Хучь маткам утешение, тем более ежли к нему какое содержание положено.

— Да вот судьбу хочу их выяснить, — ответил Северин, сходя с коня. — А то были бойцы и нету. На огонек-то пустите?

Сергей с Жегалёнком привязали коней к перилам крыльца и вошли за бойцами в курень.

— Ну так что о Чюпахине скажете?

— Вояка он добрый. Не то что отчаянный, а водил ничего себе так. Казаки за ним не пропадали.

— Вы, таршкоми́сар, мовет, сомнение имеете насчет того, что он, Чюпахин, в белых был, — сказал молодой, заматерелый взводный, усмешливо сощутив карие глаза. — Так много у нас тут таких. Да вот хучь я. Сманули нас атаманья, попользовались нашей темнотой.

— Ну вот и спрашиваю, какой Чюпахин человек. Что о Советской власти говорил? — Сергею сделалось смешно: он сидел среди бойцов, которые лишь час назад рубили белых, проделав перед этим сумасшедший многоверстный переход, и в то же время против бывшего белогвардейца, который мог быть заодно с Чюпахиным и прочими.

— Да бирюком он жил. Мовет быть, по свойству характера, как есть такие люди — молчком живут, без шутки, а мовет, и держал что за пазухой, — ответил взводный, не сводя с Сергея усмехающихся глаз. — Однако вы, товарищ комиссар, прямо как трибуналец допрашиваете или опять же особист?

— Выходит, так, — насильно улыбнулся Северин. — А что же, наш начальник особого отдела Сажин часто у вас бывает? Не сильно досаждае вам таким, какие в белых были?

— Да как сказать. Он больше с эскадронными. Бывало, и заарестовывал кого из наших за грабильовку, а чтоб за пропаганду или ишо чего похуже, так будто бы и нет. Да и зря вы спросили, товарищ комиссар. Он ить такие разговоры с каждым глаз на глаз веде, и об чем он с тобою гутарил, кто же вам исповедуеся?

— А бой под Весёлым вы помните? — спросил Сергей, почувствовав, что уперся в тупик.

— Какой же из всех?

— А тот, когда пушки на левом берегу оставили. Телятников такой был, пулеметчик.

— А энто-то чем подозрительный?! — изумленно рассмеялся взводный. — Он, кубыть, и в ячейку заявление подал о принятии в партию, не казак никакой, а как раз-таки мастеровщина. Бывало, побудит нас всех, соберет и давай из газеты зачитывать, чего Ленин аль Троцкий сказал. Да энтого бы первого живым на небо взяли, когда бы у Советской власти загробная жизнь полагалась.

— А что, и видали, — сказал вдруг молодой боец — Из боя шел в тылы, с погремущкой своей на загривке. Куда, мол, бегешь, — я ему, — когда ты должен нас из пулемета заслонять?

— Это уже на правом берегу? — осведомился деловито Северин.

— Выходит, так, на энтом, под Балабинским. А он мне и гутарит: заграждать я, мол, вас не могу, потому как все диски давно расстрелял, и зараз я уже как

выхолощенный, затем и отступаю с пулеметом, чтобы он белой сволочи нипочем не достался.

— И больше вы Телятникова уж не видели? — спросил Северин с ничтожной надеждой, что кто-то видел рядом с пулеметчиком знакомое лицо из своего командного состава.

— Так точно, не донес сердяга пулемета, погинул вместе с ним.

— И об чем же это вы нас пытаете, никак в толк не возьму, — усмехнулся взводный Шевелёв. — То об Чюпахине допрашиваете, то о чекисте нашем, то о пулемете. Что ж, за оружие отчет держать? Так тем же днем не то что пулемет, а почитай, все пушки в Маныче поутопили — и ничего, командование из-за них нас не шибко ругало да почитай немедля новые дало.

— Чюпахин пропал, — ответил Сергей, — и Телятников пропал — вот о них вас и спрашиваю, чтобы знать, что родне их писать, и вообще чтобы память...

— Да бросьте уж, товарищ комиссар, — сощурился взводный насмешливо-знающе и как бы обижаясь на Сергея. — Народ мы, предположим, темный, да только ить и не телята. Совсем слепыми жить ишо не научились. Ежли начистоту, догадаться-то немудрено: хотите знать, не тот ли пулемет в Балабинском стучал, когда комиссаров побили?

— Угадали, — признался Сергей.

— Мовет быть, и тот, а мовет, и не тот, — рассудил Шевелёв. — Обозных-то наших тряхнуть — так с пяток пулеметов под полостями отыщете. Прибрали к рукам где-нибудь и держат при себе на случай, ежли белые прорвутся. А как ишо? Иначе пропадай, искрошат конные — наскочат на обоз.

— Ну что ж, спасибо вам, ребята, — сказал Сергей, вставая.

— А вы особиста бы и расспросили, — сказал Шевелёв ему в спину. — Уж он-то знает, где чего лежит.

«Уж он-то знает, — повторил про себя Северин, выходя. — И где что лежит, и на ком какой грех. И пулемет-то знает лучше всех, и куда канифоль подсыпать, чтоб броневик заглох среди дороги. Но почему же Сажин сам все рассказал? Броневик сам обследовал? Улики дал, выходит, на себя? Иначе нельзя было? Другие бы установили, что к чему, — тот же самый водитель? Симулировал рвение: мол, глядите, каков я — все нашел, все собрал? Что он большая сволочь, это ясно, причем неуязвимая, безгрешная, можно сказать. Убиты двое комиссаров старшего звена, и этот гад воспользуется этим, чтоб свалить Леденёва, — ему лишь намек дай, что высшее начальство этого и ждет. Но устроить убийство своих, тех самых высших комиссаров, перед которыми трепещет? Отцепиться от партии? Нет, слишком страшно. Для таких и придумана смертная казнь, чтоб мораль вытекала из страха. Допустим, есть мотив — свалить Леденёва, устроить всё так, чтобы подозрения прилипли к нему, как стальные опилки к магниту. Но кто всё исполнил? Извеков, золотопогонник, который независимо пришел с той стороны — комкора убить. И кто же из наших и где мог связаться с Извековым? Кого бы тот послушал, кому бы подчинился без сомнений? Выходит, опять одному Леденёву — товарищу старому по австрийскому плену? А где Извеков объявился? В Новочеркасске, в госпитале, так? Получается, Зоя... замешана? За ней пришли из белого подполья, от отца. Шигонина ранили. Так, может, там-то и тогда-то кто-то с ними и связался, с офицерами. Возможно, тот, кто сразу понял, что происшествие с Шигониным — это не пьяная ножовщина. Шигонин был там вместе с Зоей и видел этих офицеров, но почему-то умолчал, что те неведомые двое были не похожи на простых красноармейцев. Да как же это в драке разобрать? Его ведь немедленно ранили. Он ничего уже не мог, разве только мычать. Зато Сажин немедля примчался и тотчас Зою допросил. Да ну и что же из того? Чтоб связаться с подпольем, надо знать хоть какую-то явку и пропуск. А Сажин — это Сажин, рабочий, большевик, геройский защитник Царицына. Он, сволочь, связывает свое будущее с партией, он как слизняк ползет на солнце — где тепло, там и правда. По крайней мере, он мне так и заявил, открыто, бесстыдно. И будто бы и не соврал, и это-то самое страшное: он,

вероятнее всего, и вправду наш, плоть от плоти рабочего класса. Извеков враг, но честный враг, а этот — наша собственная язва, опухоль, развившаяся в организме партии, и сколько же еще у нас таких переродившихся, хотелось бы мне знать... Отвлекаетесь, товарищ Северин. А если он служит и нашим, и вашим? Ведь вот как ловко получается: убрать Леденёва — это можно поставить в заслугу себе и перед белыми, и... перед кем же? Кто у нас его хочет свалить?.. Опять отвлекаешься. Вчера он, Сажин, был с тобою под Сусатским, и если б не удача, наутро ты бы с ним уже не говорил. Ну а такая ли случайность, что он там уцелел? Вон как из пулемета вышивал — за четверть минуты гнездо подавил. И Чюпахина хлопнул — котелок расколол с первой пули... А, всё вопросы без ответов, догадки, фантазии. Одно только и ясно, что с Зоей может быть беда. И с Леденёвым».

У дома, занятого штабом, густились конные и пешие, а у стоящей на базу санитарной линейки он увидел Зою — уже в не донской, будто сказочной шубе, а в старом куцем полушубке. Как будто тайную отметину кто сделал на ее лице. Как будто судьбу ее уже предрешила какая-то нечеловеческая воля. Как будто ей и вправду приходилось преодолевать особенную плотность воздуха, среды, дышать спертым духом подвала, гипнотическим запахом смертного тлена, который извечно исходит от глубинной земли.

На линейке пластался комендант штаба Носов, торжественно-прямой и успокоенный, как мертвец на столе. У него была скверная рана: пуля вошла ему в живот. Его с чрезвычайной осторожностью подняли и понесли на полости в дом, и Зоя пошла за ним как привязанная.

Северин шагнул следом, но не в кухню, а в горницу, где нашел Леденёва с Челищевым и Мерфельдом. Те сидели над картой в полянке керосинового света от «летучей мыши», пили чай и курили.

Леденёв, как машина, диктовал боевую задачу на завтра: рано утром, до света, всем бригадам идти вдоль Подпольной на хутора Федулов и Хохлатовский, произвести обход отброшенного за реку агоевского корпуса и устремиться на Багаевскую с юга. Приказ был составлен, и Северин поставил свою подпись сразу под леденёвской.

— Пиши на имя командарма, — сказал комкор Челищеву. — Ввиду неспособности комбрига-один командовать вверенной ему частью, во избежание возможной катастрофы прошу Гамзу сместить и заменить его надежным командиром.

«Что ж, к этому и шло, — подумал Северин. — Все равно им вдвоем не ужиться». Но рука его все-таки остановилась в вершке над бумагой.

— Никак сомневаетесь, Сергей Серафимыч? — осведомился Мерфельд холодно-насмешливо.

— Ни в чем не сомневается только осёл, — парировал Сергей.

Он не задумался об участии Гамзы, а споткнулся пером о саму леденёвскую подпись. Он видел ее много раз — почти без округлостей и завитушек, с глубоким отпечатком от сильного нажима, что, как считалось, отражает своенравие и властность, страсть к противостоянию, упорство. Ничего удивительного. Но вот показалось, что где-то когда-то он видел и другую его подпись, — ну, конечно, в Москве, на старых его рапортах и письмах от 18-го, 19-го года, когда перелопачивал леденёвское «дело», — и вот теперь, как будто наложив те призрачные старые на эту новую, последнюю, наткнулся словно на фальшивую банкноту. На старых бумагах заглавная «Л» без отрыва, петлей переходила в столь же рослую, писарски залихватскую, горделивую «е», похожую скорей на «ять», чем на саму себя. Здесь же «е» была маленькой, сдержанной, никак не приукрашенной. Там человек как будто похвалялся самым умением писать (не хуже «благородных»), а здесь спешил оттиснуть отпечаток, вот именно что навязать свою волю бумаге и даже как бы показать глубоким следом, что он еще в силе, что он — это он.

Сергей на миг оцепенел. Да, почерк с возрастом меняется — и между ученическими прописями и взрослыми крючками примерно такая же разница, как между первыми шагами человека по земле и скачкой верхом. В коротком промежутке времени на руку

может многое подействовать — первым делом увечье, болезнь, приобретенный тремор, нервный тик, — и Сергей в тот же миг объяснил себе разницу знаменитым тяжелым ранением. Леденёв ведь и вправду без мала воскрес в июне девятнадцатого года. У него отнималась рука. Не то что рубить и стрелять, но и ложку ко рту подносить пришлось учиться заново. С той пыточной кровати, со «смертного одра» (сам Спасокукоцкий не верил, что Леденёв восстанет к жизни, тем более к прежней, военной) поднялся другой человек. Это было понятно и по новым его фотографиям.

Сергею сделалось смешно. Челищев, Мерфельд, Сажин — кто угодно мог оказаться кем угодно. Шигонин, и тот может скрывать свое прежнее имя и истинную сущность. Но Леденёв — кем мог быть этот человек, как не собой самим? У него могло иссохнуть, обгореть, зарубцеваться и стать неузнаваемым для матери лицо, как профиль на монете, над которой поработали грабштихелем, могли измениться и почерк, и голос, отсохнуть рука, помрачиться рассудок, иссякнуть вера в революцию, но сама его страшная и прекрасная жизнь могла быть лишь единой непрерывностью.

XLVIII

Апрель 1918, Гремучий — Багаевская, Область Войска Донского

Свалившись с запаленного коня, Григорий прохрипел, что казаки идут по Романову душу — и первым делом за его женой.

Всесильный страх плеснулся в Асю, но тотчас заставил собраться в дорогу, тот страх, что от начала мира движет всеми беременными и кормящими, и сердце ее поднялось и забилося в горловой тесноте — как будто для того, чтоб не ударить, ничем не повредить, не потревожить неизмеримо слабую и хрупкую, нестерпимо весомую малость плода, которую она жалела больше, чем саму себя, страшась не дать ребенку белый свет и воздух жизни как будто и сильнее, чем горя своей смерти.

До последнего времени она не боялась войны, а вернее, солдат: в далекой Галиции, на Украине, перед ее глазами проходили сотни раненых — мужиков, казаков, рядовых, офицеров, — и все они смотрели на нее с мольбой и благодарностью, с тем блеском слез и с тем доверием, с какими бы смотрели на своих же матерей, сестер, дочерей и возлюбленных. Да, то были раненые, придавленные болью люди, все до единого похожие и на иссохших стариков, и на больших беспомощных детей, и нужна им была материнская сила участия.

Она, конечно, видела, как все эти солдаты, перебивавшие в госпиталях, издрогшие в окопах, заеденные вшами, с неумолимостью ожесточаются, готовые уже и не ударить, а убить за то им потребное, чего так долго были лишены. Но ей казалось, что солдатское ожесточение происходит как раз от лишения материнской и женской любви, только от невозможности жить той естественной жизнью, от которой их всех оторвали. И как раз возле женщины — хоть случайной сестры милосердия или хозяйки, к которой он определился на постой, — и должен был солдат оттаять сердцем, вспомнить дом, мать, детей и не только не сделать худого тебе, но и напротив, окружить заботой, оберечь или хотя бы устыдиться своих грешных помыслов и звериных желаний.

Жизнь ее до Романа была нехороша, и потому она не верила ни в доброту невидимого Бога, ни в мягкосердие людей, и не ждала от них ни милости, ни уж тем паче той любви, что вызывается лишь силой кровного родства, да и то не всегда. Но все же ей казалось, что человек, пусть и озлобленный до края, по собственной природе не может преступить какую-то последнюю черту, нарушить завет с чистотой своей собственной матери, с чистотой своего же отцовского или сыновнего чувства.

Роман ушел, и в доме поселился страх — не тот острый страх, какой бывает при стрельбе и звуках разрушения, восстания, погрома и потому не может продолжаться бесконечно, не слабея, а страх как воздух жизни, которым нельзя отказаться дышать. Он стыл вокруг студнем, который приходилось разрывать, преодолевая его давящую плотность, как рыбы преодолевают сопротивление воды, он переполнил весь Гремучий,

где казаки страшились ее мужа как антихриста, а семьи красных партизан боялись казачьего страха.

Когда за околицей хутора случился первый бой и еще не остывший от страшного дела Роман ввалился на порог родного куреня, она, наверное, впервые поняла, как страшен он становится в бою, на коне, в непонятном холодном, трезвом, как ключевая вода, опьянении собственной силой.

Когда на двух подводах провезли порубанных гремучинцев, она увидела, как смотрят на него родной отец и младший брат — как две побитые собаки на хозяина, который плохо кормит и обходится, но все-таки не убивает. Их глаза нескрывая говорили всю правду: это он, Леденёв, запустил к ним под крышу гуляющий на беспредельных просторах бесчеловечески холодный, лютый ветер, из-за него лишилось смысла всё: весенняя пахота, сев, починка мельничных осей и жерновов: «Для чего наживать? Все одно пропадет». От этого она много острее, чем раньше, ощутила себя приживалкой в хозяйстве Семёна Григорьевича и даже будто бы живым магнитом для беды, которой Леденёвы ждали ежечасно.

И это бесконечное, неизживаемое ожидание беды душило ее собственную радость, то чувство, что и счастьем нельзя было назвать; он шевельнулся в ней, толкнул ее под сердце, оповещая: я есть, я здесь, в тебе, я уже человек.

Она ловила руку Леденёва и прикладывала к своему животу:

— Вот, слышишь?! Вот сейчас опять! Он это, ножкой!

И этот страшный человек, которого она уже не могла не любить, по-детски растерянно, зверовато-затравленно и даже как бы неприязненно ей улыбался, прикивал к пузу ухом, щекой и так сторожко, подчиненно замирал, что Асе верилось: уже не оторвется, никуда не уйдет, еще одна минута неподвижного внимания — и покой послушания переполнит обоих, потечет в жилах общая кровь.

Такое чувство мира и покоя наполняло ее, что хотелось уже одного — чтобы прямо сейчас все закончилось, чтобы длилась одна только эта минута, чтоб ничего уж больше не было, кроме такого усмирленного и бережно-прислушливого Леденёва, кроме мягких ударов невидимой крохотной ножки у нее в животе, у него под щекой. Но он отрывался и, так же диковато улыбаясь, уходил, оставлял ее наедине с их настойчиво, властно толкавшимся и почему-то вдруг надолго затихавшим топтуном.

Почему не дает новых знаков? Неужели она его давит своей безутешной тоской, неослабной тревогой за жизнь его далекого отца?

У беременных множество страхов: нельзя гладить кошку — дитя родится в шерстке, нельзя смотреть на воду — захлебнется в животе, нельзя наступать на веревку — удушишь пуповиной. А тут был страх не суеверный, а оправданный, не Асин, а общий, как будто вправду поселенный Леденёвым в курене, — как дым от огня, обратная волна того панического ужаса, который Леденёв, воюя, наводил на казаков...

Семён Григорьевич, осанистый, несуетный, подкошенно сел, где стоял, безвольно уронив разбитые работой руки, а Грипка напустилась на Степана:

— Вези Настёнку к Дону! Взыграет до греха — как Ромке в глаза глядеть будешь?

— А он-то нам — как? — Степан катал по скулам желваки, и лоб его, набрякший напрасным усилием мысли, был, казалось, готов разломиться.

Взглянул на Асю, словно на рожаящую под крыльцом приبلудную собаку, и велел собираться.

Живот, при общей ее тонкости уже начавший округляться, выпирать, не то чтобы сильно мешал, отягощая до предательской уж неуклюжести, но ощущался как налитая с краями чаша, вернее, мучительно тонкий, теперь-то уж точно на грани надрыва бурдюк, и каждое движение давалось ей со страхом повредить.

Степан гнал бездорожно, хоронясь по ложбинкам и плавням, лишь изредка оглядываясь на нее и будто бы приказывая взглядом потерпеть: еще ему Асиной дурноты не хватало, — и Ася терпела, колотясь и мотаясь на ухабах и рытвинах.

Перед глазами взметывалось снежное, как будто беременное живительной свежестью облако, ходила поплавам широкая и крепкая Степанова спина в защитной

гимнастерке с темнеющей между лопаток проточиной пота. Железный обруч боли перехватывал живот, врезался в поясницу, и Ася еле сдерживалась, чтоб не вскрикнуть, вьедалась зубами в изжеванный кончик платка. И сквозь эту боль, сквозь биенье повозки — его негодующие, нетерпеливые толчки: немедленно прекрати, мне худо, слышишь, ты? Мне худо оттого, что мучаешься ты, — как смеешь ты мучиться?

— Терпи, терпи, сейчас до Манычу свернем — ишо и не так тряханет... — вдруг начал приговаривать Степан. — Ниче-ниче, погоду чудок, зараз трошки потише поедем.

И вот уж потянуло серным запахом взвороченного ила, и будто чья-то добрая рука окропила прохладой ее мокрый лоб. Чечекали невидимые птицы в камышах и, вспорхнув над рекой, с частотою сердечного трепета резали крыльями воздух. В прорехах высокой куги проблескивала иссиза-зеленая, под солнцем серебрящаяся гладь, причудливо подернутая ряской.

Степан остановился у самого уреза, придушенно прикрикнул на коня: тот с чавканьем переступал по топкой грязи, норовил забрести в глубь реки и отыскать струю почище, посвежее. Живые толчки под ладонью ослабли, и вот уже затихли вовсе, словно он над ней сжалился, словно Ася сумела загладить вину перед ним и в награду за это боль разжала свой обруч.

— Навроде топот, а?.. — повел головою Степан. — Да не, кажись, почудилось. В такую смятению сердце пришло — не то в груди стучит, не то наметом кто беget заследом. Вот ить как, невестушка, — подвел нас всех Ромка. А я ить говорил: не воюй у родного порога. Вон жена у тебя — долго ей порожнем-то ходить? Охота тебе воевать за твою революцию, так езжай куда можно подале в чужие края и воюй там до последнего устатка: теперича, кубыть, везде пошла такая клочка — кто ж хочет свою землю отдавать за просто так? Отца тебе не жалко — жену хучь пожалей. И что ж, он послушал меня? Ниче, как-нибудь проживете, а нет — так революция по всем по вам поплачет. Отец не отец, брат не брат. От кровного дитя и то открестился!

Ася не отвечала: тяжелая, злобная правда Степановых слов выдавливала сердце в горло, как будто отделяя ее, Асю, от их с Леденёвым ребенка, и этот миг взаимной глухоты и разлучения в едином теле был так страшен, что она и вздохнуть не могла, а не то что сказать что-нибудь. Да и не находила слов в защиту мужа и даже чувствовала, что саму ее берет обида на него — что он, Леденёв, обездомил ее, обрек трястись по кочкам, скрываться в камышах, по-звериному чутко сторожа каждый звук по обе стороны наполненного жизнью живота. Воюет за счастье для всех, а ей, ей с дитем когда-нибудь что-нибудь будет? И разве же многого просит она? Да ничего не надо ей, покоя только. Никогда ни о чем не просила. Разве надо об этом просить? Почему не забрал? Уж как-нибудь стерпела бы, перемогла бы тошноту, потряслась бы до нужного места — укрепилась бы чувством разрушенного одиночества. Что ж, она непривычная к жизни походной? И в дороге рожают, в лопухах, как собаки, — насмотрелась на беженков... Не забрал, а теперь, видно, поздно...

— Эх, к дому надо, к дому, — закачался, как маятник, на повозке Степан. — Слышь, Настёна, что думаю — ворочаться мне надо. Не повезу тебя в Багаевскую, потому как ни к чему. Ишь что удумал, черт. А чего же не в Новый Черкасск?.. Халзановы-то энти кто такие? Не то что казаки, а подавно офицера. Мужиков за людей никогда не считали, а нынче через нашего героя враз заворот кровям исделают. Нам и Гришка-то энтог родня — гусь свинье. Доберемся до Хирного — далее не повезу. Есть там кум у меня — энтог нашенский, иногородний, Тимоха-то. Даст бог, и приютит тебя до срока, хлеб даст. А я до дому, ну?.. А что до дому, что до дому?! — закричал на себя. — Чего я могу? У меня войска нет... Что молчишь-то?

— А что сказать? Воля твоя, — сердце Асино сжалось тоской одиночества: ну вот и Степан покидает ее — конечно же, неосудимый в своем порыве к дому, — а вместе с этою тоскою пришло уж и покорное согласие со всем сужденным ей.

Нет-нет, еще не безразличие травы, а безысходная готовность бороться за себя в одиночку: идти хоть пешком, ночевать хоть в овраге, молить чужих людей о крове и

пощаде, приниженно им улыбаться, заклинять Христом-богом, матерями, детьми и даже изворачиваться, врать, прикидываться хворой, слабоумной, не помнящей родства, глухонемой...

Решив не дожидаться темноты, Степан напропалую тронул к хутору. Страх за дом, за семью, казалось, подавил в нем страх за собственную жизнь.

— Эй! Стойте! Кто такие? Откуда едете? — обварил силпый окрик.

— С Гремучего — откуда, — отозвался Степан, вложив в срывающийся голос сколько мог досады: мол, он и рад бы об такую пору никуда не высовываться, да нужда погнала. — Соседка вон, вишь, от тяжести занемогла — стенит: «помираю», и все тут. До фельшера вашенского и везу. Жив-здоров Алексей Николаич-то?

— А чего ему сделается, коновалу? Давай вези: везешь-то стельную, а возьмешь потрошеную. Он тебе ее и отпоет, и помянет, — хохотнул тот же голос, и сердце Аси дрогнуло, задетое вот этой жуткой шуткой.

— Эт верно, — подхватил Степан с насильственным смехом. — У него ить на все один сказ: ерунда, мол, сама пройдет, а все прочее вовсе не лечится.

— А ты, не угадую, не мельник ли будешь? Кубыть, Леденё-о-ов, — налился голос угрожающей и будто бы злорадствующей силой.

— Ну я! — признал Степан со злобным вызовом и тоскливым надрывом. — Чего ж тогда, до фельшера нельзя?

— Э-э, парень, тебе тады не то что до нашенского фельшера, а вовсе по земле ходить нельзя.

— Могили себе впору рыть?! — со всхлипывающим смехом простенал Степан.

— А то-то и ба. Слыхал, поди, как зараз казаки иного из вашего брата землей наделают?

— Я, что ли, за советы глотку драл?!

— Ты хуже. Леденёв ты.

— Леденёв да не тот! Кубыть, за брата не ответчик! Мне советская власть не родней, чем тебе! Я, что ли, ваших казаков по Манычу рубил? На чужое не зарился — свое наживал! Да не ты ли у нас в прошлом месяце смалывал? К Леденёвым пшеничку возил!

— Точно, я. Да только, вишь, оно как поворачивается. Братец твой дюже страшно прославился. Хучь ты нам скажи: человек он аль нет? Может быть, и вправду анчихрист? — в хрипато-м голосе незримого дозорного теперь уж будто бы не слышалось угрозы.

— А кто нынче Бога-то помнит? Чего же рядить, который страшней?

— Да он-то, твой братец, видать, страшнее всех, коль перед ним уж вся земля трусится. Поворачивал бы ты, Степан, до дому. А то неровен час напхнешься ишо на какую заставу — беду твою слухать не станут, враз через брата душу вынут.

— Так что ж мне ее обратно везти, хворую?

— А свой муж где у ней? Пушай бы и вез. Поди, не от святого духа забрюхатела? Аль, может, с красными ушел?

И вот уже, придавливая сердце, послышались шаги, неотвратимо приближаясь к Асе: вся сжавшаяся в кузовке, она смотрела только вверх перед собой, в пустынное, неизмеримо далекое небо, не то ища заступничества в нем, не то по-детски веря, что если не смотреть на человека, то и тот не увидит ее.

— Ты чьих же будешь, молодлица? — Асин взгляд притянули прищуренные, что-то внутри нее нащупывающие зеленовато-серые глаза немолодого казака с тяжелым, безулыбчивым лицом.

Как вцепился глазами, так и не выпускал, вытягивая из нее дар речи, мысль и чувство.

— А хуторного казака жененка, — пришел на выручку Степан. — Федота Мирошникова. Привез откуда-то из-под Ростова — не нашел, видать, ближе. Ишо по зиме с кадетами в отступ ушел.

— А чегой-то ты все за нее гутаришь? У самой языка, что ли, нету?

— Да тут уж и мужчине впору языка лишиться. Не вишь, растрясло ее, никак не почунеет. А вы чего же, комиссаров каких ищите? Да те-то, кубыть, в бедарках не ездют да жен своих получше берегут.

— По-всякому ездют и всякие, — казак смотрел на Асю будто в размышлении: прожевать или выплюнуть? — Ладно, ежайте — не возьмем греха на душу: и старые-то таскать тяжело. Оно вишь: нам бы землю пахать, а мы замест этого душегубством грешим, самым смертным грехом, а кто — вовсе таким, чего по библии нигде и не прописано. Эх, сыскать бы ту сволочь, которая всю эту кашу заварила, соседей друг на друга наузыкала, — до самой бы души руками дошел... Ну ладно, ежай.

— Тимоха-то Прокудин жив-здоров? — спросил Степан, трогая с места.

— Решку навели Тимохе, — ударило в спину.

— Как так?! За что?

— А таких вот, как ты, укрывал. Злой нынче казак пошел — до черной глухоты. Так что ты не совался бы в хутор. Нехай одна идет до фельшера — чего с нее, сердешной, взять? Казачья жененка, и все тут, а ты через нее можешь пропасть — не поглядят, какой ты Леденёв.

Мыча сквозь стиснутые зубы, Степан погнал к Багаевской. Потом поехал шагом, уж с опаской. На западе беднело, угасало багряное свечение расплавленного солнечного диска, и вот в небе словно кто выполоскал обмокнутую в кубовую краску кисть — степь разом утонула в черной синеве. Далекие курганы, плавни, конь, Степан — все сделалось каким-то неважделушным, как будто существующим на грани сна и яви. Ася камнем пошла на дно неба. На нее снизошло ничем не объяснимое успокоение — скрыв от нее и близь, и даль, стгутившиеся сумерки покрыли и ее саму, утаили от всех чужих глаз, растворили в своей непроглядности. Человек, надо думать, устает от всего — в том числе и от страха за жизнь.

Разлившийся в степи покой, ее всесильно-властная, чарующая тишина подавили сознание. Теперь она и вправду была близка к растительному самоощущению. Все живое вокруг, что росло, источало дурманные, яростно-пряные, будоражащие ароматы, привлекало к себе, копошилось, порхало и ползало, приманивало самок шипеньем и чулюканьем, роилось над цветками, собирая взятки, возводило жилища в траве, охотилось, бежало и скрывалось от врагов, — все-все по степи на свой лад подчинилось извечному порядку смены дня и ночи. Одни живые твари и растения отходили ко сну, другие же, напротив, пробуждались, пробовали голос, усиливали свои скромные, почти неуловимые при солнце запахи — и Асе казалось, что она уже слышит, как никнут, смежают лепестки невидимые травы, уставшие от радости полдневного цветения, сполна напившиеся солнечного света. Ей вдруг поверилось, что здесь, в природе, в заповедной степи, где никто не насилует волю растений, насекомых, зверей, где всё повинуетя солнцу, ничем не нарушаемому ходу времени, уже ничто не угрожает ей и ее животу.

В сине-плюшевом небе одна за другой проступали зернистые звезды и как бы стерегуще, опекающе мерцали в вышине, и Асе казалось, что он, ее зернышко, в одно и то же время пребывает и в ней, и где-то там, в недосыгаемой, но все ж доступной слуху вышине — теперь уже не страшной безжизненной пустыне, а разлитой повсюду баюкающей благодати.

Степан ехал шагом, и темно-синий воздух неба, бережно и свято просветленный далеким мерцанием звезд, качался над нею, как люлька. Но вот где-то вскрикнула птица, и в этой невесомой люльке как будто прорезалась щель, и сквозь нее потек потусторонний холод, прошел сквозь сердце Аси ледяной иглкой.

Ночная тишина усилила все звуки, природу которых теперь было не угадать: вокруг что-то шелкало, шуршало бурьяном, кугой, трещало, трепетало, вспархивало, взрывало тишину вокруг себя, как будто бы бросаясь лошади наперерез. В низинах у Маныча гукали водяные быки — угрюмый басовитый взмык прокатывался над водой, щемил и вытягивал душу. Невидимая степь немела, вымирала — на расстоянии глухого

стука копýt, колесного скрипа, дыхания — и вдруг разила чьим-то вскриком, всплеском, взмëтом, упругим веянъем над головой.

Все мерещился Асе настигающий топот, все казалось, что кто-то срывается с места и ломится к ним сквозь бурьян, и только чуть задремывала, как тотчас пробуждалась снова. Когда ж в сизо-пепельном небе истлели последние звезды, то стало только еще тревожнее.

Солнце встало в полдуба, когда впереди, за туманно-зеленой и сизой рядниной степи завиделся большой млечный остров цветущих станичных садов, а за ним, как за краем земли, — только дымчато-синяя даль, лишь такая пронзительная пустота над простором великой реки, словно там в самом деле ничего уже нет.

Степан хорошо знал Багаевскую. Не распрягая, привязал коня к раките и повел Асю долгим оврагом. Серебряной парчой лежала на траве роса, трава вдали отсвечивала тусклой, рассеянной голубизной, и русло оврага, теряясь в млечном куреве тумана, и впрямь, казалось, уводило их в синеву безначального неба, но все-таки вывело прямо к плетню из малинового краснотала, к покрытому чаканом сенному сараю. Ася вздрогнула от неожиданности — кто-то пробивался навстречу сквозь стену бурьяна и сухого татарника.

Вместо песьего лая и угрозного вскрика из трясущихся зарослей взвился ребяческий голос:

— Во фро-онт! В карьер лети!.. Смело кинься на врага, шпоры в бок коню, ура! За родину и за царя! Смело на богатыря!

Поднявшись и вытягивая шеи, они увидели играющего казачонка лет шести: тот бешено притопывал, скакал, изображая под собой яристого боевого коня, натягивал незримые поводья, бросался с хворостиной на заросли бурьяна и, ощериваясь, упоенно разил своих рослых травянистых врагов, перерубал напополам, выкашивал их полчища, и было что-то страшное в потешной этой битве, в его неподдельном неистовстве:

— Р-р-руби краснюков! В кровину, в бога, в душу!..

Ася будто глазами его собственной матери смотрела на него: с неумолимой силой рода проступил в нем отец — сейчас, быть может, воевавший где-то, страшный, как и ее Леденëв.

Расслышав шорохи шагов, мальчишка вздрогнул и застыл, волчонком впился в пришлых, незнакомых — как будто и без страха, по-хозяйски насупливая брови над гневно и угрюмо засверкавшими глазенками.

— Вы кто такие? Чего надо? — возвысил он звенящий, срывающийся голос.

— А энто чей двор, казачок? Не Халзановых? — подмаслился Степан.

— А то чей же? Наш и есть.

— А маманька-то дома? Ты покличь ее, а?

На дворе забрежал, загремев цепью, кобель. Не спуская с пришлых глаз, казачонок попятился и, горделиво повернувшись, вразвалочку, подчеркнуто неспешно, владетельно пошел по базу. Поравнявшись с сараем, метнул проверяющий взгляд и со всех ног пустился к куреню.

Хрипато брехал, душил себя цепью кобель, и вот уж появилась статная красивая казачка, величаво неся золотистую голову, приглядываясь к прячущимся чужакам и вытирая о завеску голые до плеч молочно-матовые руки. Малиновая шерстяная юбка обливала высокие ноги, бесстыдно говорящие об удовольствии мужчины, рубашка с засученными рукавами охватывала налитую спину, тугой живот и словно не кормившие, по-прежнему каменно-крепкие груди. На лице, как по кости иглой, было вырезано выражение прирожденного права на первого мужчину здешнего привольного, благодатного края — право это сквозило, бессознательно жило во всем: в своевольном изломе темно-русых бровей, в высоких плитах скул, подернутых яблочно-розовой мглой, в своемравном рисунке пухловатого рта, как будто запечатанного строгостью, но в то же время притаенно жадного. Лицо это могло смотреть только такими, прозрачной зимней чистоты и синей омутовой глубины, глазами. В разрезе их и силе

было что-то от взгляда волчицы, невозмутимого и даже сонного, но исподволь лучащего готовность убить за детеныша.

«Почему ж Леденёв тогда мой?» — мелькнуло у Аси. На какое-то время она вовсе забыла о страхе своего положения и смотрела на эту казачку обыкновенным женским взглядом восхищения и зависти.

— Никак Степан? — подойдя к ним в упор, спросила казачка не то чтобы дрогнувшим голосом, но все же с интонацией какого-то живого чувства — не то со снисходительной усмешкой над неведомым Асе невозвратным былым, не то с сожалением и даже стыдом за это былое.

— Угадала, Дарья Игнатовна. Поклон тебе от брата Григория Игнатовича и от мужа Матвея Нестратовича, — заторопился Степан.

— В Гремучем они? — спросила та с живостью.

— Так точно, прибыли вчера.

— В сарай айда, в сарай! — велела Дарья, как будто уж поняв, зачем они пришли, примитив, конечно, и Асин живот и выпитое немочью лицо.

Они прокрались внутрь — в домовитые, добрые запахи сена и парного навоза.

— Матвей твой тебе наказал... — начал было Степан, задыхаясь.

— Да вижу уж — не дурочка. Что ж, и податься больше некуда?

— Стал быть некуда, Дарья Игнатовна. Ты уж мужа послушай, — Степан улынулся беспомощной, приниженно-просительной улыбкой.

— Да я-то сделаю, а он, видать, ума решился, — прошипела Дарья. — Куда послал? От казаков бегете — к казакам же? Как будто он не знает, чего у нас в станице делается. Явились из огня да в полымя, из квашни да в печь, только в рот положить и осталось. Да вон с пузом ишо — молодец, подгадал! Твоя, что ль? — кивнула на Асю.

— Хуже — братова, Ромкина. Иначе бы тебя не потревожили.

— Вот так голос! — Теперь уже и Дарья с необъяснимым жадным любопытством оглядывала Асю — по-женски взвешивающе, даже будто как соперницу, хотя кого делить им было? — Стал быть, Ромкина. Ну так он молодец: обрюхатил, а сам на войну. Всю бедноту на свете застою, а ты как хошь, так и носи мое дите... Ну и куда ж мне вас девать, скажи на милость?

— Да я-то зараз до Гремучего — ее.

— Ну а ее куда? Уж больно свекор ненадежный у меня, на красных теперича злой огромно: своему горю плачет, а вашему радуется. Прознает — прицепится: кто да откуда. А там хорошо, ежели сгонит, а то...

— Так ить баба — чего с нее взять?

— А один нынче спрос — всех под корень, кто от красных рожден да от красного носит, — передернулась Дарья. — Но-но, не дрожи, — пришикнула на Асю. — Надрожись ишо. Чего же теперь делать — надо как-то проживать. А ты, Степан, иди уж, коль намерился, а то неровен час увидят... Нет, стой! Обожди! Кажись, свекор на баз появился — Максимку пытается. Вот ить как — утай вас попробуй. Пойду навру чего-нибудь. Живо лезьте наверх и сидите как мыши.

Забрались на прикладок. Слежалое сено обдало горячим духом прели, но Асю не согрело, не уняло дрожь. За рубленой стеной зашпорили два голоса — уже знакомый Дарьин и низкий, хриповатый, стариковский. И вдруг — отчетливо и страшно:

— А Мирон ваш не красный?! Вы, батя, тады уж и Стешку гоните. Внуков родных — Иудино ить семя.

— Цыц, стерва! — захрипел старик. — Ты, сукина дочь, меня не путлай! Свои кровь, родные, а ты поравняла! Свое клеймо несущ — так мне, может, ишо и самому изменнику заделаться? Да за такое нынче, знаешь, чего казаку полагается? Через такую твою жалость Мирона-то нам и прикинут — и Стешку, и самих, гляди, потянут на аркане... А ну пусти, сказал, не то зашибу! Я на своем базу пока ишо хозяин! Сгоню, чтоб и духу их не было!.. Слышите там?! Пушай уметаються на все четыре стороны, ишо где жалельщиков ищут! А то ить по-нужному да по совести должен я зараз кликнуть казачков...

— По-нужному?! По совести?! — зашлась в шипящем крике Дарья. — Ах ты, дурноед, волчий блуд, душа твоя подлая! Палачом захотел стать на старости лет? Тоже кровушки хочешь попить?! В чем они виноватые? Ить спросит Бог за сирых — для него красных нет, тоже как и кадетов. Тебя родной сын попросил их укрыть и мне наказал то же самое — уж-то он красных видел, какие они есть, однако же грех не хочет брать на душу.

— Пусти, сучье вымя!

— А не пущу! Нарочно лягу поперек! Давай, топчи — посироти внучонка!

— А вот и покличу — пушай...

— Да стойте, батя, стойте! Сама пойду скажу, чтоб уходили, а иного греха на себя не берите. Ступайте уж в дом, а то вся улица сбежится — надо вам? Сказала уже: прогоню... Максимка! А ну-ка подь ко мне — чего скажу...

Так часто обрывалось сердце Аси за минувшие сутки, что теперь, показалось, и вовсе уж остановилось, онемело, оглохло, будто бы хлороформом пропитанное.

— А ну как старый черт побег до казаков?.. — ворохнулся на сене Степан. — Бежать надо, а?.. Ы-ы-ы!.. Куда вертаться-то, куда?! Приду — чего найду? Батю, может, уж жизни решили да Грипку... Кого послушал?! Сам к черту в пасть полез, тебя повез! Прихоронили б где на хуторе, и все! А то ишь: «увозите», нашлись тоже добрые, схотели человечью правду соблюсти, да на нашем горбу. Спровалили — и куль муки с руки! Очистили совесть. Пожалковали — сразу не убили, по куску отрезают, жалеючи!

Послышались шаги, и он замолк, насторожившись.

— Не бойтесь — я это, — прокричала им срывистым шепотом Дарья. — Слезай, Степан, беги, пока не поздно. А ты, жена, сиди покуда.

Степан и Ася выглянули вниз.

— Слыхали аль нет? Увидел вас свекор, как в сарай заходили. Грозится донести, коль не уйдете, — дышала Дарья жадно, тяжело, смотрела не то жалостно, не то с безразличным отвращением.

— А ей чего сидеть? Казаков дожидаться? — засмеялся Степан.

— К свояченице сбегаю — может быть, приютит. Так-то добрая баба, да казак у ней в красных, так что зараз она испугаться может, как бы не пострадать через вас. И так уже от страха хвораю — про мужа на всех перекрестках кричат: Иуда казацкого роду, гнездо разорить да семейство под корень. Попробуй вот так поживи... Натё вот — поесть вам собрала, — показала Дарья узелок.

— Тогда уж и я обожду, — сказал Степан, переползая к краю и протягивая руку вниз. — Своим-то уж никак не помогу, а Настёна вот туточки, тоже своя. Даст бог, прихороню от злого глаза — тогда и подамся до дому, — и снова дребезжаще засмеялся.

— Коль мой казак в Гремучем, не даст твоих в трату, — заверила Дарья с нажимом, но, кажется, даже себя не смогла убедить. — Сотник он, офицер, какую-никакую власть имеет. Да и не тот он человек, чтобы над бабами да стариками измываться, или тогда уж и не знаю, с кем жила.

— Ага, не даст, — откликнулся Степан, как из колодца. — Да ежели б он мог нас застоять, то уж, верно, сюда не погнал бы. Да я не в обиду. Все бессильные нынче, кого ни возьми. Иной сам по себе, положим, и хотел бы человечью правду блюсть, а в табуне не может ничего. Кубыть какая сила гонит всех, а встанешь поперек — так в землю втолочат. Вот Гришка ваш и прибежал до нас, как заяц. От своих хоронился. За Ромкины геройства квиваются с нами. Как зачумленные мы все через него!

— Ну, ждите — живо обернусь, — сказала Дарья.

В ее решимости помочь почувствовался непонятный интерес — будто не только женски-материнская, необсуждаемая солидарность с Асей, но и такая расположенность, словно Ася была не чужая ей, словно что-то их связывало или даже сродняло. Какая-то далекая, давно уже остывшая, но все-таки неубиваемая память и даже будто наконец-то обретенная возможность вернуть какой-то старый тяготящий долг — не ей, конечно, не Асе, но будто бы через нее. Так, стало быть, — Роману, больше некому.

Леденёв и привез ее, Асю, сюда, лишь он ее и связывал со всеми обитателями своего невозвратного детства и юности.

Сторожкое, томительно-тревожное тянулось ожидание, спасенье от которого Степан нашел в еде — рвал зубами краюху, макая ее в крынку с каймаком, — а Асе кусок в горло не шел.

Спустя не поддающееся счету время послышались Дарьины шаги:

— Я, это я! Кубыть, уговорились. Примет Стеша тебя. Поди, не придет свекор с обыском. Теперь опять же ждите — как стемнеет, сведу вас до Стешки, а зараз на люди негоже выставляться. Что ты? Куда? — зыкнула она на Асю, которая зашевелилась на прикладке, пытаясь собственными силами спуститься вниз по жердяной щелястой лесенке.

— Надо мне, по нужде, — наконец-то проронила Ася первые слова.

— Ну, пойдем укажу, — и Ася ощутила на себе ее помогающие бездрожные руки, опять почувствовала зависть к Дарье, к ее давно уж сбывшемуся материнству.

И судил же ей, Асе, Господь носить дитя именно в это несчастное время, и вся ее, Асина, жизнь вот такая — текущая от страха к страху, от беды к беде.

Прошли в пустой закут.

— И где ж тебя Ромка такую нашел? — спросила Дарья с неопределенным смешком, скрестив на груди свои сливочно-гладкие руки и вновь разглядывая Асю с ненасытным женским любопытством, не то изумляясь: неужель поладнее никого не нашел — взял последнюю из никудышных, не то, напротив, признавая: лучше не найти.

— Какую такую?

— А не нашенскую. Городская никак?

— Я в госпитале служила — попал он к нам, в тифу лежал.

— Сестра милосердия, — протянула Дарья понимающе. — Ну да бабий уход завсегда их мужчинское сердце мягчит. Когда раненые да недужные, так мы им вроде ангелов являемся — каждый матерю хочет найти. Да только потом куда что девается. Подсогреются возле нас — и опять на войну. Как революция разыгралась, так я за эту революцию поклоны Богу била, на всем Дону первая комиссарша была: ослобонили от войны всех наших казаков. Ну, думала, все, теперь заживем, никуда от меня не пойдет. Так же, верно, и ты — сладко, что ли, тебе было в госпитале? Вдоволь смерти, кубыть, навидалась, мертвяков да калек. Разве бабское дело глядеть, как из живого человека душу тянут? А тут он, Леденёв, кавалер, да как схватит — нет земли под ногами.

— Что ж, ты знаешь его?

— Ромку-то? Мой был! — засмеялась Дарья торжествующе. — Еще чуть — и с костями бы съела, ничего бы тебе не оставила. Да только видишь, как судьба-злодейка повернула: он мужик — я казачка. Даже не согрешили мы с ним — у нас ить с этим делом строго: враз казаки на голове подол завяжут, ежели прознают. Разлучили нас батя. За своего пошла, Матвея. Ну да и не жалею: слюбились, мясом приросла — ишо и не так, может быть, как к Ромашке бы. Они ить схожие промеж собою, твой с моим. Да и твой тоже мой! — опять сорвался у нее смешок, и ведьминское пламя полыхнуло в глазах. — По первости — веришь ли, нет — как будто и не понимала, с кем живу: то ли с тем, с кем я в девках играла, то ли с этим, с каким под венец пошла. Кубыть перед обоими и виноватая: с одним от другого гуляю, и с тем, как с этим, хорошо. Бывает такое? — скажи. Нет, перед Ромкой у меня вина всамделишная, незабудная: унизили мы его, Колычевы, и вообще казаки. Иной раз подумаю: он и к красным-то через меня прислонился.

— Это как же так можно? — наконец Ася вспомнила того раненого казака, как-то скрытно и неотразимо на Романа похожего, разве что горбоносого, черного, с неповторимостью всего того единственного, что только матери родной и ведомо да вот жене спустя полжизни вместе.

— Так счастье ить отняли — мало? На место показали: не ровня ты, мол, нам — не оттого ли он теперь за равенство воюет?

— Да я не о том. Как же не понимала? Ну, как будто и путала их?

— Не видела ты моего. Не спала, — бесстыдно взглянула казачка на Асю. — Обоим они хороши — по бабьему делу. И ничегошеньки у нас с ним, Ромкой, не было, а будто бы и было все. Как воротом тянет к себе. И мой, и твой, который тоже мой был. Да и на лицо — не то чтоб, сказать, как близнята, а иной раз посмотришь с какого-то бока — ажник страшно становится: до чего же похожи. Не знаю, правда, как теперь — уж сколько годков не видала его, Романа Семёныча. Какой он зараз из себя. Война, она свою печать кладет. Поди, уж и нет того парня, с каким я на игрища бегала. Придет казак на двор — так теперь-то уж твердо узнаю, что мой, — твоему-то зачем объявляться? У него теперь ты. А все же нет-нет и вспомню его, на мужа-то глядя. Вояки они оба. Обоим война вместо и бабы, и матери. Больше нас ее любят — неужто до сих пор не поняла? На все один сказ: красота. Кубыть, и болеет душой за убитых, а все обратно его тянет — как метляка на свет либо коня на волю. И сын в него растет — ни единого цельного горшка на плетне не осталось, все поколол на черепки навроде вражьи головы. Иной раз подумаю, что и вовсе ему все равно, за кого воевать, за красных иль за белых.

— Что ж, сама ведь пошла за такого, — улыбнулась ей Ася тоскливо.

— Видно, дура была! — засмеялась и Дарья. — Перевела шило на мыло. От одного насилиу оттащили — на другого такого же кинулась, как собака на кость. А какая нам радость от таких-то мужей, ежели оба по целому году лытают неведомо где. Да тебя вон куда твой анчихрист загнал, с пузом-то. Уж так, видать, своею лютостью прославился, что и тебе приткнуться негде — где ни стань, всё земля под ногами печет. И хучь чудок бы сердцу прищемило: «На кого оставляю? При себе бы держать».

— Ну, значит, не мог по-другому.

— А Степан, стал быть, мог — лучше мужа тебя бережет. За такого пойти бы. Он ить вон какой смирный, до сих пор ни к кому не пристал, винтовку подержал да бросил, как только ему вышло увольнение. Да чего уж теперь? Наделил тебя ношей Ромашка — хошь не хошь, а донашивай. Ну-ну, не горюй. Кубыть, никто тебя у нас пока не ищет. У Стешки устройшься, а там и ему вестку дашь, куда ты подевалась и где тебя искать. Ну, Ромка, ну, кобель — ить знал, идолюка, что уйдет воевать. У, порода! Ну охота тебе насмерть биться за такую-то жизнь, какой испокон на земле нигде не было, — так живи уж тогда чернецом, к жене не прикасайся, со своей революцией и пребывай, служи ей, как монахи Богу служат.

— Счастливая ты, — с тоскливой завистью сказала Ася, оскальзывая взглядом Дарью, которая и вправду показалась ей избранницей судьбы, законнорожденной сестрой самой жизни.

— Счастливая? Я-то? Ромашка твой анчихристом прослыл, а мой казак чего же, не за ним гоняется. Сойдутся их дорожки — ишо неизвестно, кто из нас плакать будет. Нынче-то казаки мужиков с Дона пятят, а ежели завтра Русь на нас навалится и спереду, и сзади? Сегодня тебя, как волчицу, гоняют, а завтра за мною придут. Мы-то, Халзановы, кругом передо всеми виноватые. Для казаков Иудина родня и для красных враги. Жили-были два брата, так один за всемирное счастье пошел воевать, а другой — за казацкую волю, и оба дураки... Степа-ан? Ты где?.. Пропал мужик.

— К коню, наверное, пошел.

— Ох, черт, сидел бы уж. Говорено же — носа не казать.

Какое-то время они просидели в молчании, тревожно вслушиваясь в тишину невидимого мира, нарушаемую лишь мычаньем скотины, простуженно-хрипатым криком петухов и пересыпчатым квохтаньем кур. И вдруг квохтанье это заполошно разметалось по двору, опять надсадно забрехал цепной кобель, удушая себя и захлебываясь злобным лаем, и сквозь весь этот шум прорвались чьи-то грубые наступательные голоса.

— Хоронись! Лезь в серединку! — обожгла Асю шепотным криком казачка, вонзив

в нее бешеный, налитый до краев гадливым страхом взгляд, протискивая в глубь прикладка и земли, как кормящая сука слабейшего из своих бестолковых щенков — в потаенную щель, в земляную утробу.

Сама метнулась разгребать, раскидывать слежавшееся сено и, бросив, ринулась наружу, добавила свой голос к подыхающему лаю кобеля:

— Это кто там?! Чего вам тут надо?! Куда лезешь, чертяка?! А ну!..

Ася лезла, толкалась, вворачивалась всем ослепшим телом в горячую сенную тьму, не думая ни о чем и слыша лишь себя, и, вот уже забилась, втянулась целиком, вновь по-детски поверив, что ее не найти: раз не видит она никого, то и ее никто не откапает, не вытащит из травяного логова... что она уж не больше, не важнее жука, мягкой куколки, гусеницы, в которой еле брезжит будущая жизнь и раздавить которую возможно лишь нечаянно.

— Смотрите! В катухе! В амбаре! — ударил в стену Дарьин голос. — Тут они у меня проживают, рябый да лысый, — обои, стало быть, товарищи быки! А телка комиссарша! — последним усилием, наивной хитростью пыталась отвести от Аси казаков, предлагая другие укромья для обыска, заговаривая волчьи зубы, заклиная беду... и вдруг всю ее, Асю, пронизал сиплый вскрик паровоза, как будто впрямь один из тех гудков, которых так пугалась в детстве, — заголосила, захлебнулась в страхе Дарья, и сразу вместе с этим криком послышалось разрывистое шурканье, словно кто-то ширял в сено вилами рядом с Асиным телом, рядом с самым ее животом.

И быстрее напрасной, погибельной жалости ко всему своему существу она ощутила горячий укол под ключицу и как будто капустный хруст снега в жестокий мороз. Волна острой боли прошла по груди, оборвала все связи сердца с животом, и, все еще живая, Ася вскрикнула.

— Ага! — услышала сквозь боль. — А энто кто там шебуршится? — И чья-то черная железная рука протиснулась в ее разворошенную травяную нору, нашарила сквозь сено ее волосы и дернула наружу.

Она скребла ногтями землю, по-зверушечьи пытаясь уберечь свое тело от боли, глаза от ослепительного света, а дите от нерождения, но ее как колодезным воротом вытянули на такой теперь страшный, беспредельно раздавшийся солнечный свет, проволокли немного по земле и бросили.

— Господи! — крикнула она в тоске и муке вечного сиротства, и чья-то сапоговая нога нечувствующе наступила на ее живот и выдавила из него всю кровавую силу жизни.

XLIX

Февраль 1920, Верхний Янченков, Дон, Кавказский фронт

Сергей не надеялся поговорить с Леденёвым. Ночевать собирались все вместе — и Мерфельд, и Челищев, и комкор. Все хаты, все сараи небольшого хутора расперты копошащимся живьем, и даже штабные ложились вповалку. Деваться друг от друга было некуда. Теперь уж всем хотелось только одного — дать отдых изработанному телу, раствориться в надышанном, спертом и смрадном, но все равно божественном тепле, хоть на час, но исчезнуть из мира, где в черном мраке верст несется в диком переплясе колкий снег, замерзают в долбленных окопах стрелковые роты, жгут костры за рекой казаки и надо снова подыматься на коня, и жить в седле, и убивать себе подобных.

Но, поглядев на Леденёва, Сергей почувствовал, что тот сегодня не заснет. В том, право, и не было ничего удивительного — в последние недели Сергей и сам не мог заснуть, несмотря на казавшуюся безмерной усталость. Сомкнувшиеся веки точно гуммиарабиком склеивало, и весь он камнем шел на илистое дно, но какая-то часть существа упрямо продолжала свою посюстороннюю работу, искала, сомневалась, преследовала чью-то мысль, и не было границы между сном и явью, и беспрепятственно

переходили из яви в сон и Леденёв, и Зоя, и живые, и мертвые, и свои, и чужие, и неведомый «икс», который, казалось, вот-вот должен был показать Сергею лицо.

Но все-таки Сергею представлялось, что Леденёв и впрямь готовится к чему-то, как, наверно, любой человек к хирургической операции, против которой восстает все его естество, само собой предпочитая приложить к больному месту теплое, а не дать себя выпотрошить. Да, комкор ощущал себя грузом на дрожащих весах, которые должны были качнуться в нашу или в белую сторону; его волновали разрыв меж 8-й и 9-й, возможный развал всего красного фронта. Но все-таки тактическая инициатива была выиграна, прорыв ударной группы Агоева и Старикова ликвидирован, казачья конница не пущена за Дон, побита, обескровлена, зажата в углу у слияния Дона и Маныча. Так почему же Леденёв смотрел на эту ночь как на рубежную — угнувшись в углу и сцепив на дымящейся кружке не чувствующие жара руки? Смотри в одну точку, что видел за тем рубежом?

Как в ночь знакомства с ним, Сергей сторожил каждый звук в набитой людьми натоленной горнице, но ждал не того, что комкор шевельнется и встанет, а момента, когда все уснут, перестанут ворочаться — чтоб самому прокрасться в кухню к Зое.

Уснули стены, сундуки, засовы, половицы, фуксином крашенная печь и пегий кот на ней, а Северин смотрел на желтую полоску керосинового света, горевшего у Зои там, на кухне. И вот уже некстати, отрывая Сергея от Зои, Леденёв ворохнулся на лавке, под тяжестью его шагов заныли половицы, и Сергей, как лунатик, поднялся и покрался за ним.

В сених было хоть глаз коли, но он, казалось, с ясновиденьем сомнамбулы ничего не задел. В лицо дыхнуло студью. На улице было светло от костров, бросавших на снег дрожащие отсветы. И в этом оранжево-синем пространстве, в одно и то же время ледяном и огненном, как ландшафт заполярного ада, Сергей увидел черную фигуру Леденёва — в накинутом на плечи полушубке, тот медленно прошел по базу меж подвод и сунулся в дверной проем сарая, к лошадям.

— Приставил к тебе Жегалёнка, а новый ординарец и вовсе коней не блюдет, — сказал комкор, не обернувшись, звериным, что ли, слухом угадав Северина, а может, и зная, что тот пойдет следом.

Заженный керосиновый фонарь выхватывал из темноты взволнованную Аномалию: рубиновый выпуклый глаз в огневом ободке косил на Сергея как будто и вправду из мертвого конского черепа, но тонкая атласистая кожа с растянутой в ней сеткой жил играла, как вода под ветром, от каждого прикосновения хозяина, просвечивающий мокрый храп дрожал и выдающиеся ноздри с налитой кровью перепонкой раздувались.

— Мы не договорили, — сказал Северин. — Тогда, перед боем.

— Давай договаривай, — ответил Леденёв, вода по спине Аномалии сенным пучком. — Отдашь свою девчонку особисту или как?

— А ты-то отдашь? — нашелся Сергей. — Она ведь за тобой, больным, ходила, глаз по ночам не смыкала.

— Так что ж, мне за тебя все сделать? Поставить себя против партии?

— Тебе не привыкать. Один Извеков чего стоит. О Колычеве уж не говорю.

— Ну так ты просишь за нее или обратно философию разводишь?

— Понять хочу, кто ты такой, — сказал Северин напрямую. — Ты давеча сказал: перешагни через того, кто жить тебе мешает. «Революция — это я», — вот что ты мне по сути сказал. Ну вот и спрашиваю: ты за этим пошел в революцию?

— Ну а как же? За счастьем своим, — ответил Леденёв, оглаживая Аномалию.

— То есть как за своим? И все?

— А за чьим же ишо? Полки водить хотел. Ох, брат, и жадный я до этой красоты. Все она из меня уже вычерпала, от семьи отняла, в дом родной не пускает, а однако никак не могу без нее обходиться.

— А они? — порывисто повел рукой Сергей. — Жегалёнок ваш, Колычев, все, кто за вами идет?

— А нету, брат, такого счастья человеческого, какое б никому не сделало беды. Большевицкая вера — всех людей поравнять, чтоб один на другого как скот не работал, под кнутом да за сена клок, так? Ну и где ж оно, равенство? Как было от века, так и зараз пластуетя. Комиссара возьми, тот весь в коже, и штаны, и тужурка, а моей голутье и на опорки не хватает, рубахи на плечах от пота спрели. А повыше какой председатель, наркомвоендел, тот и вовсе вельможей живет — на личном поезде катается, с конвоем, со свитой, с поварами да конюхами, а любой, кто пониже, перед ним прям-таки обмирает, как кобель на хозяина смотрит, ждет, когда по заливку потреплют его. А я сам? Какое уж тут равенство, когда я волен в жизни каждого, а они в моей — нет?

— Иначе нельзя на войне, — Сергей почувствовал перед словами Леденёва такую же беспомощность, как перед всею этой беспредельной, веками неизменной, выстуженной степью, где ни земля, ни лютый ветер не слышат тоски человека по иной, лучшей жизни, где будто вправду было, есть и будет только так, как есть, и в том, что никак по-другому нельзя, и заключается единственная справедливость.

— А где же по-другому может быть? — подтвердил Леденёв. — Прикончим войну, изгоним несогласных, в землю втопчем — что ж, думаешь, укоренится оно, равенство? Какие во власть нынче вышли — из рабочих простых, из гимназических учителей, из суцкой мелюзги, из ничтожества, словом, — они чего, равняться захотят? От власти, от силы, ото всех привилегий своих отречутся? Это, брат, для иного ровно как самому себя выхолостить.

— А для тебя? — воткнул Сергей.

— А-а, это ты мне, надо думать, самому для начала предлагаешь отречься? От гордыни, от власти над жизнями? Да я-то, может, и не против поравняться с каждым, кого на смерть сейчас вожу, да только как же это сделать? Кобылицу эту видишь? Она ведь любого обскачет, кого на ноздрю, а кого на три корпуса, всюду первой придет — такова ее кровь. Ну и как же ее с остальными в табуне поравнять? Вовсе не выпускать? Либо, может, прикончить — загубить красоту? Зато никому не обидно. Красота, брат, — обидная штука: нипочем ее не переймешь. Можно только убить. Ну вот и меня — то же самое. Тут если сравнить человека с конями, то сравнение выйдет не в пользу людей. Оно, конечно, бьются жеребцы за матку-кобылицу — кто кого зашибет, тот и царь, свой косяк отстоит и чужой заберет, да только зависти в них, тварях бессловесных, нет, а стал быть, и подлого умысла.

— Так что же ты, выходит, как животное? И нет никакой другой правды?

— Когда бы так, — ответил Леденёв с тоскливым смешком сожаления. — С людьми ить живу. Уж ни по-конски, ни по-волчьи не получится. На каждого будешь кидаться — зафлажат, облаву поведут, и сгинешь в буераке. У людей государство.

— Значит, кнут понимаешь? — хлестнул его Сергей.

— А ты меня попробуй вытяни кнутом, — ощерился он. — Я, брат, не кнута боюсь, а себя потерять. И так душа наполовину уж в шерсти. От людей отделиться боюсь, на свободу уйти. На свободе, брат, долго никто не живет, потому как и незачем жить. Ты вот спрашиваешь, полагаю ли я, что и мне впрямь уже все можно. Так вот, отвечаю: мне, может, и вправду все можно, да только не все нужно. Волк режет овцу, потому что иначе не может. Убить убьет, а чтоб из этого потеху делать — он этого не понимает, нужды в том уже не имеет. И мне, брат, точно так же — чего нужно, то и можно. А есть у человека и такая нужда — наоборот, себе свободы не давать, поскольку если я позволю себе все, чего и зверь себе не позволяет по природе, то с кем же останусь? Бояться меня будут — а любить? Да и ладно б тебя не любил, так ишо можно жить — а как же тебе самому никого не любить? Без любви ничего не сделаешь на войне. Всех убьешь — никуда не придешь. Домой не вернешься, к родным.

«Да к каким же родным и куда же домой? — вновь не понял Сергей. — Или он все ж выводит, что его новый дом — это советская страна, а семья — весь народ?»

— Так за что ж ты воюешь, если не за себя? Выходит, все же за народ?

— А без меня народ неужто не ущербный? Без тебя, без девчонки твоей или без

Жегалёнка? Все счастья хотят. Большевики народу счастье обещали, всем, кто своим трудом живет.

— А ты и не веришь?

— Да как же мне в него поверить, — рассмеялся Леденёв, — ежели я его не видел никогда? От века не видел никто, а напротив, одно угнетение? Христос велел делиться, от сытого рта кусок отрывать и отдавать его голодному — ну и что, было так хучь когда-нибудь? Разве что подавали — копейку на Пасху, чтобы душу умаслить, перед Богом покрасоваться: погляди и зачти мне на Страшном суде. Был хоть час на земле, когда никто свой хрип на сытого не гнул, чужим добром живот не надрывал? А нынче, вишь, голодные восстали, чтоб с мясом вырвать тот кусок.

— Так что, зря восстали?

— Это как поглядеть. Человек, может быть, вообще зря живет. Из судьбы своей выбиться хочет, из нужды, ровно бык из ярма, а как ни бьется, все одно к тому же самому приходит, а вернее сказать, возвращается в прах. На этом вот базу не далее, как на прошлой весне, порубленный красноармеец лежал, а этой весной на нем и трава уже вырастет. За что ж он отдал жизнь — зря или не зря? Ить наша жизнь нам не принадлежит, ее нам на время лишь дали, потом все одно отберут. Из тебя трава вырастет. Разве не страшно? Совершенно непереносимо. Жить и жить бы на свете — ан нет. Хучь волком вой, хучь землю под собой грызи — все равно умирать когда-нибудь надо. Ни разу не было такого, чтоб кто-нибудь смерти избег, да будто и не надо избегать — до старости только сперва доживи: старики, говорят, смерти ждут не дождутся, им, дряхлым, уж и волосок на голове нести тяжело. Вот так и равенства никто не видел никогда. Ну, стал быть, людей поравнять — такая же задача, что и смерть преодолеть, не больше и не меньше. Я, брат, все думал, почему народ за большевиками пошел, за что он себя не жалеет. По злобе одной — со всеми господами поквитаться, всех жизни решить, кто тебя, босняка, за человека не считал? Да нет, с такой-то верой и года бы не продержались, смели б таких большевиков, как крошки со стола, и весь народ, какой пошел за ними, попился бы кровушки всласть да и упал в канаву ровно пьяный — ничего уж ему и не надо бы было. Нет, это мы все против смерти восстали. Оттого и себя не жалеют, оттого-то и сила такая — все ломит.

— А если в нас сила такая, — возликовал Сергей, — то, значит, и добьемся, построим общество на братстве трудовых людей?

— Эх, парень, — поглядел на него Леденёв как на подслепого щенка, который и прозреть-то, может, не успеет — хозяева утопят раньше. — Идет сейчас мой корпус — поперек не становись, а к чему эта сила приложена? Кто ее под себя заберет? Завет-то высокий, а многим ли под силу жить в таком завете? Иной всю жизнь нужду терпел, ни шагу по земле свободно не ступил, а все по чьей-то милости, а нынче в люди вышел и сам от власти пьяный сделался. Был раб, а нынче уж, как бог, чужими жизнями распоряжается, и ему уж не равенство нужно, а наоборот, зубами за божественное место удержаться. Ну вот и выходит: кто был ничем, тот станет всем, да только не каждый. Царя-то уволили, да тотчас новые владыки родились, только коммунисты. Поставят весь народ обратно в стойло — опять, выходит, спину гнуть на новых господ.

— Так что ж, обманули народ? — не вытерпел Сергей. — И тебя заодно? И вообще, ты будто сам с собою споришь, себе же и противоречишь. То ты говоришь, что Советская власть — это сила, и никогда еще в народе такой веры не было, а то, наоборот, что человека никогда не переделать, какую ему веру ни давай. Так за что же воюешь?

— Да разве можно нынче хоть кому-нибудь не воевать? — посмотрел на него Леденёв будто и со смирением. — Такая штука — стрелки на часах истории, потоками крови их надо вращать, не ты ли говорил? Ну вот и толкают кровями народ — кто вперед, кто назад. Ни за кем не пойдешь — переедут тебя колесом и все кости твои сломают. Или ты полагаешь, что каждый за идею воюет? Ну а мои-то, казаки, какие в белых были, — по-твоему слепые были, а нынче за тобой пошли, как бывшие рыбаки за Христом?

— Ты сам сказал — смерть победить, — возразил Северин.

— Ага, смертью смерть. Да только свою смерть — чужой. За собственную шкуру и воюют. За то, чтобы домой живым вернуться, хотя бы и на пепелище. Одна у них вера — за землю уцепиться. Жить хочет человек. За кем силу чувствует, к тому и прислоняется.

— И ты? Ты тоже хочешь жить?

— А я что же, не человек? — спросил Леденёв как будто даже и обиженно.

— Но ты же первый, первый был. Без тебя, может быть, на Дону бы никакой красной конницы не было. И всё хотел жить?!

— Жить, да. Да только ить мне, брат, без войны жизни нет. В том-то вся и насмешка: и без войны не жизнь, и войной где пройду, там уж после меня и трава не растёт. Да если б не я и такие, как я, быть может, и войны бы не было.

— Так может, тебе все равно? За нас или за белых? Была бы красота. Без смысла, без цели, без веры? Война-то и есть твоя вера?

— Да как же это все равно? — засмеялся Леденёв, вперив в глаза Сергея какой-то уж безумно-заговорщицкий, как будто над самим собою издевающийся взгляд. — Да разве же я в белых сотворял бы такую красоту? Где мне было у них развернуться? В табуне бы ходил. А у красных я сам бог-создатель, сколько тысяч пошло под меня — тут уж есть из кого красоту вынимать. Все Советская власть мне дала.

— Так что ж, ты только из-за этого?..

— Дурак ты, ей богу, — ответил Леденёв жалеюще. — Да это одно и стоит того, чтоб всю свою кровь по капле сцедить. Советская власть человеку сказала, что каждый может стать, кем он захочет. По нутру своему, по природе планиду избрать, а не идти, как бык по борозде, по той дорожке, какую господа тебе судили. Была бы только сила в самом тебе заложена — задаток от Бога. При старом режиме водил бы я полки? Дворяне и водили бы, потомственные офицеры, а у них, может быть, кроме имени рода да дедовских крестов за Плевну, ничего своего и нет. А нынче — сам видишь: моя красота. Вот только платить за нее пришлось не по-божески. Как зверю в капкане, да главное ить, не лапу отгрызть — самому себе сердце вырвать навроде, стал быть, тех скопцов, какие для царства небесного себя выколачивали.

Сергей молчал: теперь ему, казалось, все было понятно.

L

Май 1918, Казённый мост на Маньче, Донская область

Казённый мост стонал под сотнями копыт, кипел, бурлил, дрожал и еле пропускал над Маньчем живую реку арб, скотины, пеших. На левом берегу затор: как крыги в ледоход, набились, стиснулись повозки, трещат и спичками ломаются оглобли, резуче взвизгивают кони, упираются, бьются в постромах, приседают на задние ноги. Коровы, бугаи, телята с тягучим ревом ломаются на мост — того и гляди, продавят шаткие перильца и обрушатся в воду. Детский плач, бабий вой, ругань, стоны распухающей тучей висят над мостом и покрываются неугомонной пачечной стрельбой, раскатиистой чечеткой пулеметов.

Иногородние Багаевского, Егорлыкского, Мечетинского юртов бегут от своих куреней, уходят в глухую, целинную степь, в бездомье, в бесхлебье — от страха быть убитыми за собственных мужей и братьев, отцов и сыновей, пошедших воевать за лучшую долю для них. Мужья, сыновья и отцы залегли редкой цепью по шляху, бьют залпами по наступающим казачьим цепям, прячут головы за бугорками разрытой земли. Соединенные отряды красных партизан уж третьи сутки кряду удерживают переправу.

Пять конных сотен Леденёва, спешившись, лежат по трем сторожевым курганам, где много столетий назад дозорные свирепых кочевых племен стерегли приходящих со всех сторон света врагов и разжигали на макушках чернохвостые сигнальные костры.

Восседая на этой облудой ветрами макушке, Леденёв прикидывает к биноклю,

притягивает малахитово-зеленую равнину, изрезанную руслами, вилюжинами балок. Ничтожные за дальностью серо-зеленые фигурки стремительно меняют очертания, растут, пропадают, опять возникают — как будто кто-то дергает за нитку, и передняя цепь приникает к земле, бьет все более дружными, частыми, остервенелыми винтовочными залпами, в то время как вторая продолжает впригибку бежать. С бугра у Мокрой Кугульчи неумоимо бьет казачья батарея — невинно-белые барашковые облачка шрапнели вспухают в синеве над шляхом, над головами беженцев, скотины, и конский визг и словно бы родильный бабий крик выхлестывают к небу — напоминанием об Асе входят в сердце.

Потянуть бы в обход до бугра да заткнуть батарею — нельзя: обойдут казаки, просочатся по балке и ударят во фланг, перетопчут прильнувших к земле пехотинцев, разметают, искрошат бегущий народ. Три раза пытались смести «гужеедов» наскоком, устрашающим видом своей конной лавы — напоролись на всеерный пулеметный огонь, закувыркались через головы коней и повернули. Прибили их к земле красногвардейцы, рассказали, спешили — пластунами, ужами наступают теперь.

Палящее солнце прижгло, иссушило весеннюю землю — копыта конской массы высоко взбивают пыль, и бинокля не нужно. Вон, левее от серо-зеленого острова верб, поднялось и повисло сизоватое облако, дымясь над невидимым руслом извиистой балки, словно там расступилась земля — утаить от враждебного взгляда, уберечь от него, Леденёва, своих сыновей. Охватил стреловидных разбег всех отнужин, разматывая так и эдак пылевой клубок катящихся по балке конных сотен, — и клубок этот выпрыгнул из последней отнужины у него за спиной.

— Роман Семёныч, слышь, Степан прибег... — его как будто вдруг толкнули под уклон, вся земля накренилась под ним, и, нагоняя оборвавшееся сердце, он вскочил, скатился с маковки кургана и расшибся о неживой, потусторонний взгляд родного брата.

— Что?.. Ася... Ну?..

— Нет у тебя больше Аси.

Леденёв почему-то ничего не почувствовал — словно задолго до Степана, за много лет до этой вот минуты ему уже являлся вестник. Словно речь не об Асе. Он мог жить и дальше, и даже точно так же, как до этой минуты, — то есть во всю свою силу, — и эта-то возможность жить и была его первым и единственным чувством сейчас.

Ему немедля нужно было что-то сделать со своей непростительной, несокрушимой, уже ничем не объяснимой и не оправдываемой жизнью — и он продолжил делать начатое, владевшее им с того часа, когда провозгласил себя бойцом за революцию и повел за собой мужиков, а может быть, и с той неведомой минуты, когда начал драться за лучшую долю для себя самого, не довольствуясь тем, что Бог дал и еще может дать ему. Метнул свое тело в седло.

— Второй и третьей сотне налево кругом.

Всем, кто был рядом с ним и различил слова Степана, показалось, что Леденёв ничуть не поменялся, хотя в их представлении должен был покачнуться, пьянея от боли, пускай не забиться в падучей, так взвыть, не взвыть, так обезножеть, онеметь — что угодно, но не продолжать воевать. И это было так непостижимо и в разрыв со всем, что каждый знал о собственной природе, считая ее общей с остальными, то есть природой человека вообще, — что все повиновались с небывалой быстротой, как будто бы и вовсе невозможной, но сейчас: гони по цепи эту волю, не становись преградой для нее — как можешь ты ее ослабить и замедлить, даже если родной человек не помеха, не боль ей?

Две конные сотни машистой рысью потекли к бугру, на который развилкой выползала глубокая балка. Прикрытые бугром, остановились в сомкнутом строю и ждали, всем телом подавшись вперед и будто бы вытягивая взглядом своих невидимых врагов из-под земли.

Слышавшие про леденёвскую беду часто взглядывали на него: неужели не вывернется и не кинет их в балку? Неужель так и будет отсчитывать нужное время, как заведенные неведомой рукой непогрешимые часы, и сила скрытой боли не разожмет сцепившиеся челюсти, не толкнет его с места, как камень под горку? И уже понимали: ничто не собьет — и это подымало в них два странно неразрывных чувства: ни разу не испытанный доселе смертный страх перед вот этим человеком, который никого не пожалеет, и в то же время веру в то, что уцелеют, только если, как один, подражая ему, Леденёву, поскачут сквозь смерть.

И вот он привычным движением вытянул шашку из ножен, и, повторяя это плавное, начавшееся не сейчас, не здесь движение, все двести бойцов обнажили свои. Леденёв показал Маслаку, что сам он с двумя сотнями ударит встречь, а Маслак должен выждать у второго отрога и ударить во фланг замешавшимся, повернувшим назад казакам.

В тот же миг стало слышно как будто подземный набегающий гул. Леденёвская шашка упала вперед, остановившись возле поднятых торчмя ушей Аномалии, и вся вторая сотня, вытягиваясь клином, покатила за ним вниз по руслу.

Три сотни казаков шли на рысях и взводными колоннами, предполагая развернуться в лаву уже наверху. Прокатясь по отнужине, леденёвские сотни разлились во всю ширь гулкой балки и, забрав в сумасшедший намет, в совершенном молчании, сотрясающим землю обвалом опрокинулись на казаков, и те в первый миг не смогли осознать, что эта будто бы самой землей порожденная сила — реальность.

Из слуха Леденёва выпал тряский гул идущей следом сотни — он будто уж один летел на казаков, и ему было все равно. Сажеными рывками приближались сухие змеиные головы казачьих коней, священный ужас изумления выдавливал глаза казаков из орбит, вразнобой, запоздало зажигались клинки, показывались медленно — как будто по вершку на каждый мах осатанелой Аномалии.

Сходясь с офицером, сигналившим шашкой, на лукавом ударе споднизу извернул змеей руку, потянул через лоб, чисто срезал ему крышку черепа вместе с фуражкой — офицер опрокинулся набок, вываливая мозг из головы, как мясо из развернутой консервной банки. Навстречу — квадратно разверстые рты, упорные глаза людей и лошадей, косящие до выворота кровяных белков. Если Аси его больше нет, если съели ее точно так же, как свинье все равно, чем нажраться, хоть помоями, хоть человечиной, то и все они жить не должны. Ни один — степь топтать на хороших конях, баб и девок любить, новорожденных детишек ласкать, солнцу радоваться. И сам он, Леденёв...

Нет, он не ищет смерти. Она уже внутри, проникла, поселилась, и он выдыхает ее с каждым махом, выпускает, отводит как душу, заточенную в коже и мясе. Из груди его рвется не то вой, не то хрип — крик не ненависти, а утробной тоски запоздалого, никому не потребного уж покаяния, режет душу и слух казака, заставляя отпрядывать и ломить во весь мах от ужасного конского черепа, от лица, что похоже на морду лисовина в курятнике.

Привстав на стременах, бросает взгляд над кипевом толкущихся голов — туда, где сотня Маслака врзается во фланг стуртившегося стада, — и, изменяя направление удара, вгоняет шашку в рот матерого бородача, наскочившего траверсом слева. Острием вышибает два верхних резца и достает до горлового позвонка — бородач запрокидывается, выгибаясь дугой и похожий на бьющегося сазана на кукане... кровь толчками идет из распятого рта, ручьями падает по пепельным усам и бороде.

Норовивший сшибиться грудь с грудью молодой светлоусый казак завернул — смертный страх разом выплеснулся на лицо, смывая с него дикое остервенение, — но деваться ему было некуда: конский водоворот прибивал к Леденёву, и он всей силой бился за свою единственную жизнь, жалея свои кости от гниения, а глаза от вечной тьмы, рубил с таким неистовством, что боль ударяла в леденёвские пальцы, — не убивал, а будто бы надеялся до Леденёва достучаться: слышишь, как хочу жить?

Леденёв, издаваясь, отхватил ему ухо, хотел было и вовсе обтесать, как чурку,

обезобразить это молодое, красивое лицо, но, утомившись от бессмысленности своего желания, дорубил по-простому — от ключицы до сердца.

Примерно полтора казаков оказались затиснутыми на коротком отрезке извилистой балки. Обезумевшие казаки и понесшие кони, волочившие на стременах седоков, бросались на крутые берега, пытаясь взять их с маху, и сковывались вниз. Потерявшие всадников лошади, обезумев от боли и ужаса, шарахались от мертвых и живых. Багряными шлеями по крупам их и бокам тянулась кровь. На поверхность земли выплескивались только лошадиный визг и крики умирающих под копытами и шашками.

Спустя минут десять все кончилось — дно балки усеялось трупами как будто перерезанных косилкой и перемятых молотильными катками казаков. Примерно сотня белых бежали балкой вспять — Леденёв приказал не преследовать их. Рассудок его оставался холодным: вслепую катиться по балке вдогон сулило повторить казачью участь.

— Роман Семёныч, любушка! — подскакал Жегалёнок. — Сметанин к кадетам ушел... увел казаков, ...ать!.. ать!.. ать! Братаются вон за бугром, погляди!

Взмахнув на гребень балки, Леденёв приложился к биноклю.

По далеким буграм, в обход которых он послал Сметанина, живым заплотом протянулись сотни теперь уже двух казачьих полков. Такими же шпалерами стояли те же казаки и на большом великокняжеском плацу, но тогда над рядами их реяло красное знамя.

Все тем же лязгающим криком он выстроил свои пять сотен уступами влево и вправо назад, упрятав сотню Маслака за сковывающей группой для скрытного удлинения левого фланга. А казаки, казалось, приросли к буграм, не спеша низвергаться на чистое, как будто отделяющая их от Леденёва голая равнина была перерезана невидимой пропастью или стеной — не то суеверного страха, не то холодной дальновидной осторожности. Зато навесом была невредимая казачья батарея — нахлобучивала на ряды леденёвцев трескучие шапки шрапнели, долго таявшие в синеве.

То там, то сям взвивались к небу ржание подраненной лошади или вскрик человека. Все чаще, все гуще, визжа и фырча, как будто в самом деле выбирая, куда бы им упасть и ища лишь твою ни живую ни мертвую голову, из безмятежной голубени неба сыпались осколки и картечины. С каждым новым разрывом становилось все меньше возможности жизни для каждого из сохранявших строй бойцов — и все они, осаживая пугавшихся коней, все чаще взглядывали на немого и недвижимого, как каменный пустынный, Леденёва, все яростнее говоря ему глазами: «Чего же стоим? Тебе жизнь не нужна — так и нам под тобой пропадать? Тогда хоть в атаку води — все лучше, чем так, травой в сенокос».

«Почему ж они все должны стоять и умирать? — спросил он себя. — Но разве теперь не все уж равно? Э, нет, это ты только хочешь, чтоб тебе было все равно. От себя самого ты отделаться хочешь. Смерть для тебя теперь помилование, от Аси спасение. А ты попробуй с этим поживи».

Ему вдруг показалось, что даже если он будет убит, то и в земле глаза продолжат видеть, а сердце слышать участь Асиного тела, ее неутолимую тоску по подзащитности, ее безответный, придавленный зов.

Прискакал вестовой Шевкопляса с приказом отойти к мосту и переправиться. Леденёв приказал своим сотнями повзводно отходить и перевел бинокль на мост. Огромный беженский затор почти расцедился, высокая сизая пыль бугрилась на том берегу, и в это пухнувшее облако неповоротливой гадюкой уползали последние подводы, тягло, пешие.

Он будто уж с просительной надеждой взглянул на линию казачьих сотен. Те упрямо не двигались с места, словно взгляд Леденёва, как и всякий магнит, мог притягивать только железо, а они-то железными не были.

Загрохотали под копытами дубовые доски настила. Точеные копыта Аномалии

потоптали последние пяди оставляемой левобережной земли и зацокали по полотну. Ревели ошалевшие от давки и нуды быки, со злобным визгом ржали упряжные лошади, не смолкали стенания, ругань, проклятия — в том числе и кощунственные, потому что бегущие люди проклинали Советскую власть: обещала всем землю, а на деле лишила последнего, обездомила и разорила, никого не смогла защитить.

Переправившиеся через Маныч партизанские части занимали позиции вдоль по правому берегу. На той стороне иступленно пылающим заревом разливалось закатное солнце, багровым половодьем затопляя как будто раскаленно рдеющую и дымно истлевающую землю, обугленные черные курганы, заросшие кугой и камышами плавни. Расплавленной багряной амальгамой сияла гладь реки, которая все так же равнодушно и неуловимо, как будто не двигаясь вовсе, катила свои горькие, напитанные солью воды к Дону.

В лилово-синей гущине спускающейся ночи смолкла перестрелка, заглохли трехдюймовки по обоим берегам и перестали заходиться лаем пулеметы. Он наконец сошел с коня и неприкаянно побрел среди костров, разоженных бойцами и беженцами. Никто не смел его окликнуть. Ему хотелось просто лечь на остывающую землю, вдохнуть ее щекотный пресный запах, живительный и в то же время тленный, почти забитый горечью всесильной молодой полыни, притиснуться щекой к зеленым жилам типчака, еще таким нежным и чистым, вцепиться в шелковые космы ковыля, расчесанные ветром, словно гривы лошадей, изойти из себя самого, напоить собой землю, которая чувствует ток человеческой крови и как будто бы просит, чтоб ты отворил себе жилы.

Но земля и трава были Асины — она их полюбила, он их ей подарил, кивнув на беспредельную, заповедно-целинную степь: «тут-то мы будем жить». Ноги вынесли к балке, к кумачному цветку горевшего на гребне, чуть наособицу костра, и уже догадавшись, кто там сидит, он пошел к двум согбенным фигурам, и ворошивший палкой уголья Степан усиленно поднял голову и посмотрел в него безненавистным взглядом.

— Что ж, брат, куда пошел, туда и пришел, туда же и нас притянул за собой. Спрашивай, ну. Как Ася пропала твоя, как мы уцелели. А нам чего уж с тебя спрашивать? Сам себя и казни, если хочешь.

И безвыходно-сдавленный всхлип сотряс все тело Грипки, жавшейся к огню, — сам Леденёв уже не мог ни дрогнуть, ни завывать.

LI

Февраль 1920, Федулов — Багаевская, Кавказский фронт

Разлившись по снежной пустыне, наметом шла красная конница, неутомимо стлала над землей глухой, похожий на подземный, гул копыт.

Три леденёвские бригады миновали хутора Федулов и Хохлатовский и, переправившись по льду Подпольной, с неудержимостью катились на Багаевскую, растягивая многоверстную дугу охвата и нанося по группировке белых концентрический удар. Донские и кубанско-терские полки, оказавшись в мешке меж трех рек, с бесстрашием отчаяния устремлялись на прорыв, хлестали в нарочно открытые им коридоры и немедленно напарывались на повальный перекрестный огонь пулеметных тачанок.

Это был уж не бой, а какой-то покос лошадей и людей — тачанки шли на флангах расступавшихся красных полков как некие неутомимые остервенелые косилки, повертываясь к бешено мятущимся казачьим сотням то конскими мордами в мыле, то рыльцами kloкочущих «максимов». Сергей как будто даже устыдился такой чистой работы.

Леденёву же в происходящем ничего интересного не было — все делалось будто само, решенное еще вчера, и он был уж не здесь, а далеко — внутри себя, в своем

неотвратимом будущем, в какой-то неведомой местности, а может быть, просто вот в этой степи, в которой всех уже убили и свежий снег замел и трупы, и следы.

К полудню все было закончено. Поднявшись на курган с комкором и штабными, Сергей приложился к биноклю и увидел станицу — даже будто и город с разложенными вдоль по Дону улицами, разве только что серое сонмище приземистых казачьих куреней переходило не в кварталы каменных домин, все более высоких и спесивых, а в щетинистую черноту оголенных садов, в белесую слепую пустоту над великой казачьей рекой. Казалось, там, у горизонта, как за краем земли, ничего уже нет.

Над станицей господствовал посеревший от времени многоглавый собор, ажурные кресты, прикованные к куполам цепями, казались обугленно-черными в бессолнечном небе, но все же устремленными в недосыгаемую высь, все так же знаменуя чудо вознесения Христа. Небо было в пожарищной гари — должно быть, наши батареи вели обстрел станицы из-за Дона.

Сергей уже видел Багаевскую в подаренный ему комкором цейсовский бинокль, но как раз с того берега, и было странно сознавать, что именно тогда, еще в начале января, их корпусу было приказано форсировать Дон на этом самом месте, напрямую, и что вместо этого пришлось описать очень длинный, из сумасшедших переходов круг сквозь столько смертей и калечеств.

— Довести до полков, — сказал Леденёв. — Не жечь, не измываться, не насиловать.

С ним все-таки происходило что-то, как будто бы имевшее прямое отношение вот к этому месту, к станице. Всегда одно тело со своей Аномалией, теперь он удерживался на ней только собственной тяжестью. Чем ближе становились мельницы, левады, сараи, гумна, курени, тем будто все плотнее делался сам воздух для него, сгущаясь в предельную трудность, почти уж невозможность доехать до станицы. Полновластный хозяин вот этого последнего у Дона снежного клочка, Леденёв, казалось, был и впрямь переполнен странным чувством бесправия, как тяжелым песком.

Похожее происходило с комкором у Гремучего, на родном пепелище, отрытом из-под снега, на куске изначальной земли, каждый шаг по которой был для него неугасимым, изжигающим самосудом, а верней, самоказню, каждый дом и плетень — напоминанием о тех, кого не уберег.

«Да ведь сюда-то и доставили его жену, — темно озарило Сергея. — Тут-то и... растерзали, по слухам». И с каким же, выходит, трудом дались Леденёву вот эти «не жечь», «не измываться», «не насиловать», когда неостывающая боль толкает из него совсем обратное.

А впрочем, толкает ли? Жегалёнок сказал: было время, рубил всех подряд казаков, назвав свой первый, легендарный полк «карательным», а потом вдруг устал, остановился в понимании: если кровью за кровь — лишь умножишь количество боли, той самой, от которой хочешь и не можешь исцелиться.

Сергей так просто и так полно объяснил себе вот эту леденёвскую придавленность, что следующий жест комкора изумил его. Когда до станицы осталось с полсотни сажень, Леденёв — в совершенном безветрии — вдруг накинуд башлык. Как будто скрывая от кого-то лицо. На кого, в чьи глаза он не хочет смотреть? Или попросту — ни на кого. Но если никого и нет, уже не существует для него, то зачем тогда прятаться? Пустота ведь внутри.

В студеном воздухе все еще чувствовался терпкий запах гари, белены и ошелёванные тесом курени казались брошенными, вымершими, все как один с закрытыми зелеными и голубыми ставнями; пространство наполняли лишь мерный гул копыт, перезвук конской сбруи и хрипые крики команд. И вот уж вся станица наводнилась треском, грохотом, плаксивым скрипом поддавшегося дерева — леденёвские взводы растекались по улочкам, отворяли воротца, калитки, въезжали на пустынные базы, топотали по мерзлым мосткам и порожкам, стучались в закрытые ставни и двери, заходили в сарай и хаты.

Леденёв протащил всех штабных на соборную площадь и молча повернул к большому беленому дому, окруженному голыми яблонями. То была, вероятно, станичная школа.

Грохоча сапогами и ножами, ординарцы валили в пустые, захлащенные классы, сдвигали уцелевшие столы и парты, кидали на пол бурки, полушубки, кошмы, вносили и ссыпали по углам охапки дров.

Леденёв, не снимая нахлобученного башлыка, прошел в ближайший класс и сел на табуретке посреди, как присаживаются на дорожку среди узлов и чемоданов в покидаемом доме. К нему никто не обращался, ясно чувствуя его отрешенность от всех и всего.

Сергей присел поблизости, за партой, расстегнул полушубок, порылся в планшетке, извлек последний номер «Красный лавы», их корпусной газеты, издаваемой Шигониным, и подвернувшуюся полевую книжку убитого вчера под Янченковым офицера. То была глянцевиная желтая книжка издательства «Воин» с заломленными и потертыми углами, и уж будто от нечего делать, из того же ребяческого любопытства, из которого взял ее, Сергей раскрыл заметки неведомого человека.

Листки были исписаны стремительным косым, местами неверным от спешки или, может, усталости почерком. Ни имени, ни звания убитого он не нашел и сразу натолкнулся на стихи — плохие, пошлые ужасно, патетические и в то же время пахнущие ненавистью к своему народу. «Гремит сатана батогами И в пляске над грудой гробов Кровавой звездой и рогами Своих награждает рабов». «Распятая Россия», «лобзания» и «женщины» перемежались дневниковыми записками, которые были куда интересней стихов.

«Под ноги моей кобылицы попался раненый красноармеец. Ермаков соскочил и повернул его на спину. Передо мною открылось скуластое, темно-желтое лицо монгола. Он беспомощно открыл на меня глаза и вновь закрыл их. "Китаец, ваше благородие?!" — вопросительно воскликнул Ермаков. "Докончить", — коротко приказал я и поскакал дальше. Докончил его Ермаков или нет, не знаю. Выстрела я не слышал. Но это была первая жертва моего личного распоряжения за всю эту войну. И лишь потому, что он был китаец. О роли китайцев в красной армии писалось как особенно жестоких палачах над белыми...»

Сергей пролистал несколько страничек. Признание офицера его не взволновало. Понимал эти строчки умом, но не сердцем. За эти почти уж два месяца было столько смертей, а главное, почти что непрерывного сокрушающего напряжения, что впору и ума лишиться.

«Я похвально благодарю 1-ю сотню и в особенности храброго командира сотника Матвея Халзанова...» Вот как! Опять. Тот самый Халзанов. Матвей. Младший брат. Чтоб не только фамилия, но и имя совпало... «Он отличный офицер, настоящий сын тихого Дона. Совершенно невоспитанный светски, в вопросах приличий невежественный, он однако хорошо воспитан воински, получив это образование не в юнкерской школе, а на полях сражений Мировой и Гражданской войны, и привлекает именно своим естественным достоинством. Это тот наш русский "спартанец", который, подобно воинам царя Леонида, без малейших колебаний скажет: "Значит, будем сражаться в тени". И какое лицо! Будто высеченное из самородного камня. Ничего заурядного, подлого, низменного. Какой контраст с харями большевиков, которых тотчас узнаешь по взгляду их белесых, как будто мороженных глаз, по отвратительной и страшной смеси подбострастия и скотства, животного страха и жадной вседозволенности. Никогда не теряющийся в бою, он заметно робеет перед фотографическим аппаратом, на лице проступает угрюмое и вместе с тем ребячески-гадательное выражение — для него совершается таинство...»

Сергей бежал глазами по строкам, как собака по следу, не думая, зачем, и не гадая, к кому приведут эти следы — к мертвецу ли, к живому ли, и лишь связь упомянутого здесь Халзанова с Леденёвым, сидящим поблизости, несомненно живым,

и была интересна... впрочем, видимо, тоже давно уж мертва, даже если не виданный им, Сергеем, Халзанов был жив.

Поблизости вдруг сказали о раненых («Сестра где, сестра?»), и он захлопнул книжку, как обокраденный в вагоне задремавший пассажир, сердечным обрывом вмиг вспомнив о Зое. Она была в обозе с ранеными, и обоз отставал, может быть, на полсутки.

Хлебнул кипятка из поднесенной ему кружки, поднялся и пошел на улицу. Леденёв так же сгорбленно и одиноко сидел на табурете посреди штабного копошения, разве только что сдвинул башлык на затылок, открыв бездвижное лицо и глядя в пустоту перед собой.

А Жегалёнок сам поднялся следом, жалуясь с набитым ртом:

— Куда ж мы это, а, товарищ комиссар? Ить только до тепла прибились, и опять.

— Не хочешь — не езд, — ответил Северин, заноса ногу в стремя.

Поехали к южной околице. Все станичные улицы полнились топотом, гомоном, неутомимым злобным лаем кобелей, но погромного грохота и отчаянных криков не слышно — Леденёв приказал. Кое-где за плетнями, среди серых шинелей, защитных полушубков и папах мелькали пуховые бабы платки, рубахи, казакины стариков — хозяева таскали из погребцев и сараев припрятанную снедь, охапки сена, спешили угодить красноармейцам, приниженно и жалко суетясь и улыбаясь.

Добравшись до околицы, Сергей направился к стоящему на взгорье ветряку. С холма он смог увидеть всю станицу с ее прибрежными садами, виноградниками, занесенными снегом, и даже долгую, терявшуюся в белом беспроглядье свинцово-серую ледовую равнину Дона. Закованная в лед, вся в снежных переносах, великая река, казалось, означала остановившуюся жизнь и всех багаевцев, и вообще всех мирных жителей по ее берегам — и, конечно, не зимнюю спячку в тепле, а скорей равнодушно-покорное, растительное приятие сужденного. Доживет до весны она, эта трава, прижимаясь к родному своему чернозему, — значит, снова подымется, проломив истончившийся наст, и потянется к солнцу. А настанет совсем уже мертвая стын — значит, вымерзнет, ляжет, обратится во прах, из которого вышла.

Такое же смирение, казалось, исходило теперь даже от самого Леденёва, как будто и этот человек уже выучился у природы ее безразличию к участи.

Сергей и сам почувствовал, что близок к какому-то травяному недочувствию, к оцепенению и даже омертвлению ума. Ревизионная комиссия была расстреляна всего две недели назад, но Мирона Халзанова, Круминьша, всех погибших бойцов погребли как будто не только снега, но и время — поверх легло множество новых смертей, и тот несчастный и позорный день, казалось, был так же далек от Сергея, как и дача в Останкино, велосипед и тоненькие книжки про Ника Картера и Джона Вильсона.

Политотделы армии и фронта требовали от него скорейшего ответа на «кто убил?» и «как это случилось?», но события новых боев, бесплодного, все только усложнявшего дознания, борьбы в нем самом, борьбы в Леденёве все дальше относили Сергея и от места, и даже будто бы от сути преступления. Таинственная гибель комиссаров уже ни для кого, казалось, не имела значения сама по себе — вокруг нее с невероятной быстротой накручивались посторонние соображения: неведомые давние обиды, устремления к собственным целям, предубеждение и неприязнь высокого командования к своевольному, неуправляемому Леденёву.

После Новочеркасска начались неудачи: корпус тщетно топтался на Маныче в попытках закрепиться на левом берегу, откатывался на исходные позиции, теряя артиллерию, людей... Все скрытно враждебные, не доверяющие Леденёву силы в командовании фронта, а может быть, и в РВС Республики, почувствовали его слабость и свою правоту (а ведь ничто, Сергей уж догадался, не делает человека таким глухим к истине, как чувство своей правоты). Споткнулся-де наш бонапарт, чего-то больше не являет нам чудес, и не потому ли, что слишком вознесся, заместил собой партию в корпусе. И тут-то — расстрел комиссаров в версте от полевого штаба Леденёва.

Сергей вел следствие в воюющей орде, где каждый день кого-то убивали;

возможные свидетели десятками ложились по степи, навеки замолкали, заметаемые снегом. Сергей прошел по путаному, прерывистому следу и сизнова уперся в Леденёва, который для многих в командных верхах, таинственных, недостижимых, годился в виноватые, а главное, и вправду нес в себе какую-то нерастворимую частицу чужеродности, враждебности к Советской власти — мог оказаться или стать ее врагом. Сергей прошел по следу и, как в капкан, попался сердцем в страх за Зою, в отчаянно-беспомощную жалость к ней.

Он смотрел на тоскливое снежное поле с мысами прошлогоднего бурьяна, с немymi, неприступными курганами, казавшимися древними, как сама эта степь, на извивавшуюся ленту ископыченного шляха, засыпанного зернью подхлывших эскадронов, орудийных упряжек и обозных подвод, пытался поскорее различить далекие фигуры, пятна лиц и по-детски, внушением, как будто неким внутренним магнитом непрестанно притягивал Зою к себе — из-за туманной кромки горизонта, из невидья.

— Так с Носовым она, с Носовым, — отважился напомнить понятливый Мишка. — Кубыть, ишо в Янченкове. Напрасно прождете, товарищ комиссар.

А Сажин где, Сажин? Вдруг эта сволочь знает о ней все? Вдруг Зоя ему все расскажет, даже не под угрозами, просто гнет одиночества наизнанку ей вывернет душу — достаточно будет лишь малого, последнего, с кручи толчка: «А ну говори, кто такая?!» Тогда уже не отпустят. Родно хуторских атаманов, подхорунжих, урядников, и тех берут в заложники. Казнят.

Сергей ужаснулся, но как-то... опять лишь умом. В голове мысли трезвые, как ледяная вода: «Тогда обращусь напрямую к Студзинскому. Не чтобы отпустили — не помилуют, идет смертный классовый бой. А так: довожу до вашего сведения, что в санотделе корпуса со дня основания служит Игумнова Зоя Николаевна (по матери Мезенцева), дочь известного ростовского промышленника и члена донского правительства Н.Е.Игумнова, предпринимавшего неоднократные попытки разыскать ее на территории Советской республики с тем, чтобы вывести в белогвардейский тыл. Ввиду обширных связей Н.Игумнова с верхушкой деникинской контрреволюции и представителями буржуазных правительств Антанты считаю целесообразным использовать Игумнову в дипломатических, финансовых и агентурных интересах Советской власти, для чего необходимо обеспечить ей особое содержание, имея в виду передачу отцу или родственникам на той стороне».

Так что же, он ее отдаст? Отправит за Чёрное море — в изгнание, в сытую жизнь, сам выдавит замуж за какого-нибудь родовитого дегенерата, и ничего не будет, ничего. Но Зоя-то будет. Если тут ей не жить, значит надо отдать, вырвать, как больной зуб у себя. Любая жизнь, хотя бы подлая, без родины... да и в чем бы была ее, Зоина, подлость, когда она неосудима в своей потребности, обязанности жить... любая — лучше, чем не быть, чем бесконечно умирать от страха.

Он снова вспомнил: где-то тут убили леденёвскую жену, и смерть ее проникла в Леденёва, в ткани, в кровь — и наконец-то полно, страшно понял, что Леденёв хотел ему сказать, предлагая за Зою убить: береги, может быть, у тебя хватит сил сделать то, что для своей любви был должен сделать я, — не отдать эту девочку лаве, земле, никому, даже и революции. Эта лава, которую мы разгоняем своим существом, не видит никого перед собою и в себе, не слышит никого в отдельности, она может убить миллион человек, преобразить лицо земли, но не может спасти одного человека. Я не знаю, как быть тебе. Может, что бы ни делал, тебе придется быть как мне.

Сергей опять взгляделся в даль, в тоскливое снежное поле, в то пересыхающий, то вновь текущий из-за горизонта кисельный ручеек обоза — и увидел Шигонина. Тот ехал верхом, на маштаковатом, невзрачном коне. Все та же шинель, порыжелый башлык, папаха с наушниками. Увидев Сергея, поворотил коня к нему. Линяло-голубые, почти белесые глаза, как будто стертые о встречный взгляд в усилении внушить свое, смотрели твердо и сосредоточенно-угрюмо, иссохшее в болезни остроносое и тонкогубое лицо отливало прозрачной восковой желтизной.

— Поправился? — сказал Сергей, чтоб с чего-то начать.

— А вы надеялись, меня уж закопали? Ну а ты чего здесь? Не допускает бог войны в свой ближний круг? Или, может, тебе неуютно среди господ офицеров?

— Мне, знаешь ли, кажется, что и нет у него никакого круга. Один он, совсем один. И виноваты в этом, может быть, и мы с тобой.

— Ну да, ну да. Печальный демон, дух изгнания. Куда уж нам, чернорабочим революции, понять его высокий гений?

— Ну теперь узнаю брата Пашу — поправился, — усмехнулся Сергей.

— А ты, погляжу, все так же влюблен в него, — ответил Шигонин. — Да-да, влюблен, как мальчишка в кумира. Ты и в большевики-то, как мне кажется, пошел лишь потому, что был опьянен нашей силой, великой стихией, которую мы разбудили. Нет, ты, конечно, большевик, марксист, ты с нами неслучайно, не из одной лишь жадной тяги участвовать в истории, ты с нами сознательно, собственной волей, но все же ты на треть гнилой интеллигент. Романтический мальчик. В тебе все время говорит твоя мечтательность, мальчишеская тяга к сильным личностям. Тебя послали к знаменитому герою, и все, о чем грезил, о чем читал в книгах, сбылось: ты в орде Чингисхана, ты скачешь с ней в будущее. Но ты смотришь лишь на наружность, верней, на саму его силу. Не видишь, чего хочет эта сила, куда он идет. Нет ближнего круга у него, говоришь? Да вся мужицкая, казачья мелкобуржуазная стихия корпуса и есть его круг, и в этот круг не входим только мы с тобой.

— Ты слишком занят своим лицом, прости.

— Да черт с ним, с моим лицом. В меня стреляли — ладно. Готов согласиться с тобой, что то была лишь пара пьяных идиотов. А в комиссаров — кто? В тебя под Сусатским, Серёжа?

— Откуда ты знаешь?

— Так Сажин сказал.

— Где же ты его встретил? — насторожился Северин.

— Под Янченковым, «где». Он, между прочим, Колычева едет арестовывать. Похоже, у политотдела армии наконец-то открылись глаза, — ощерился Шигонин как бы в гончм нетерпении. — Поедем, а? Замерз невероятно... А как иначе, рассуди, — продолжил, толкая коня. — Кто такой этот Колычев? Не он ли лицо всего нашего корпуса, в котором каждый пятый воевал у белых, не говоря уже о том, что половина — казаки. И вот в эту стихию направлена комиссия кристальных, испытанных большевиков — по крайней мере Круминыш и Зарубин таковы, — ну и чего же стоит ждать, когда ты едешь к диким с прививкой от холеры? Да и не просто к диким, которым их бог позволяет бандитствовать, распахивать по торокам народное добро, но и к врагам Советской власти... не бывшим, нет, а коренным, которые лишь затаились до срока и нашу сторону-то приняли лишь для того, чтоб шкуру свою сохранить. Почуяли за нами силу и пристали к ней — на время, пока их вождь и твой кумир не наберет свою, свою, Серёжа, силу. Ему, может, с белыми и не по пути, но и мы-то нужны ему...

— Как конвент Бонапарту? — усмехнулся Сергей.

— Ты, конечно же, знаешь, — продолжил Шигонин, как будто не слыша его, — что наш герой, Зарубин и Халзанов были давно и тесно связаны. Ты думаешь, старым партийным товариществом? Да, вместе воевали, но и спорили. Принципиально, брат, до ругани, до пены. А из-за чего? Из-за того, что делать с казаками. С кулачем, с атаманской верхушкой, со всеми, кто пошел на нас с оружием, одним словом, с врагами. Халзанов из богатых казаков да бывший царский есаул, и он, тебе известно, решительно вступался за своих, таких же, как сам, кулаков. Настаивал, чтоб пленных отпускали по домам — пусть-де распространяют слух о доброте Советской власти. По существу же, полагаю, не мог подняться над сословной солидарностью, над зоологическим чувством родства. Зарубин же работал как машина, руководимый исключительно необходимостью: великий результат не допускает колебаний, «Лион протестовал против свободы, Лиона более не существует». А твой Леденёв метался из

крайности в крайность, руководясь, я полагаю, не партийной волей, а одним инстинктом. Да-да, инстинктом власти, а также первобытным чувством мести. Ну сам посуди: у него беяки убивают жену, и он никого не щадит, и о жестокости его слагаются легенды. В станице Нагавской он строит все мужское население в шеренгу и — по всем правилам казачьей рубки...

«В Нагавской, — бездрожно отметил Сергей. — Чюпахин из Нагавской — так вот за что он Леденёву мстил, за брата, за отца, за всех своих... Ну а Сажин куда же глядел? Не видел или не хотел знать?»

— А ты многое о нем разузнал, — сказал он с расстановкой.

— Да разве же многое? Совсем ничего, — ответил Шигонин. — Хотел бы я знать больше. Но вот что я знаю доподлинно: он вдруг ни с того ни с сего переменяет гнев на милость — уже не рубит, а напускает пленных казаков. Что, под влиянием Халзанова? Не знаю, не уверен, но фактом является то, что он пускает о себе средь казаков другую славу: он уже не дракон, не исчадие ада с рогами, а милостивец. Заступник за обманутое середнячество. Спаситель, мессия. Так вербуют сторонников, нет? Чего же удивляться, что пленные бегут к нему под знамя, как собаки к хозяину? Да, очистил от белых весь Дон, но для чего очистил, для кого? А тут к нам в корпус едут двое, которые знают его как себя — причем в его идейном, нравственном развитии или, наоборот, разложении. Кому, как не им, угадать его цели и планы, кому, как не Зарубину, понять, для чего ему в корпусе столько вчерашних врагов и почему он так пренебрегает нами, коммунистами... Заедем, а? — взмолился он вдруг, кивнув на ближайший курень. — А знаешь, что Халзанов в Багаевской и жил? Семья тут у него была — жива ли? Деникинская контрразведка слюнявиться не станет.

Курень был зажиточный, большой, под железом, ошелёван массивными, наверное, дубовыми пластинами, с фигурным балконом, с резными карнизами. Под стать и весь баз, сарай, амбар, но чувствовалось долгое отсутствие хозяйской, вернее, именно мужской руки. Высокий плетень тянулся изломами, словно под ним пришла в движение подмытая земля, потащив за собой все опоры, — вероятно, бодали и валяли быки; который год не крашенная крыша желтела ржавыми потеками по стыкам.

Дом, простоявший уж, наверно, более полувека, имел тот неопределенно-мертвенный, железный цвет, какой приобретают все деревянные дома-мафусаилы, не раз перекрашенные, облупившиеся и отшлифованные ливнями и ветром. Такими-то бывают лица кряжистых, могучих стариков, сменившие за жизнь десяток выражений, бесстрашных, веселых, суровых и горестных, пока на них не проступило самое последнее — не то чтобы немощь и отказ ото всякой борьбы, а именно безжалобная, безысходная тоска людей, все испробовавших и понявших, что человеческую участь невозможно изменить, что только так и будет, как заведено, — от всесильных рук матери до всесильного гнета земли.

Сергей, конской грудью откинув калитку, заехал на баз, и вдруг перед ним как из воздуха возник штабной взводный Капарин, схватил Степана под уздцы и будто оттолкнул Сергея взглядом:

— Постойте-ка, товарищ комиссар. Не вводите коней.

— Почему же? — и впрямь опешил Северин.

— А потому — не велено пускать. Другую жилищу ищите.

— Кем это не велено?! — повелительно крикнул Шигонин.

— Известно кем. Комкор стоит.

— Вот, вот тебе факт! — просыпал дребезжащий смех Шигонин. — А ты в собачью конуру. На карачках ползи к нему, как к татарскому хану.

— Да вы чего, совсем тут с глузду съехали?! — крикнул из-за плетня Жегалёнок. — Не видишь, кто перед тобой?

— Очень даже угадываем, — ответил Капарин, упершись в Сергея таким пустым и ровным взглядом, что стало понятно: не сдвинется. — А все одно не велено. Тебе-то, Мишка, и не знать? Уж вы не гневайтесь, товарищи, ваши личности нам, ясно дело, известны, а все одно покиньте помещению, потому как комкоров приказ.

Шигонин — удивительно — не накинулся на часовых. Неужто даром не прошел урок новочеркасский — отмети́на жжет бок: ты не очень-то, а то ведь и поглубже может пуля кусануть? Молчал, оскалив плотно стиснутые зубы, — как будто в предвкушении минуты, когда за все потребует ответа.

— Комкор разве здесь? — спросил Сергей Капарина.

— Да никого покуда нету, окро́ма то есть нас и хозяев. А что да почему — у самого него езжайте и спросите.

Сергей и надавил бы, но не понимал, из-за чего ругаться, кого и что бойцы поставлены тут охранять.

Поворотив коня, он вспомнил, каким Леденёв был сегодня — согнувшийся в седле, тяжелый, как мешок земли: иглой коли — не дрогнет. Тут, по слухам, убили жену его. А может быть, прямо на этом базу? Что если он знает виновных, мучителей, доносчиков, искал и добрался до них — как Монахов? Монахов, Чюпахин — все мстят за своих, надеясь унять родимую боль, каленым железом прижечь незарастающую рану, так почему же Леденёв не может по-человечески ожесточиться?

Заехали в соседний двор. Курень был расперт гомонящими красноармейцами: сушили шинели, теплушки, распространяя всюду неделимый едкий запах мужского и конского пота, запревших исподних рубаш, гимнастерок, портянок; курили, выпуская дым столбами, расхватывали снедь из обливных тарелок... при виде двух вошедших комиссаров повскакали с мест, приветствовали дружно, позвали к самовару.

У печи суетилась хозяйка — наверное, казачка, крутобедрая и статная, с лицом, обвязанным платком едва ли не как у египетской мумии. Ухват в ее руках дрожал, дымящийся чугу́н со шами грозил опрокинуться.

Сергей поспешил ей помочь — глаза казачки ускользнули от его невольного прямого взгляда. Лицо молодое, но будто бы сажей запачканное, сухое и горькое — такие-то лица теперь и составляли характерно-общее лицо донского населения, и даже детские, таинственные, до какой-то щемящей ранимости чистые, как будто были тронуты землей, с угрюмо-неуживчивыми, уж никому не доверяющими взглядами.

Уселись за стол, хлебали огненные щи, выбирали из мисок картошины. Леденёвцы вели себя смирно — отчасти от соседства с комиссарами, а больше всего, верно, от усталости. Сергей узнал всех — это были кубанцы: тот самый взводный Шевелёв, Чевгун, Кормилицын и прочие, к которым он прибилсЯ накануне и расспрашивал их о несчастном Телятникове и его пулемете.

— Скажите, — спросил он хозяйку украдкой, — а чей это дом? Вон, правый с краю, на отшибе?

— Халзановых, — ответила казачка, метнув на него испуганно-настороженный, гадающий взгляд и будто услышав, как дрогнул Сергей. — Да там из казаков давно уж нету никого.

— Халзанова? Мирона? — оживился Шигонин, услышав ответ.

— Отца его, родителей покойных. Сам-то Мирон ишо когда от отца отделился, курень его вон, с родительским рядом стоял, а зараз сами видите: одни пеньки горелые остались. Мирон-то в красные ушел — товарищ ваш. Ну вот и пожгли его двор прошлым летом. Ишо и столб поставили на пепелище, приговор написали от общества: отсель-де выродился змей, Иуда казацкого роду. Станичные-то казаки, какие против вас пошли, ох и шибко его невзлюбили.

— А с семьей его что же? — придушенно спросил Шигонин.

— Так с вашими в отступ ушли. Жена-то его, Стешка, да двое ребят. Ить нас до четырех разов то красные, то белые обратно забирали. С тех пор никаким о ней слухом не пользовались.

— А раньше почему же белые не трогали? — неверяще и подозрительно нахмурился Шигонин.

— А как их судить? — хозяйка развела разбитыми работой земляными руками. — Казак ее, кормилец, к вам прибилсЯ, в большие командиры вышел, пользовались слухом, а младший его брат Матвей, совсем наоборот, у белых герой. Ишо с

германской весь в крестах пришел, об нем и в газетах прописывали — вот какой, мол, казак должен быть. Батяня их покойный опять же завсегда был дюже уважаемый. Ну вот и подумывали у нас казаки. А ваши, красные, так те не знали, чего с Дашкой делать, Матвеевой женой-то, — считать ее за контру или нет: муж-то в белых у ней, а деверь, совсем даже наоборот, комиссар.

— А Дарья эта где? — не вытерпел Сергей. — Курень-то чей теперь?

— Так и живет себе одна с сынком своим малым, — в глазах казачки промелькнул испуг, и тотчас зашепила: — Чего с нее, бабы, взять? И так у ней жизнь несладкая, ровно как у вдовы. Казак-то ее жив аль нет, неведомо, — уж сколько вестки о себе не подает. Да и от страха хучь ложись и помирай. Всем ничья, всем чужая, навроде как собака промежду двух хозяев.

В уме Сергея наконец сцепилось все, разузнанное им за время жизни в корпусе и хранимое в памяти непонятно зачем. Леденёв прорубился к своей первой любви — жене непримиримого врага. Приставил к ней охрану. Для чего? Неужто чтобы посчитаться? С чужой женою — за свою, с одной своей, несбывшейся любовью за другую, и вовсе убитую здесь? Одна, отобранная у него богатым казаком, осталась для него недостижимой, другая стала частью его существа. Теперь же эта, первая, давно уже чужая и ненужная, опять была рядом, а та, с которой все сбылось, вернее, только начало сбываться, отобрана невозвратно. Он, Леденёв, теперь вдовец, и эта Дарья тоже — почти или уже — вдова. А может быть, он просто хочет, чтоб она жила? Пусть хоть эта живет — за убитую ту? Ведь он и ее когда-то любил. Ее еще можно сберечь. Как и Зою.

Сергею оставалось только ждать, когда Леденёв придет в тот курень и сам отдерет бинт от раны.

ЛII

Апрель 1919, Сальский округ Области Войска Донского

В бою под Сусатским Матвея впервые взял страх. Нет, не то уже будто бы вешее предчувствие неотвратимой гибели, которое прохватывает стужей даже самого матерого, неустрашимого бойца, когда он видит падающих рядом односумов и запаленный конь под ним вдруг спотыкается: «Не вынесет!»

То был родившийся за вечность до его появления на свет, до произнесения первого членораздельного слова звериный страх за весь свой род, за непрерывность своей крови, за потомство — перед жизнью, бессмысленной, даже если ее сбережешь, но потеряешь всех своих родных.

10-я армия красных широким фронтом наступала на разлившийся Маныч. Леденёв нажимал на Сусатский, имея направление вдоль Дона — на Багаевскую. К его, халзановскому, куреню. И точно так же, как и год назад, когда Халзанов вел карательную экспедицию к Гремучему — за леденёвской жизнью, Асей, — отогревшись на солнце, курилась земля, одуряюще сладостно пахло молодой острожалой травой, пресным запахом жирно лоснящегося чернозема, в щемяще голубой, неизмеримой вышине перекликались журавли, и этот их призывный клич, извечное под солнцем пробуждение жизнотворящих сил природы и были Халзанову страшны. В ушах его морозом крепнул голос Леденёва: «Ну? Теперь ты узнал, каково это — вся твоя жизнь под моими копытами? Как сердце кровью закипает за своих? Не хочешь? Не надо? Не по-человечески? Больно? А как ты мне? Мне, думаешь, не больно?»

Умом он понимал, что Леденёв, скорей всего, не думает о мести, верней, уже не различает в конном множестве своих врагов никакого Матвея, что сердце его уже не берет на себя работу ни жалости, ни даже ненависти ни к кому из казаков в отдельности, как поршень паровоза живет только задачей неостановимого движения машины, но это-то и было страшно. Леденёв шел на запад, как взломавшийся Дон на разливе к Азовскому морю, как первородная, нечеловеческая сила, которая не знает разницы меж истреблением и исключением из истребления хоть одного живого

существа. Леденёв теперь шел убивать, может быть, не за новый немислимый мир, не за то, чтобы счастливо жили все люди, а затем, чтобы, мучаясь, умерли все.

Халзанов знал, что Леденёв убивает не всех, но не из жалости, а как железная машина, которой движет только целесообразность, а может, просто как ослабшая прибойная волна, которая лишь ударяет тебе в ноги и откатывается, но через время, вырастая, опрокидывается снова.

Он помнил, что случилось с Гришкой в прошлом месяце под Жутовым, в позорном бегстве их от Абганерова, где желто-сливочный туман, маскировавший казаков, превратился во взломную воду — и Леденёв бригадной контратакой опрокинул четыре казачьих полка.

Поминаемый царством небесным, бесследно пропавший Григорий воскрес в Гнилоаксайской две недели спустя — как будто раскопавшийся из-под земли, с опрозрачневшим взглядом юродивого, без погон и лампасов, но верхом на своем дончаке, верном Чёрте, только хвост был подрезан. Казаки своим коням хвостов не резали, у красных же, наоборот, все были куцехвостые.

О хвосте и поведал шурик: мол, всех лошадей, на каких казаки в плен попали, Леденёв приказал таким образом метить. Явился казак в свою часть на бесхвостом коне — так, стал быть, побывал в плену у Леденёва, за что-то, выходит, помилован — не то по доброте, не то за какие заслуги у красных. Ну вот и выбирай, как в сказке про богатыря: направо пойдешь — коня потеряешь, налево поедешь — свои могут голову снять.

— А у самой евойной кобылицы не обрезают, — с каким-то детским восхищенным придыханием выпаливал Гришка, как будто это-то и было самым важным. — Ух, идолука! Зверь! Сама до тебя зубами кидается! Как чует наш казацкий дух!.. Сзади-то полохнули меня — так все памороки и забили. Кубыть, в стременах запутлялся, как жмякнулся, — и вот притащил меня Чёрт! Глаза открываю — сам он, Леденёв! Ну тут уж сердце у меня вовзят остановилось — вот она, моя смертушка, глядит на меня. Сказано ить: смертушка придет — и солнышко умрет. Хочу ему сказать, — давился Гришка смехом, — что я за жененку его не ответчик — совсем даже наоборот, ее выручить силвался. Кто ж знал, что все так обернется. Ну вот, хочу хучь слово уронить и не могу, как будто он мне на язык наступил. В аду-то, гутарят, огонь, сковородки, а от энтого холодом прет — ажник в самых печенках студено становится. Тут-то я и взмолился: заруби, ради бога, если нет мне пощады, разом смерти предай, хучь не мучь. Гляжу — а он меня, кубыть, и не угадывает. Что ты, что не ты — все одно. Ничего не сказал мне. Постановили нас рядом, под сотню пленных, — он, Леденёв, и говорит: «Которые тут бедняцкого роду? Которые всю жизнь бык на казака, а казак на быка работали? Одной рукой пахали, а другою слезы утирали? За что же воюете? За чужое добро? За землю, чтоб ее у вас и дальше не было, покуда вас в нее не закопают? Одно ярмо с вас скинули — в другое сами лезете, да то деревянное было, а энто стальное, навовсе ваши головы бычиные отрежет навроде как французская машина — гильотина. Ее заведут, она чик ножом — и голову долой, вот эдакую-то ярму-машину и надели на вас генералы. Чего они вам обещали? По большому наделу? А кто мужик, того в казачество произвесть? Ну а дадут, произведут — на своих же братах-бедняках ездить станете? Свернете шею нашей революции, а дети наши, внуки неужто не взбунтуются? И снова брат на брата, и снова реки крови?» Крепко сказал — у меня, брат, и то ажник сердце слезьми защищало, хотя какой же я бедняк. И далее гутарит: «А доживет ли кто из вас до эдакого рая-благодати? Нынче видели смерть? Зараз, может, вас и отпущу — так ить встренемся: другой раз не избежете. Решайте, казаки, куда вам идти — на убой, как слепая говядина, иль за светлую долю всего трудового народа, потому как и вы из него. Ну, кто хочет ко мне?..» Что тут сделалось! Один, другой выходит, третий — кубыть трава под ветром шелохнулась. Не знают ить доподлинно, что будет, коль не выйдешь. Кругом-то мертвые лежат. Ну вот, кто из страха, а кто как будто и прозрел — поди разбери, что пихнуло. С тобой, кричат, веда, отец родной. А офицеры, те совсем наоборот: «Не смей, подлецы! Хамы! Родину

продали!» Один подьесаул ему кричит: «Погоди, скоро будешь и ты! Стреляй меня, сукин сын!» Недолго упрашивал: он, Ромка, вот так двумя пальцами сделал, кубыть подьесаула крест-накрест зачеркнул — конвой его тех офицеров на месте и поклат. А он и говорит нам всем, которые ему не поклонились: офицерам, мол, головы режу, а вам, рядовым дуракам, — покудова хвосты... А вот он я перед тобой — так стал быть, не брешу. Сам до сих пор поверить не могу — и так, и эдак себя щупаю: на энтот я свете либо давно уже на том. Коней нам вернул. Политика, брат! С офицерьями, мол, пойдете — рядом ляжете. Через эдакий страх и бегут к нему многие, а кто из казаков не шибко справные, так он для тех навроде Стеньки Разина.

Халзанов наблюдал необъяснимое явление и в то же время знал, что это было в Леденёве изначально, как высокая кровь в дончаке. Прославленные боевые генералы как один заболели куриной слепотой маневра, встречаясь с изворотливым умом учившегося лишь в церковной школе мужика — в темном недоумении перед собой лупились на штабные карты, по которым катилась леденёвская лава, словно впрямь закипевшим глубинным ключом, огненным веществом преисподней вырываясь из самого сердца земли где не ждешь, не гадаешь, где угодно ему, Леденёву, разливаясь, дробясь, собираясь, изгибаясь по руслам извилистых балок, принимая все формы, к каким принуждает текучую воду ландшафт, не давая себя уловить, как еще никому не дающийся дикий, необъезженный конь, растворяясь в пустынности беспредельных степей, словно впрямь утекая сквозь землю, из которой исторглась.

Войсковой атаман объявил за него, хоть живого, хоть мертвого, сорок тысяч рублей в золотом исчислении, золотой этот ком рос вдогон за катящимся снежным: полк, бригада, дивизия в пять тысяч сабель — пятьдесят тысяч, сто... николаевков, а охотников все убавлялось, порубленных, благодарящих Пресвятую Богородицу за чудо своего спасения, и уже не шутили по сотням, когда говорили: да хоть по пуду золота назначь за каждый пуд живого веса — один сам Леденёв и мог бы явиться к атаману за наградой, неся в руках свою отрезанную голову.

С каких еще лет и он, Матвей, и Леденёв шли к одному, и вот за Леденёвым послушная громада, земля дрожит под тяжестью копыт, а у Халзанова трава, и та не прогибается у него под ногами, и земля забывает цвет пролитой крови.

Под началом Краснова, новоизбранного атамана Всевеликого Войска Донского, из казаков всех возрастов сформировалась подлинная армия. Станичные дружины «вольных» казаков, державшиеся за родные курени, были слиты в полки, начало над дивизиями взяли прославленные генералы и матерые полковники. Подьесаулы и хорунжие, необычайно вознесенные восстанием, — кто облегченно, кто униженно — уступили командование прежним старшим чинам и удовлетворялись сотнями и взводами. Вернулась любимая им, Халзановым, стройность, пронзительная зрячесть движения полков — уже не табунов, а стрел, летящих в цель. Казалось, будь той самой пущенной стрелой, но он, сколько помнил себя на коне, всегда хотел большего, чем проводить чужую красоту, по существу ничем не отличаясь от строевого резвача, бока которого сжимают шенкелями, а губы рвут трензелем.

Он говорил себе, что на такой войне, как эта, противоестественно и даже омерзительно-смешно хотеть себе силы и власти. Зачем такая власть? Не просто приказывать сотням и тысячам идти на смерть и убивать людей в бою, таких же русских, казаков, а казнить всех подряд, кто хоть тоненькой ниточкой крови привязан к врагу, хоть старик, хоть дитя, хоть брюхатая баба? Но он не мог отделаться от чувства, что в нем самом есть та же сила, что и в Леденёве, но она в нем сейчас — может быть, навсегда — заперта, что и он стал бы всем, что с рождения носит в себе как зерно, когда бы не решетка чинопочитания, сословных привилегий, и вот уже, неотгонимая, стучалась в рассудок и вовсе бредовая мысль: воюй он в красных — весил бы у них, быть может, и не меньше Леденёва.

А во что же он верит тогда? За что убивает людей? За казацкую землю и волю? За старый порядок? А на что ему этот порядок, если сила его пропадает, как неубранный хлеб на корню, как зерно в неуступчивой, скудной земле? Так что же

выходит: кто даст ему силу, верней, благодатную, щедрую почву — пробиться к себе самому, прорасти, тот ему и хозяин? Того и веру примет — хоть в Христа, хоть в жида-комиссара? Так он-то, Матвей, и есть настоящий Иуда. Продать своих братьев, отцов, баб, детей, которых большаки корчуют из земли, как сорную траву? Пойти за чужими, за Русью, за красным знаменем голодных, ненавидящих каждого, кто хоть на волос выше их, — и с той же твердостью, без колебаний убивать своих? Переводить казачий род как ядовитых пауков и крыс? Вот уж воистину: мужик — казачий враг, а казак, какой в красные переметнулся, — вовсе не человек. Такого не то что жалеть, а даже презирать нельзя — за одну только мысль.

Леденёв от рождения босяк, кость от кости мужицкой, для него их, бедняцкая, правда своя — следами от казачьей плетки на шкуре запеклась, донине горит и на страшном суде гореть будет. Кто был ничем, тот все бери, чего при рождении дадено не было. Так что ж, и ты таков, Халзанов? Ну а Мирон? И он Иуда? Ведь тоже у красных гремит — позор несмываемый на фамилии рода. Леденёв первой шашкой у них, а Мирон первым голосом, воззвания пишет и шлет казакам, и ведь как, змий такой, выворачивает — что в казаках и зародился красный дух: из мужицкой Руси уходили холопы на Дон, вот оттого и повелась свободная и гордая порода, оттого и казнили цари-воеводы непокорный казачий народ, Стеньки Разина вольницу.

«А раз уж жидовские большевики идут нас неволить — опять же Москва, только красная. Царь службой неволил, а эти хотят, чтобы нас вовсе не было», — спорил мысленно с братом Матвей.

Провоевавший под началом брата всю германскую, он знал, что Мирон лишен честолюбия, относится к войне как к неизбежности и тяготится даже самой малой властью. Нет, не продался брат, не продал, а отдал красным все свое единоличное: имущество, землю, казачье звание, честь и даже семью, к которой не может вернуться. То же самое и Леденёв — жену с нерожденным дитем пожертвовал красному богу. Гадал ли, что придется?

Полмесяца Матвей надеялся, что выручил Романову любовь, что Дарья укрыла ее. А потом была встреча с хорунжим Ведерниковым. «А знаете, сотник, отыскали мы все-таки леденёвскую бабу. И можете себе представить, где? В Багаевской вашей родной. Славно растребушили. Теперь уж не доносит красного наследыша». Рванул Матвей шашку — когда б не Гришка на плечах, в черепки поколол бы хорунжему голову, как грешник свой собственный лоб в запоздалом, напрасном уже покаянии.

Тогда Матвея взяли под арест. От суда спас Яворский — свидетелем сказался: Ведерников нанес, мол, Матвею оскорбление, затронул честь его, жену, а что беглянку у Халзановых нашли, так это потому, что дом их первый на околице.

В ту пору бывший дома Алёшка Сутормин, вернувшись в сотню, рассказал, что Дарья защищала беглую, как волчица детеныша, да уж где квелой бабе супротив казаков? Тоже кровь ей пустили — отпихивали да хотели заарестовать, но уж тут набегали соседи: наша! не отдадим! Цела, целая, Матвей, не сомневайся, живучая ее натура, как у кошки.

«Попал ты, брат, — сказал Халзанову Яворский. — И брат старший в красных, и сам ты, выходит, большевистский агент. Ну ничего, в твое спасение вовлечены могучие силы. Пётр Николаич тебя помнит по Стоходу как донского героя. Да и я рассказал, как из плена бежал, о Роме только умолчал. Ты молчи теперь, все вопросы свои задавай про себя, пока тебя с виселичной табуретки не сняли да на землю назад не поставили».

Халзанов молчал — уже оттого, что все менее слышал себя самого.

В Большой Орловке и Большой Мартыновке мужиков «наделяли землей»: по слободской толоке протянулась странная гряда — землисто-серыми, расклеванными до малинового сока бураками не то росли из хорошо притоптанной земли, не то лежали, десятка четыре моргающих, зрячих, каких-то детски маленьких голов.

Избитых членов слободских ревкомов, иногороднюю родню их, кумовьев штыками, дулами винтовок спихивали в яму и, удивительно обыденно работая

лопатами, засыпали по шею. Те валились плашмя, но едва начинали к ним сыпаться первые земляные комки, ужас быть погребенными заживо заставлял их вскочить, выметал зевлоротые головы на поверхность земли. «Стреляйте, черти, ну! Стреляйте, ради бога! Смерти предайте!» — заклинали они, запрокидывая лица к небу и сипато хватая верховой, утекающий воздух, протягивая черные трясущиеся руки к своим непроницаемым могильщикам и по-зверьи скребя край траншеи.

Кому траншея приходилась не по росту, чересчур уж высокому, тому казаки насыпали сурчинный кургашек по шею, отаптывали голову по кругу, как саженец в леваде или врытый в землю столб. И вот уже отоптанные головы лишь немо кричали глазами, все требуя обыкновенной, легкой смерти, вымаливая пулю, сабельный удар, и вот уже удавленно синели, распухали разбитые, заплаканные лица — не то что хапнуть воздуха, как вытащенный на сухое карась, но даже моргнуть становилось непосильным трудом.

«Земли вам? Нате, жрите», — глумливо приговаривали казаки, отдыхаясь после гробокопательской работы. Иной раз и мочились на всё еще мучительно-живые головы, а то и, приспустив портки, присаживались в аккурат над теменем и испражнялись — положенным природой, отвратительным в своей естественности образом. В иных освобожденных хуторах особенно усердствовали старики, казачьи жены, сестры, матери, насилюя свои кишки... Над кем? Над неповинными? Да нет ведь, надо всякими. Над теми, кто расстреливал их братьев, мужей, сыновей и отцов, рубил от ключицы до пояса, казня лишь за одни казачьи лампасы, за крестное знамение, которым старики встречали «антихристовых слуг». Над теми, кто приказом Донревкома реквизирует коней, всю конскую упряжь, подводы, быков (а как без коня да быка прожить казаку?), выгребал из амбаров и подполов хлеб. На собственных базах пластались порубленные старики, ребята, казачки с задранными юбками и бесстыдно раскинутыми, окоченевшими ногами, испятнанными грязью и кровоподтеками, как белые березы черными отметинами. Сироты, вдовцы, отцы, у которых убили детей, и те, у кого пока никого не убили, палили курени и хаты с запертыми в них хозяевами, давили иссохших старух, хватали за ноги младенцев и хрястали о каменную огороду так, что из родничков вылетали мозги, и не было конца вот этой чехарде: месть за кровь — казнь за месть — возмездие за казнь — расплата за возмездие — и новая месть за расплату...

Война выхолащивала свою же красоту — не получалось вытащить себя из чувства собственной неправоты, нечистоты. Не получалось возратить себе свой дом, сберечь, целиком, навсегда избавить всех родных от страха смерти. То, за что он, Халзанов, пошел воевать, — за себя самого, за прирожденную ему казачью силу, неотделимую от строя жизни на Дону, за собственную землю, которую хотели отобрать большевики, — не только не приблизилось, но даже и хирело с каждым днем, как хиреют подворье и дом без хозяина, как земля при железной дороге, напитавшись мазутом и угольным духом, ничего уж не может родить.

Вдоль шляха по бурой, верблюжьей окраски траве темнели полусгнившие, завяленные солнцем трупы лошадей, быков, коров, тянулись ослепшими мордами к вершившему над ними своей дневной поход пылающему солнцу. Тоскующими мертвенными россыпями, пророслями смерти посреди неприютной пустыни тянулись смугло-желтые скелеты с лохмотьями шерсти и черного мяса, давно уж вымытые добела дождями рогатые и лошадиные растресканные черепа, обглоданные ветром реберные дуги, тележные оси, колеса, вальки — останки беженских обозов, иногородних и казачьих, катавшихся туда-сюда по беспредельной выжженной степи от Маныча до Волги в зависимости от того, чья сила берет верх, как если бы под ними, стариками, бабами, детишками, качельной доскою ходила земля. Иной раз при взгляде с земли, от костра, вся степь казалась зарешеченной костями до самой нитки горизонта.

Тоску наводило не бегство, не позор поражения, а скорей подчиненность вот этой войны круговому движению времени — сознание того, что как весна сменяет зиму и летняя трава, отжив свое, ложится под лучащим смерть холодным солнцем осени,

так и будут кататься донские полки и все время растущие красные армии по чужим и родимым степям, где трава поглощает следы лошадиных копыт и земля со всеядной, одинаковой жадностью впитывает кровь и этих, и тех.

Война эта сожгла понятие родимой стороны, чужой земли и возвращения домой, поскольку родина теперь была повсюду и нигде, напополам и вперекат принадлежащая тебе и красным. Война отменила понятие «пленный», поскольку пленных следовало отпускать домой, гнать, откуда пришли, а они не пришли, а на той же земле родились, и дом их был рядом с твоим, и с глаз убрать их не было возможности — разве только под землю. И вот эта-то неразделимость всего, что вокруг, неизбежность топтать одну степь и дышать одним воздухом и закипала в людях ненавистью, какую не внушали им ни немец с пулеметом и удушливыми газами, ни смуглый мадыарский гусар, ни маленький косой японец, бесконечно далекий от русского речью и обликом.

Пока донские части совместно с добровольцами Деникина ломали на Царицын, казалось, уж бесповоротно очистив от красных все Сальские степи, весь Дон, пока Матвей с багаевцами воевал за сотни верст от собственного дома, он был спокоен за семью. Теперь же, когда в спину накатывало всеминающее «Леденёв», все чувства в нем были задавлены страхом. Не думал о возмездии, о каре, даже от том, что некая безличная, никак не связанная с леденёвской волей сила ни за что не простит ему его, халзановской, как прежде, полнокровной, непорученной жизни — уравнивает его с Леденёвым, со «всеми»: не может быть, чтоб у него, Матвея, ничего и никого не отобрали, когда уже у каждого второго что-то отнято, отрезан какой-то кусок: отец, брат, жена... Он видел другое: справедливости не существует, нет ничего такого, перед чем бы мог остановиться, попятиться, смутиться человек — хоть красный, хоть белый. Любой, единожды убивший брата своего, раз навсегда переступает человеческую правду и ничего уже не может ни убавить, ни прибавить к своему очерствлению. Из души уже нечего черпать: ни стыда, ни греха, ни даже памяти о матери, о детстве, когда и куренка зарезанного было жалко.

Леденёв покрывал до восьмидесяти верст за дневной переход. Так и стой тут, багаевец, насмерть, на родимой земле — не за то ли пошел воевать: за курень, за любовь, за детей? Неужель такой страх нагоняет этот красный дракон, что уже и коня под собою не чувствуешь? Ты-то знаешь, что он, Леденёв, — человек, так же кровь у него течет, как у тебя. Ну а если и смертью своей ничего не изменишь? Одной-то душой, бириюку легко в жизнь играть — «орел или решка». Своя жизнь — вот, под кожей, в теле: попробуй ее отбери, это надо еще посмотреть, кто из кого быстрее душу вынет. А Дарья с Максимкой одни — без тебя.

Он видел, что сделали с леденёвской любовью, и сила кровного родства тянула его из казачьих рядов — бросить сотню свою и прямком скакать к Дону, вскинуть сына в седло, унести на тот берег, в заповедную синюю даль, что отсюда представляется недосягаемой для любого врага.

Все его односумы-багаевцы извелись, извертели в оглядке на свои курени, истекая такой же тоской и тревогой за них. Тут уж ему как сотенному командиру надлежало следить, чтоб никто не сбежал. Не он, Матвей, командовал дивизией, а то бы непременно повернул от Сусатского к югу, словно зверь от норы и детенышей, уводя за собою врагов, и это ощущение своего безволия, бессилия — на стыке с абсолютной властью Леденёва — было мучительно ему как никогда, как чувственный призрак отрезанных рук или ног инвалиду.

Мамантов, конечно, не думал о жизнях багаевских баб и детей, но, опасаясь быть зажатым в узком клине между Доном и Манычем, решил отступать не по берегу, а именно к югу, в бескрайнюю степь, что сделало для Леденёва движение к Багаевской бессмысленным, — и трубным кличем журавлей, сулящим волю, прозвучал для Матвея этот новый приказ.

LIII

Февраль 1920, Багаевская, Кавказский фронт

Арестовывать было давно уже, в сущности, некого. За январь и февраль в Багаевской перебивало много красных — и штаб Первой Конной, и две стрелковые дивизии. Все истые враги и подозрительные элементы, купцы, кулаки, богатеи, родня белоказачьих офицеров либо бежали вместе с отходящими частями белых, либо были уже арестованы, расстреляны на месте, посажены в подвалы, отправлены под трибунальскими конвоями на тот берег Дона... и было даже удивительно, что уцелела и никуда не подевалась эта женщина — Халзанова Дарья.

Может, снова спасло знаменитое имя Халзанова-деверя? Сергей все время будто упускал одну из ниточек, собравшихся в узел не где-нибудь, а именно вот в этом курене. И не сразу припомнил, что в девичестве-то она Колычева. Из этого как будто следовало, что Леденёв и впрямь не сделает ей зла — ведь самого-то Колычева он простил. Так, может быть, он к ней и не придет? О чем им говорить? Когда любил ее, той, будущей жены, для него еще не существовало. Когда же появилась та, то этой для него не стало — забылась, ушла в другой мир, как Персефона, отданная замуж за Аида. Теперь он эту Дарью, давно уже чужую, мог только оберечь, но не взять в свою жизнь — поистине «отрезанный ломоть обратно не прилепишь».

Но все-таки было похожее на возбуждение охотничьей собаки, взявшей след, неотстранимое чувство, что он вплотную подступил к тому единственному месту на земле, где живет леденёвская... боль, что если у этого человека внутри еще что-то кровит, то кровит, пробиваясь сюда — к объявленному неприкосновенным куреню.

Светло было от снега, от многочисленных костров, разожженных бойцами по околице и на базах. По левую сторону улицы вереница домов обрывалась, по правую стояло еще пять, черным мысом левад выдаваясь в бескрайнюю сизую степь под сиреневым небом. Заповедный халзановский — крайний. Между ним и соседними четырьмя куренями белело слепое пятно — подворье Халзанова-старшего.

Приблизясь и вглядевшись в пепельную мглу, Сергей увидел одинокую фигуру у покривившегося черного столба — и сразу же перед глазами встало: Леденёв над убитым Мироном Халзановым. «Бай-бай-байки, матери китайки, отцу кумачу, а братьям-соколам — по козловым сапогам...» — зазвучал в голове жуткий речитатив безжалостного и безжалобного человека.

Он узнал Леденёва по уже бесконечно знакомой фигуре — да и кто бы еще то мог быть? В надвинутом остроконечном башлыке, похожий без коня на вечного скитальца-побирушку, стоял комкор у памятно-позорного столба: «Отсюда выродился змей...» И вдруг, ворохнувшись, пошел в глубину пепелища, в полынную сизь, в пустоту — с такой привычностью, словно ходил тут бесчисленное множество раз, и даже выколи глаза — не заплутает.

Безотчетно угнувшись, Сергей пошел за Леденёвым через улицу — со сложным чувством возбуждения, огромнейшего любопытства и стыда, какой испытываешь в детстве, когда подглядываешь чьи-то похороны, горе или любовное свидание. Фигура Леденёва исчезла в сизой мгле, но Сергей уже знал, что дорога одна — огородам, левадами, что называется, «задами». Так бегают «по молодому делу» парни к девкам, свояки — предупредить об опасности.

Ступив на пепелище, покрался, запинаясь о какие-то бугры, — наверное, давно уже замороженные в землю обугленные балки, чугуны погорелого дома. Забирая налево, наткнулся на поваленный плетень, ощупкой перелез через него и, почти по колено проваливаясь в рыхлый снег, пошел меж черными деревьями левады. Потом — вдоль прясел огорода, напарываясь в сумраке на проволоочно цепкие, бодливые кусты смородины, малинника, которые как будто норовили не пустить его к чужой неразгаданной тайне... но вот уже увидел за плетнем тот самый дом, разве что не с фасада, а с тыла, непроницаемо-глухой, бессветный.

Где-то тут, вероятно, в одном из сараев или, может быть, в доме охрана: подымет шум — вот смеху будет. Корпусной комиссар, как мальчишка, начитавшийся глупых

пинкертоновских книжек, шпионит за своим комкором. Поозиравшись и тая дыхание, он отключил калитку и, пригнувшись в усилии сделаться меньше, стреканул через двор. Притоптанный снег захрупал так громко, что как будто и в доме не могли не услышать... Но приткнулся к стене, вбив в себя колом воздух, и замер, ощущая настуженную глухоту, всю живучесть, упорство матерого дерева и в то же время его внутреннюю хлипкость под натиском больших времен, ветров, по песчинке сдувающих вековые курганы, под натиском одной стихии революции, которая в минуту производит разрушения, на какие природа затрачивает десятилетия.

А дальше-то что? Заглядывать в заиндевелые окна, скрести их ногтями, дышать на стекло? Ждать, пока кто-то выйдет на баз и в полный голос объяснит, зачем Леденёв приходил?

Покравшись вдоль глухой стены, споткнулся обо что-то и болезненно упал, нащупал под собой промерзлый пудовый квадрат кизяка и тотчас же в упор увидел лаз — подобие полуподвального оконца, неплотно затворенного дощатым ставнем. Встав на четвереньки, Сергей неправдиво легко, как во сне, сдвинул ставень и, как в детской игре, ощущая себя рудокопом в заброшенной штольне, полез в прямоугольную нору, в настуженные недра. На миг показалось, что вовсе ослеп. Не видя ничего в крошечной черноте, опасно привстал и смог встать на колени — уперся теменем во что-то деревянное. Нашупав за пазухой подаренную Мишкой зажигалку, подслеповато осветил щетинистые глинобитные стены фундамента и, будто и впрямь к престолу ордынского хана, пополз в глубину, не то к сердцу дома, не то к сердцу земли.

Наконец оглядевшись как следует, понял, что можно подняться и в рост и что сначала, видимо, наткнулся головой на какой-то раскос. Идти пришлось, однако, пригибаясь, едва не упираясь загривком в потолок. Огромные замшелые бутылки, разбитые бочонки, черепки — скорей всего, кто-то чужой уже забирался сюда.

Добравшись до перегородки, он будто бы услышал голоса, а может, просто выдал желаемое за действительность. Подняв зажигалку, нашарил взглядом черные распилы между стыками. Налитой воровским бесправием рукой дрожливо потянул из ножен шашку.

Все было навыворот. Побывавшие тут до него чужаки, искавшие чем поживиться, само собою поддевали половицы с той, жилой, стороны, никого не боясь в своей силе, а он, Сергей, искал людей, ловил одного человека, протискиваясь в дом из-под земли. Как крыса.

Упершись в доску острием и, весь дрожа от напряжения и страха уронить пошевелённую, приподнятую половицу, он несколько раз обмякал, пугаясь собственного сердца, дыхания, шороха, треска одежды. Граница между ним и внешним миром как будто совершенно уничтожилась, и он уже не понимал, что происходит в нем самом, а что над головой, за потолком. Наконец он приподнял и сдвинул тяжелую, как гробовая доска, половицу, запуская к себе еле брезжущий, как при некоем тайном обряде или при покаянной молитве затворника, свет. Различил два всамделишных голоса и замер, превратившись в слух.

— Уходи. Шел мимо — и иди, — сказал женский голос, как будто пьяный или слабый от болезни. — Добыл чего хотел, а все, что в обузу, побросал по дороге. Видать, красота твоя иначе не достигается, да и большевики, кубыть, иначе бы тебя к себе не допустили, то же самое как и грешника в рай. Так вот и не угадываю зараз: ты кто такой есть? Мне мой казак нужен. Где мой-то казак, куда ты его подевал, а, Роман?

— А вот за Ромку и пойдешь, — ответил севший голос Леденёва. — Как в девках хотела.

— Змея каждый год из кожи вылезит, — ответила женщина. — А где это видано, чтоб человек от старой кожи избавлялся и в чужую залезал? А ты не кожу — ты, наоборот, всю требуху свою сменил, навроде чучело сам из себя исделал. Ну и на что же мне такое чучело?

— Нынче многие кожу сменяют, тоже как и нутро, — сказал Леденёв. — Это прежде всего, иначе революция тебя не воскресит и жизни будущего века не сподобит.

Ефим Бершин

Стансы

Из книги «Мёртвое море»

1

Бог живёт на краю Иудейской пустыни у самых ног
молодой верблюжихи.
И её золотое тело,
как закатное солнце, на тёплые камни село,
освещая дорогу идущему.
Здравствуй, Бог.
Хорошо ли жить, отойдя от дела?

2

Сотворив из диких камней детей Аврааму,
или этот пруд за посёлком, заросший тиной,
этот лес, этот мир, и так завершив программу,
как влюблённый художник, оформив картину в раму,
отошёл от дел, наслаждаясь своей картиной.

3

Или этот мир достиг своего предела,
как багровое солнце, свалившееся за отрог?
Посмотри, как роща осенняя поредела,
как тоскуют поля, как почти что уже без тела
сквозняком вползаю на твой порог.

4

Жёлтый лист на плечо садится, как эполета,
и стекает к ногам, как скупая слеза — со щёк.
Здравствуй, Бог. Перепутаны все приметы.
Понимаешь, нынче в России украли лето.
Да и зиму украли. И много чего ещё.

5

Говорят, на Руси по-прежнему правит царь.
Потому и солнце стынет каменной киноварью,
зеленеет вода, и, вдыхая лесную гарь,
маршируют пииты, рифмуя земную «тварь»
с человеком и всякою прочей тварью.

6

Расползаются льдины. Клокочет рекой весна.
Но травой, что является из прошлогодней гнили,
из минувшей войны прорастает опять война,
и Твоя победа уже хорошо видна
из оттаявшей на ветру могилы.

7

Вдохновенно рифмуя любовь и кровь,
запевают солдаты, легко повинувшись жесту
командира смерти, живущего среди гробов,
и в прицел автомата, как меж двух верблюжьих горбов,
осторожно выцеливают новую жертву.

8

Это люди твои. Человеки. Земная пыль.
Беспокойные и разумные до блевоты.
Завывает дол,
и поёт на ветру ковыль,
отпевая леса, отпевая поля и воды.

9

Я живу наугад, обожжённый мятежным веком,
подавившись печатным словом, как коркой хлеба.
Хорошо, что не сделал птицей, а сделал ветром,
не частицей праха,
а частью пустого неба.

10

Неподвластный лжецу, продавцу, свинцу,
я крадусь по камням необъятной Твоей пустыни,
где ещё не забыта земная тоска по Отцу,
но уже проснулась земная тоска по Сыну.

11

Здравствуй Бог.
Твой закат, словно огненный глаз, горит.
И среди воспалённой тщеты и цепного страха
я уже устал за тебя творить
параллельный мир из земного праха.

12

Потому что из этого мира уходит ритм.
И огромный мой город — памятник лютой страсти,
беззащитен и гол, как стихи без рифм.
Я стою посреди земли, как последний Рим,
в непонятном своём, бескрайнем своём пространстве.

13

Аритмия. Январский зной. Августовский снег.
Спотыкается сердце, как азбука Морзе.
И спасительный взрыв зашифрован, как в Первом дне.
И о чём-то своём обреченно бормочет во сне
под брусчаткой Москвы бесконечное мёртвое море.

Галина Климова

Сочинительница птиц

Повесть

Как там на высоте в отряде равнокрылых
поётся, если навзничь или ниц?
Нас, невесомых, стреляных, крикливых,
хоть в профиль кто-то принимал за птиц?
Г.К.

Хоронили Игоря Махотина, московского библиофила и редактора, любившего книги больше, чем людей, потому, может, и прожившего свой неизменянный полтинник закоренелым холостяком. Коллеги по издательству, похожие на грачей, скукоженных от ужасов предстоящего перелета, кучковались в глубине больничного двора, у морга Первой градской.

Славик Зуевский держался особняком. Здоровался, озирался, перетаптывался.

Выйдя из такси, Нина сразу выхватила взглядом: дымящаяся трубка, меховая шапка, нелепо надвинутая на лоб, рыжина выбивающихся на висках волос, дыбившихся бровей, интеллигентской бородки, крупный нос и глаза цвета зимней хвои, потемневшей от недостатка тепла, — один в один автопортрет Ван Гога, только без перевязанного уха.

При жизни Игорь Махотин — неотразимое обаяние и дар убеждения, а кроме того дружки-корешки в верхах — был известным «толкачом»: если уж брался, то лихо запускать и продвигать самые, по мнению цензуры, *непроходные, нецелесообразные* и даже *идеологически ущербные* издания, которые потом втридорога уходили на Кузнецком, где толклись активисты Общества книголюбов и ушлые книжные «жучки». Для Махотина, как и для его сослуживцев, знаменитое издательство в центре Москвы было вторым домом и единственной семьей, где все — *свои* и все — *наши*. Огромная фабрика, неостановимая лента конвейера с тысячами статей в алфавитном порядке, с жесткими требованиями точности научных данных и краткости изложения. В издательство принимали обычно по рекомендации, по звонку, и по доброй воле никто оттуда не уходил — только по чрезвычайным обстоятельствам, на пенсию или ногами вперед. Работали и жили ради книг, и книги отвечали взаимностью.

Климова Галина Даниелевна — поэт, прозаик, переводчик. Автор восьми книг стихов (три из них вышли билингва в Болгарии), двух книг прозы, составитель трех антологий поэзии. Лауреат премии Союза писателей Москвы «Венец» (2004), финалист Международной премии им. Фазиля Искандера (2018) и др. Постоянный автор «ДН». Живет в Москве.

Именно Игорь Махотин (он и профкомом рулил) пробил тот незабываемый речной круиз по Русскому Северу — по реке Сухоне до реки Юг.

Сколько жизней прожито?

Сколько людей — драгоценных, талантливых и, как оказалось, незаменимых — ушло, уехало, потеряно безвозвратно!?

Оркестрами красноречивого мая ликовала Москва. А в тихой Вологде двухпалубный экскурсионный катерок — диковинка, раритет — поурчал у причала после зимней спячки, пофыркал и потрохал себе не спеша по большой воде до самого Устюга, которому тогда и в горячечном бреду не мерещилось прославиться, сделавшись в одночасье родиной Деда Мороза.

Профком ошастливил бесплатными путевками человек двадцать. Верхнюю палубу обживали неуёмные редакторы, корректоры, всеядные фотографы и прочая издательская живность. Их хлебом не корми, дай хоть глазком или глазком объектива глянуть на русскую глубинку, еще уцелевшую кое-где во внешнем своем неприглядном облики и внутреннем осмысленном укладе.

Воздух легко лился в горло ледяным шампанским. Без перляжа, без дрожжевого привкуса, но пьянил так же. Отключив речную тишину, радиорубка горланила: *летающей походкой ты вышла из мая.*

Миновали Тотьму.

Тутьму, высвеченную белыми безглавыми церквями и безголосыми колокольнями на взгорьях, покрытых грубыми заплатами бурых проталин. Именно в Тотьме, рассказывал экскурсовод, местный энтузиаст, в детском доме вырос поэт Николай Рубцов, северный отпрыск есенинского древа. Отсюда такая кромешная тоска: *матушка нальёт ведро, молча принесёт воды...*

Каюты теплые, но очень тесные, на четверых. В музыкальном салоне никакого «Ласкового мая», только «Утомленное солнце» под фортепьяно и польские песенки ретро, которые интимно напевал, будучи подшофе, психиатр Сашка из редакции медицины. Сколько водки выпито под сало и пироги с клюквой! Сколько залежавшихся в подсобках книг, бесценных, по московским меркам, скуплено в захудалых сельпо! Бедные-бедные малые города, заброшенные монастыри, нищие музеи и — деревянные тротуары...

Доски под ногами стонут, покачиваются, прогибаются и даже проваливаются с треском. Идешь, земли под собой не чувствуешь, балансируешь в пространстве, а на самом деле во времени: в тебе пульсирует одно время, а вокруг разлитым половодьем — другое. *Ау, какое, милые, у нас тысячелетие на дворе?* Главное — удержать равновесие. И не застрять каблучком между половицами, иначе туфли на выброс. Не асфальт, не Москва, где другой вкус воды, другой состав воздуха и людей. С каким-то посторонними химическими примесями и привкусом. Всё на бегу, на лету. А здесь — *мосточки*.

Вот здесь-то, между Тотьмой и Угличем, подкараулила, застала врасплох и накрыла их — как большая приливная волна — любовь.

— Ты такая нежная! Бог мой, я и вообразить не мог. Давно заглядывался. Ты ж девушка с обложки! Хотя, прости, но твоя орнитология — форма клюва, длина хвоста, период высиживания птенцов — сплошной токсикоз. Тебя не преследуют во сне траченные молью чучела из краеведческих музеев? Ястреб, коршун, ворон? И *Каркнул Ворон: Nevermore!* Я видел ворона однажды. В Сибири. Иссиня-черный, размером с откормленного рождественского гуся. На березу, на самую верхушку взгромоздился и давай раскачиваться, как на тарзанке. Реальный inferнальный ужас! Долгожитель, между прочим. Ты с мистикой как, дружишь?

Она передернула узкими плечиками и с головой залезла под толстую вязаную шаль, накинутую поверх стеганой куртки.

— Скажи, дорогая, что с нами будет в Москве? Здесь ты — человек, созвучный природе, пусть скромной, но выразительной. И соразмерен этим малым городам и деревушкам с их вековыми избами, с их палисадами во вьюнках. Ты здесь — не винтик и не производственная единица общества. Ни фига. Здесь каждый на виду, каждый — индивидуум, персона. А в Москве, хоть умри, но встань в строй, впишись в стандарт, в формат и блюда ПДД во всех аспектах общественной и личной жизни. Иначе пропадешь, себя потеряешь. Я хоть и не москвич, но сумел обжиться и освоиться. И я уж-жасно не хочу, чтобы мы потерялись.

Нина молчала. Виниловая пластинка под сверкающим жалом новенькой иглы уже закрутилась, зашипела и пустилась в разбег по звуковой канавке, вытесняя тишину и выводя на свет незнакомую завораживающую мелодию, слышную только ей.

Дидро советского извода, штучный товар — подыскивала она слова поточней. Каждая церковка по имени, век, стиль. И голос... Голос не подделаешь. Он честнее улыбки и взгляда. Густой, глубокий, теплый. Самый мужской голос. Баритон. «Славик с баритоном» — так его и звали в издательстве.

С того памятного прослушивания, когда учительница пения сказала: «У тебя, девочка, красивый второй голос!», Нина стала различать людей не только по росту, цвету глаз или волос, но и по голосу. В школьном хоре она пела вторым голосом, а хотелось — первым. Казалось, первый голос — первый сорт, второй — соответственно. Третьего голоса в хоре, к счастью, не было. Одних голосов она сторонилась, к другим прислушивалась, привечала и принимала сразу. Тембр, хрипотца, интонации, сила приманивали. Особенно обертоны, в которых без обмана проступала индивидуальность. И тогда включался какой-то специальный нерв, похожий на скрипичную струну, натянутую на колокол, сам себя настраивал и начинал вибрировать изнутри, под ложечкой, отзываясь на голос. Или включался, но не отзывался.

— Знаешь, в прошлом у меня было блестящее будущее: московский университет, красный диплом, аспирантура. Мои книжки по памятникам русской истории и культуры должны были стоять во всех книжных и библиотеках. По моим путеводителям экскурсоводы рассказывали бы о малых городах России. Но как-то не задалось. Не сошлось. Характера, что ли, не хватило? Внутреннего стержня? Везения? Зато добился признания как редактор. Надо ж кому-то резать, править, переписывать?! Даже за профессоров, за академиков, не хуже меня знаешь. Короче, сфера обслуживания. Это я к чему? Ага, ухватил.

Не мигая, Нина смотрела снизу вверх, превратившись в сплошное ожидание. Слова, взгляда, жеста? Сердце бешено колотилось в горле. Он слышал эти глухие сбивчивые толчки. Такая беззащитность разжигала. Он взял в ладони ее жаркое — в холодной майской ночи — лицо и как спасатель, делающий искусственное дыхание, припал к полуоткрытому рту. И тут же со стоном отпустил. Отступил на шаг. Повернулся спиной.

— Прости, дорогая моя девочка, но мне нечего тебе предложить! — признался Нине Пряхиной завредакции культуры Славик Зуевский. Признался внятно, но тихо, боясь быть подслушанным, боясь спугнуть Нину и тот робкий воробыный рассвет, холодно забрезживший над ними.

Развиднелось. Из тумана крупно проступили оба берега, так не похожие друг на друга, как бывают не похожи дети одних родителей. Солнце не спешило с разогревом. Баритон продолжал ворожить, пластинка крутилась все быстрее и быстрее. Только бы слушать, только бы не замолкал... Златоуст. Нина разбежалась вслед за мелодией и, выдохнув спертый воздух повседневности, взлетела, почему-то закрыв глаза, воспарила над рябью пресной Сухоны, над горько-солеными водами житейского моря. Времени вдруг не стало. Миг, ночь, жизнь? Не вписавшись в крутой вираж и столкнувшись со стеной накатившего ледяного ветра, вылетела куда-то на периферию воздушного

потока и оказалась на своих ногах, на той же выдраенной синей палубе. Счастливая невесомость ее покинула. Стояло ясное утро.

— Ужасно замерзла. Хочу в каюту.

— Не торопись. Таких мгновений много не бывает. Чуешь, мы же в другом пространстве. Как бы *над*. Может, в астрале. Значит, все по-настоящему. Верь мне. — Зуевский стукнул кулаком туда, где сердце, и Нина, как доктор в старину, когда под рукой не было стетоскопа, приложила ухо к его груди и услышала громкое: *открыто, входите!*

Славик обхватил ее, прижал к себе, пытаясь задержать и отогреть, хотя у самого зубы отбивали чечетку.

— С т-то-ббой над-до жить. Д-долго и сч-частлив-во, — кусал он побелевшие губы. — Б-был бы своб-боден, завтра ж на тебе ж-женится, чтоб слышать твоё дыхание, смотреться — до с-самой смер-т-ти — в твои глаз-за. Прости за банальность, не смейся! На банальностях жизнь держится. Ты мне прописана там, — он адресно поднял к небу бледный указательный палец, — по ж-жизненным показ-з-аниям. Именно ты. Боюсь возвращаться в Москву. Ты к себе, я к себе? И между нами как бы ничего?

— Можно, не все сразу?

Нине хотелось свернуться калачиком на своей верхней полке в каюте и за несколько глубоких выдохов нагнать под жиденькое казенное одеяльце живого тепла. Покемарить, прокручивая еще и еще короткометражку с будоражащими разговорами, взглядами, жестами, ставшими событиями последних дней и сегодняшней ночи на верхней палубе.

Что происходит?

Или уже произошло?

Память тормознула ленту и задержалась на кадрах со сполохами. Яркие, мерцающие, похожие на северное сияние. Они разливались сильными жаркими толчками по телу, по животу, как по внутреннему ее небу-небосклону-лону — вспышки блаженства и боли.

— Ты вся светишься!

Нина и без слов понимала, что не только тело, но и пространство ее души, перерастая себя вверх и вглубь, огласилось солнечным криком: счастье!

Она знала, что так бывает.

Но с ней это случилось впервые.

Зуевский по-мальчишески ухватил ее за рукав, она повернулась к нему лицом.

— Лучезарная улыбка. Я думал, это метафора, Серебряный век. Хочешь, возьму и убью твоего мужа? — Он страшно оскалился и высоко подпрыгнул, подобрав под себя ноги, как шаолиньский монах, готовый одним ударом разнести в пыль — стену, вдребезги — голову и всё, что попадет под руку. — Хочешь, отравлю? Мужик я или кто? Я должен что-то сделать, чтоб мы были вместе.

— Шекспировские страсти в среднем течении Сухоны. — Подняв черные крылышки бровей, Нина сильно напряглась от его дурацкой выходки. — Давай без хождения по трупам.

По возвращении в Москву Зуевский безотлагательно приступил к нулевому циклу строительства совместной жизни.

Бросив у двери рюкзак с книгами, он с лицом блаженного, излучавшего счастливое безумие, протянул жене вологодский сувенир — узорчатую берестяную шкатулку с круглым зеркальцем на крышке. Молча обнял ее и замер, чтобы запечатлеть торжественность момента. Потом слегка отодвинулся, чтобы — лицом к

лицу, не разжимая на всякий случай объятий, начать проникновенным голосом заранее заготовленный и отредактированный спич:

1) прости, я — большая свинья, еще больше — сволочь, и нет мне прощения отныне и во веки веков;

2) я дико виноват, прошу прощения, но на полном серьезе как настоящий дворовый пацан, втюрился в свою коллегу из редакции биологии Нину Пряхину, самую красивую женщину в издательстве;

3) предлагаю не унижать друг друга лицемерием или ложью, не выкручивать рук, не таскаться с жалобами в профком, не устраивать товарищеский суд Линча, умоляю тебя, наоборот — надо дать шанс каждому — у нас же равноправие — устроить новую жизнь. И остаться, непременно остаться друзьями, ведь мы не чужие, и у нас — Лиза;

4) кто и как скажет об этом Лизе???

Зуевский ожидал, что за чистосердечное признание жена как минимум залепит ему сногшибательную пощечину, соберет в рыданиях шмотки, схватит Лизку за руку и, оскорбленная, хлопнет дверью. Тогда его ненаглядная Нина, или Нино — ему почему-то хотелось называть возлюбленную на грузинский манер, — переедет с сыном Петей в пятнадцатиметровку в коммуналке на Банном.

Напрасно он тешил себя иллюзиями.

Жена Ася, вполне себе красавица со жгуче-черной шапкой выющихся волос, с мелкими конопушками на бледных щеках и даже на коленках — тертый калач, прораб в стройуправлении — рук марать не стала и даже не обматерила. Лишь глянула в упор — как двустволку наставила. И со словами *ты дорого за это заплатишь, сволота* притащила из коридора гостевую брезентовую раскладушку защитного цвета, прошлась по ней щеткой и разложила, отрезав Славику, «ночному» человеку, подход к рабочему столу с пишмашинкой.

— Лучше б ты околел в сугробе.

— Может, и лучше, — весело огрызнулся Славик: неужели опять затрындит про мое чудесное спасение и про судьбу?

После загулявшей февральской оттепели мстительно грянул снегопад, не стихавший три дня и три ночи. Москва замерла в транспортном коллапсе. Начальник ЖЭКа Дзержинского района, подстраховываясь от неминуемого строгоча и потери квартальной премии, выписал дворникам новенький инвентарь: лопаты, метлы, ломы, скребки. Еще соль и песок.

Утро приближалось к семи, но тьма упорно стояла на своем. Фонари вполглаза присматривали за улицей и переулками. Ася почистила от льда и присыпала песком ступеньки подъездов, подмела дорожки внутридомовых территорий, раскидала снег под деревья и по краям тротуара. В длинной синей куртке, в синих сапогах-«дутиках» она рванула в контору ЖЭКа, в подвал желтой панельной многоэтажки на другой стороне проспекта, в Глинищевском переулке. Щеки горели, зоркие глаза блестели, и каждая клетка молодого тела радовалась новому утру.

Вдруг запнулась. Ноги запутались в какой-то скомканной тряпке. Черный длинный вязаный шарф. Она отбросила его в сугроб. Может, еще найдется хозяин? Через пару шагов — у подножия развалюхи-сугроба возле французской спецшколы — черные кожаные перчатки. Ася обошла сугроб и обмерла. В узкой ложбинке темнела припорошенная снегом, бесформенная куча брошенной одежды: нелепо раскинутые брюки, куртка со сложенными на груди рукавами, выше — шапка-ушанка. Сердце забилось от страха. Пока она вглядывалась, куча закопошилась, заворочалась и заворчала. Мелькнули голые руки и, не найдя точки опоры, по локоть ушли в снег. Длинные ноги в легких не по сезону ботинках крутили педали невидимого велосипеда, пытаясь выбраться из снега, но не тут-то было. Ни сесть, ни встать. Мужик. Он

ненадолго, как младенец, приподнял голову, слизал с губ снег, почмокал и ткнулся лицом в сугроб.

— Ты чё, мужик? Нашел место. Вставай, или кирдык!

Она вытащила из сугроба его руки — красные, с неестественно белыми длинными пальцами. Попробовала растереть снегом. Без толку.

— В ящик сыграешь!

Он не реагировал. Ася вспомнила про перчатки и шарф. Перчатки не надевались. Обмотав шарфом его ледяные негнувшиеся руки, дунула к телефонной будке, стоявшей на углу проспекта Мира. В телефоне, к счастью, теплилась жизнь.

«Скорая» приехала через полчаса, что было хорошим результатом по погодным условиям.

— Пломбир! Третий за ночь. И тоже без документов.

Обмороженного переложили на носилки, внесли в машину, и доктор, показавшийся ей под хмельком, строго сказал:

— Кто вы ему? Будете сопровождать больного. Мало ли что?!

И Ася поехала.

— Лопата с метлой накрылись. Зато человека спасла. Прямо как из песни: «В той степи глухой замерзал ямщик...» И в тайге замерзают, и в горах. Но чтоб в Москве, в восьми километрах от Кремля? Жалко, молодой парень, и на вид приличный. Не похоже, что алкаш. Просто пить не умеет. Или принял на пустой желудок, или водка паленая.

Лица его она не разглядела, но мысли о «пломбаре», как сострил доктор, словно толкунцы перед обещанным теплом, роились и мельтешили наперебой, что вносило приятную смуту в самочувствие. Всё неспроста, и именно на ее участке.

Через два дня в выходном трикотажном платье, на размер меньше, чем надо, Ася с коробочкой курабье шагнула в мужскую палату на восемь коек. Даже имени его не знала. Но больной на койке у окна — с веселыми вихрами рыжеватых волос — уже колотил по воздуху перевязанными до локтей руками и улыбался от уха до уха.

— Ну, ты, блин, как заяц на барабанах, — раскатилось по палате звонкое монисто ее смеха, и небритые дядьки-однопалатники на скрипучих кроватях встрепенулись и, оторвавшись от домино, дурных мыслей и вчерашних газет, прониклись интересом: к кому такая краля?

Праздник выписки из больницы отмечали *тет-а-тет*, как выразился Славик, и она не стала переспрашивать — как это? Очень душевно посидели с тортиком под коньячок в ее дворницкой — у него ни кола, ни двора. И он не пристаивал, не лапал. Все вежливо. А у нее хоть и крутилось на языке — с какого это горя-счастья ты так надрался, что чуть не очоурился в сугробе? — но она промолчала. И он тоже ни слова.

— Славик, Славочка, Славушка-соловушка, — нараспев мурчала и приручала она. — Хороший, только уж больно интеллигентный. Интелигуза, как мамка говорит.

Да-да, он хорошо помнил, что не сопротивлялся натиску своей юной спасительницы. Понравилось ее тургеневское имя, взгляд коричневых оленьих глаз, мягко светящихся и в то же время с дразнящей дичинкой... Она верещала без перерыва: во сколько надо встать, чтобы успеть подмести мусор и листья, стрести снег, сформировать сугробы, сколоть лед... Потом пафосно — про личные достижения и трудовые подвиги — и осуждающе — про сачков и халтурщиков, окрестных дворников, которые сплошь татарва. Славик, у которого до сих пор не было личного опыта общения с дворниками, в том числе с татарами, не размышлял о трудностях их профессии, ему казалось, что татары — чистоплотные и непьющие, и если татарин — дворник, то все будет как надо. Чтобы разрядить обстановку, Зуевскому тоже захотелось выпендриться, распушить хвост, показав себя во всей красе: да, так исторически сложилось, в районе проспекта Мира издавна селились татары. И на Большой Татарской улице, где старейшая мечеть в городе, тоже татары. Немцы — в

Немецкой слободе, армяне — в Армянском переулке, грузины — на Большой и Малой Грузинских, украинцы — в Хохлах, на Хохловской площади и в переулках. А вот в Китай-городе — никогда никаких китайцев, ни даже духа китайского... Но было словечко «кита», то есть жерди, колья, бревна. Их связывали между собой, и получался этакий плетень, забор. Прогалы заполняли землей, глиной, забивали крупными и мелкими камнями, и вот уж тебе — стена, крепкая городская стена, та самая — Китайгородская. До сих пор сохранилась, знаешь где?

Ася молчала и только таращилась не круглыми, а уже квадратными глазами. Ее юркая ладошка рыбка нырнула в глубину его большой теплой руки. Зуевский — на высоком градусе возбуждения — все дальше и дальше к центру, по правой стороне проспекта Мира уверенно увлекал доверившуюся дикарку, приручая и согревая теплым баритоном и затяжными поцелуями.

— Как тебе этот монстр сталинской архитектуры? Три огромных корпуса со всеми удобствами. Для совслужащих. Роскошь по тем временам. Известен дом «с бородавками». Из-за жуткого декора. Раньше здесь стояла дивная церковь Адриана и Наталии. Снесли. Всё, как обещали: «весь мир насилия мы разрушим до основания, а затем»... Вот это «затем» перед тобой. И церкви как не бывало — ни деревянной, ни потом каменной. Но икона святых Адриана и Наталии уцелела, она в Знаменском храме на Переяславке. Замерзла, девочка моя? Дальше пойдем? До угла?

Ася кивнула.

— Тогда для профилактики от простуды — два по сторонам и один по центру! — И расцеловал ее щеки и губы. — Несколько шагов, и — глаз возрадуется! — вот он, доходный дом, бывшие меблирашки, французское барокко с кариатидами. Работа молодого Конёнкова. Фасады оформлял. Не брезговал. Денежки зарабатывал. За кариатиды ему целую сотню заплатили. Так он, практичный крестьянский сын, перво-наперво купил швейную машинку «Зингер» и отвез матери в деревню, чтоб сама обшивала семью. Ты про Сергея Конёнкова слыхала? Гений ведь, не хуже Родена. А про его жену Маргариту? Я как-то побаиваюсь женщин с именем Маргарита. — Славик отстранился от Аси и посмотрел ей прямо в глаза — очень строго. — Есть в Маргаритах какое-то безумие: у Гёте, у Булгакова, у других. И эта тоже — бестия, хоть и муза. Конёнков увековечил ее красоту: лицо, тело и особенно руки. Но, бог мой, кто только не был у нее в любовниках?

От Славика не ускользнул метнувшийся в Асиных глазах огонек: восторг, интерес?

— Любовники, — с неожиданным осуждением протянула она, — при живом-то муже, который гений?

— Да какие любовники! И сколько!? Знаменитости первого ряда: поэты, музыканты, композиторы. Один Эйнштейн чего стоит!

— Правда, что ли? — не скрывая неприязни, спросила Ася. — Вот уж страшилище! В учебнике физики видела: лохматый, глаза прямо на лоб лезут. От большого ума, наверное. Что ж Конёнков жену свою так распустил?

— Да он днем и ночью ваял, лепил, резал из деревяшек, из корней, из сучков — жить без работы не мог. Но и без Маргариты — тоже. Редкого ума и красоты женщина, и моложе его на двадцать два года. Ради нее бросил двоих детей и жену, простую фабричную женщину.

— Типа меня, да? Конечно, только таких и бросают, — вставила Ася, которая уже устала от холода и от экскурсии, где она ученица, а Славик — учитель.

— Одно слово, муза, модель, Галатее, — не унимался Зуевский. — И еще, говорят, гениальная шпионка, работала за границей на СССР.

— Брехня и враки, — возмущилась Ася. — Не хочу ничего знать об этой мерзавке. Разбила семью, сломала жизнь честной женщине, сделала сиротами двоих детей. Хватит, всё. Сил моих нет. — И она потянулась к нему губами.

— В следующий раз пойдем в музей Конёнкова. На углу Тверского бульвара и улицы Горького. Все увидишь своими глазами. Все поймешь. А сейчас взгляни на угловой дом, бывший трактир Романова, знаменитый на всю Москву ягодными настойками...

Ася не стеснялась своей неразвитости, не боялась быть смешной, если что и ляпнет. Ее простодушие и наивность то восхищали, то ставили в тупик. И Зуевский в охотку взялся окультуривать и воспитывать прекрасную дворничиху, осознавая нелегкий процесс как благородную просветительскую миссию, а себя — миссионером. С Асей можно было говорить обо всем — своя в доску. Смекалистая и хваткая от природы, на лету схватывала незнакомые слова, названия и имена, по-детски радовалась новым книгам и фильмам, которые усваивала, как поливитамины, училась сервировать стол, орудовать вилкой и ножом, приходя в восторг от самой себя и, конечно, от Славика, у которого были свои открытия. И главное, то противоречивое своеобразие ее натуры, которое не просто удивляло или с ног сшибало, но дико его возбуждало: почти девчачье лицо и грубые бабские манеры, прекрасное тело и вульгарная речь лимитчицы. Вся на контрастах. Как черно-белая клавиатура рояля. Он досадовал, выходил из себя, прощал, мирился, восхищался и терял голову. Для уверенности — сам не голубых кровей и даже не москвич — потащил ее на смотрины к приятелям, среди которых были солидные семейные редакторы, одинокие или разведенные журналисты, многодетные художники — коллеги по журналам или издательству, где он работал. Услышав в Асином исполнении душещипательную *лав стори* (шегольнула словом!) Славика и Аси, они звонко цокали пьяными языками, не экономили на масляных взглядах и, облобызав Асю не совсем по-братски, единогласно признали в ней реальную современную героиню и фактурную натурщицу. Одобрили и ободрили.

Потрепанную книжицу сезонного расписания электричек Москва—Петушки, не поперхнувшись, проглотила черная пасть мусоропровода, и Зуевский перебрался к Асе в дворничью. На первую же полочку торжественно купил импортный двуспальный диван-книжку, одно название которого должно было гарантировать счастье.

Через полгода Ася залетела.

Зуевский тут же женился. Со штампом, с фатой и шампанским, но перед этим поставил будущей жене условие: учиться.

И Ася выбрала строительный техникум.

Она не стала припоминать Славику историю его чудесного спасения. Не до того... Даваясь клеклым комком слез, нелюбимая, жалкая, раздавленная, выползла на лестничную площадку. Там было хорошо курить, сидя с ногами на широком белом подоконнике.

Долгий летний вечер коротал последние часы, призвав на состязание соловьев из районного сквера, где полыхала белая сирень и еще не распустился жасмин. Прохожих почти не было. В распахнутых окнах ужинали, гоняли чай, пялились в экраны телеков, играли в картишки, укачивали орущих детей, у которых то температура, то зубки режутся, то кишечная колика. Соловьи поддавали жару и выдавали такие замысловатые коленца, рулады, трели и фиоритуры, что даже единственная скатившаяся на Асину руку слезка казалась неуместной.

— Ничего не ценит, — защемленным от обиды голосом выговаривала она в воздух. — Избаловала на свою жопу. С первачка-то мур-мур, а потом — зырк да бурк. Ему все условия: расти, письменник, классик земли русской... Книжный пьяница! Заведется лишняя копеечка, так он к букинистам, к прохиндеям. Трясет какой-то лохматой книженцией — антиквариат, раритет! — ну прямо тебе лотерейный билет на миллион фунтов стерлингов. Одни книжки на уме. С ними живет. Не со мной, не с Лизкой. Еще и гундит: неудобно, тесно. Да моя дворничья — многофункционал!

Сколько лет метлой под гимн махала?! Я-то выживу, у меня — и диплом, и Лиза. Дети — самый качественный цемент. Без срока годности.

Ася дернулась было на кухню, но тормознула. В холодильнике кроме серых сарделек, от которых воротит, ничего.

— Неделуха никудышная! — укоряла себя. — В мамку. Может, потому и мужика у нее не было. Ведь мы, шерочка с машерочкой, на бутербродиках, на рогаликах с маслом, на свердловских булочках с присыпкой. А соскучится желудок по горяченькому, заурчит — пельмешки с уксусом, рожки с тушенкой или с колбасным сыром. И — ладушки. Может, Славику жареной рыбки из кулинарии? Может, все устанутся?

Приняв, как вызов, что у Пряхиной волны каштановых волос ниже плеч, Ася, не пожалев денег на салон красоты, подстриглась совсем коротко, «под мальчика», и перекрасилась в платиновую блондинку. В оленьих глазах поприбавилось страху, они стали крупней и выразительней. Славик не заметил. Он вообще не смотрел на нее. Не улыбался ни ей, ни дочке. Его физическое присутствие ровным счетом ничего не означало, хотя с показным рвением он выстукивал на «эрике» очередную статью для «Огонька».

И вдруг до Аси дошло: женился-то он без любви, по залету, и она ему, наверное, не пара. Когда говорил *я тебя люблю*? Живого цветочка не подарит, а вроде не жадный и красоту ценит.

И накатило. Кровь забурила, грозя закипеть и свернуться в темно-коричневую пузырчатую пенку, вскидывалась до висков, билась-колотилась, готовая прорвать бледную тонкую кожу и фонтанировать со всем напором обиды и негодования.

— Нигде на жену не учат. Вся в мамку. Бывшая комсомольская богиня, каждое слово — рубль штука. Когда я получила паспорт, в тот день мамка раскололась и рассказала наконец про моего отца. Говорила немного, но хорошо. Как о покойнике.

Из Армении. Тракторист, запевала. Смуглый, чернявый, улыбка, как у Рыбникова из «Весны на Заречной улице». А Дуся моя, хоть и не Алла Ларионова, но тоже аппетитная и заводная. Встретились под Кустанаем, целину поднимали по комсомольским путевкам. Степь — до неба, и небо — как степь непаханая. Ну и любовь-морковь до гроба. Когда он узнал про беременность, от радости колесом ходил, чуть в горящий костер не свалился, хотел до звезд докричаться: женюсь, мамой родной клянусь! И по-тихому только для Дуси: хоть ты и не армянка. И опять во все горло: вернусь из командировки и женюсь.

Его направили на подмогу в отстающую бригаду. Четыреста километров по степи — не расстояние. Он строго наказал Дусе беречь себя и обязательно — пальчиком погрозил! — сохранить ребенка. Очень ждал сына. Хотел назвать Гамлетом.

Больше мамка его не видела и не искала. Говорили, по телеграмме уехал в Армению, в Раздан на похороны матери. И с концами.

Вернулась моя Дусечка восвояси в свой бабий барак: на грудешке медалька «За освоение целинных и залежных земель», на руках — я с прочерком в метрике, довесок, прицеп с отчеством — Варгановна.

Всё как у всех, как у мамкиных товарок с такими же безотцовскими дочками. Фабра в платяшках-наволочках. И сами, как подушки. Вся жизнь — стометровка барачного коридора. Теснотища, грязюка, вонь. Вместо имен клички: Пискаля, Фуняка, Ползуха, Каблучок... Рыдали, орали, матерились, волосы выдирали и даже мутузили друг дружку. За что сыр-бор? Да за какого-то мужичонку, за подзаборника в обоссанных штанах, за самого заваливающего привокзального алкаша. Говна-пирога! Уж так было невтерпех, так им хотелось накормить, обстирать, приласкать, чтоб в комнате наконец мужиком запахло. На уличный театр ребятня сбегалась, и первыми — девочки. На ус мотали, как за мужиков надо драться. Неужели и мне такая везуха?

Славик, конечно, не зверь и жалел жену. Но своя рубашка — навсегда своя. Ведь не шуры-муры и не секса ради. Втюхался, как лопухий восьмиклассник, в Пряхину. Сердце замирало, когда он видел трепещущую резвым живчиком жилку на ее тонкой шее. Губы запомнили нежное тепло, а пальцы — ритм доверчиво пульсировавшей жизни. Он сглотнул с перекатом, набрал необходимый НЗ воздуха, выпячивая узкую грудь, расправляя плечи и сутулую редакторскую спину — в Славике Зувеском проклюнулся неукротимый мачо.

Когда недавно — в новенькой клетчатой рубашке, с бутылкой сухого, с лисичками, коробкой конфет и томом Борхеса — он остановил «левака», чтоб домчаться до Фрунзенской, где жила Нино, водила смерил взглядом его фигуру и авоську:

— К бабе?

— Нет. К женщине.

— Садись.

По телеку вещали про магнитные полюса Земли, которые, по утверждению ученых, смещаются, передвигаются и могут даже поменяться местами. Остановить, ускорить или как-то изменить траекторию их движения современная наука не в силах.

— Все как у людей.

Под синим колокольчиком ночника, в ситцевой пижаме Ася уговаривала бутылку забулдыжного протвешка «777», сосредоточившись на клеенке, изуродованной ожогами от сигарет, похожими на старческие кератомы. Все пересчитала. Самые безнадежные, насквозь черные, разглаживала пальцами и в паническом мозговом штурме перебирала возможные варианты спасения, подыскивала надежные убежища. До нее не сразу дошло, что рядом Славик и это его правая рука тихо легла на ее плечо.

— Шлагбаум подними, слышь!

Он послушно убрал руку, в которой дрожала полная портвейна рюмка. Выпили молча и не чокаясь. Может, просидели бы так до утра, но Славика сморило. Он сопел, вскидывал голову, открывал на миг глаза, такие растерянные, совсем ей чужие, и она — кто? почему? — тоже казалась ему ниоткуда взявшейся чужой теткой. Ямка на его худом плече пустовала. Неглубокая, мягонькая, аккурат для ее головы. Ну прямо тепленькое гнездышко.

— Замиритесь намекал, — с надеждой подумала она и ухнула в брезентовую бездну защитного цвета.

На следующий вечер муж принес полкило краковской и поллитровку «Столичной», гораздую развязать язык. С жаром выводили они друг друга на чистую воду: кто, когда и в чем виноват. Объявляли приговоры, грызлись, защищались, но и винулись, и утешали, как близкие родственники или друзья в трудную минуту. Ведь было, черт возьми, было же у них что-то, похожее на ослепительное утро с птичьими побудками, запахами тополиных почек и жареных оладий, залитых гречишным медом. И разговоры, разговоры...

Дождавшись, когда дочка заснет, они забирались под теплое верблюжье одеяло и листали в постели тяжеленные художественные альбомы с черно-белыми иллюстрациями, цветных тогда было мало. Как сказку на ночь, читал Славик про русские кремли и рассказывал такие подробности — они сразу врезались в память, — о которых в книгах не писали. Самым выдающимся, по его словам, был Псковский Кремль, или Кром. Ася знала названия всех семи башен, среди которых странное и темное — Кутекрома. Ей было понятно, что такое *охабень* или *детинец*, и с замиранием сердца слушала она про страшные кремлевские пожары, про уцелевшие в огне необъяснимым образом мощи святых князей Довмонта и Всеволода.

На самом интересном месте Славик захлопывал альбом, нависал над ней и легкими летучими поцелуями осыпал ее задрожавшие веки, улыбающийся рот, и они, как две тропических лианы, переплетались крепко-накрепко. Казалось, на всю жизнь.

Где оно всё теперь?

Пока Славик причмокивал во сне и распускал по подушке тонкие струйки пьяных слюней, разметавшись строго на своей половине супружеского ложа, Ася ускользнула из дома и растворилась в бессоннице московской ночи. Без Лизки и без вещей.

Поутру он растерялся, но только слегка, и быстро нашелся: баба! характер показывает! Наверняка у подруги. Где еще? Звонить не стал: у него, хоть он и не баба, тоже характер.

Она не вернулась и на другой день. Он почувал засаду и заерзал. А Лизка, Лизка такое выкомаривала! Всё наперекор, со слезами, с криком. Устроила настоящий бунт, а на третий день устала и затемпературила. И он — почти без сил, на срыве — бросился обзванивать друзей и подруг.

Ася обреталась в Звенигороде, на летнем пленэре — прямо-таки «Завтрак на траве» — среди общих знакомых художников, видевших в ней фактурную натурщицу с оленьей дичинкой в глазах, и скульпторов, сшибавших неплохие гонорары за придорожных гипсовых лосей, пионеров-горнистов и пограничников с собаками, покрытых толстым слоем серебрянки.

Напитанная свежим воздухом, беглая жена и бровью не повела, когда в интерьере старой деревенской избы, прикрываясь живой мишенью, зареванной Лизкой, возник наконец, муж. Вперившись в Асю, просёк слёту: *чужая*. Кураж пропал. Но Лизка-то, Лизка-то ожила! Она повисла на маме, целуя и глядя ее по волосам, по лицу, повизгивала и верещала взахлеб, что хочет в лес за земляникой, но еще больше — найти тропинку, по которой Красная Шапочка шла к бабушке и несла пирожок и горшочек масла. Есть в этом лесу такая тропинка? А пирожок? И горшочек масла? Ася чмокнула дочку в макушку, пальцами пригладила волосы на прямой пробор, чтобы в глаза не лезли, и усадила за стол. Через минуту, не выпуская из одной руки Асину цветастую юбку, другой — Лиза втыкала вилку в кругляши аппетитной картошки, остывающей на сковороде и зажаренной как по заказу на сливочном масле. Славик сглотнул. Ася закурила, вглядываясь через распахнутое окно в живописный ландшафт «русской Швейцарии», в высокий берег Москвы-реки, словно там, на вершине зеленого холма, на золотом троне восседал ее всемогущий повелитель, которому она готова служить, а не здесь на скрипучем венском стуле ерзал блудный муж, выдававший себя за небожителя, за аристократа духа.

— Зла не хватает, — в прицельно сощуренных глазах нешуточно полыхнули зарницы, — с родной дочкой не сладил, зато с чужим сыночком, небось, вась-вась! Ведь не за мной же прикатил?! Не бухнулся в ножки, мол, соскучился, любимушка! Нетушки! «Неотложка» понадобилась. Дочкой манипулируешь. И по фиг, что наша жизнь коту под хвост и Лизка — невротик.

— Асенька, умоляю, — на цырлах подполз Славик и осторожно, как горящую головешку, развернул жену лицом к себе. — Лиза меня за отца не держит, на дух не переносит. За что? Я же старался: брал работу на дом, гулял с ней, варил ее любимую гречку с сахаром. И что? Орала, истерила, не ела, и наоборот — укусила в руку. Вот, до синяка. Меня ненавидит, а без тебя жить не может. Боюсь за нее.

— Ага, боязнь скрутила! На словах за дочку трясешься не меньше, чем за свою неземную любовь. А за меня? Или я не в счет? — От стрельнувшей боли где-то в боку или в животе Ася задохнулась, скрючилась и наконец утихомирилась, медленно распрямившись на осторожном вдохе. — На всю жизнь — безотцовщина!

От шипящих звуков слова *безотцовщина*, которое с детства летело ей в спину то комком грязи, то камешком — ни за что, просто так — ее бросало в дрожь. Славик наизусть знал историю Асиной безотцовщины, но решил для видимости проявить понимание, а в уме прикидывал, на сколько ей хватит запала, и если он не успеет на электричку в 18.23, вряд ли Нино его дождетя.

— Каково матери-одиночке? Никого не допускала. Ни одного мужика. Но и кидалась на всех, как бешеная собака. И меня, безотцовщину, байстрючку, гнобила. Смех, конечно, но в паспорте — он всегда при ней, в нагрудном кармане или в сумке — носила не мою фоточку, не-ет, вырезку из газеты «Правда». Буковки слепенькие, бумага желтая и — Горький: большие усы, большая шляпа — и «Песня о буревестнике». Уж как она ее любила! И читала с выражением, особенно в застолье. Все ржут, но слушают. Голос звенит, глаза закрыты. Звезда! Если б выучилась, могла и артисткой стать.

Славик потянулся к початой бутылке «Кизляра», плеснул себе и Асе. Потеплело, похорошело. Во рту — привкус корицы, а вокруг — шелковистая пелена тумана: пусть все идет как идет, пусть катится само по себе, эх, яблочко, куда ты... Что-то случится, будет какой-то знак, он верил.

— Никакой безотцовщины, никакой брошенки с прицепом! Не допущу! — Ася трясла мужа за плечи. — Мечтаешь о Пряхиной? Но ведь совесть зажрет! Мы с Лизкой в страшных снах будем приходить к тебе и к твоей Пряхиной. Просто так не сдамся. Не будет у моей дочери другого отца, а у меня другого мужа. Нам нужен ты, Зуевский! Какой ни есть.

Резко размахнувшись, он отпихнул разорвавшуюся Асю. Громыхнув стулом, она еле удержалась на ногах. И замолкла. Обрушившаяся вдруг тишина придавила обоих. Он махнул остатки коньяка, и жесткий спазм сжал горло, дыхание перехватило. Острый детский крик — это Лизка, что ли, глупышка, закричала так, что расплосовала удушающую тишину? И вдруг — опаньки! Через большую голубую прореху он увидел себя со стороны, вживую, чему несколько не удивился. Увидел себя рухнувшим толстокорым древом, больно ударившимся о каменистую землю, древом с могучей лиственной кроной и вывернутыми корнями, достававшими до солнца, которое жгло немилосердно... Вот как перевернулась жизнь! На небе или на земле, разве понять?

— Баньян, баньян, — отгоняя странное наваждение, Зуевский шарил в воздухе руками, щупал ножки стула под собой и свои раскинутые в сандалетах ноги и схватился за голову: именно под баньяном Будда достиг великого просветления... Во, как!

— Коньячок-то паленый. Уж не травануть ли надумала, жена?

Ася покрутила пальцем у виска и взяла на руки Лизу, которая то икала, то подвывала на непереносимо высокой, надрывной ноте. Тронула губами детский лобик, чмокнула в макушку и что-то пошептала дочке в ушко. Лиза затихла. Обе смотрели на Зуевского с опаской, готовые себя защитить, если что.

— Баньян! — Никакие другие слова не приходили на ум, не складывались на языке. Тонкие и длинные, как ветви, руки вздрогнули: нечем утешить девчонок. Да и стоит ли? Честнее остаться рухнувшим древом — из райского, между прочим, сада! — с обращенными к небу корнями.

— *Банан?* Ты сказал *банан*? Причем тут банан?

Ася пождала-пождала и, переключив Лизу на вбежавшего из другой комнаты трехцветного хозяйского котенка, собралась с силами, упреждающе кашлянула пару раз и продолжила тоном учительницы начальных классов.

— Низко чинить препятствия влюбленным: тридцатипятилетнему Ромео и тридцатишестилетней Джульетте. Много чего говорят про кризис среднего возраста. Переживем и это. Я развяжу тебе руки. И поддержу, чего бы мне это ни стоило. Будь уверен, скотина! — Не снижая пафоса, взмахнула рукавом цветастого платья и царственно указала на дверь.

Славик напрягся. В мозгу счастливым разноцветьем вспыхнула вся из прописных бегущая строка: *ФИНИТА, СВОБОДА, УРА!*

—... только при соблюдении определенных условий, — выдержав театральную паузу, Ася угрожающе близко подошла к мужу, и он инстинктивно выставил руку, обозначив дистанцию безопасности. — Если вдруг Пряхина бросит своего законного,

дважды раненного в Афгане полковника... Я все узнала: у них трешка на Фрунзенской с видом на Нескучный и на Москва-реку, «шестерка» и бутерброды с икоркой на завтрак. Так вот, если твоя жар-птичка прилетит вить гнездышко в нашу камору — ты ведь рассчитываешь, что я оставлю свою кровную дворницкую вам на счастье? *Хо-хо, парниша!* Я тебя не разочарую. Твоя буржуазка — ты ж презирал буржуазность?! — припрется с дюжиной чемоданов, хрусталем и сервизом «Мадонна». Придется тебе пойти на жертвы: ликвидировать кабинет или — ужас-ужас-ужас! — продать книги. — Играя интонациями, Ася покраснелась, глаза искрились, подчеркивали свежесть лица, и она, красивая, уверенная в себе и в своей победе, зашла с больших козырей. — В «Спид-Инфо» писали, что по Фрейду...

— Во, блин, образовалась на мою голову.

— Да-да, дочку, по Фрейду, разлучать с отцом ни-ни. Категорически. И твоя Пряхина должна полюбить Лизу и быть не как мачеха, которая варила супчик из отрубленных пальчиков бедной падчерицы. Она, говорят, православная, стерва! Забыла про блуд и прелюбы? Чтоб ей пусто было! И чтоб твои ничем не выдающиеся причиндалы отсохли напрочь, гадский изменщик! Поживите вчетвером, поворкуйте. А на выходные я буду забирать Лизу к себе. Я ведь — мать. Сердце-то за доченьку болит. Сниму поблизости однушку. Ты и оплатишь. Будь готов, сдам тебе Лизу. На пятидневку. На следующей же неделе.

Славик не просто молчал, он лишился дара речи.

Бегущая строка погасла.

Баритон сел.

Разномастные дачи садовых товариществ, неприглядные деревенские избы, пошлые коттеджные поселки с дикими для Подмосковья названиями «Трувиль», «Кембридж» или «Ричмонд» бежали вдоль дороги попеременно с небольшими участками обреченного на вымирание леса, торфяными озерами и зелеными лоскутами засеянных полей. Стоп и — станция. Платформа, люди, собаки. Электричка пыхтела и снова набирала скорость. Славик мысленно обогнал ее. Он выстраивал стратегию ближайшего будущего:

- 1) никакой безотцовщины;
- 2) по возможности помогать Асе и Лизе, они — часть его жизни, но только — часть;
- 3) **СРОЧНО** найти параллельную подработку или выбить в издательстве — Махотин поможет! — полторы ставки, и тогда снять однушку с балконом, с большой кухней, где поставить детский диванчик, и пока полковник исполняет интернациональный долг, перевезти Нино и Петю. Нельзя, чтоб любовная лодка разбилась о быт. Поэт знал, что говорил. Только зря застрелился.

Поджав под себя босые ноги, Нина примостилась на скамейке, скрытой ветвями разросшегося молодого боярышника. Прикидывала, примеряла, прокручивала ситуацию так и эдак.

Ася, конечно, штучка еще та. Из приезжих.

Славик — бедняга. И даже жертва.

Лиза — разменная монета.

Но я, Нина Пряхина, кто я? — спросил ее вдруг прорезавшийся внутренний голос.

Дохнув перегаром, Славик мешком плюхнулся рядом.

— Хочется удавиться в сортире. — Он вяло, в общих словах пересказал что да как. И, не переводя дыхания, сразу же стал планировать и редактировать содержание их

счастливой совместной жизни, которая реально выпадала из вида чудесной фата-морганой.

Нина затаилась: условие оставить Лизу ей, чужой тетке, которая должна заменить настоящую маму, — смертельная ловушка.

— Я бы Петьку — никогда, ни за какие коврижки. Даже отцу родному. А тут, здарсьте, я — мачеха при живой матери!

Сильно сжав пальцами виски, она уронила голову, раскалывавшуюся от бесслезной боли. Волосы плотно занавесили лицо.

— Прости, пожалуйста, но такая ноша мне не по силам. Не потянуть. Слабачка, слабачка я! — Голос истончился до белой ниточки, готовой в любой момент порваться. — Вдруг не сложится, не полюблю Лизу?

— Почему я готов жить с твоим Петей? Потому что люблю тебя, значит, и твоего сына.

— Ты ж его не видел! Как и я Лизу. Вдруг дети не поладят? Ссоры, драки, ревность. Кого ты пожалеешь, кого отругаешь? Кого первого шоколадкой побалуешь? То-то и оно. Не торопись ломать. Для начала давай с ними в зоопарк сходим! Или в цирк. — Нина прижалась к нему как к несущей конструкции несуществующего самостроя. Он ловко подхватил ее, усадил к себе на колени и стал часто-часто целовать, как целует мелкий дождь или крупный снег. Нина притихла. Он положил голову на ее загорелое плечо, прикрытое бретелькой сарафана, подслушивая, как неровно и часто бьется на ее шее нежная жилка, тепло которой знают его пальцы и губы. — Если б ты только знал, как мне страшно!

Зуевский все-таки затащил Нину на Банный.

Уже с утра все валилось из рук, статья про поселок художников «Сокол» не складывалась, не хватало архивных материалов, фотографий, иллюстраций, и в голове навязчиво свербило: Нино, ты мне нужна, не могу без тебя!

Славик заглянул в редакцию биологии — она сидела за ближним к двери столом — кивком вызвал в коридор. Проскользнув на черную лестницу, куда не совались даже курильщики, они уже на ходу торопливо целовались, толкаясь языками, сплетались жаркими руками и телами, ни на миг не отпуская друг друга. Набрав побольше воздуха, он с неожиданной силой обнял ее, поднял и закружил в воздухе:

— Нино, моя Нино!

Раздался хруст, и она ойкнула.

— Ребро! Ребро сломал!

— Да ладно, ты вся из моего ребра, из одного! Давай, на пару часов ко мне, сейчас же! Ася в Истре, на объекте. Погнали?

Он достал чистую простыню и подошел к дивану. Нина попятилась и прижалась спиной к массивной крашеной двери:

— Нет, Славик. Не здесь. Не могу.

Он вспыхнул. Скомкал и отшвырнул простыню на пол. Бросился к Нине, обнял и молча, как провинившийся, опустился на колени. Стайка мотыльковых поцелуев коснулась ее щиколоток и понеслась вверх по полным белым икрам, по коленям, поднялась до бедер. Нина не отвечала. Она не отрывала глаз от наспех сброшенных у двери войлочных шлепок, сильно продырявленных большими пальцами. Как два глазастых помоечных котенка, шлепки дожидались хозяйку, которая в них шмыгала, бегала, согревала ноги и, наверное, валялась на диване, дремала, усталая, после работы. Нина так же скидывала у двери свои атласные розовые, на каблуках... И тут вдруг всё, что так угнетало и даже разрушало ее изнутри, неожиданным образом прояснилось и встало на свои места: она на не отнимет мужа у этой женщины в войлочных шлепках, хозяйки дворницкой, которая месит грязь, мотаясь по стройкам,

а Зуевский для нее — свет в окне; она не станет мачехой маленькой Лизы и никогда не приведет Петьку, любимого своего Петьку сюда, в комнатку, похожую на старый трамвайный вагон, уставленный от пола до потолка книжными полками, разгородившими якобы пространство: где Лизина кровать — детская, где письменный стол размером с парту — кабинет Славика, а в центре — диван и маленький столик, на котором даже двум большим тарелкам тесно.

Нина знала, что так правильно.

Не знала только, как ей жить без Славика.

Растерянный, он не понял, что произошло. Виновато заглядывая в глаза, засуетился, побежал на кухню и, разыгрывая официанта с белой салфеткой через руку, подал горячие котлетки в тарелке чуть больше блюдечка и бульон с сухариками — в пиале. Не куриный, не мясной, но очень ароматный и вкусный. Зуевский не ел, только загадочно улыбался.

— Еще хочешь?

— А можно?

— Да в момент.

— Никогда такого не ела, — на раздумавшемся лице вспыхнула лучезарная улыбка, от которой у Славика сносило крышу. Похоже, черная туча миновала, стало почти легко, и он, ошарашенный, выдохнул. — Сам приготовил?

— А то! Берешь бульонный кубик, бросаешь в кипяток, и через пять минут — роскошный бульон.

Она попросила не провожать.

Проходя по длинному коридору, забитому вычеркнутым из жизни старьем и хламом, Нина все-таки рассмотрела: трехкомнатная квартира, после уплотнения превратившаяся в советскую коммуналку со светлой большой прихожей и маленькой комнаткой для прислуги, ставшей со временем дворницкой. На широкой каменной лестнице — знакомый запах. Не старости, не бедности, не нафталина. И даже не хлорки. Так пахло в старинных особняках и подъездах Москвы, особенно в Замоскворечье и на Арбате. Что-то от осенней листвы, но не пропащей, слякотной, а той, что с горчинкой трепещет в синеве, не в силах оторваться и невесть куда улететь. Интересно, сами жильцы ощущали этот дух московской старины? Или только гости?

Вернувшись домой, Нина испекла шарлотку и долго читала Пете «Без семьи» про маленького француза, сиротку Реми, скитавшегося со скрипкой по чужим людям.

Поднывало ребро. Крупными дрожащими линзами подступили близкие слезы, но не из-за ребра... Бумажной салфеткой промокнула глаза. Очень жалко Петьку. Себя тоже жалко. Но больше всего — то несбыточное, про которое говорят: журавль в небе.

Ася все рассчитала точно.

И Нина Пряхина злилась на нее.

Она злилась и на бездействие Славика, и даже на отсутствие Ивана, но сильнее всего — на себя и, прежде всего, на свое мерзкое малодушие, нерешительность и привычку к бытовому комфорту, хотя само слово *комфорт* было непереносимо скучным и плоским.

О квартире и машине вопрос не стоял. Только свое и Петькино шмотье. Никаких объяснений, лучше письмо: благодарность за совместно прожитые годы и просьба простить, простить, милостиво простить за все. Не стала ни надежным тылом, ни боевой подругой. Не оправдала, не поддержала, не полетела в Афган, и наоборот — предала и прелюбодействовала, пока муж воевал... Нет, нет, не так. Лучше короткая записка: «Прости, пойми и не осуждай строго».

Иван — добрый, надежный, порядочный. Но каждый из них жил сам по себе и внутри себя, между ними зазор. Да что там зазор — пропасть. Она знать не знала о такой

степени близости, когда никакого зазора и забываешь про личное пространство, потому что все слитно, слитно-нераздельно. Собственное незаметно и тихо переходит в *ты* и *мы*. Родство и радость узнавания — во всем.

Вернется Иван с войны — он обязательно вернется! — а на кухонном столе записка. Ну, разве не подлянка? А если ничего не менять и притвориться, прикинуться верной женой? Она не первая и не последняя...

Все в ней вставало на дыбы от такого выбора, но и жизнь без Славика Зуевского выглядела лишь пошлой бутафорией — муляж из папье-маше.

Времени на любовь не оставалось.

После работы он мчался в сад за дочкой, в обед — за продуктами в магазин. Раньше именно в обеденный перерыв, пока Петька на продленке, Нина и Славик прыгали в такси и гнали — правда, гон! — через всю Москву на Фрунзенскую. Там осторожно, один за другим, делая незнакомый вид, входили в подъезд с дежурным вохровцем и поднимались на седьмой разными лифтами. Нина держала ключи наготове, но замок с первого раза не поддавался. Уже в прихожей, скидывая обувь, расшвыривая одежду, набрасывались друг на друга и голышом, не размыкая объятий, сросшимися близнецами — ее узкие ступни на его широких огромных — добредали до гостиной, чтоб упасть в мягкие подушки необъятного дивана и любить, любить... до конца обеденного перерыва. Будильник возвращал в реальность: перекус и обжигающий кофе. Из чашек «Мадонна».

Одно из ярких впечатлений его детства — аттракцион. По слухам, американский.

Лето. Рядом со стадионом отбеленный солнцем шатер шапито. По городу цветные афиши: *Мотогонки по вертикальной стене*. Они с пацанвой поржали: по горизонтальной, видать, слабо! И пошли всем двором.

Зал — как толстая бочка, в которой пол плавно переходил в стены. Зрители где-то наверху перемещались, гудели от возбуждения, а под ними с нарастающим ревом и треском, перекрывавшим все ожидания, страхи и восторги, два гонщика в черном затевали опасный трюк. Сначала медленно, потом быстрее, и выше, и бешеней. Черными вихрями гонялись друг за другом. Прилепившись к стене, мотоциклы нарезали виток за витком, рев и треск оглушали, гонщики, рискуя выпасть из седла, все ниже и ниже пригибались к полу. Пространство и скорость разрывали мотоциклы и гонщиков. Вдруг жуткий грохот, дым, ужас... Взрыв? Славик зажмурился и заткнул уши. Сильно захотелось отлить. Он задрогал ногами, но любопытство было сильнее.

Бросив руль и синхронно раскинув руки в красных крагах, гонщики, казалось, готовы были взлететь под брезентовый купол шапито и вырваться в небо — вот для чего такой смертельный аттракцион! — оставляя ошеломленной публике пахнущие гарью, сизые хвосты выхлопов. Игра со смертью. Кто кого? Всерьез и по-настоящему. Можно разбиться вдребезги, стать калекой, инвалидом, «овощем». Тогда же в его мальчишью башку крепко-накрепко врезалось: *а на фиг так рисковать?!*

На исповедь к отцу Владимиру, внуку знаменитого академика и самому жалостливому в храме священнику, не молодому-не старому, с мелкими серыми глазами на желтоватом лице, заросшем седеющей бородкой, выстроились прихожане.

— С чего начать, — накануне, готовясь к исповеди, продумывала Нина, помня, что оправдываться не должна. Строгий внутренний голос требовал на полную мощь: покайся, прелюбодейка! Каялись же Мария Египетская и Мария Магдалина! Их до крови побивали камнями. Они — не чета тебе и нашли силы покаяться. Господь милостив, Господь простит! Баболя — почти слепая, как в воду глядела: от пагубных страстей молись Богородице «Утоли моя печали», нашей женской иконе. И тот же внутренний голос, но уже теплый, участливый, говорил и другое: добровольно

отказаться от любви, от самого лучшего в себе? Убить прекрасную и может, единственную в жизни любовь? Не больший ли это грех? Ведь «Бог есть любовь».

Кроме протоиерейского сана у отца Владимира был университетский диплом клинического психолога, что вызывало повышенное доверие у неопитов и вводило в грех осуждения твердых ортодоксов. Выслушав прихожанку с подобающим смирением, отец Владимир рубанул во всей простоте почти басом:

— Да ты, матушка, воровка!

— Воровка?

— Да-да, злостная воровка, крадунья. На чужое позарилась, чужого мужика украла. За воровство раньше руку отрубали, знаешь. Не гуманно по нынешним понятиям, но оч-ч-ень эффективно.

— Неправда, не украла. Мы любим друг друга.

— Не-е, матушка, никаких оправданий. На исповеди они неуместны. Ты бессовестно украла чужого мужа. Факт. Признай и покайся.

— Но он же не вещь?

— Ага, про вещь, значит, понимаешь. Шла-шла, не пирожок, а ключик от мерседеса нашла. И уж так приглянулся. Чей мерседес известно, но ключик-то у тебя. Играешься, забавляешься, при себе держишь, не возвращаешь. Так и с чужим мужем. Наверное, и в койке кувиркаетесь?

— У нас любовь.

— Э-э не-е, не любовь...Только прикидывается, разыгрывает. Только корчит из себя любовь. На самом деле, жжёт без пощады, огнем пополяет, кидается, сжирает, ведь так? Страсть тебя одолела, моя хорошая, страсть измывается над твоей бессмертной душой. Не трожь чужое. Верни, говорю!

Колени дрогнули, Нина охнула и осела.

— Страсть тебя, матушка, треплет. *«Любовь долготерпит, не перевозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего...»* Любовь, она от Бога, а страсть, сама знаешь, от кого. Соберись с духом, не мучай себя. И перво-наперво верни чужое. Нет на это Божьей воли. Не судьба, если так понятней. Пока не исправишься, к причастию не подходи.

Опустив голову и глядя в пол, поспешила она неслышными шагами, но басовитый оклик священника приостановил:

— У тебя есть образ святой Нины?

— Нету, батюшка.

— Погоди-ка! — Отец Владимир метнулся в алтарь и вынес маленькую заламинированную иконку. — Святая Нино, Нина Грузинская, твоя небесная заступница. С крестом из виноградной лозы. Сама Богородица его вручила. Святая Нино — с характером, равноапостольная, уж она-то возьмется за тебя, не оставит. Ты давай-ка, мать, не унывай и не серчай. Молись своей Нино!

Отец Владимир улыбнулся, и ей стало легко и почему-то радостно: не просто так, значит, Зуевский называл ее на грузинский лад.

«В настоящий момент прибыл в распоряжении штаба, в Кабуле. Мои парни раздолбали духов, придавивших наш взвод под Джелалабадом. Чудом вырвались из проклятого ущелья, считай, из каменного мешка. Дорога на Кабул очищена. Она тут одна единственная. После Нового года планирую возвращение в столицу. Береги себя и сына», — написал Иван в последнем письме.

Без пятнадцати пять утра, как по будильнику, она вскакивала в холодном поту, катившемся по шее, по грудной ямке, а во рту — пустыня. Сердце то бешено бухало, скакало табуном диких лошадей — не сосчитать, то внезапно замирало, уходя на дно тихой рыбиной, похожей на камбалу. Всплывало тяжело, и выдохнуть было больно.

И тогда Нина начинала думать о муже, хотя почти не скучала о нем. Слишком отделились, отвыкли разговаривать и понимать друг друга. Из общего — сын и жилплощадь.

Как ее угораздило выйти замуж именно за Ивана?

Еще в школе она влюблялась в очкариков и книжечеев, кабинетных мальчиков, тщедушных маменькиных сынков.

Иван — герой, гадать не надо. И в белой парадной форме совершенно неотразим. Но — другая порода, другая группа крови. Весь повернут на дисциплине и культе тела. Турник, штанга — в спортзале, дома — пудовая гирия. Раз в месяц измерял — да, на полном серьезе! — объем бицепсов, икр и бедер. Звонил друзьям, у кого больше? Отслеживал динамику. В театр не затащишь, книги — только про войну, а уж компании с его сослуживцами и их женошками — казарма! Так молчком и жили — неделю, другую, третью. Замужняя жизнь научила ее молчать. Терпеть и молчать. Потом у него — очередная командировка, у нее — передышка и свобода.

— Святой Михаиле Архангеле, спаси раба Божия Иоанна, храброго воина и благочестивого мужа, хоть и язычника!

У Бога всегда чего-то просят. Для себя, для ближних. Здоровья, долгой жизни, мирного неба над головой, счастья, денег, детей, квартиру, машину, дачу... Прощение вымаливают. И даже смерть. Мало того, что лично у Бога вымаливают, но еще у Богоматери и всех святых. Бог, он — бездонная копилка всяческих благ и щедрот? Или всеобщая «скорая помощь»? Или небесная полиция? Если болезнь или беда, то со всех сторон: за что? за что ты, Боже, так наказал меня? за что такая чудовищная несправедливость? Но если радость, успех, счастье или просто обычная, без потрясений и без огорчений текущая жизнь, кто спросит: за что мне такое благо и милость такая?

Иван, хоть и партийный, но разрешил — без энтузиазма, правда — разрешил повесить иконы в спальне, подальше от посторонних глаз. Что-то ему подсказывало, хуже не будет, пусть приглядывают за ним, за женой и сыном, тем более иконы старинные, подарок какой-то святой старушки.

Когда Нина училась на биофаке, после каждого курса проходила практику в экспедициях — в комплексных биологических и орнитологических. Больше других птиц ей почему-то полюбились водоплавающие: лебеди, гуси, утки, цапли. И чайки. И другие, кто помельче. Странное родство она ощущала именно с водоплавающими. Наверное, потому, что вода — общая колыбель. И Нину, вышедшую из вод теплого материнского моря, так и тянуло прожить пусть несколько сот метров водоплавающей, когда тело чувствует свою горизонталь. Она понимала тех чудиков, которые в старину мастерили крылья из дерева, кожи, слюды и даже шелка, привязывали их к рукам, к туловищу, чтобы самоубийственно взлететь с колокольни и несколько мгновений прожить, проплыть по воздуху аки птица — орел или журавль. И Леонардо да Винчи мечтал создать аппарат наподобие птичьих крыльев. Понимала она и летчиков, и воздухоплателей на многоцветных парапланах и дельтапланах в Коктебеле, в Нижнем Новгороде, над Байкалом. Потом, выйдя из воды или спустившись с неба, легче держать вертикаль обновленной жизни на суше, на земле.

Особенно притягивали болотные чайки, отродясь не видевшие моря. Что им говорила птичья прапамять? Или — у каждого свое море? Будь оно Белым или хотя бы Чёрным? Была ли среди них чайка по имени Джонатан Ливингстон? Или у наших чаек другие имена? Валентина Терешкова!

— Я — Чайка, Чайка, прием!

Птицы тревожно и даже угрожающе взмывали над темно-коричневой жижей торфяного болота, где гнездились в травяных кочках, похожих на перенаселенный многоквартирный. Дурными голосами орали прожорливые птенцы. И оголтелые родители носились в поисках корма над шоссе, по встрече и над засеянным кукурузой

полем, шныряли по ближним деревням, по стихийным свалкам и переполненным мусорным бакам. Они базарили и дрались, гоняясь друг за другом. И кричали, кричали — может, звали на помощь? — с такой пронзительной тоской и силой, что заставляли остановиться и задрать голову к небу, готовому осчастливить безоблачной синевой или обескуражить беспросветным ненастьем, которому не рады ни птицы, ни люди.

Орнитологическая практика после четвертого курса проходила под Тарусой, где уцелели массивы старинных дубрав и смешанных лесов, потомки заповедных первичных лесов, пущенных когда-то на завалы и на непроходимые пограничные засеки. Оборонка всегда в приоритете.

В здешних лесах обитало множество самых разных — даже редких и исчезающих — видов пернатых, но зачет сдавали исключительно по лесным певчим. Выходили на маршрут в четыре утра, когда собирался весь состав сводного птичьего хора. Отложив на время будничные заботы о мошках-комашках, личинках и червячках, солисты и рядовые хористы прочищали горло художественным свистом, выводили рулады и виртуозные трели, убаюкивая лесной утренний воздух и озадачивая студентов. Птицы жизнерадостно гомонили, перебивали и слушали друг друга, заглушали и состязались — кто кого? Из пятнадцати певчих надо было распознать на слух двенадцать-тринадцать голосов: витиеватый росчерк зяблика, теньканье синицы, морзянку дятла, призыв пеночки, залиvistый вскрик иволги и других, не таких знаменитых, но с голосом. «При-ютии», — просила маленькая птица королёк.

В Тарусе, в магазине Нина познакомилась с девяностолетней бабОлей, почти слепой, бестелесной, но с ясным умом. Помогла перейти по тропинке через заболоченный овраг и донесла до дома, стоящего высоко на скользком глинистом взгорке, авоську с банкой кабачковой икры и буханкой черного. По дороге разговорились о колбасе — докторской, любительской, языковой, вспомнили и краковскую, и ливерную. Но колбаса только в Москве, в центральных гастрономах, где ее иногда «выкидывали» для плана. Кто-то из однокашников ехал на выходные в Москву, и Нина попросила колбасы — какая попадется.

Когда развернули заветный кусочек докторской, бабОля ахнула и всплеснула руками. Принюхивалась к свеженькой да мягонькой московской колбаске, причмокивала и даже языком цокала. От избытка чувств зазвала Нину чаевничать с крыжовенным вареньем. Кухонька была такой маленькой, что второй стул с трудом втиснули в простенок. Непромытые чашки без ручек, чайник с отбитым носиком, алюминиевые ложки. Над самодельным, давно не крашенным столом с двумя дверцами и выдвижным ящичком для вилок-ложек висела такая же самодельная двухэтажная полка, заставленная разномастными тарелками, эмалированными белыми мисками и кружками, рядом граненых лафитников и литровыми банками — с вареньем, солью и гречкой. Удручали беспроглядные окошки под утратившими смысл занавесками — ни времени года, ни времени дня. Дом был полон прошлым, которым дышали щели и поры темных бревенчатых стен с пучками сушеной мяты по углам, подпевали выношенные до скрипа половицы и назидательно низкий потолок, оклеенный бумагой, кое-где обвисшей и пожелтевшей от времени. Дом не отпускал. Нина сразу стала *своей*, и после занятий в камералке хоть на часок забегала к бабОле. Привела в порядок посуду и окна, простирнула занавески, оказавшиеся голубыми в желтых цветочках, нарвала свежей мяты, полыни и пижмы от клопов и мух. БабОля по-своему отблагодарила: пузатый с длинным узким горлышком стеклянный *графыничник* вишневки, пара граненых лафитников, сало, лучок, укропчик, огурчики с огорода. Достала альбом с фотографиями и защебетала, зашепелявила, утирая набежавшие слезы реденьким фартуком.

— Муж Мишенька, Михал Иванович, — на старой фотографии улыбался первый парень на деревне, в майке и фуражке. — За месяц до войны его трактор задавил. Что-то там сломалось, и Михаила вызвали чинить. Он вроде все сделал, но зачем-то еще полез под низ. Он-то полез, а Сенька, тракторист, не спавши без малого двое суток, возьми да и запусти мотор... И всё. Нет человека. Нет моего Миши. Сеньку-то потом оправдали как больного на голову.

Фотографии вперемешку с выцветшими новогодними конвертами 60-х годов, с колхозными грамотами и какими-то квитанциями — всё выскальзывало и падало. Баболя собирала бумаженции с пола и перекладывала на другую страницу, руки ее не слушались, и она отдала альбом Нине.

— Сынки мои погодки: с гармошкой — Ванюшка. Который серьезный — Никола. Оба в войну погибли. Старший — под Курском, Никола — под Прагой. На него аж две похоронки пришли. До сих пор храню. Сколько слез пролила, когда наша Зойка-почтальонка не «треугольник», а казенный конверт принесла, чужой рукой подписанный. Думала, рехнусь. Или удавлюсь... Ведь ни-ко-го! Последний! Оказалось, ошибка. Правда. Через неделю Зойка бегом бежит и, вижу, то плачет, то смеется и машет, машет мне, а в руке «треугольник». От Николы. Жив, мать, не плачь и жди, отсюда до Берлина рукой подать... А в мае, перед самой Победой опять окаянный конверт. Тут уж без ошибки. Вот и вся жизнь. Отжила свое, теперь — доживаю. *Никого, никого, кроме Бога одного*, — тоненько, с вымученной беззубой улыбкой пропела баболя, — да и Богу не больно-то, видать, нужна. Не доходит моя молитовка. К нему на прием во-он какая очередида! Но зато иконки, иконочки мои, все при мне.

В соседней комнатке за темной сатиновой занавеской — укромный закуток за печкой — втиснута узкая железная кровать, прикрытая лоскутным ватным одеялом без пододеяльника, рядом — больничная белая тумбочка со стаканом помутневшей воды, где, наверное, не один день, утрашая оскалом, плавала вставная челюсть из розовой пластмассы. Почти под потолком, перед иконой алела трепетным огоньком, чуть большим, чем цветок герани, лампадка. Видимая и невидимая радость.

— Здесь Спас Вседержитель — самый большой над всеми начальник, — тыча заскорузлым негнувшимся пальцем, знакомила с домочадцами баболя, — вот Никола Чудотворец, всем угодник и за всех заступник, вот — Утоли моя печали, вот — Михаил Архангел, он за военных в ответе. И бабка, и прабабка, и мамочка моя — все им молились, целовали и благодарили. И я каждое утро: «Господи, помилуй! Спасибо за свет нового дня! Спасибо, что на своих ногах и в своем уме!»

Нина внимательно вглядывалась в темные доски, едва различая аскетичные лица мужчин, женщины и младенца — у всех строгий, требовательный взгляд. В Москве, в ее семье ни икон, ни упоминаний о Боге не было.

Родители ее — Михаил Иванович и Анна Николаевна — научные сотрудники, геологи, познакомились в экспедиции на Кольском полуострове, в Хибинах, где велись разработки богатейшего в мире месторождения апатито-нефелиновых руд. Их друзья ходили не в церковь, а в театры, в консерваторию и в туристические походы, особенно речные, на байдарках. У костра пели Визбора, Окуджаву.

Но родители не пренебрегли традицией, не побоялись и покрестили дочь в младенчестве, как и положено. Тайком, по чьей-то рекомендации, махнули под Талдом к сельскому батюшке, который, говорили, не донесет. И еще. На Пасху в их квартире пахло не магазинными «весенними кексами», а настоящими домашними куличами: большой — папин, средний — мамин, самый маленький — Нинин. День-два куличи, выставленные по росту, дожидались на столе, на большом жостовском подносе, накрытом нарядной салфеткой. И только в воскресенье утром семья садилась за стол: бились крашеными яйцами — у кого крепче? — ели куличи и творожную пасху, пили кагор.

Баболя провела мокрым носовым платком по иконе Богородицы, и, как с переводной картинкой, мгновенно проступил образ: у матери на коленях, полусидя-полулежа, расположился прекрасный младенец с пухлыми, в перевязочках, ножками, которые она придерживала правой рукой, а к левой — приклонила свою голову в красном шарфе, слушая и вникая в смысл того, что читал по священному свитку ее премудрый сын.

— Энта женская, Богородица наша — от пагубных страстей, Утоли мои печали. — В самом названии иконы, накрепко запавшем в душу, Нина расслышала первую строчку стихотворения или, может, молитвы.

До конца практики оставалась неделя.

Унылой очередью к кормилице-осени потянулись дожди: то ливневые короткие, то обложные затяжные, теплые грибные. Проселочные дороги, незаасфальтированные городские улицы и даже тропинки в лесу развезло. Ноги разъезжались, скользили. Без резиновых сапог никак. И птицам не до песен, но зато грибов... Студенты, жившие в брезентовых палатках на лесной опушке, не успевали сушить у костра одежду и обувь. Там же отогревались портвейном и дешевым плодово-ягодным. По ночам катались лодочным «паровозиком» по Оке и едва вытягивали, фальшивя и вразнобой: *у ней такая маленькая грудь, и губы, губы алые, как маки, уходит капитан в далекий путь и любит девушку из Нагасаки...*

С особым усердием Нина наводила порядок у бабоЛи, делала запасы продуктов и лекарств, но главное — им было по-свойски хорошо. Бабушек Нина не знала, и родной стала чужая девятиностелетняя полуслепая старуха из Тарусы.

Когда пришла попрощаться, на столе в два ряда лежали Николай Чудотворец, Утоли моя печали, Михаил Архангел с мечом и Спаситель с предстоящими.

— Со мной будет Вседержитель, — бабоЛЯ кивнула на божницу, там в красной лампадке неугасимо мерцал огонек, — а энти твои. Все. Забирай, дочка! Ты ко мне с гостинчиком, и за мной — не заржавеет. Окочурюсь тут одна, и кому? — разведя в стороны немошные руки, бабоЛЯ пыталась охватить необъятное пространство одиночества и старости, состоявших при ней. — Сожгут или изгадят, или продадут чего доброго барыгам. А у тебя, глядишь, приживутся. И — прописка московская, не 101-й километр. Лишний разок меня, старуху, помянешь. Ласточкино гнездо видела под стрехой? Новое, этого года. Значит, заметили меня там, — бабоЛЯ завела вверх разбавленной голубизны глаза и будто постучалась в небо указательным пальцем, — новая квартирка дожидается. Примета такая.

В Москву Нина приехала со стопкой старинных икон, перевязанных веревкой, и прикидывала, на какой стене и в каком порядке их лучше развесить. Родители под настольной лампой рассматривали иконы. Поохали-поахали, пожалели одинокую бедную старушку, похвалили дочку за отзывчивость, но портить стены в квартире не позволили категорически.

Прикрытые ворохом газет иконы остались пылиться на подоконнике. Через год, когда другая студенческая группа вернулась из Тарусы, Нина узнала, что девятиностелетней бабоЛЯ не пережила. Ласточка не промахнулась.

Со стыдом вспомнились беспризорные иконы, и Нина решила пристроить их на книжных полках. Сегодня, сейчас же. Притащила с балкона стремянку, попросила маму помочь.

— Сначала, Ниночка, давай образим. Ветошью, смоченной в льняном масле. Так мой папенька делал, — с некоторой робостью призналась Анна Николаевна, удивив дочь неожиданными познаниями. Льняного масла в доме не было, и она провела по доскам, едва прикасаясь, мягоньким байковым лоскутом, пропитанным подсолнечным. Лики мгновенно просветлели, глаза ожили. Обновились, играя оттенками и складками,

неожиданно яркие одежды. Во весь рост поднялись черные буквы. Взгляд задержался на Николае Чудотворце. Анна Николаевна прошлась пальцами по голове с большими залысинами на висках и седой кудрявой бороде, по зеленому шарфу с большими, вышитыми золотом, крестами и раскрытой книге в руках Николая. Прижав икону к груди, как младенца, Анна Николаевна пошла за лупой, лежавшей на письменном столе, под рукой, чтобы читать геологическую карту местности, долины или горного хребта, где проходил их полевой маршрут. То приближая, то отодвигая лупу, она перебирала губами и неуверенно произнесла: «*О время оно ста Иисус на месте равне и народ ученик Его*». Понятно?

— Если честно, нет. На церковнославянском? Ты???

— Когда на английском, тебя не удивляет.

— Откуда, мам?

— Да папенька, всё от папы... Я с пяти лет и гусей пасла, и евангелие вслух читала.

— Ничего себе! И никогда ни намеком.

— Есть вещи, доченька, о которых лучше помалкивать. В то время даже заикнуться, — Анна Николаевна сложила на груди пухлые ухоженные руки с накрашенными ногтями и задержала дыхание, — было смерти подобно, не то что говорить. Могли с работы снять, посадить, сослать. Могли в порошок стереть, в лагерную пыль. В каждой семье, поверь, что-то скрыто, зарыто, забыто. Всех коснулось.

— И тебя?

— И меня. Нас. Потому и — рот на замок.

Анна Николаевна поджала сухие губы, горестно опустила голову, и Нина вдруг заметила, как она погасла и усохла за последнюю зиму, и вряд ли осилит очередную летнюю экспедицию на Вилую, где они с отцом оттрубили три сезона в поисках жильных месторождений золота. Нина спрыгнула со стремянки, усадила маму на диван, устроилась рядом, обняла. И кто из них в тот миг был мамой, кто дочкой, неважно, их обоих коснулся луч понимания, согревающий свет родства.

— Папа был трезвенник, крепкий крестьянин. Хозяйство большое, и нас, помощников, девять душ. Еще он был звонарем в нашей церкви. В Покровской. Его уважали, с ним советовались. Когда Советская власть укрепились, то всех, у кого было что экспроприировать, по-нынешнему приватизировать, назвали кулаками. И началось «раскулачивание», началась агитация в колхозы. Отца зачислили в кулаки, внесли в списки. Потребовали сдать в колхоз, в общее пользование зерно и скотину. Он — ни в какую. Они грозят — все до зернышка, до последней капли молока, все отберем, и тебя с детишками — волкам на съедение, в чисто поле... Бей в колокола оттудова своему богу! Отец сдал все: лошадь, корову, свиноматку, несколько мешков картошки, муки и посевного зерна. Записывайте в колхозники! А ему: ан нет, дорогой, кулаков не принимаем. Так я ж все отдал, какой из меня кулак? Я — безлошадник. А ему опять: извиняйте, товарищ, но и бывших кулаков не принимаем. Папа в отчаянии напился вдрабадан, на полу, с нашей кошкой уснул. Когда протрезвел, написал в Кремль:

Уважаемый товарищ Сталин, никакой я есть не кулак и отродясь им не был. Все нажитое честным трудом я добровольно передал в общее пользование, в колхоз то есть, хоть детей имею девять душ. Зато мы теперь по примеру мировых пролетариев — голь перекатная. Поскольку я потомственный крестьянин, прикажите, чтоб меня, Петровского Николая Спиридоныча, приняли в колхоз со всем моим семейством. Отслужу на совесть.

Сколько мы тогда натерпелись... Тюря со щавелем, с крапивой, сныть да грибы.

Ответ от Сталина пришел через год.

Ответ был короткий: *Потомственного крестьянина тов. Петровского Н. С. со всем семейством в колхоз принять.*

Подписал «всероссийский староста» Калинин.

Вот уж радость, вот уж справедливость!

Отец торжествовал, распрямился, и мы с ним вместе.

Стали готовиться к Рождеству.

Накануне, в Сочельник, вызывает нашего папу председатель: замерзаем, дуй в лес, Спиридоныч, колуном пару раз махнешь и возок, другой подбросишь дровишек для сугрева сельсовета, для тепла советской власти!

Мороз лютый. Снег до окошек. Отец чуть не в слезы.

— Да кто ж в Рождество работает, нехристи? Дайте литургию отзвонить, а потом хоть к черту на кулички!

Но председатель пошел на принцип.

Перед отъездом, помню, папенька на коленках перед Николаем Угодником — у нас такая же была, с раскрытой книгой. Уж как он, бедный, молился, как плакал!

— Знаю, что большой грех беру на душу. Ты все видишь, не по своей воле в Великий праздник работу делаю, но грех — мой! Каюсь, Господи, и прошу: накажи меня, строго накажи. И ты, Никола Угодник, защитник мой верный, не молись, не проси обо мне...

И Никола Угодник его услышал.

Папа вернулся через три дня. И еще через три дня помер. Воспаление легких.

Соседи судачили, мол, Бог покарал Спиридоныча, нельзя в Рождество работать. А священник, отец Андрей, на отпевании рассудил по-другому, говорил о смирении, о послушании начальству, каким бы оно ни было. Сказал, что папина смерть — никакое не наказание, а наоборот — милость Божия, избавление от мук и страстей. Пожалел его Господь. Разве б смог он жить при такой власти и таких порядках?

Потрясенная историей деда Николая, Нина вдруг вспомнила: когда она в детстве заболела корью, мама по утрам приходила к ней с игрушечной крошечной чашкой:

— Святая водичка, доченька! Пей и поправишься!

Нина по-другому посмотрела на мать и на икону Николы Угодника.

— Говоришь, перед такой же иконой молился? А что тут, переведи!

— Смысл приблизительно такой: Иисус стоит на ровном месте, например, на площади, он виден всем, всему народу, который стал его учеником. — Две длинные слезы — слева и справа — прочертили на щеках узкие кривые бороздки. Больше слез не было. — Мы без папы ужасно бедствовали. Потому и мама надорвалась, ей и пятидесяти не было, когда умерла. Я и сейчас, как услышу колокольный звон: папа, папочка! И мне в ответ: Нюта, Нюшка...

Иван не одобрял неофитского рвения Нины соблюдать изнурительные посты, когда все нельзя: ни выпить, ни поесть в удовольствие, ни с женой переспать. И то, и другое — грех. Почему? Они же зарегистрированы. Но Нина уходила спать на диван в гостиную. Он терпел. И даже не злился. Военный человек, он относился к дисциплине с беспрекословным уважением. Но здесь чего-то не понимал, не ухватывал. Зачем монахи — фанатики, конечно — придумали и держат, и соблюдают уже несколько веков многочасовые службы, особенно по воскресеньям, когда семья должна вместе проводить досуг. Какой в этом смысл или, как сейчас говорят, профит? Но запрещать не стал. Только Петьку попросил не втягивать, хотя бы до совершеннолетия, пусть потом сам решает.

Утро Иван начинал с зарядки и минут за тридцать выкладывался до пота. Потряхивая руками и ногами, он отдергивал шторы, вытягивался в струнку перед окном, выходившим на восток, поднимал ладони вверх — как язычник, солнцепоклонник с красной потной спиной, с «кубиками» на животе — и шевелил губами.

Наблюдая из коридора странный ритуал, Нина недоумевала: что он там шепчет? к кому обращается, стоя перед окном в трусах? Но вслух — никаких вопросов и комментариев, чтоб не оступиться — не дай бог! — в разделявшую их пропасть.

Отношения с Зуевским шли на спад стремительней, чем вода захлебнувшегося бурного паводка. Небо, затянутое хандрой и безнадегой, прежнего солнца не обещало.

Он избегал Нину. Удачно мимикрировал, прятался, петлял не хуже зайца в дремучем лесу. Часто отсутствовал в редакции по уважительной причине, брал работу домой, на звонки не отвечал. Пропал, слинял, улетучился. В издательстве прошел слух: в больнице, с двухсторонней пневмонией. Помог Махотин, достал в ЦКБ французский антибиотик. Когда Славик наконец выздоровел, то уехал с семьей на Куршскую косу дышать морем и соснами «пьяного леса», сильно скособоченного, с уродливыми стволами, державшимися исключительно — по ветру и ни в коем случае — не против. Иначе не выжить.

Вроде бы не расстались.

Ни жирной точки, ни последнего «прости».

— «Всё сметено могучим ураганом». — Нина закинула под язык половинку феназепама. — Я разрушила себя, растеряла, а теперь и растерялась. Ау-у! Когда я настоящая? На Сухоне, на палубе, когда в невесомости в другом пространстве, где пластинка нарезала круги? И во мне, в моем внутреннем небе-небосклоне-лоне разгорались, утихали и снова пробивались сполохи северного сияния? Когда забывала сделать вдох, чтоб не умереть... Какой вместилищем может быть жизнь! Хватило бы дыхания.

Она с трудом продиралась сквозь вязкий туман пустоты, возвращая себя к знакомым запахам, привычным звукам, ощущениям, эмоциям, погружаясь в простые смыслы и оттенки смыслов — жить драгоценными буднями, трудовой повседневностью со всей ее выматывающей суетой и мельтешней. Удержит сын. Удержит работа.

— Скорей бы вернулся Иван — он обязательно вернется! — и построил меня. Не хуже других буду. Как раньше. Обесточенными глазами буду смотреть на мир и не превращать в событие нечаянную встречу, взгляд или человеческий голос. Например, баритон.

Лет через семь, в разгар липкой июльской жары они столкнулись в московской толчее у метро «Арбатская».

— Сударыня, вы ли? — робко и без фальши вступил баритон. Зуевский был ближе, чем в самых счастливых снах, и демонстрировал реальное материальное благополучие: белая джинса, мягкие шоколадные мокасины, в руках — темно-красная перезрелая роза.

— Ждешь кого-то, Славик?

— Тебя, всегда тебя, Нино. Еще с той стороны улицы углядел, как ты покупала журнальчик. И — руки в ноги, чтоб опередить и якобы случайно, якобы невзначай тут как тут... с эмблемой любви.

Они отошли подальше от людского потока, недоброжелательных взглядов и гвалта из разговоров, ругани, хохота. Заросли жасмина и персидской сирени, истощенные, пыльные, жалкие, были похожи на людей из толпы, которых объединяло единственное желание — выжить. Нина с нарочито прямой спиной казалась уверенной в себе женщиной, потому и шла первой, Славик семенил чуть сбоку и сзади. Через несколько метров обогнал ее и — лицом к лицу — обдал запахом импортного парфюма и блеском красной золотой цепочки на шее.

— Под новых русских косишь? Кот ученый, который по цепи кругом? — Она отступила на шаг. — На какой ниве пашешь, Зуевский?

— На всенародной. В бизнесе. На гребне перестройки.

— Издательство свое открыл?

— Да что ты, окстись... Аська привлекла, можно сказать. Моя жена — могучий менеджер, мой босс! Так развернулась, так мощно раскрутила свое архитектурно-строительное бюро! Коттеджи, загородные дома, дизайн и прочие прибабасы — в зависимости от запросов и бабосов. Помнишь, комнатку на Банном? Забудь. Мы

уже центровые: Большая Никитская, бельэтаж в бывшем доходном доме начала двадцатого века. Пять комнат и кухня, хоть пляши. Бывшая коммуналка, но Аська — хоп-хоп! — и всех расселила. У меня — своя комната, у Аськи — своя, у Лизы тоже. Еще — гостиная и гостевая. Мирно сосуществуем на широкую ногу. Девчонки сейчас на Лазурке.

— Ты так запросто кинул дело всей жизни?

— А что? Все, кто мог и кому подфартило, продались за «зелень». Выживали! Сколько издательств рухнуло?! Даже наше, казавшееся непотопляемым, растащили. Торганули за три копейки. Теперь эра частных. Цензура йок. Но до малых городов России никому нет дела. Куда только ни тыркался со своим путеводителем, по сути карманной энциклопедией. Меня выслушивали в высоких кабинетах, рассуждали, мол, актуально и перспективно для туризма и для молодежи, с точки зрения патриотизма. И пшик. Палец о палец — ни государственники, ни либералы. Прикажешь сонники составлять? Советы огородникам?

— Такой профи, как ты, и на стройке? На побегушках?

— Чем выше адаптация вида, тем больше шансов выжить, биолог! Сама небось носа не высунула, чтоб глотнуть свежака. Редактор — исчезающая профессия. Корректора уже днем с огнем не найти. Ошибка на ошибке. Про исторические ляпы и про фактографию вообще молчок. Чудовищно!

— Не утрируй. Профессионалы никуда не делись. У тебя такие связи, такие друзья!

— И с друзьями все изменилось. Только Игорь Махотин — человек. Позвонил, когда Департамент печати Москвы искал редактора для спецвыпусков по памятникам культуры. Коллективчик, конечно, специфический: бывшие комсомольские вожаки, партийцы среднего звена и выше. Начальник, например, бывший завотделом писем у Горбачёва. Отличный, кстати, мужик. Кропал стихи под Омара Хайяма. И никакого чиновного чванства или бюрократии, но все в костюмах, при галстуках, вышколенные. С девяти до шести, без библиотечных. Меня как спеца зауважали, хоть я для них беспартийный варяг. Через год перевели на мэрскую книгоиздательскую программу. Я уже ручонки потирал, готовился к запуску «Малых городов». И тут тебе — трах-тибидох! — октябрь 1993-го, расстрел Белого дома. И мэрии тоже досталось, весь вестибюль раскурочили. Лифты не работали, а я на 19-м. Вонь от горелой синтетики, стены в копоти, воды нет, двери и столы взломаны. Мародеры. Но меня гипнотизировали пробитые окна и отстрелянные автоматные гильзы на моем столе. Снайперы. С ближайшей колокольни. Так близко я не подходил к политике. Не мое. Не хочу. Баста. И подал по собственному желанию. В никуда, Аське на шею. Тут-то она меня за бока. Гоп-стоп, и я — партнер по бизнесу. Скучно тебе со мной, Нино? Напал как маньяк, и все не о том... Но ты, душенька, сама напросилась. Прости. А хочешь бонус? Зайдем ко мне, посмотришь квартирку. Есть французский кагор. Правда, кислятина дикая. Ничего общего с нашим сладким, одно название Cahor-g-rs, — грассировал он, пижоня на полную катушку.

Сигнал из мозга еще не поступил, но ноги — ее ноги в туфлях на каблуках — быстро-быстро, чтоб не отстать, заторопились вслед за Зуевским. Сколько раз снилась или разыгрывалась в ее воображении такая встреча: набросится, зацелует — нежно или очень крепко, сожмет до хруста в ребрах: не могу без тебя, Нино...

В анфиладе просторных комнат разгуливали сквозняки не приветливости: выскакивали из-за угла, подло поддавливали, озорничали, хотя в окнах — во всех без обиды — желтое солнце заката растекалось оранжевой глазуньей. Самая большая комната — гостиная — на три ступеньки ниже. И в ней, пожалуй, было что-то особенное, какая-то своя атмосфера. Предчувствия? Тайны? То ли кто-то придет, то ли что-то произойдет...

— Здесь, вот сейчас...

Нина мелко и часто дышала, колени дрожали. Где бы притулиться, куда бы присесть и спрятать глаза, чтоб он не учуял тех острых язычков желания, выжигавших ее изнутри.

Славик с накотившей гордостью показывал первую в своей жизни квартиру, задерживая на окнах занавески из некрашеного льна, с унылой правильностью зарифмованные с такими же покрывалами на кроватях и самодельными льняными абажурами, точно размноженными на ксероксе.

— Асина работа, авторский дизайн.

— Монохром и скучнейший минимализм, — не сдержавшись, в пику буркнула Нина, которую раздражал этот напыщенный фонтанирующий нувориш, прикинувшийся Славиком... Ведь Славик бы радовался ей, своей Нино, и их случайной долгожданной встрече, а не пятикомнатной квартире в бывшем доходном доме.

— Лизка — сорванец. — Он открыл дверь в небольшую квадратную комнату, где вдоль стен стояли простецкий шкафчик, этажерка, кровать, а в углу — теннисные ракетки и велик. Никаких кукол, мишек, заек. — Представь, ей тринадцать, и она ни разу... — Славик вскинул короткие дыбившиеся брови, и она наконец узнала человека, за которого чуть не выскочила замуж. Тот же растерянный взгляд и убажасающего тембра баритон, а вся говорильня про крутой семейный бизнес и пошлая цепочка на шее — показуха. Внутри — такой же книголюб и энциклопедист с несостоявшимся блестящим будущим, но чужой, чужой.

Нина скисла и створжилась.

Не обнял, не поцеловал, не спросил: как живешь? Смертельная удавка развязалась тогда: Славик — в семью, Иван — из семьи, я с аритмией — на больничную койку. И Петька... Сбежал из дома, ночевал в товарняке на Казанском. А утром, когда с бомжами удирал от ментов, спрятался под вагон, товарняк лязгнул, дернулся, и он закричал. Мент его и спас. Хороший дядька! О как рвала и метала моя ученая мама! Как я рыдала! Не знала, как жить дальше. И не хотела. Казалось, всё в моей жизни уже произошло, все было, и больше не случится ничего. Страшно было засыпать, а просыпаться — горько. И в отчаянии я рассказала маме, что люблю другого человека.

— Значит, Иван бросил тебя не просто так. От хорошей жены не уходят. А ведь каждый день его жизни — и твоего, между прочим, благополучия! — был оплачен кровью. Разве мы с отцом так тебя воспитывали? И впредь на нашу помощь не рассчитывай, не надейся. И не звони. Ты мне — не дочь. — Она резко замахнулась и осеклась — боль в плече заглушила материнский гнев. Перевернутой скобкой разъехались губы, подборок по-старушечьи затрясся, и только голос не дрогнул, наоборот вобрал в себя зимний холод металлолома. — Под сорок уже! С ярмарки катишь, а все прихоти своей потакаешь. И похоти! Полюбовничек твой не иначе как на квартирку польстился. Бросит он тебя. А сын — мальчик! — он не простит. Отца месяцами не видит, а мамочка — на блядках. Потому и невротик, и грызет все подряд: ногти, карандаши, мухобойку. Пока ты, Нина, в берега не войдешь, Петя будет жить с нами.

Больше месяца провалялась в больнице. Мыши, как циркачки, шныряли по занавескам вверх-вниз. Только что не улыбались. Тараканы — по тумбочке, по подушке. Не уснуть даже со снотворным. Стишками баловалась: *Болезнь на простыне «Минздрав» и есть с тарелки «Общепита», мой пульс — как личный телеграф — уведомляет: всё забыто.*

А он тут бахвалится, пузыри про семейное счастье пускает. Но глаза-то, зеркало души, выдают.

— ...ни разу ни платья, ни юбки. Брюки и джинсы! Разве это нормально для девочки? Кетчупом обливала, топтала, кромсала ножницами, а красное из бархата в окно выкинула. К психологу водили. Пубертат, протестное поведение.

Нина молчала.

Настоящий разговор — крупным планом, параллельно — вели глаза: спрашивали, отвечали, улыбались, хмурились, прятались, закрывались.

Славик кружил вокруг стола, лебезил с тарелками, с закусками, разливал по хрустальным фужерам отдохнувший от пробки, шамбрированный, как он выразился, Cahor-g-s и при этом забрасывал Нину фейерверком искрящихся взглядов. Зажег красную свечу со сладковатой химической отдушкой, отдаленно напомнившей сандал.

— Гламур и ширпотреб, — не глядя на Зуевского, фыркнула Нина и задула свечу. — Здесь дышать нечем.

Славик с какой-то детской беззащитностью, сложив тугой трубочкой влажные губы, потянулся к ней через стол.

— За нас? — Фужер с кагором нервно вздрогнул.

Нина чуть подалась навстречу, но тут же тормознула и, не чокнувшись, махнула вино залпом.

— Нас давно нет.

— Вот те на... — он припечатал фужер к столу, как кулаком стукнул, и красная клякса кагора засвидетельствовала на льняной скатерти этот факт. — Вот те сюрприз... не шоколадно-ореховый от фабрики «Большевик» и даже не от Коломенского хлебозавода. Тогда, извини, вопросы: какого черта ты сюда приперлась? — Баритон дрогнул и, сорвавшись на визг, дал «петуха», как мальчишеский дискант в пубертате, взлетел до лепной розетки на потолке, оттолкнулся и шлепнулся на стол, в ту самую красную лужу. — Издеваешься? Мстишь? Посмешище из меня делаешь? Я ей розу, кагор, лобию...

— Я — дура, прости. Совсем не такой представлялась наша встреча. Мне лучше уйти, прости.

— Ага, задний ход?! Скатертью дорожка, хотя скатерть, похоже, вышла из употребления навсегда. — Он тяжело раздувал ноздри, покусывал губы, облизывал их и опять кусал, о чем-то неотступно думая.

— Только пять минут! — растопырил для наглядности пятерню. — Выслушай дебила несчастного. Ведь мы друзья? Или как? — Он со страхом взглянул ей в глаза, стараясь проникнуть глубже, по черному узкому колодцу зрачка, и там найти что-то потаенное, только ему предназначенное, что в книгах читается между строк.

— Друзья-не друзья, но не враги. Говори!

— Ужасно боюсь тебя обидеть.

— Да я и обижаться-то разучилась. Столько лет прошло. И жизнь — другая, и мы в ней — другие.

— Все так, потому и боюсь быть непонятым. Но не могу просто так тебя отпустить. Уверен, ты должна знать.

— Не тяни! Что я не знаю? Что еще, по-твоему, я должна знать? — взбешенная его холодностью и пустой многозначительностью Нина взорвалась, и перешла на скандальный, как у чайки, крик. Только бы не разреветься... Она резко вскочила из-за стола. Бежать, бежать без оглядки! Чужой, посторонний человек. Буржуа на золотой цепочке: *партнер, Cahors, Лазурка*. Такой не мог быть интеллигентом. Или интеллигенты перевелись? Их место под солнцем скупил обаятельные буржуа? Где-то на дальнем плане проскочило: обманка, фальшак... Тогда или сейчас?

— Никакой ты мне не друг, Нино. Вот увидел тебя, и — током шибануло: вот моя жизнь, моя единственная жизнь, и она проходит мимо. Всё наперекосяк. Квартира не греет, с женой — чужие. И с дочкой. Ей до меня как до фонаря. Знаю, что виноват. Но я сохранил семью, хотя никого не осчастливил. Струсил и не ушел. Не рисковый я. Но, честное слово, Нино: у нас с тобой — все еще будет. И хоронить меня будешь — ты. И плакать обо мне — тоже ты. Не могу без тебя.

От облезлых железных дверей морга, где в дешевом кумачовом гробу Игорь Махотин дожидался своей очереди, Славик увел Нину вглубь огромного больничного двора, где было тихо и безлюдно, будто в ожидании праздника.

— До сих пор снишься, Нино, Нино! И ведь всего-то лет двадцать. Ася вот ни разочку. Сгорела, как травинка. В месяц! Скоротечный рак легких с метастазами. — Он рукавом вытер слезившиеся от ветра — или не от ветра — глаза с красными рогатками сосудов. — На похоронах обрелся, веришь? Очень меня цапанула ее смерть. Ужасно. Лучше б я сам, — он нахлобучил на лоб свою нелепую шапку, — лучше б мне первым. Но, видно, не заслужил. Сперва, как я понимаю, пострадать надо. Ася, бедолага, удостоилась. — Он шмыгнул носом, разбухшим и покрасневшим на ветру, откашлялся. — Работала как подорванная. И смолила по две пачки в день. Иногда и ночью. Со мной вместе. Несчастная Ася! Уже шесть лет я вдовец и бобыль, и анахорет — всё до кучи. Дочка после похорон свалила. К подружке. И я, старый перец, повелся на ее блеф. Лизка — мой крест. Пожизненный. — Он крикнул для убедительности, покивал и замер от вынесенного себе приговора. — В общем, не живу. Доживаю. Слышала, любопытный термин недавно ввели в оборот: *срок дожития*?

— До жития? О святых, наверное? Это у них — житие, а у нас — просто жизнь.

— Спустись на землю, — раздраженно обрезал Славик. — Какое еще житие? Раньше трындели о качестве жизни. И что? Кому — третий, а кому-то — первый или высший сорт со знаком качества. Помнишь, вроде циркуля в пятиугольнике? Теперь придумали *срок дожития*. Выходит, вчера еще — жизнь, а сегодня, извиняйте, срок дожития. Обещали почет и заслуженный отдых, а пришили срок дожития. Какие-то унизительно-оскорбительные коннотации! Культурное наследие Фёдора Михайловича, не иначе. Государство прикинуло: лет этак двенадцать, ну от силы пятнадцать, так и быть, потерпим старых пердунов. И баста! Но тут подскочила продолжительность жизни. Пенсионный возраст взлетел. Зато срок дожития сократился. Места на кладбищах нынче дороги, а под солнцем — еще дороже. Правда, пооткрывались всякие разные приюты.

— Дома для престарелых?

— Ага, типа «Старость в радость», «Золотой возраст». Исовсем уж анекдотичный — «Новая жизнь». Скоро их будет больше, чем детских садов. Крутой, кстати, бизнес. Не хуже кладбищенского. И если все объединить... О-о-о, это будет что-то с чем-то!

— У тебя с деньгами-то как?

— Не в деньгах дело. Хуже другое: живу даже не на обочине, а в кювете. Точно после аварии. Все куда-то подевались, поразъехались, поумирали. И вот тут, — он постучал костлявым кулаком в дутую куртку, где грудь и под свитером билось сердце, — пробоина, аж свищет. Одному живому человечку с другим живым человечком... Подайте словечко, дамочка, или полсловечка! — он протянул по-нищенски сложенную розовую ладонь подростка, так и не ставшего мужчиной. — Игорь — единственный, кто заскакивал, — баритон расчувствовался до горьких обертонов. — С ночевкой. Говорили о книгах. *Буккроссинг*, слыхала? Пора Красный Крест для книг организовывать.

— Знаю, в библиотеках акция «Отдам книгу в хорошие руки». Как беспородных зверюшек пристраивают.

— Ага, раньше была культура, теперь — культура потребления. А мы — по-тре-би-те-ли. Раньше Пастернак, Платонов, Борхес — пароль на «свой-чужой». А теперь Луи Виттон, Гуччи, Хьюго Босс. Совсем другие имена, совсем другой язык. И никакой *нас возвышающий обман* — не панацея.

— Мы с тобой — последние читатели, реликты времен бумажного книгопечатания.

— У тебя, Нино, мания величия. Красавица и умница, и наверняка счастлива со своим полковником.

Нина задержала дыхание, совсем ненадолго, не больше, чем при записи кардиограммы.

— Ты про Ивана? Он уже давно генерал.

— Ого, поздравляю! — губы дернулись, и короткая улыбка нарисовалась

неубедительно. — И как вам, госпожа генеральша, живется-можется? — он комично расшаркался, и нелепая меховая шапка чуть было не скатилась.

— У Ивана другая семья. Разве я не говорила, когда ты французский кагор на скатерку пролил?

— Ты так психанула, ни с чего, и — дёру! Гони подробности.

— Когда наши уходили из Афгана, Иван был одним из последних. Самым последним ушел генерал Громов. Я чувствовала, Иван тянет время, что-то недоговаривает, темнит. Ранен, болен? Или особое задание? А он однажды вечером — без телеграммы — просто звонок в дверь: разрешите доложить, Герой Советского Союза, генерал Пряхин! Красивый, загорелый и сияет сильнее, чем золотая звезда на кителе. На руках — маленькая дочка, за спиной — от страха, наверное! — новая жена, почти девчонка, переводчица из штаба. А дочку, угадай, как зовут? Лизонька, тезка твоей Лизе.

— Ничего себе загогулина. Жесть, как все сошлось. Куда только партия смотрела? Где военная дисциплина и облик морале советского генерала-интернационалиста? А сын, квартира? Про тебя вообще боязно спросить.

— Всё по закону. С сыном сложно. Петя дни считал до Иванова возвращения. Письма его берег. И хоть маленький, казалось бы, но не простил. И с отцом не общается. Мне тоже досталось: почему не полетела в Афган, когда папа звал тебя... Иван, и правда, очень уговаривал. Ему обещали отдельный дом в Кабуле, надежную охрану и даже вертолет, но я — наотрез, категорически. Если честно, испугалась, по-бабски трухнула: без работы, без сына — наедине с Иваном или вообще одна в большом доме. Выйти некуда. Вокруг — война. Я — на войне. Добровольно. С какой стати? Иван такого предательства не простил. И Петя тоже. Оказалось, что с моими родителями, которые тоже меня осудили, ему лучше, чем со мной. Сейчас он в Стокгольме. На радио работает. После журфака. Звонит, заботится. Наверное, любит все-таки.

Через чугунную решетку забора Славик наблюдал шумно движущуюся, перегруженную ленту Ленинского проспекта: потоки машин, байков, велосипедов, много людей, особенно студентов. Разные скорости выбирала жизнь. Его бил озноб.

— Прости. Я тут пургу гоню, умника строю. — Он порывисто притянул Нину к себе и крепко обхватил за талию, пытаясь жестом досказать, о чем умалчивал. — На поминки пойдем?

— Нет, сегодня вечером улетаю в Тель-Авив.

— Бог мой, ну надо же, и ты туда! Прямо столица мира этот ваш Тель-Авив. — Чему-то улыбнулся, хмыкнул и, достав из кармана трубку, долго раскуривал. Нина узнала запах «капитанского» табака.

— Когда вернешься, можно будет с тобой встретиться? Без всякого подтекста. Просто так. На чашку кофе.

Ливень, будто сорвавшись с винта, вылил на город все, что накопилось в небесных закромах за месяцы изнурительной жары. Но быстро утих, прикинувшись скучным дождем, обещавшим продолжение. Как и гром, который срывался на хохот, огрызаясь и уходил за подмогой в облака. Оттуда подыгрывал пляске молний, взрезавших наточенными до блеска лезвиями теплую утробу моря.

— В Израиль пришла зима, — немолодая блондинка в телевизоре холодно улыбнулась уголками лиловых губ, — в ближайшие дни температура может быть аномальной и упасть до девятнадцати градусов.

На большом открытом балконе, пожем на террасу, цвели в горшках белые и бордовые герани, юкка — лилия пустыни — безответственно выбросила сотню желтых колокольчиков, по фасаду разметалась розовая бутенвиллия.

Мобильник лихо заиграл «кукарачу».

— Завтра сороковины по нашему Игорю, не забыла? — Звук плыл, расщепляясь, баритон фальшивил. Зуевский был навеселе.

— Ты просчитался, дружище.

— Это я-то просчитался? — вскинулся он как ужаленный. — Да я дни считал, у меня нога в гипсовом сапоге. Голеностоп сломал, когда шел с поминок. Почему, думаешь, сломал? О тебе, Нино, думал, о тебе. Наизнанку ты меня вывернула: морда в землю, нервы — оголенные провода, все торчат. Есть такое экзотическое дерево баньян. У него корни торчком в небо. Может, в прошлой жизни я был баньяном. Скажи, почему ты столько лет молчала? Про Ивана, про Петю. Что, нельзя было позвонить? Все могло бы сложиться по-другому и у тебя, и у меня. И Аська, может, не умерла бы, и Лиза была бы при ней. Иду, кручу эту мясорубку в башке, и — хрясь! Перелом. Со смещением. На самом деле, перелом судьбы. Никого счастливым не сделал. А голеностоп — закон компенсации, чтоб душа не болела. Заказал палку по Интернету. Аглицкую. Чтоб как денди лондонский. Ты в Москве?

— Нет еще.

— И чё ты там зависла?

— Куда мне торопиться?

— Но там же война, Хамас шлет свои кассамы.

— Да, бомбят третий день. Школы и магазины закрыты. Люди не работают, но зарплату за эти дни получают. У меня в квартире специальная комната-бункер с бронированной дверью. Сегодня в двадцать один ноль-ноль грозят жахнуть по Тель-Авиву. Ракета до нас летит 45 секунд, до Ашкелона — 10. Поэтому жители Ашкелона, Ашдода, Холона и другие недолюбливают жителей Тель-Авива.

— Это общечеловеческое. За что любить столичных снобов? И у нас москвичей не сильно жалуют. Выйди за МКАД, узнаешь. Чем дальше от Москвы, тем больше. Где ты там обретаешься?

— Почти на набережной, на Хаяркон. Тут сбоку тихая улочка Зрубавель. Собаки, как в деревне, по ночам перегавкиваются.

— Ага, дивное место. Недалеко от Кармея. Раз в полгода мотаюсь туда-обратно.

— В Тель-Авив? Так часто?

— Там моя дочь. Между прочим, в шаговой доступности от тебя.

— Лиза? Здесь?

— А то! Живет и работает. Уже несколько лет.

— Замуж за израильтянина вышла?

— Ну, в некотором смысле...

— Гражданский брак? И дети?

Ответом был протяжный стон тяжелого хроника, и Нину обдало волной сивухи и «капитанского табака». Она перевела мобильник на громкую связь и положила на край круглого плетеного столика.

— Когда умерла Ася, Лиза ушла из дома. От меня ушла. Бросила отца, натурально. Хотя у нее, паршивки, кроме меня, ни бабки с дедкой, ни Жучки, ни репки. Она работала в крупном турагентстве. И там среди VIP-клиентов нашла подружку Элю, с бо-о-льшим приветом: бывшая балеринка из Стасика, юркий усатенький зверек. На Асю чем-то похожа: глазища, конопушки. К ней Лизка и свалила. Смотрела на Элю таким же влюбленным взглядом, как на мать. Ожила, повеселела. Отец ей — как прошлогодний снег. Господи, да ты ж ни-че-го, ничегошеньки не знаешь!

В небе колотушка времени ударила в бас-барабан, и такой раздался гу-ул, что звуковые волны долго еще затухали, затихали.

— Всего один-единственный момент, когда Лиза потянулась ко мне, и я почувствовал: родня, дочь.

Одиноким, страдающим Славик растрогал Нину. Прошлое — без боли и обиды — откликнулось в ней живым участием. Может, это еще и эффект телефона, его щадящая анонимность, когда главное — голос, которому веришь.

— Эля денег на путешествия не жалела. Достопримечательности, пляжи, шопинг — не про нее. Ей вынь да положь нечто запредельное — для элиты, для

избранных. В Москве таскалась — и Лизка при ней — на какие-то сборища эзотериков, подпольных буддистов, самозванцев-гуру. Шамбалы-мандалы-сансары. Даже мне мозги канифолила про Рериха и Эрнста Мулдашева, про тибетские пирамиды — триплет каменной ДНК. Лизка тоже: нирвана, реинкарнация, карма. Звонит однажды Лиза — голосок тоньше паутинки: «Срываемся в Улан-Удэ. Там настоящая бомба: Пандито Хамбо-лама Итигэлов, главный бурятский лама, который умер в 1927-м. Вернее, впал в нирвану. Он по звездам выбрал нужный день и час. Верил, что вернется. Верил — не знал. Сечешь разницу? Сел в позу лотоса и сказал: пойте благопожелания. Типа отходной. Никто и рта не открыл, никто не поверил, что лама — в своем уме и на своих ногах — сейчас вот запросто уйдет из жизни, почти умрет... Тогда он сам запел, и монахи стали ему подпевать».

— Ты сама-то веришь в то, что говоришь?

— Ты сперва дослушай! В 2002-м ламу вытащили из короба, то есть из гроба. Дату он сам указал. Волосы, ногти и кожа целы. Суставы сгибаются-разгибаются. Но температура тела около 20 градусов. Вроде бы неживой, но биополе, по замерам, зашкаливало. Что правда, что миф? У Эли крышу снесло капитально. По ночам вскакивает: кто-то зовет ее. Она уверена, что сам Итигэлов. И в Иволгинском дацане ждет именно ее. А я вроде ее любимая девушка. Короче, ставлю тебя в известность: на пару недель мы забуримся в Улан-Удэ. Я оформила отпуск.

У меня челюсть отвисла. Что может сказать советский человек, продукт атеизма? Если Христос воскрес, а до него четырехдневный Лазарь, а после — дева Тавифа из Яффо, которую воскресил апостол Пётр, то с таким же успехом может воскреснуть и бурятский лама. Противопоказаний нет. Может, ламы и по воде ходят? И по Байкалу на лихих конях скачут, как по степи? Через три недели пришло письмо — настоящее, в конверте, от руки. Оно у меня под стеклом на столе как артефакт. Хочешь?

Сериал про Лизу и про бурятского ламу захватывал, и Нина, как замороженная, слушала, слушала — это Славик, его голос, и он звонит, чтобы поговорить с ней. От радости захотелось немедленно вскочить в самолет и — в Москву, в Москву, в Москву!

«Приветик!

Улан-Удэ, он же бывший Верхнеудинск. С архитектуркой не густо, только в самом центре. Ты бы, знаю, запал на деревянные дома. Их тут по пальцам пересчитать. Офигенная резьба и орнаменты — наличники, полотенца, балясины. Всё, как ты нам с мамой рассказывал про сибирские пятистенки, про избы из лиственницы, которую — я запомнила! — рубили в первые дни весны, пока соки не поднялись и ствол сухой. Дома здесь не красят. Красок вообще маловато. Может, весной, когда степь цветет? Сейчас везде только сепия. И в ней никакого благородства. Зато небо — лазурит. И такое же твердое. Еще горы, по-местному — сопки, в дремучих лесах. С подмосковными вырожденцами не сравнить.

Эля сняла комнатку в ближнем пригороде, в поселке Сотниково. Спим на большом деревянном балконе. Под звездами. Днем жарщица, ночью холодрыга. От запаха степи — дикий драйв и бессонница. Как к кислородной подушке подключили. Наша хозяйка, тетя Галя, наполовину русская, а с виду типичный монголоид. Готовит нам разную жарчку. Коронное блюдо — буузы. Большие, в форме юрты пельмени с мясом, наверху дырка, внутри бульон. Буряты пожрать не дураки. Эля задружила с балериной из местного театра — самое шикарное здание в городе, построенное пленными японцами. Ее зовут Цыпилма, короче — Цыпа. Хрупкая, луноликая, как инопланетянка. Молодые бурятки, почти все, — глаз не оторвать. Цыпа сразу же позвала на ужин. Какой-то поклонник подарил ей молодого барашка. Ты когда-нибудь ел суп бухлёр, домашнюю кровяную колбасу и вареные бараньи кишки, заплетенные в косички? Шерсть дыбом от местной кухни — совсем без специй. Да и откуда? Кочевники, скотоводы. Эти бледные кишочки-косички суперполезны, они еще и — белая пища, то есть сакральная. Саламат — из сливок и муки — тоже белая пища. Калории зашкаливают. Эля кайфует. Вместе с Цыпой на ее тачке двинем в

Иволгинский дацан. Ждем, когда тело Итигэлова можно будет увидеть туристам. Если жаба не задушит, подкинь деньгу. Лиза.»

Мобильник тупо отмалчивался.

Славик мрачно покосился на экран — мертвая темень. Его лицо тоже погасло — кто-то щелкнул выключателем внутреннего пользования. Разговор с пустотой? С самим собой? Не-ет, такой разговор прервать нельзя. Да и с кем ему говорить, как не с Нино?

— Ты на чем отрубилась?

— На пельменях. У нас гроза. И не кончается.

— Ладно, слушай второе письмо. Оно позабористей.

Нина успела пересесть на плетеный диван в глубине террасы и набросить на плечи шарф.

Баритон вступил в торжествующем до-мажоре.

«Привет, па!

Я в шоке. Лама Итигэлов, загорелый, как из солярия, под стеклянным саркофагом сидит в позе лотоса. Весь в шелках. И сверлит меня левым глазом. До мурашек. Чем-то я ему запала? Эля сказала, что я отмечена свыше. Итигэлов — не похож на мавзолейного Ленина. Он — не мумия. На лбу капельки пота. Больше никаких признаков жизни. Когда Итигэлова подняли из кедрового короба, то в тех местах, где содрана кожа, видна была кровь в виде красного желе. Помнишь мамино желе-дрожжачку из красной смородины? Собрали комиссию: врачи, судмедэксперты, чиновники. Все засвидетельствовали, что науке ничего не известно о нетленном теле, не известно и о такой форме жизни. Да, не мощи, а именно — нетленное тело, которое каждый день протирают водой и губкой и переодевают в чистое. Над телом Ленина работал целый НИИ, а здесь — несколько монахов. Для них тело Итигэлова — учебник земной жизни и той другой, новой, где-то там... В дацане висит фотокарточка: Итигэлов, немолодой дядечка в бурятской шапке, отороченной мехом, в праздничном халате и на груди орден Святой Анны от Николая II за помощь бурятам, казакам и их семьям во время Первой мировой. Лама (ударение на последний слог) благословил 300 казаков, ушедших на войну. Ни один не погиб.

Его настоящее имя — Даши-Доржо. Откуда он, неизвестно. Вроде бы сирота, хотя у бурят нет сирот. Детей, оставшихся без родителей, берут родственники. И еще. Буряты знают своих предков до тридцатого колена. До Чингисхана. Они очень семейные. Ты много рассказывал нам с мамой про разные города, открытки с видами присылал из командировок, но я не видела у нас дома фотографий твоих родителей, ты никогда не рассказывал ни о них, ни о своем детстве. И мама тоже. Может, у вас не было ни детства, ни родителей? Почему-то здесь, в Бурятии, до меня дошло, что у меня, кроме тебя — шаром покати. Не зря же мама спасла тебя. И любила тебя больше, чем меня. Да-да, не возражай. Наверное, ты хороший. А вот Эля — деспот и сильно меня достала. Надеюсь на твою гуманность, пришли денежку. Лиза.»

— И я призадумался: что рассказать? Что мама — медсестра, сорок пять лет за гроши ставила уколы, капельницы, банки, делала перевязки, клизмы и что там еще. Не до меня ей было. Батя то бухой и скандалил, то отсыпался. Обходчик на железке. Ночная смена. Когда только меня успели заделать? Мои воспоминания — двор и библиотека. В библиотеке было лучше, чем дома. Там хроменькая Лариса угощала чаем с подушечками, чтением моим руководила. Краснела от ушей и до шеи, когда я приходил. Может, благодаря книгам и Ларисе — она поверила в меня — я и рванул на историю искусств. Разве это про родителей? Другая среда, люди, разговоры — все другое. Разве Лизка поймет, что такое преодоление среды?

Славик захлопнул форточку, из которой несло унылой ноябрьской холодрыгой, а у него и так — хронический дефицит тепла.

— Слушай дальше.

«Один толстый, почти квадратный, лама рассказал про Великую Пустоту. Грубо говоря, если твоя карма качественная, тебе посчастливится достичь Великой Пустоты, и круг реинкарнаций, бесконечных превращений, прекратится. Ведь каждая последующая жизнь, оказывается, тяжелее предыдущей. Великая Пустота попросту рай. Эля настаивает, чтоб мы остались здесь на подольше и выдвинулись в Монголию, в Каракорум. Для чистки кармы. Так ей велит Итигэлов. По-моему, маниакал в чистом виде. Или я не въезжаю? Она хочет продать свою московскую двушку и купить домик в Сотникове. Видел бы ты этот домик! Эля уже посоветовалась с ламой, потом Цыпа отвела ее к местному старику — шаману, похожему на бухгалтера, теперь собирается просить благословения у священника, из старообрядцев, которые называются "семейские". Здесь так: со всеми советуется, собирают мнения и потом принимают решение.

Итигэлов, конечно, феномен. Но дацан с его интерьерами, раскрашенными божествами, скульптурами, ламами — их много! — и с благовониями в придачу, — всё для меня волшебное, но сильно перегруженное фэнтези. Хочу в Москву. Хочу пожить одна. Не подумай, что сливаю Элю, хоть она мне весь мозг вынесла. Всё. Край. Пришли, пожалуйста, денежку на билет. Чем скорей, тем лучше. Большие мне не у кого попросить. Бедная Лиза.»

Баритон не удержал внутренней боли, как небеса не удержали над Тель-Авивом расхолодившейся грозы.

— Не помню, Нино, чтоб в последние годы я так долго говорил. Тем более про Лизу.

— Как она пишет! Твои гены, Славик.

— Плохие у меня гены. Я кругом виноват. Работу и книги любил больше всего. И что на финише? Одиночество и депресняк. Лиза, конечно, очень любила Асю. До болезненности, до слез. Меня терпела как данность. А я, идиот, не замечал ее, не старался понравиться, не говорил, что люблю ее, единственную свою дочь. Но и мои родители никогда не говорили, что любят меня. Или друг друга. Как-то не принято было вслух говорить о любви. Только наедине, интимно, шепотом. Это американцы, где надо и где не надо: я тебя люблю, я тебя люблю... Аж тошно. Или, может, американцы правы? К счастью, судьба не обделила меня любовью. Но жизнь-то прошла! И не с той женщиной, которую любил, а с той, которая меня спасла.

Нина оторопела. Зуевский почти дословно озвучил ее собственные мысли, изводившие до бессонницы. Она тоже много работала и мало любила сына. Петька узнал про ее измену Ивану и отказался вернуться на Фрунзенскую, так и вырос у бабушки с дедушкой. Никакие уговоры перебраться домой, хотя бы на праздники или на каникулы, или вместе поехать на море... Он разворачивался и убегал в свою комнату, глядя куда-то мимо.

Когда Петька был маленьким, она сочиняла для него короткие рассказы про знакомых и незнакомых птиц. Каждый рассказ — рукописная книжица-самоделка на скрепке с названием и цветной обложкой. Но книжица не простая, а в виде птицы с резными крыльями и хвостом. На обеих сторонах распахнутых крыльев написанный текст — красный, синий, зеленый или черный. Крылья можно было перелистывать. Иван с усмешкой человека, твердо стоявшего на земле, называл книжки «цыплята табака», а в редакции — удивлялись ее воображению, хвалили, брали почитать своим детям и внукам, и Петька визжал от восторга: «Ты — настоящая сочинительница птиц, правда-правда!» И целовал, и обнимал ее. Таких книжек набралась небольшая стая — десятка полтора. Петька с ними не расставался и потом увез в Стокгольм вместе с семейным альбомом, где молодые Иван, Нина и маленький Петя — семья.

Года три назад по предложению Томки Матковской, бывшей коллеги по редакции, а теперь директора частного издательства, Нина на шестом десятке взялась писать свои книжки в виде летящих птиц — чаек, сов, журавлей, попугаев, павлинов, которые вернули ее не только в пору студенческих орнитологических экспедиций, но и к сыну. Петька был первым, кому она показывала свои «птичьи сочинения».

— Ты там не заснула? Чё молчишь?

— До чего ж мы похожи, Зуевский! — Внутри нее робко, как в лампадке перед божницей в доме бабОли, затеплился огонек. То же чувство родства, та же радость узнавания — сродни влюбленности, что вспыхнула однажды в другой, такой далекой от нее жизни. На кончике носа зависла слеза — ни слизнуть, ни смахнуть.

— Ты догадалась, да, Нино? — почти выкрикнул Славик.

— О чем?

— Моя дочь — лесби!

Нина вздрогнула. Не ослышалась ли? Для надежности переложила мобильник к другому уху, которое лучше слышит.

Одышка выдавала сильное волнение, с которым Славик не справлялся.

— Из Улан-Удэ вернулась потерянная, колючая. Со мной жить отказалась. Да и я, признаться, приглядел себе в сожители отличного молодого двортерьера. Из туркомпании ее уволили, устроилась в страховую. И очень скоро познакомилась с Соней, айтишницей из Новосибирска, единственной дочкой член-кора из Академгородка. Ужасно смешная и смешливая дылда, мосластая, с рыжими ресницами и рыжей косой до попы. Стали жить вместе. И через год — гуд бай, папа! — умотали в Израйловку. Сонька — беспримесная еврейка, и Лизка....

Связь оборвалась.

Сунув мобильник в карман, Нина, обхватив руками занывшую поясницу, поднялась и прошлепала в комнату босыми отечными ногами. Прохлада чистого кафельного пола успокаивала. Мысли перескакивали и заглушали друг друга стрекочущими наперебой кузнечиками. Прямо поляна с живой музыкой. Включила чайник, бросила в кружку щепотку зеленых катышков, залила кипятком. И подошла к большому овальному зеркалу над столом.

Не молодая, но еще и не старая женщина с измельчавшими глазами ничем не удивила. «Возрастная», — так теперь говорят. Лицо без макияжа. Щеки провисли, на скулах — россыпь мелких пигментных пятен. Губы — длинное бледное тире. Когда-то послушные волны каштановых волос потускнели, стали жестче, просвечивали седые корни. Не изменились, пожалуй, вздернутый нос, придававший лицу неожиданную легкомысленность, и черные крылышки бровей с детской готовностью к взлету.

Нина подмигнула в зеркале возрастной, и та не поскупилась на улыбку: ничего, мол, не дрейфь, не тушуйся! Еще чай в кружке не остынет, как он позвонит.

«Кукарача» завопила на полную громкость, заставляя вибрировать воздух.

— ...классные айтишники везде ко двору. Тель-Авив — новая столица толерантности. Раньше был Ситжес под Барселоной, теперь — Тель-Авив. Ну, ты ж видела, наверное, в новостях: грандиозные гей-парады и парады Гордости. Деньжищ немеряно. Огромное международное сообщество нетрадиционалов, новый интернационал. Против них «черные шляпы и пейсы», упертые ортодоксы иудеи, особенно в Иерусалиме. А это вам не хухры-мухры!

Господи, как все обернулось. И помочь нечем. Да и устала она от всего, что вывалил на нее Славик. Кошмар. Бессонная ночь обеспечена. И ему, и ей.

— Прикинь, девки мне внучку родили: Ева Зуевская, уроженка Тель-Авива. Сабра, то есть рожденная в Израиле репатриантами. В переводе сабра — это кактус. Точнее, опунция с колючими листьями и сладкими, сочными, очень полезными плодами. В общем, очень жизнестойкий вид. — Славик смачно чмокнул мобильник и затянул ласковым, убаюкивающим шепотом: — Моя малышка, моя прелестная мартышка Ева.

— Как это родили? Удочерили, наверное? — не могла врубиться Нина: в ушах попеременно шумело, потом зазвенело по-комариному, да так, что рука потянулась прихлопнуть этих гадских кровососов. Гроза не утихала, и время близилось к девяти — вдруг, правда, жажнут?

— Ни фиги. Именно родили. Лизка рожала, она — мать.

— А зачали-то как?

— Ну ты и тормоз! Полный зашквар! В Израиле один из лучших в мире банков донорской спермы. Экстра-класс. Еве восемь месяцев, и она уже топ-топ-топ. Рыжая будет, в Соньку, которая у нас теперь Софа, Софочка.

— У тебя с Лизой близкие отношения?

— Да она вроде бы смирилась, что я — ее отец. Потеплела. Особенно после Бурятии. Главное, Лиза смогла полюбить. Элю, Соньку — неважно. Я ужасно боялся, что никогда и никого, кроме матери, которой — увы — нет.

— Ты заметил, что молодые боятся любви? И в близости не очень-то нуждаются. В том числе — эмоциональной. На первом месте — личное пространство, независимость, саморазвитие. И никаких ни перед кем обязательств. Мой Петя такой. Ни семьи, ни постоянной девушки. История нашего брака с Иваном, конечно, жуткая для него травма. Поэтому застегнут на все пуговицы и прагматичен до цинизма. Он — тоже за границей, где все чужое и он — чужой навсегда. Иностранец. Ужасно за него переживаю.

— А каково мне — мужику, отцу? Думаешь, легко? Две язвы, гипертония, астма. Но дочь потерять я не мог. Только за Асю рад: у нее уже никаких потерь. Забыть не могу, как я жил, когда потерял тебя. На разрыв. Сирота на морозе. Так и Лизка без Аси. Мне нельзя было потерять свою дочь. И внучку. И Соньку, Софочку нашу. Какая, к чертям, толерантность, когда они — моя семья. Кто я без них?

— Прости, Славик, я потрясена. Но с внучкой, дедуля, поздравляю!

— Когда Ася ушла и оставила меня с Лизкой, девчонка ревмя ревела — до рвоты, до поноса. И что-то во мне оборвалось. Какая-то струна, нерв. Не мог ни из семьи уйти, ни тебя увести. Ну, не рисковый я, с детства такой не рисковый! Не ушел еще и потому, что помнил про Асину «безотцовщину». Я не лучше ее папаши Вартана. Пил, хандрил, давал понять, какой я весь из себя необыкновенный и самодостаточный и как им повезло. Уверен, что у Лизки в мозгу еще в детстве что-то щелкнуло, и ее переклинило. Меня возненавидела и через меня всех мужиков. Может, и рак у Аси тоже из-за меня? В промежутках между приступами я держал ее за руку, и она сухими губами шелестела тихо-тихо: скоро освобожу тебя, Славущка-соловушка! Знаешь, я почти полюбил ее, больную, желтую, лысую. Почему не любил здоровую и красивую? Почему тебя любил? Прости, опять занесло...

— Да что ты, что ты! Мы же не о погоде, не о болячках. Я знала, что ты однажды придешь или позвонишь и мы будем говорить. Как близкие люди. Как сейчас.

— Спасибо, Нино, спасибо за понимание. Можно еще маленький кусочек из Лизкиного письма? Там про птиц, тебе ж интересно?!

— Читай!

«Буряты считают своими предками пришельцев из космоса. Их небесный отец — Буха-ноён, красный Бык, несокрушимый, как скала, батор, богатырь. В Саянах есть вершина, похожая на красного быка в профиль. Буряты поклоняются Быку и горе. Небесная мать бурят — великая Белая Птица. Ее зовут Хун-шубуун, или Лебедица, или Лебядь и даже Леблядь (не хихикай). Не исключено, что Пушкин, а потом и Врубель нашли свою Царевну Лебедь в фольклоре Сибири. Здесь говорят: "у нас — в Сибири" и "у вас — в России". А вот Леда и Лебедь — совсем из другой оперы. Здесь лебеди — общая родня. Их выходят встречать и провожать, вслед им разбрызгивают белое молоко. Кто подстрелит Лебедицу, будет наказан: потеряет глаз или жену, или мать. А у нас жареных лебедей на золотых блюдах к царскому столу как деликатес подавали. И не только в сказках. Жесть ведь? Бурятам от лебедей помощь и спасение, которые в нужный момент приходят с неба. И — нежность. Также космическая. Я почему-то уверена — не крути пальцем у виска — мама в своей новой жизни и в новом теле стала Лебедицей. И позвала меня. Ни Эля, ни лама Итигэлов — только мама. Она продолжает меня любить так же сильно, как и я ее. Соскучилась и позвала меня. И я рискнула!»

Лебедь, белый лебедь...Что-то похожее она недавно видела.

Крепкий гибкий стебель шеи вытянулся от локтя до крепкого загорелого плеча, в которое ласково уткнулась голова белого лебедя с красным клювом.

Ну да, в универсаме на углу Алленби — там такой потрясающий зельц! Народ столпился у кассы. Обеденное время. Две девчонки переругивались по-русски и тормозили движение. На вид типичные израильтянки: обе в коротких шортах и майках. Одна — пампушка со жгуче-черной шапкой выющихся волос, другая — длинная, смешная, рыжая. Она держала на руках расхныкавшуюся малышку в памперсах, сиявшую таким же ёжиком рыжих волос. Девчонки препирались: кому нести сумки, кому — ребенка. Малышка уже закатывалась, нетерпеливо подпрыгивала босыми ножками и норовила выскользнуть. Рыжая с ребенком в два прыжка выскочила на улицу. У кассы остались неподъемные пакеты с продуктами. Четыре или даже пять больших пакетов. Пампушка вытерла потное лицо, дунула на прилипшую ко лбу челку и, оглядев недовольную очередь, расправила, как перед стартом, плечи в цветной татуировке. На правом — ярко красный дацан с загнутыми вверх уголками будто бы взлетающей зеленой крыши, а на левом плече — лебедь. Или белая Лебедица? Лиза, Сонька и малышка Ева? А кто еще, если они живут где-то поблизости?

Зуевский завелся, и тормоза, похоже, отказывали.

— Лиза по-детски пыталась возместить Асе дефицит моей любви. За двоих любила: за себя и за меня, за мужика. Откровенно говоря, я и отец был никакой. Единственное, книжки ей на ночь читал. Настоящие, не фуфло. Теперь Лиза сама мать. Вроде бы и отец. Одновременно. Или они с Сонькой — обе мамы? Не разберешь. Одно слово, Лебедица! Вот вернешься в Москву, Нино, давай вместе сядем и обо всем поговорим. Недочеловек, неудачник, за что мне только Бог...

Гром пальнул одиночным выстрелом, неуверенно и устало.

Сеть пропала.

Нина не выпускала мобильника из рук.

Она ясно вспомнила себя в той счастливой поре невесомости, где-то *над*, в астрале. Какая-то сияющая прореха света, куда она счастливо взлетела вместе со Славиком, с этим романтиком и книгоцеем, в которого, казалось, была влюблена еще со школы.

Все случилось помимо ее воли и стало событием жизни. Той большой и наполненной жизни, которая прошла. Нет, проходит. Скоро, наверное, совсем пройдет вместе со сроком дожития, о котором говорил Славик.

Вспомнила сияющее лицо Ивана с годовалой дочкой на руках.

И маленького Петьку, который, запершись в туалете, сжигал Ивановы письма и плакал совсем не по-детски от непереносимой обиды на своего героического отца и на нее, никудышную мать.

Вспомнила мудрую Асю, сумевшую сохранить семью и не стать брошенкой с прицепом.

И Лизу с белой Лебедицей на крепком загорелом плече.

Сколько жизней прожито.

Что считать годы? Счет, может, идет уже на месяцы, на дни.

— На чашку кофе напрашивался. Якобы просто так, без всякого подтекста.

Александр Тимофеевский

Мифология

Вчерашний день

Нам кажется, вчерашний день так близок,
что рядом он,
что вышел прогуляться,
здесь, за угол, совсем недалеко.
Ещё слышны вчерашние слова,
шаги гостей, что допоздна сидели,
прыжок их провожавшего кота.
И много, много
вчерашней мишуры и суеты.
И милое дыхание любимой,
и кажется, что можно ей сказать,
— Ну что ты куksiшься?
Забудь, оставь.
Я что-то брякнул,
и совсем некстати.
Так это ж всё слова,
им грош цена
и, главное, что можно всё исправить.
Вчерашний день — он здесь,
он точно рядом,
как на плите кастрюлька,
только встань, не поленись
и руку протяни.
Да чёрта с два,
нет никакого дня!
Ни за какие деньги
вчерашний день обратно не вернуть.
Он канул в вечность.
Он дальше Фермопил и пирамид.
Он затерялся среди полузабытых,
ну как их там,
живых или убитых
гомеровских героев.
Вот так, мои друзья.

Тимофеевский Александр Павлович — поэт, сценарист. Родился в 1933 году в Москве. Окончил сценарный факультет ВГИКа. Автор нескольких книг стихов, в том числе «Краштест» (М., 2009), и многих песен, среди которых популярная песенка Крокодила Гены. Лауреат премии СП Москвы «Венец». Живет в Москве.

Фото

На фотографии те двое,
ей двадцать, мне двадцать четыре.
В их лицах что-то есть такое,
что, как намёк, —
они живые.
Такие, может быть, не умирают,
а попадают в параллельные миры.
Вон из египетских песков
прут пирамиды —
углы другого измерения.
Когда-то эти двое повторяли —
Мы уходим с тобой
из этой проклятой системы,
где любовь в чистом виде
не встречается даже местами,
и касаемся пальцев влюблённых
с застенчивой нежностью школьников,
где двум d не равняется сумма углов треугольника.
Вот они и попали туда,
где тела не подвержены тленю,
где сердце живо
четырёхмерной любовью,
а всё, что лживо,
превращается в лепёшки,
в дерьмо коровье.
А может попросту они мне милы.
Их лица на моём столе, а не где-то в мире,
и кажется, они живые,
ей двадцать, мне двадцать четыре.

Эллада

В те времена
Гермес был нашим богом,
бог плутовства, неправды и злословья.
Ведь это он украл у Зевса скипетр,
стащил у Аполлона лук и стрелы
и властвовал над миром.
Да что там Зевс —
был Пушкин оклеветан.
Но мы усердно ходили в храм
и молча
молились богу лжи.
Между тем
любой невинный мог быть обесчещен,
и мы дрожмя дрожали
в наших норах.
Лишь ждали дня,
когда оно случится.
Нас поведут на казнь.
Никто не скажет — хватит!
Народ ликует.

В другом воплощении

Я на траве лежал, уткнувшись в небо,
жевал травинку,
весело мне было.
И ветерок, и запах чернозёма,
и шмель на васильке,
и самое к земле прикосновенье —
всё было мило мне.
Я точно знал: я воин,
я землю защищаю от чудовищ.
Одна лишь только мысль меня томила,
а что если чудовище я сам?
Вдруг кто-то сзади подкрался, гад,
и стал меня ломать, такая мать!

Никто ещё не мог меня осилить,
а этот смог, лишь потому что сзади!
Сумел меня поднять,
да так,
что перестал я слышать
дыхание земли.
И шмель на лопухе, и васильки —
всё расплылось.
Он шейные ломал мне позвонки.
Последнее что помню:
я был когда-то Ливии царём,
и люди называли
меня Антеем.

Пустота

Нет, смерть не та,
которая с косой.
Нет, смерть, отнюдь,
не череп со скелетом.
Смерть — пустота,
что наступает в доме,
когда уходит кто-нибудь из близких.
Смерть — оглушающая тишина,
ничто, дыра во времени, зиянье.

Смерть — пустота вокруг исчезновения,
сакральный смысл, известный лишь богам.
Нам, людям, не дано его постичь,
мы различить не в силах эту сущность.
Орфей, Орфей!
Не вздумай оглянуться,
оглянешься
и в это же мгновенье
ты за спиной увидишь пустоту.

Похороны птички

Франческе Ярбусовой

Хочу бродить ночами по Парижу,
дурачиться, пить из горла — и в Сене
плевать с моста, как Франсуа Виньон.
Хочу занять у итальянцев небо,
чтоб небо первозданной чистоты
всегда сияло над моей башкой.
Хочу — чего на свете не бывает —
чтобы во мне проснулась кровь египтян,
и, оказавшись в главной точке мира,
я у подножья вечной пирамиды
застыл, как на верблюде бедуин.
Я бы сейчас немедленно уехал
(опасен здешний климат для здоровья),
но мне мешают «Похороны птички»,
эскиз, написанный рукой Франчески,
но так и не вошедший в фильм Норштейна,
возможно, по техническим причинам.

Роман Сенчин

Девушка со струной

Рассказ

1

Он считал себя лучшим. В своем деле. Иначе и не может быть — даже самый оголтелый пункер или радикальный психодел, отрицающие все законы написания текстов и музыкальной гармонии, громко и сочно плюющие на популярность, поклонников, внимание, на самом-то деле мечтают стать лучшими. Просто не могут. И завидуют тем, кто может. Ведь их, лучших, слушают, их песни потом поют на тусовках, сторожат новые треки в инете.

Да, он считал себя лучшим, и был таким. Не для всех, но по крайней мере в своем кругу.

Сегодня невозможно подняться до уровня Цоя, Гребня, Летова, будь ты в сто раз талантливей. Не то время. Но быть подобным Цою, Гребню, Летову для нескольких сотен — возможно. Это у Володи — Вэла — Собольцова получилось. Вернее, он этого добился.

В семнадцать, сразу после школы, приехал из маленькой деревушки на севере области в Екат. Не стал никуда поступать; у него имелось восемь песен — они должны были дать ему жилье и пропитание. Восемь отличных песен.

И он не ошибся — появились слушатели, быстро ставшие друзьями, они вписывали, кормили, устраивали концерты... Говорят, квартирники, это прошлое. Нет, и сегодня запросто могут собраться человек двадцать, скинуться по пятисотке, чтобы послушать настоящее. Вживую.

Постепенно подобралась музыканты. Барабанщик, басист, скрипач. И родилась их группа. Играли и здесь, в Екате, и в Перми, Челябине, Тюмени, добирались до Питера, Москвы, фестивалей на Черном море.

Где-то далеко, в потустороннем мире, маячила угроза загреметь в армию, там, в том мире, существовали люди с уютными, своими, квартирами, машинами, работой по восемь часов пять дней в неделю. Дачи, дети... Где-то там осталась мама в ветшающей избёнке.

Вэл отправлял ей деньги — немного и по возможности. На пяточке «Для письменного сообщения» в квитанции торопливо черкал: «У меня всё хорошо. Обнимаю».

Сенчин Роман Валерьевич родился в 1971 году в Кызыле. Окончил Литературный институт им.А.М.Горького. Печатался в журналах «Дружба народов», «Новый мир», «Знамя» и др. Лауреат многих литературных премий, в том числе «Ясная Поляна» и «Большая книга». Живет в Екатеринбурге. Предыдущая публикация в «ДН» — 2019, № 5.

Он не врал — действительно, у него было всё хорошо. Силы на кочевую жизнь имелись с избытком, энергия не испарялась, тексты теперь писались по десятку в месяц, на них без особых усилий ложились мелодии. Алкоголь, трава, колеса не мешали, а помогали мотору внутри не снижать обороты.

Липли поклонницы. Вэл был крепкий, хотя никогда специально не занимался поддержанием формы, широкоплечий, высокий... Однажды он вычитал, что Чехов написал про уральцев: их, мол, делают на заводах, роды принимают не акушеры, а механики. Сначала разозлился, но потом сам стал это повторять, даже песню сочинил:

Мы — брак чугунолитейных заводов:
В сплав сыпанули горсть руды не той.
Так появились мы, чугуноподобные люди,
С незастывающей, вечно горящей душой...

На очередной вписке покопался в компьютере — тогда у него еще не было смартфона, — узнал, что их деревня возникла триста лет назад при заводе, и жители — потомки рабочих. Завод давно исчез с лица земли, даже места, где он находился, никто не мог указать, а люди вот продолжались.

Вэл представил своего отца — огромного, молодого, сильного. Всё рядом с ним становилось игрушечным и хрупким. Не зная, что делать со своим здоровьем, куда тратить силу, отец пил стаканами, сигареты подмачивал и сушил на батарее, чтоб были крепче.

Но оказался он тоже хрупким, как чугун. В тридцать шесть лет поднял зарывшийся по капот в грязь передок «жигуля» на их улице, держал на весу, пока мужики подкладывали под колеса жерди и лапник, а потом заболел, перестал вставать, и умер от болей в животе. «Надорвался», — говорили соседи без удивления. Констатировали. Подобных историй вокруг было полно.

Гроб на кладбище несли восемь человек.

Вэлу было четырнадцать, и он отлично запомнил себя на похоронах. Его трясло. Но не от горя по отцу, а от страха — страха, что он навсегда останется здесь, с матерью.

«Теперь один ты ей помощь, — повторяли люди. — На тебе, парень, хозяйство».

Ему хотелось закричать: «Нет! Не хочу!» — но он молчал: нельзя спорить на кладбище, за поминальным столом. Он молчал и твердил мысленно обрывки строк из песни «Нау»: «Бриллиантовые дороги... следы оставляют боги... чтоб вцепиться в стекло, нужны алмазные когти...»

Уехал. Убеждал себя, что не виноват. Были бы братья, сестры, не осталась бы мать одна, кто-нибудь полюбил бы эту деревенскую жизнь. Почему родили только его?.. Он — не полюбил. Он создан для другого.

Многие уверены, что созданы для другого, и обманываются. Он не обманулся. Он двигался вперед, вцеплялся в стеклянную стену алмазными когтями.

Но всё оборвалось в один миг. Удар — который он даже не успел отметить — и чёрная пустота. Без полета по коридору к свету, без души, смотрящей сверху на лежащее тело. Ничего, чернота. Может, удар был не таким сильным, а скорее, не всем, наверное, дарятся эти видения за гранью жизни. По крайней мере там, за гранью, он ничего не увидел; или не пересек ее, зацепился...

Шел в хорошем таком состоянии после бессонной ночи, приятной болтовни с близкими людьми, нескольких выкуренных косяков, которые медленно отпускали. Над городом вставало еще не слепящее глаза, весеннее солнце, улицы были пусты и тихи, просторны, но далеко за спиной зазвенел трамвай. Наверное, первый.

И чернота. Его сунули в ничто. Он исчез.

А потом короткие, судорожные возвращения. Словно на секунду — нет, меньше — выныривал из плотной глубины на воздух... Вэл когда-то в детстве тонул. Было почти так же. Но тогда он понимал, где он, что с ним, как можно спастись; видел

берег, знал, что где-то рядом есть дно. Тогда он помнил, кто он, а здесь выныривало из неизвестности в неизвестность какое-то существо без имени, без памяти, оно не знало, что нужно делать, чтоб снова не захлебнуться пустотой.

Видел белое мельтешение над собой, слышал металлический звяк, прерывистый писк, сдавленные голоса. Случалось, успевал различить людей в масках на лицах, оставляющих только глаза. Позже, через десять или, может, сто коротких возвращений, стал отмечать одну девушку, перепуганную, но красивую, на которую тянуло смотреть (инстинктивно обрадовался, что способен воспринимать красоту), и другую, смутно знакомую, но неинтересную — даже не хотелось вспоминать, откуда она знакома...

Все говорили что-то ему и между собой. Слова вязли в густом пространстве, будто он действительно лежал на глубине, под толщей. Доходило лишь бу-бу-бу. У людей в масках оно было деловитым, у красивой быстрое и слезливое, а у второй успокаивающе-печальное, быстро обвивающее сном. Сном, после которого можно проснуться таким, как они. По ту сторону толщи.

Боли он поначалу не чувствовал. Но сколько длилось это поначалу — не знал. Вообще время изменилось. Оно возникало, когда он появлялся из пустоты и пытался всплыть, и исчезало, когда пустота утягивала его в себя.

Боль пришла. Не такая, как бывает после ушиба или перелома, — боль была другой, какой-то общей. Она резала и кости, и мясо, внутренности, мозг. Она была одновременно и невыносимой, и в то же время как бы не совсем его... Его словно бы разобрали, оставив лишь нити вен, нервов, жил, и боль шла по ним из полуотделённых кусков тела к голове. Но и в голове всё было разобрано, разъято, висело на нитках...

Однажды Вэл вынырнул, хлебнул воздуха и не погрузился обратно, как бывало. Остался. Закачался в обжигающих, кипящих струях. «Ни фиги я вчера накурился! — сформировалась первая мысль, и тут же возмущенное недоумение: — Зачем меня держат в горячей ванне?!»

Он хотел вскочить, но не получилось, что-то сковывало, мешало. И — боль. Такая боль, что он снова стал тонуть. Сотни пил врезались в него, заработали.

Вэл тонул и тут же поднимался. Как поплавок удочки, на крючке которой крупная, зубастая рыба.

Над ним появился человек. Без маски. Мужчина. Всмотрелся и спросил:

— Бу-бут?

И затем, как эхо, пришло слово «болит?»

Вэл застонал, дрожа веками.

— Это хорошо, что заболело. Значит, живой. У мертвых ничего не болит. Ноги как — болят?

Слова тоже доставляли боль — падали на голову камнями. Но это было лучше, чем давящая толща и глухое «бу-бу-бу». И Вэл снова застонал, утвердительно: болят.

— Отлично! — радовался человек. — А руки? Руки? Левая рука болит?

Она не просто болела, ее выворачивало, жевало. Вэл попытался увидеть — скосил глаза, их залило горячим. «Зачем льют кипяток?» Но перед тем как зажмуриться, успел заметить: рука висела на чем-то вроде штатива и была от кисти до локтя проткнута спицами, прикрепленными к кольцам. Кожа багрово-синяя, ногти как темный виноград...

Полежав в полуотключке, дождавшись, когда пилы перестанут кромсать, вспомнил страшное еще по школе — «аппарат Илизарова». Одноклассник на мопеде раздробил ногу, и ему поставили такой аппарат.

— Хорошо, хорошо, — приговаривал, посыпал человек словами-камнями. — Жить будем. Сейчас поспим, сил наберемся, а потом и станцуем, может. И споем...

Он что-то поделал рядом, и в Вэла стало капать не горячее, а теплое, сладковатое, уносящее не в толщу темной пустоты, а в морской заливчик... Где это: Утриш? Лиска? Новый Свет?..

С этого момент началось возвращение. Медленное, трудное, страшное и удивительное. Позже он напоминал себя тех недель похороненным заживо, который упорно выбирается из могилы. Да так оно, по сути, и было.

Обшались с ним в основном санитарки и врачи; постепенно он запомнил имя и отчество того, кто появлялся чаще других, — Борис Львович. Девушки возникали изредка, смотрели на него ожидающе и исчезали. Но вот красивая подошла, долго вглядывалась в его глаза и не исчезла.

Вэл попытался улыбнуться — в палате от ее лица стало светлее. И она улыбнулась, заговорила:

— Здравствуйте! Как вы?

Хотел ответить, но рот не слушался — столько сил, чтоб произносить слова, еще не накопилось.

— Ему нельзя, — объяснил голос Бориса Львовича. — Говорите вы. И постарайтесь быть лаконичной. Гаишник названивает по три раза на дню — рвется допросить. Завтра, край, послезавтра утром я буду вынужден его выпустить.

— Да-да, — девушка готова была заплакать, — я постараюсь. Я... — Она снова всмотрелась в лицо Вэла, точно не доверяя, что он слышит. — Дело в том, что я... это я вас сбила. Из-за меня вы вот так... Я... — Она выхватила откуда-то бумажный платок и стала промокать им глаза. — Простите меня, простите, пожалуйста...

Камни падали, падали на голову. А там, под черепом, лежал отбитый, накачанный лекарствами мозг. Вэл не мог морщиться, лишь дрожал скулами и часто моргал.

Воспринимать сказанное было и больно и трудно. Он старался заглушить боль, любясь красотой говорившей, наблюдал, как быстро шевелятся ее губы, приоткрывая белые, как подушечки «Орбита», зубы... Вспомнилось или придумалось: «Красота врачует». Действительно, врачевала.

Но слова-камни нужно было принимать — они касались его, объясняли, что с ним случилось, почему он здесь.

— Я уже наказана, Владимир, поверьте. Я так мучаюсь... Мы — я, папа — мы готовы на всё. Лучшие препараты, все условия, отдельная палата... Только, пожалуйста... Мне стыдно... — Красивая промакивала глаза, они блестели всё ярче. — Только, Владимир, пожалуйста, не пишите заявление. Я не перенесу суд, остальное. И мама... И для папы это будет удар, понимаете... Я отравлюсь тогда, на первом же допросе... Пожалейте нас...

Она замолчала. Всхлипывая, смотрела на него. Ждала. Ухоженная и покорная. Это всегда трогает, когда такие девушки становятся покорными... И Вэл кивнул; тут же сморщился от рези в голове. Понял, что кивнул слишком сильно. Когда резь стала слабеть, выдавил:

— Да.

На ее лице появилось удивление. Подержалось и сменилось благодарностью. Она погладила его правую, здоровую, руку.

— Спасибо. Спасибо огромное. Мы вас не оставим... Спасибо...

А на другой день с ним разговаривал инспектор по дознанию из ГИБДД. Правда, разговора не получилось — инспектору пришлось рассказывать, как всё произошло.

Вэл шел по тротуару, а красивая, которую звали Ольга, не справилась с управлением и вылетела с проезжей части. На безлюдной утренней улице на сотни метров был один только он, Владимир Соболев, и такое вот совпадение — машина нашла именно его.

— Должно было банальное дэтэпэ случиться, а вот как вышло. — Инспектор вздохнул. — М-да... И вы действительно ничего не помните?

— Нет.

— М-да-а... — вздох протяжней и горше. — Конечно, удар, сотрясение. Месяц комы...

— Седации, — поправил голос не видимого Вэлом врача.

— Ну да, ну да... Прискорбно, конечно... И Ольгу Константиновну жаль — совсем молодая девушка, и с таким клеймом оказаться может... Но ведь у вас, Владимир Викторович, гм, в организме обнаружили... — Инспектор замялся наверняка специально, пристально смотрел на Вэла. — Гм, наркотические средства обнаружили.

Вэл выдержал его взгляд. Да, выдули они тогда немало, но это вряд ли относится к делу — сам инспектор говорит, что он шел по тротуару. Не скакал ведь по белой разделительной полосе...

— Нет, я всё понимаю, — продолжил инспектор мягко и каким-то оправдывающимся тоном. — Я понимаю: музыкант, неформальная жизнь. Но и вы поймите: реакция замедляется, сознание, гм, изменяется. Были бы в форме, могли бы отскочить... Нет, я не оправдываю, просто должен предупредить, что в случае открытия дела очень много чего завертится, расхлебывать придется долго. По мне так: лучше без этого. Договориться... Составим протокол, что вырвало шаровую опору. А? В том месте как раз такие колеи... куда дорожники смотрят... Обстоятельства непреодолимой силы... Они... ну, Ольга Константиновна, готовы компенсировать. Я бы договорился. — Подождал. — А? Владимир Викторович?

И Вэл снова сказал:

— Да.

Спустя время, перебирая в голове эти разговоры с Ольгой и инспектором фразу за фразой, оценивая свое согласие не писать заяву, Вэл каждый раз приходил к одному выводу: ни она со своим богатым отцом, ни этот старлей-инспектор не были гадами, не разводили его. Может, инспектор предлагал «договориться» бескорыстно. Зачем, типа, действительно портить жизнь девчонке? Зачем вся эта возня со сбором материалов, доказательств? Суд, адвокаты, прокурор, ее попытки выгородиться, его, Вэла, усилия если не посадить ее реально, то уж точно впаять условку. Ведь не будет же он на заседаниях говорить: ничего не помню, ничего не знаю, упал-очнулся-гипс... Зачем тогда в суд пришел?.. Ну, там адвокаты должны включиться, но их еще нанять надо, платить им... Наверняка придется врать, что траву один пыхал, сам собрал, насушил, никого не угощал... Тьфу...

В общем, дело не завели, чем там отделалась Ольга, он не знал, да и не хотел знать. Насчет помощи не обманула: из реанимации перевели в отдельную палату, лекарства ему поступали такие, каких в государственных больницах не видывали, медсестры были добрыми. Сама Ольга приходила раза по три-четыре в неделю, приносила фрукты, разную вкуснятину из магазина «Гипербола» для состоятельных слоев.

Первое время она разговаривала с Вэлом с неизменной жалостливой нотой, вела себя как виноватая, но потом стала смелее, шутила, делилась впечатлениями о его песнях, которые нашла на музыкальных сайтах. Многие хвалила, и смотрела на него восторженно. Глаза поблескивали, и ему даже стало казаться, что она в него влюбилась.

«А что, — думал, оставаясь один, лежа на измученной, зудевшей, несмотря на все процедуры, кремы и порошки спине, глядя на подвешенную, медленно сраставшуюся руку, — было б неплохо. Милая, небедная, стопудово со своей квартирой. Пора выбираться из андеграунда. Бобом Диланом я уже не стану».

Куда чаще Ольги — каждый день, а то и по два раза — у него бывала другая, та, которую смутно узнавал, всплывая на мгновения из пустоты.

Вторую звали Ирина, красотой она не цепляла, но была заботлива и одновременно тиха. Не лепетала, не тараторила. Сидела на стульчике в углу палаты молча, если Вэл в ней не нуждался. Когда просил, рассказывала городские новости, какая погода, читала электронные книги, посты в Фейсбуке.

Постепенно он вспоминал ее все лучше, подробнее. Не потому, что возвращалась память — многие часы, а по сути сутки за сутками, проводимые в бездействии, однообразно, заставляли мысленно уходить в прошлое, просеивать его через мелкое сито. Любая мелочь могла стать алмазиком, пустяк — событием, кем-то когда-то рассказанный анекдот, над которым тогда даже не улыбнулся, теперь веселил так, что Вэл стонал от приступов смеха.

Ирина... Только сейчас, здесь, она выделилась из сотен людей, которых он периодически видел, встречал в той, до аварии, жизни. Она приходила почти на все их сейшены. Не лезла, как большинство девок, после выступлений с предложениями потусить или глупыми вопросами типа: «А что ты в этом куплете имел в виду?» Громко не хлопала и не визжала в финале очередной песни. Сидела, слушала, смотрела на него. Смотрела не влюбленно, а слегка грустно, что ли, или умно, или просто задумчиво. Вэл, как ему казалось, и не обращал внимания на этот нейтральный, не подпитывающий энергией взгляд. А вот теперь оказалось, что помнил. Может, он вообще все помнит, каждый день поминутно — нужно только остаться надолго одному, не двигаться, и его прожитые двадцать девять лет развернутся огромным подробным полотном...

Остальные парни из группы тоже не выделяли ее, и она ни к кому не цеплялась. Так — приходит, платит свою пятисотку или сколько там стоил билет, слушает, уходит.

Нет-нет, что это он — память открыла новую дверцу — она выделялась, конечно, у нее даже было свой никнейм. Он не заменял имени, а использовался вместо него. Имена, данные при рождении, в тусовке ничего не значили, людей выделяли по чертам характера, поступкам. Ее вот называли Девушкой со струной.

И сейчас, вспомнив, Вэл радостно опознал:

— Девушка со струной!

Она заулыбалась, стала кивать. Улыбка была счастливой, искренней и поэтому некрасивой. Улыбаться ведь учатся, а она, наверное, не училась. Или в этот момент забыла, как правильно надо...

Но улыбка быстро исчезла, появилась забота, ожидание, что он что-то попросит — ведь зачем-то позвал, — желание как-то помочь.

Как ему можно помочь, распыленному на кровати? Единственное — не бросать насовсем, но и не донимать вниманием.

Она сидела в сторонке, а он вспоминал. Концерты, тусы, поезда, гостиницы или вписки, репетиции, споры, пропахшие слюной микрофоны. Всё это было теперь так дорого и казалось навсегда потерянным... Он боялся смотреть на левую руку, боялся двигать пальцами. Это будет хуже смерти, если рука окажется полумертвой. Ему она необходима вся, до последнего капилляра.

Отгонял разъедающие голову мысли, старался находить светлое, забавное — то, что быстрее поможет вернуться.

Ирина была из забавного. Так теперь оказалось. Из забавного, но и трогательного. Именно то воспоминание, что лечит. Именно то...

У Вэла часто рвались струны. Особенно вторая. Бывало, доигрывал без нее, но если предстояли песни со сложными партиями, приходилось прерывать выступление, натягивать новую. И однажды замены не оказалось.

Вэл пожаловался в микрофон:

— Вот ведь — хотел зайти за запаской... Извините, друзья, придется продолжать без наших душевных запилов.

И тут внизу, под сценой, поднялась рука с конвертиком:

— Есть струна! Есть, держите.

С тех пор эту девушку стали называть «Девушка со струной». Случалось, Вэл специально рвал струны, зная, что у нее есть запасные. Это было круто — преданная фанатка помогает группе.

2

Ее любимым фильмом была «Асса». С детства. Многого она ни тогда, ни теперь в сюжете не понимала, но ей очень нравилась главная героиня — милая, открытая, легкая и при этом умная девушка с необычным, волшебным именем Алика. Она хотела стать такой же. Только чтоб у нее не было этого старого и злого то ли мужа, то ли любовника, а был веселый, с чудинкой музыкант, похожий на Бананана.

Может, такие и жили в восьмидесятые, но Ирина в восьмидесятые родилась, а мир стала познавать в середине девяностых, когда чудаковатость, оригинальность, вообще романтика оказались признаком неполноценности.

В то время над поэзией смеялись, рок был музыкой родителей-неудачников, а фильм «Асса» кто-то из одноклассников Ирины назвал отстоем. Тогда она услышала это слово впервые. Отстой...

Ее в последних классах тоже считали отстойной. Не травили, не говорили открыто, но она чувствовала, знала, что считают. Она была нужна тем, кто бы мог и хотел ее затравить — она хорошо училась и помогала им, давала списывать, переводила слова учительниц на их язык — язык будущих гопников.

Ее терпели, ей пользовались, но с ней не дружили.

У них была своя музыка — «Мальчишник», Богдан Титомир, «Любэ», какие-то рейв-группы, названия которых Ирина не знала и не хотела узнавать.

Ее «Аквариум», «Адо», «Теплая трасса», «Африка», феньки и длинные пестрые юбки вызывали ухмылку... Да и некрасивой она была. Она сама это знала.

Она могла придать лицу приветливое, соблазняющее выражение, но удержать его не умела. И когда неожиданно взглядывала на себя в зеркало, пугалась какой-то угрюмости или, может, кирпичной серьезности. К такой вряд ли кто захочет подкатывать... И фигура — вроде бы, по канонам, нормальная: не коротконожка какая-нибудь, грудь бугорками, тонкая шея, и в то же время, что называется, костистая, узловатая.

Да и не в костистости дело... Однажды — Ирине было лет семнадцать, самый мучительный возраст — услышала на улице обрывок разговора. Две женщины шли и говорили. И она ухватила именно тот обрывок, который ей всё, кажется, объяснил о себе.

— Вот я не понимаю, чего они в этой Женьке находят. Она ж страшная, как я не знаю что, — удивлялась одна, а вторая отвечала усмешливо-безысходно:

— А мужикам и не нужна красота. Им манок нужен.

— Какой манок еще?

— За каким они побегут, как кобели за сукой.

— Течка, что ли?

— Вроде того. Только у баб другой манок — похоть, или как это называется... В общем, это самое в ней должен быть, течь из нее. Вот из Женьки оно течет. Из глаз, из губ, из жопы. Отовсюду. Из кожи самой. Видела, кожа у ней какая — прямо не оторвешься. Вся целиком страшная, а везде у нее манок. И мужики липнут.

— Да?.. И как сделать, чтоб он был, манок этот чертов?

— Никак, Настюш. Ни-как. Притворяться можно, что он есть, но мужик быстро заметит. И убежит. И еще мстить будет, что обманула... От природы зависит — она дает.

И словно, действительно, сама природа подтолкнула к ней на людной улице Куйбышева этих неюных и наверняка не очень-то счастливых женщин — чтоб поняла: у тебя манка нет, прими это и успокойся.

Но замуж вышла рано — на втором курсе. За однокурсника. Он был у нее первым, и она у него первой. Встретились, как говорится, два одиночества. Два одиночества без манков и с желанием секса. Пожили вместе в съемной однушке неполные два года и разбежались.

Ирина вернулась к родителям. Старший брат как раз женился и съехал, и трехкомнатка в доме тридцатых годов, с большими окнами и высокими потолками, стала совсем просторной и тихой. Родители большую часть времени проводили у себя, Ирина — у себя. Собирались на ужин, накрывали стол в зале.

Окончив универ, она удачно устроилась в отделение Росгосстраха, где и работала, прилежно и старательно, уже двенадцатый год. Поднялась до заместителя начальника филиала. От родителей давно съехала, купила в ипотеку двушку недалеко от офиса. Завела кота Ключу.

Мужчины случались. И довольно часто. Но... Да, «но» — огромное и непреодолимое, как стена — но мужчинам просто нужно разнообразие, и Ирина была таким разнообразием. Сначала страдала, негодовала в душе, когда очередной мужчина исчезал, а потом как-то привыкла, что ли. Смирилась и послушно принимала предназначенные ей крупинки того, что называют любовью.

Не предохранялась. Хотела ребенка. Кто будет отец — уже не имело большого значения. И опять же это проклятое «но» — но забеременеть не получалось. Анализы показывали, что всё у нее в порядке, а вот — не получалось никак. То ли и в этом природа поставила на ней крест, то ли берегла для встречи с настоящим, со второй половиной, о которой так много повсюду написано, спето, рассказано.

Заботилась о Ключе, купила «Ниссанчик», работала, ходила на спектакли в театр Коляды, на концерты. Случайно попала на выступление Вэла и сразу... Не влюбилась — это не то — песни пронзили, стали жить внутри отдельными запомнившимися строчками, мелодиями. Сразу, будто выпевшие семена попали в подходящую землю.

С тех пор вот уже лет пять она старалась не пропускать его концерты. Помогали сайт группы, информация от людей, с которыми знакомилась в зале, на квартирах. Знакомилась, но почти не общалась — здоровались, обменивались вопросами и новостями, демонстрирующими товарищество, но не требующими долгих обсуждений. Потом садились рядом, если был квартирник, вставали поближе к сцене, если большой концерт, слушали.

Ирина заметила, что у Вэла часто лопаются струны, и стала покупать их, брать с собой на всякий случай. Иногда пригождались. В такие моменты она чувствовала себя нужной, значительной и счастливой и радовалась, когда Вэл или кто-то из его музыкантов, поклонников группы восклицал при встрече:

— О, привет, девушка со струной!

...О том что Вэла сбила машина, узнала на следующий день — прочитала на сайте. И бросилась в больницу. Не пустили. Она и не рвалась — как бешено мчалась через полгорода, наверняка нахватав штрафов, так сразу притихла, лишь врач отчеканил:

— К нему нельзя.

Притихла, точно ее прибили, стукнули по макушке. Но врач спасительно добавил:

— Жить, наверное, будет. Только в каком виде — вопрос.

«Хоть в каком», — отозвалось в ней, и она удивилась этому голосу. До сих пор не видела и не представляла Вэла иначе, как поющим и играющим на гитаре; она не тусовалась с ним после концертов, не сидела в кабаке «Штаб» или рюмочной «Маруся». А сейчас вдруг осознала, не умом, а чем-то более важным в ней, что он дорог, необходим ей хоть какой. Пусть будет как Ключа или алоэ на подоконнике.

Приезжала в больницу по два раза в день: в обеденный перерыв и вечером. Сидела сначала у дверей реанимации, потом в самой реанимации у двери палаты, заглядывая внутрь на мгновение, когда входили или выходили врачи и медсестры. Потом ее стали пускать в саму палату на две минуты, на пять, на десять — не потому, что Вэлу становилось лучше, просто к ней привыкли или жалостью прониклись, а может, уважением за терпение.

Иногда приходили музыканты, вечно испуганные и робкие, толклись в коридоре; раза три в неделю Ирина встречала ту, что его сбила. Высокая, поджарая, но при

фигуре, симпатичная. И главное — таких она теперь хорошо опознавала — с манком... Сталкиваться с ней не хотелось, и Ирина отходила, поворачивалась спиной. Не возмущенно-брезгливо, а так... Не хотелось быть поблизости. А та вряд ли ее замечала — была поглощена разговорами по телефону, наблюдением за Вэлом. Явно ожидала, когда он очнется, чтоб что-то ему сказать. Да ясно что...

Ожидание продолжалось больше месяца. Врачи по-прежнему не могли определить, каким он вернется. Тяжелая травма головы, позвоночника. Про раздробленную левую руку и не упоминали — для них она была ерундой. Речь шла о том, сможет ли он ходить, будет ли человеком или окажется растением, животным.

Много раз казалось, что вот-вот вернется. Приоткрывал глаза, вздрагивал. Врачи, Ирина бросались к нему, звали, но он снова уходил. На день, на неделю...

И вот на тридцать шестые сутки случилось. Вечером.

Ирина после своего дежурства на стульчике уже хотела ехать домой и уловила шевеление на кровати. Смотрела в айфон, но краем глаза уловила. Когда многие дни там, прямо и справа, неподвижность, можно уловить самую слабую жизнь.

Опустила айфон, уставилась на Вэла. Он лежал на высокой подушке, почти сидел. Во рту трубка, глаза закрыты, щеки в золотистой щетине — его брили, но нечасто — на голове узкая полоса бинта, закрывающая шов после трепанации. Этот шов как венчик на покойнике...

Долго, холодея от страха и надежды, всматривалась. Однообразно попискивал аппарат контроля гемодинамики — за этот месяц Ирина выучила много больничных слов — не замедляясь, не ускоряясь. И когда она решила, что померещилось, поднялась и потянулась к висевшей на крючке сумке, Вэла подбросило. Он громко, булькаяще задышал; пунктирный писк аппарата превратился в верещание, такое бешеное, что Ирина присела. А потом выскочила в коридор.

Из дежурки уже бежали врачи, медсестры.

Позже Вэл рассказывал, что очнувшись, «вынырнув», первым делом удивился: «Мощно я вчера погулял», — а когда увидел провода, почувствовал трубку, царапающую горло при попытке взглотнуть, хотел вскочить, побежать. Сил, говорит, в тот момент было немеряно.

Его окружили, прижали к койке, изучали глаза. Сначала видели в них дикое безумие, затем, начав успокаивать, объяснять, где он, что с ним, заметили отзыв, мысль, и определили:

— Человек.

Ирина стояла за стеной белых спин, хватала слова врачей, и когда услышала это — «человек» — заплакала. Без рыданий, тихонько...

С этого пошло быстрое, удивлявшее врачей выздоровление.

— Молодость, — пытались объяснять они, больше самим себе, чем Ирине, парням из группы, Ольге. — И от природы организм крепкий — затягивает, срастает.

Через неделю Вэла перевели из реанимации в общее отделение. Выделили отдельную палату, наверняка благодаря семье Ольги — они были реально богатыми. Еще через несколько дней он попросил перевести денег его маме — у него была какая-то сумма на карте; Ирина перевела свои.

— Не сообщать, что с тобой? — спросила.

— Не надо. Потом, может. Или сам сгоняю попроведу.

Он сказал это, лежащий на койке, с громоздким аппаратом Илизарова на синеватой руке, с загипсованной ногой, корсетом на пояснице, бинтом на голове. И Ирина задышала, глотая набегающие слезы. Не надо показывать, что не верит, что он когда-нибудь будет «гонять».

Сняли аппарат, потом гипс с ноги; Вэл стал пробовать ходить. Медленно, поддерживаемый с двух сторон. Его почти таскали, но ноги передвигал, спину держал прямо и в то же время с явным напряжением, как старающийся не горбиться старик.

— Ничего, ничего, — приговаривал лечащий врач Борис Львович, — разберемся. Главное — нервы целы.

Вэл пытался улыбаться, хотя это плохо получалось — губы кривились. Левая рука приводила его в отчаяние — кости и сухожилия срослись, а двигать кистью удавалось с большим трудом, пальцы шевелились как у робота — рывками. Не разрабатывались. Он стонал.

— Больно? — спрашивала Ирина.

— Было бы больно... Как чужая, блин...

В середине октября заговорили о выписке. Другого наверняка бы выписали раньше, но за Вэла платили — администрации не было резона выставлять его быстрее на улицу. И все-таки больница есть больница, а дом есть дом. Домой ему хотелось.

Но где был дом Вэла? Не вписки, не съемная конурка, не материна изба, а дом...

Перед выпиской кругом самых близких ему — музыканты, несколько фанов — собрались в кабаке «Штаб», где когда-то Вэл пил пиво после концертов. Собрались, и как-то никто не выражал желания поселять его у себя. Мялись, вздыхали, утыкались взглядами в беззвучно работающие телевизоры на стенах или просяще смотрели друг на друга... И Ирина, словно проснувшись, обнаружила, что тоже мнется, вздыхает, просит взглядом одного, другого... Встряхнулась, сбрасывая это мерзкое состояние, этот взгляд, и сказала:

— Если он захочет, я заберу. Комната свободная есть.

Все мгновенно обмякли, отвалились на спинки сидений. Прошелестели, как ветерок, выдохи облегчения.

Вэл согласился. Почти равнодушно, а может, безвольно. Наверняка ожидал, что возьмут к себе не бедствующие в квартирном смысле барабанщик или скрипач. Или снимут жилье, будут по очереди помогать. Общение, тусовки в шадящем режиме, попытки репетиций. А придется жить у этой...

«Нет, — убеждала себя Ирина, будто думала не о себе, а о другой женщине, — у доброй, заботливой, но не из его круга. Она не сделает из своего гнездышка флэт, базу для реп».

«Флэт не сделаю, — отвечала. — А репетиции — почему бы нет».

«Репы и тусы — одно и то же. Не знаешь? Это не класс в музыкалке».

Внутренний спор обрывался, стоило посмотреть на Вэла. Как он ковылял, при каждом шаге оседая к полу; санитары, крепкие парни, держали, а так бы, казалось, осыпался, как груда обтянутых кожей костей... Левая рука была согнута в локте, пальцы висели щеточкой.

Выписали. Довели до Иринино «Ниссана». Усадили на заднем сиденье. В багажник положили сумку со скопившимся за эти месяцы скарбом. На Вэле был спортивный костюм нелепого голубого цвета с красными полосками, купленный Ольгой или ее отцом; они обещали купить тренажер-трансформер для восстановления мышц, укрепления позвоночника. Деньги присылать. И, надо признать, сдержали обещания: тренажер грузчики привезли через два дня, приличные суммы падали на карту Вэла все семь месяцев, пока он жил у Ирины. Наверное, и потом падали — она точно не знала.

Как они прожили вместе эти месяцы? Как... Да хорошо прожили. Хорошо. По крайней мере Ирина.

Да, находилась в постоянном напряжении, но оно было каким-то благодатным, что ли, какое испытывают женщины с детьми. Вэл был ее ребенком.

Каждый день она ожидала от него нового: что вот сегодня он согнет пальцы сильнее и легче, сделает шаг шире и уверенней, сам, без помощи, переберется через бортик ванны, добавит нагрузку на тренажере еще на килограмм...

Действительно, она ощущала себя матерью, а Вэла ребенком. Не сыном, не дочкой, а именно ребенком. Ребенком, который развивается, растет, крепнет, но требует внимания и вызывает тревогу. Вдруг что.

Куклы, в которые Ирина очень любила играть в детстве, да и взрослой часто рассаживала вокруг себя, причесывала, переодевала, оживали только на время, когда ты проявляешь к ним внимание. Кот Ключа иногда удивлял, казалось, он вот-вот

заговорит человеческим языком, сварит кофе, включит кондиционер, когда жарко, или хотя бы сам насыплет себе корма в миску, а не будет просить. Но он оставался котом, не больше.

Нет, кот, это немало, и все же он никогда не может стать человеком. Кот останавливается у черты и не развивается дальше. А ребенок — человек. Ребенок то по чуть-чуть, на какой-то микрон, то вдруг скачком меняется.

Вэл менялся. Всплывал, как он говорил, выше и выше.

— Знаешь, — объяснял медленно, с усилием, но с усилием не физическим, а с тем, когда стараются вспомнить, — я ведь не заметил, как меня... как сбило. Шел, и чернота. И ничего. Ничего там не увидел. А потом стал всплывать. На секунду, даже меньше. Раз, два, сто раз, наверно... Это очень... мучительно, в общем... Потом всплыл по-настоящему, но так — одно лицо здесь, а сам остальной там еще... Я тогда как бы концами пальцев за жизнь зацепился. — Вэл смотрел на пальцы левой руки и ухмылялся. — Нет, наверно, зубами. Зубами зацепился. И теперь перехватываюсь всё дальше, выше.

Клюша вел себя странно. Да нет, поначалу ничего: когда в доме появился немощный человек, он ластился к нему, осторожно ложился на колени. Пытался лечить. Ведь кошки, даже врачи признают, вытягивают из людей болезни. Но Вэл окреп, сделался почти хозяином здесь, и Клюша принял его за соперника. Тем более после того как Вэл перебрался спать к Ирине.

Она закрывала дверь в спальню — Клюша противно мяукал и шипел, бился, скребся. Ирина не выдерживала, впускала, он заскакивал на кровать и ложился по центру, свирепо глядя на Вэла.

Раньше Ирина думала, что это байка — когда коты гадят в обувь неприятному человеку. А оказалось, правда. Клюша испортил тапки Вэла, исцарапал сидущку тренажера, наделал затяжек на спортивном костюме. Был бы не кастрированный, наверняка бы пометил всю квартиру.

Правда, однажды чудесным образом он перестал проявлять агрессивность к Вэлу. Но на Ирину продолжал смотреть без былого дружелюбия, как бы спрашивая: «Ну и когда он уйдет?»

Спать они стали вместе примерно через месяц... Вэл пришел и лег рядом. Просто лег, даже не погладил ее. А Ирина чуть не заплакала. От какого-то небывалого умиротворения. Так спокойно стало. Лежала и слушала дыхание человека. Родного.

Да, она знала, что он родной. А родные должны быть рядом, вместе. И секса не надо, поцелуев, обнимашек, ласковых слов. Вот так — вместе. Этого достаточно.

Все мужчины, которые бывали здесь, включая тех, с кем был приятен секс, кого она представляла мужем, вызывали раздражение. Раздражало, как они шлепают тапками, сопят, вообще шевелятся, что трогают ее вещи, посуду, жарят глазунью, варят кофе, занимают туалет... Ее пугало это раздражение, казалось, ни один мужчина не приживется у нее, даже если будет ее действительно любить. Она выдавит, как нечто инородное.

И вот появился Вэл, и вот он все уверенней хозяйничает, и раздражения не возникает. Наоборот, хочется, чтоб он коснулся всего, был своей частицей в каждой мелочи.

Заметила — после того как стали спать вместе, он стал по-настоящему крепнуть. Не только умом, а как-то весь захотел скорее вернуться к себе тому, каким был до больницы. Остервенело захотел.

Ирина боялась, что делает себе хуже, организм не выдержит нагрузок. Снова сломается, на сей раз навсегда. Читала, парализованные или после травмы позвоночника, особенно молодые, почувствовав улучшение, часто торопятся и становятся инвалидами уже до конца жизни. У большинства долгой и мучительной.

Вэл крутил педали, тянул железную трубку, поднимая все более длинный столбик чугунных или каких там кирпичиков, висел на турничке, подтягивался, приседал, отжимался, мял и мял эспандер, но больше всего времени проводил с гитарой.

Репетиций не было. Вэл собрал было ребят, они попробовали вскоре после выписки, и тут же стало ясно, что пока рано: ни играть, ни петь Вэл не мог.

Ему принесли дешевенькую шестиструнку, и он стал упражняться. Вернее, учиться играть заново. Сначала по несколько минут. На большее не то чтобы не было сил — его убивала неспособность левой руки брать даже самые простые аккорды.

Но постепенно несколько минут разрослись до четырех, шести, восьми часов. Бренькал — так сам называл эти упражнения, скрывая за мусорным словом обиду и досаду — закрывшись в комнате, напевал поначалу хрипло и задыхаясь, а потом чище и звучнее свой хит:

Я смотрю на восток:
Заря прогоняет тьму.
Ночь не останется здесь,
Я никогда, никогда не умру.

Бетонным тучам меня
Не поймать, не согнуть.
Помаши мне рукой —
Я отправляюсь в мой путь...

Ирина стояла у двери, слушала, мысленно помогала.

Помогать хотела и делом, тем главным делом, для которого природа создала ее женщиной. А Вэл вряд ли в ней сильно нуждался. Да, спали вместе, но почти всегда именно спали — лежали рядом.

Сначала она объясняла себе: он все-таки болен, истощен, потом поняла — как женщина она ему неинтересна. Иногда случалось, мужчины без этого долго не могут, но происходило без страсти, без россыпи поцелуев. Это напоминало онанизм, в котором собственную руку заменяет другой человек.

Тогда и стала себя убеждать, что секс — не главное. Они ведь родные. Не по крови, а чему-то большему. Секс будет только принижать, грязнить эту их высокую родственность. Убеждала, понимая, что обманывает. Секс в таких отношениях необходим: мужчина и женщина примерно одного возраста не могут быть только друзьями, их должно влечь друг к другу. Если они это влечение по одной из многих причин подавляют, это, наверное, правильно, а если кто-то из двоих его не испытывает, то это не дружба. Признательность, благодарность, симпатия, но не дружба. Вэл не испытывал.

Наутро после близости он был мрачен, стеснялся ее, почти весь день проводил в комнате. Зато когда просто спали рядом, поднимался бодрым, приветливым, веселым. Они завтракали, шутили, Вэл рассказывал забавные случаи из гастрольных кочеваний, а потом шел к себе и занимался на тренажере или мучил — опять же его словцо — гитару. Но вечером делался раздражительным, явно томился, не находил себе места. И в итоге ложился к ней в кровать.

В конце зимы стал выходить из дома. Сначала вместе с Ириной, затем — один. Сидел на скамейке, как старичок, гулял по детской площадке, делал одно, другое подтягивание на турнике.

В начале апреля первый раз поехал в центр. Ирина хотела его сопровождать, он отказался:

— Не надо. Я на такси. Постою на Плотинке, погуляю там...

Через два часа вернулся тихий, но светящийся радостью, будто выполнил трудную необходимую работу, прошел сложное испытание.

Перед сном объявил:

— С пятницы начинаем репять.

— Правда? — Ирина прижалась к нему. — Классно!

Да, она была рада. Искренне рада. И одновременно испугана; в голове застучало, как метроном: «Ну вот. Ну вот. Ну вот».

Ну вот и заканчивается их жизнь вместе. Вдвоем. Вэл вырос — окреп — и готов вылететь из гнезда. Хорошо, если круг сделает, перед тем как исчезнуть.

«Куда он исчезнет, — с горьковатой усмешкой, но усмешкой там, за губами, внутри, успокоила себя. — В городе останется, и всё продолжится, как до аварии».

Наверняка продолжится. Он будет поблизости. Но нынешний, ее домашний Вэл исчезнет.

И через недели две случилось. Надо же было совпасть им на том перекрестке Ленина и Мамина-Сибиряка. Хотя и центр, но Ирина без машины не бывала там ни разу за последние годы — не ее маршрут, — и вот оказалась. «Ниссан» сдала на переобувку, смену масла, диагностику после зимы, а сама решила проверить, так ли хорош новый маникюрный салон, который все хвалили.

Маникюр ей понравился, и еще мелькнула мысль, что Вэл заметит, похвалит. Шла такая радостная к трамвайной остановке — давно не каталась на трамвае. Тепло было, хорошо. И тут увидела Вэла и девушку.

Сначала подумала, что та самая Ольга. Тоже светлые волосы, тонкая фигура, отшлифованное личико... Нет, эта была моложе, взгляд наивный и счастливый, щеки пухлые и тугие, как бывает только в юности. И у Вэла счастливый взгляд. Он что-то увлеченно сыпал, быстро-быстро, без всякого усилия. Ирине он никогда вот так ничего не рассказывал — даже шутки, забавные ситуации все равно получались у него с пробуксовкой. Она объясняла это травмами, слабостью.

Они выходили с бульвара на перекресток, а Ирина двигалась им наперерез.

Сейчас Вэл оторвет от этой взгляд — нужно ведь будет переходить улицу — и наткнется на нее. Ирина резко развернулась, встала к ним спиной. Сделалось странно неловко, точно это она совершила плохое и ее сейчас поймают... Да, он вполне может решить, что следит. А она не следит. Случайно. Или это судьба такая — получать удары на улице: тогда про манок услышала от шедших рядом теток, теперь это...

Не заметил, прошли мимо, перебежали на красный свет через Ленина, повернули направо в сторону Исети. Там, на набережной, сейчас много людей. Много счастливых людей. Гуляют после рабочего дня. А она... Она одна снова.

Вэл пришел домой вечером. Не поздно, часов в девять. Сперва выглядел обычно, но, кажется, заметил что-то в Ирине, изменился.

— Слушай, я сказать хотел, — присел к столу на кухне, за которым она пила чай, а вернее, делала вид, что пьет: нужно было показать, что у нее все хорошо — заварник с цветочками, джем, печенюшки в вазочке; бергамотом пахнет, клубникой...

— Да? — Она изобразила удивление. — Что-то случилось?

— Да нет, не случилось... Мне просто... — Вэл мялся, скулы подрагивали от желания и боязни произнести важное; ей вспомнился он тот, в реанимации, скулы у него подрагивали так же, но тогда от отсутствия сил, физических сил. — В общем, пора мне, Ир. Извини, ухожу, в общем. Пора.

Встретились взглядами. Его глаза просили: «Можно?» Ее — она хотела верить — были спокойны. Мудры. Внутри, конечно, klokотало, но как-то не очень. Она думала, будет больнее, будет так, что не сдержится... Нет, сдержаться не требовало больших усилий... Может, если бы он не сказал этого, а пошел играть на гитаре, вечером лег с ней рядом, она бы взорвалась, превратилась в визжащую бабу. А может, и нет.

— Знаешь, я с девушкой познакомился... У нас, — Вэл заторопился, — у нас не было ничего. Да. Но я... я влюбился, по ходу... Нет, не в этом дело. Пора просто. Извини, Ир.

«По ходу» вставил наверняка специально. Мог бы другое слово подобрать, но выбрал это. Из их лексикона. «По ходу», «в натуре», «кайфово»...

— Понимаешь, Ир?

— Да, я понимаю. — Она услышала, что голос у нее деревянный; кашлянула, кивнула на чайник: — Будешь?

— Не хочу... Я тебе очень благодарен, Ир. Очень, без дураков! Если б не ты... Я тебе песню посвящу — я уже начал писать. Девушка со струной. Это ведь метафора целая... Ир... Спасибо тебе.

Он взял ее руку, сжал в своей и отпустил.

- Я пойду.
- Конечно.
- Да?

Ее развеселило это детское «да?», и давящее на плечи, сгибающее спину в горб свалилось.

— Володя, что ты спрашиваешь? Как маленький. Можно, конечно. Я рада, что ты здоров. Что вернулся. Мне было хорошо эти месяцы, точнее, мне это было нужно. Я поняла, что я сильная.

— Ты сильная, Ир, — с готовностью подтвердил он с излишней даже готовностью. — Ты удивительная. — Снова взял ее руку, щупая пальцами костяшки, перебирая их, как чётки. — Я и не знал, что такие бывают. Правда! Все ведь, знаешь... Не знаю... Спасибо тебе.

Собрался он быстро. Гитару, тренажер оставил. «Потом, может, ладно?» Через десяток минут стоял в прихожей с рюкзаком на плече... Ирина вспомнила, что рюкзак он купил с неделю назад. Она тогда не поняла зачем — решила, просто понравился.

— Да, я признаться хочу, — сказал после того как они не очень-то крепко, как знакомые, обнялись. — Я тогда твоего кота побил. Ну, когда он совсем уж... И пообещал, что уйду скоро. И он перестал...

Ирина улыбнулась и кивнула. Поцеловала его в щеку и толкнула к двери.

Он вышел, растерянно постоял на площадке, будто забыв где что, а потом торопливо пошагал по лестнице. Лифт вызывать не стал.

Ирина закрыла дверь, повернулась лицом к квартире. Двухкомнатной и тихой. Но что-то где-то мягко шлепнулось, и из спальни, подняв хвост, выбежал Ключа.

3

Двадцать пятого мая в клубе «Дом печати» группа Вэла давала первый концерт. Не сольный — выступала перед знаменитой «Курарой» — но все равно это было событием. Настоящим возвращением, считай, с того света или, уж точно, из тюрьмы инвалидности. Мало кто верил, и вот случилось.

Ирина, конечно, пошла.

Во дворе толклись знакомые и незнакомые, одни традиционно обсуждали внешность вокалиста «Курары», другие — ту уже давнюю аварию, удивлялись, как Вэлу удалось выкарабкаться. Некоторые были в курсе как и приветливо-благодарно кивали Ирине, шепотом, слышным ей, объясняли, кто это...

Стали запускать. Ирина купила билет, пробралась ближе к сцене. Постояла, оглянулась — зал был почти полон. Наверняка из-за Вэла.

На сцену вышли барабанщик, басист, скрипач. Занялись инструментами. Сыграли короткий джем, заодно подстраиваясь. Потом появился Вэл. Такой же, как год назад. Высокий, с золотистыми прядями, крепкий, сильный. Легко поднял прислоненную к монитору гитару, перебросил ремень через плечо, поправил микрофон и стал говорить:

— Как вас много. Спасибо! Я вернулся, чуваки!

В зале радостно засвистели, заулюлюкали, захлопали. Вэл остановил шум поднятой рукой:

— Я хочу поблагодарить вас всех, что верили в меня, не забыли. Я хочу сказать спасибо Ирине, которую многие из вас знают как Девушку со струной. Если бы не она... Она меня спасла, короче. Реально. Я хотел написать о ней песню, но пока не нашел таких слов, чтоб выразить. Я просто хочу сказать ей: «Девушка со струной, спасибо, что я живой!» Спасибо, Ирина... А сейчас наши старые и новые вещи. Поехали!

Ирина стояла внизу, в толпе, и улыбалась.

Даниэль Орлов

Билет на Луну

Новелла

На праздничный «День села» в конце сентября прилюдно, прямо на торжественном митинге, Афонин облапал владелицу Чмарёвской пилорамы Людмилу Беленькую. Стоявшие на трибуне видели, как долговязый Афонин, еще во время речи главы сельского поселения маячивший сзади, только начались аплодисменты, вдруг как это делают озорники на переменах, стремительно просунул свои руки под мышки невысокой Беленькой и обхватил красными обветренными пальцами небольшую грудь Людмилы Сергеевны.

Накануне Афонин отработал без перерыва двое суток, даже не поехал домой ночевать, а оторвал от ночи толику сна в кабине каблучка «ларгуса», скрючившись на пассажирском сиденье и укрывшись длинной кожаной курткой с пристегивающейся подкладкой. Куртка была старая, давно списанная из гардероба, вся в жирных пятнах от трансмиссионного масла. От нее уютно пахло механизмами. Когда-то это была модная одежда, все носили такие длинные, чуть приталенные, с поясом и накладными карманами. Он купил ее в Судогде, на рынке, где только-только появились первые контейнеры с кооперативной торговлей. Во Владимире можно было найти то же самое, что и в Судогде, но, как правило, раза в два дороже. Куртка была не из какого-то кожзама, а из настоящей добротной выделанной мягкой кожи, на молнии, которая скрывалась под накладной планкой. На ярлыке указывалось «made in London», но продавцы уверяли, что это честный «заводской Китай».

Первый год эту куртку Афонин надевал только по субботам на танцы в чмарёвский клуб. В клубе не топили, наверное экономили, и кожаную куртку можно было не снимать. Так продолжалось, пока из парадно-выходной куртка вдруг не превратилась в повседневную, и Афонин осенью и весной стал ездить в ней на работу в Судогду. За десять лет каждодневной носки куртка засалилась и вытерлась на воротнике, порвалась в нескольких местах, у нее отвалились заклепки на манжетах, продралась шелковая подкладка под мышками и в карманах. Из-за этих дыр в карманах приходилось долго выискивать ключи и мелочь, которые проваливались куда-то за спину и гремели при ходьбе. Наконец куртка перекочевала в гараж, где еще десять лет

Орлов Даниэль Всеволодович родился в 1969 году в Ленинграде. Прозаик, геофизик по образованию. Работал в экспедициях на Полярном Урале. С конца девяностых возглавлял различные журнальные и книжные издательства. Автор сборника стихов и четырех книг прозы. Лауреат премии им.Н.В.Гоголя за роман «Саша слышит самолеты» (2015). Лауреат премии журнала «Дружба народов» (2018). Живет в Кронштадте.

Предыдущие публикации в «ДН» — 2018, № 3, 9.

лежала на сиденье стоящего без движения, как сама афонинская жизнь, «форда-скорпио». А когда Афонин уволился с мебельной фабрики и устроился в рекламную фирму вначале монтажником конструкций, а после по совместительству шофером, стал носить куртку как рабочую одежду, которую не жалко.

Спецодежду в фирме не выдавали. Все работали в чем придется. Афонин круглый год ходил в комбинезоне, полученном еще на прошлой работе, а поверх застегивал эту самую кожаную куртку. Поздней осенью он надевал подниз свитер, а зимой еще и финское термобелье, привезенное в подарок из-за границы братом бывшей жены, с которым после развода сохранил хорошие отношения. В накладные и внутренние карманы куртки были распаханы инструменты, катушки двустороннего скотча, запасные аккумуляторы для шуруповерта, пакетики с саморезами-«клопами», рулетка, пластиковые хомуты, запасные люверсы и прочее важное при монтаже. Все это обычно пригождалось на высоте, когда Афонин в одиночку натягивал баннерную ткань на очередной стенд.

Из без малого трех сотен конструкций билбордов, которые обслуживала их фирма, сложно было сыскать хотя бы три одинаковых. Большинство было скуплено за гроши у небольших конторок, разорившихся еще после кризиса две тысячи восьмого года или просто присвоено по причине бесхозности, чтобы теперь приносить владельцам основной доход. Впрочем, доходом это было назвать сложно: гроши. Расположенные по краям дорог местного значения от Владимира до Судогды и от Судогды до Гусь-Хрустального, билборды зачастую стояли пустые либо с выцветшей рекламой давно несуществующих компаний. Редко когда пришедшая через крупные сетевые агентства, на стендах появлялась реклама сотовых операторов или банков. За такую рекламу сетевики выторговывали оскорбительно огромную скидку. Но владельцам было не до жиру. Приходилось соглашаться и на такие условия. После того, как в последнее десятилетие в угоду крупным капиталистам местных коммерсантов, как и везде по стране, замучили проверками да задушили налогами, большинство конторок закрылось. Оставшиеся работали «по-черному» и давать рекламу опасались.

Но раз в два-три года на фирму, в которой работал Афонин, снисходила с небес благодать в виде выборов. Тогда на самых лучших местах, сразу на стороне «А», которая по движению транспорта, и стороне «Б», которая на противоположной движению, появлялись строгие чиновничьи лица под патриотическими лозунгами, обещаниями разобраться с коррупцией и построить рай на земле. Лица из года в год были одни и те же, обещания тоже приблизительно одинаковые. В этом постоянстве можно было жить и даже что-то планировать на будущее.

Нынешние выборы местного парламента вселяли в душу Афонина надежду, что вот-вот и он сможет купить через интернет «контрактый» мотор для своего форда и наконец вновь поставит его на колеса. А там, чем черт не шутит, глядишь, останется достаточно денег и на вагонку, которой давно уже пора обшить материнский дом. Будущий прибыток Афонин считал из квартальной премии, которой никак не могло не быть после ударного труда, компенсации за работу в выходные и, конечно же, что было очень важным, за продажу использованных баннеров.

Крепкие виниловые баннеры можно было при везении толкнуть и по две с половиной тысячи рублей за штуку, но Афонин демпинговал и в объявлениях просил только полторы за «три на шесть» и две с половиной за «пять на двенадцать». Но этих конструкций, как их называли «суперсайтов», Афонин обслуживал только три. На участке бывшего шурина, который и устроил его в фирму, подобных стояло с десяток. Шурин тоже торговал старыми баннерами через серверы бесплатных объявлений, но не торопился сбыть, как Афонин, а терпеливо ждал своего покупателя, обычно просыпающегося подобно медведю ближе к весне.

От Анапы и до Архангельска, от Петрозаводска и до Владивостока деревенские крыли баннерами крыши сараев и бань, домов и автомобильных навесов. С крыш на

проезжающие по российским дорогам авто смотрели улыбающиеся мужчины и женщины с идеальными зубами, на фоне благ цивилизации, схематичные медведи под цветами российского флага и целый паноптикум бесов помельче. Это всегда было недорого, если вовсе не бесплатно, а служила такая крыша долго. Не брезговали баннерным винилом и дачники. Те еще иногда использовали новомодный полупрозрачный поликарбонат, но под ним летом было жарко, как в теплице. К тому же поликарбонат — материал хрупкий, царапался, а мог и потрескаться зимой от попавшей внутрь влаги.

Чаще всего рекламу у фирмы заказывали ненадолго на месяц, с печатью на бумаге или на пленке, что было дешевле, но во время выборов плакаты с серьезными лицами кандидатов исполнялись как раньше, на виниле и растягивались на конструкциях с помощью шнура и пластиковых хомутов, пропущенных через металлические люверсы. Висели они с конца весны, и в обязанности Афонины входило их обслуживание, то есть периодическое мытье шваброй на телескопической ручке и замена лампочек на тех конструкциях, где еще работала подсветка.

По закону агитация заканчивалась за день до голосования. Потому Афонин в числе четырех, оставшихся после очередного сокращения, монтажников выезжал на ударные двое суток. Районное начальство требовало, чтобы реклама висела до полуночи дня накануне голосования, а потом по мановению волшебной палочки исчезала. На деле рекламу начинали снимать еще утром, снимали весь день, весь вечер, а к ночи по двое собирались в Судогде и Гусь-Хрустальном, чтобы под строгими взглядами чиновников ровно в одиннадцать пятьдесят девять обрезать тросики на конструкциях напротив администрации. Но после этого тоже не отправлялись домой спать, а вновь разъезжались по своим маршрутам и продолжали работать на дальних границах районов. Последние гладкие лица с открытым пронизательным взором роняли с высоты в придорожную траву и пыль обочины уже к следующему вечеру.

Несколько раз бдительные наблюдающие от конкурирующих партий подавали жалобы о незаконной агитации перед выборами, но когда возвращались с полицейскими, чтобы составить протокол о нарушении, то находили конструкции уже пустыми. Монтажники работали споро.

Перед нынешними выборами Афонину на своем участке нужно было успеть снять рекордные пятьдесят три баннера «шесть на три» и два «пять на двенадцать». Афонин так спланировал маршрут, чтобы обязательно проехать мимо Чмарёво. Нужно было сгрузить в гараж первую партию и освободить место для остальных. Вначале он наматывал баннеры на несколько имевшихся у него в хозяйстве шестиметровых бобин, пока бобины не стали слишком тяжелыми, чтобы то стаскивать их с крыши «ларгуса», то вновь закреплять вместе с раздвижной алюминиевой лестницей. Остальные уже сворачивал наподобие палатки люверсами внутрь и клал в кузов. К моменту, когда Афонин освободил конструкцию на перекрестке Муромского шоссе возле Лаврово, кузов оказался заполнен под завязку. Часы показывали четверть пятого. Афонин обрадовался, что все верно рассчитал, собрал лестницу, крикнув от натуги, водрузил на багажник и накрепко притянул ремнями.

Дом Афонины, в котором он после развода жил с матерью, находился в Селядино — небольшой деревушке, примыкающей к Чмарёво. В Селядино вело три дороги. Одна почти заросшая, в огромных колдобинах, вечно наполненных ржавой водой, тянулась по берегу небольшого озера и выбиралась из зарослей ивняка на задах деревни. Если «газель» там еще проезжала, то «ларгус» мог и завязнуть. Вторая дорога, которой пользовались чаще, петляла по Чмарёво, то пылила по грунтовке, то вновь выбиралась на асфальт, делала несколько поворотов под девяносто градусов, пока не приводила к огромному ангару, оставшемуся еще с совхозных времен. За ангаром начиналось Селядино. Это была долгая дорога, по которой никогда не удавалось проехать просто так, чтобы ни с кем не поговорить. Тут все были если не родственниками,

то кумовьями или одноклассниками. Ладно бы эти разговоры. Здесь, на улице Мелиораторов жила бывшая жена Афонина со своим новым мужем. Вид их семейного счастья напоказ, с палисадником, в котором до самой зимы что-то цвело, с открытыми во двор воротами, где стоял всегда чисто вымытый непозволительно белый для этих мест «фольксваген гольф», был Афонину невыносим. Он не завидовал, ему просто становилось больно от собственной ничтожности и невозможности вернуться в прошлое, приблизительно в те времена, когда его кожаная куртка была совсем новая. Вернуться, чтобы вновь оказаться однажды на танцах, но не прижать в темноте и мелькании бликов от стеклянного шара Светку Рогову, которая вдруг пригласила его на белый танец, а наоборот, как только заиграло вступление к протяжному медляку «Ticket to the Moon», сломя голову выбежать на свежий воздух. И там курить и смотреть на клубы дыма, прошиваемые в свете фонаря осенней моросью.

Поэтому Афонин ездил через пилораму. Это была еще и самая короткая дорога, выходившая почти к самому ключику на краю Селядино. Из этого ключика когда-то брали воду все жители деревни, пока не обзавелись личными колодцами.

Дом матери Афонина, где Афонин и родился, стоял между домом почтальона и домом Пухова. В этом доме он прожил до двадцати одного года, когда после свадьбы переехал вначале в дом бабки, а потом в собственный, выстроенный в Чмарёво за второе женатое лето на заработанные на северах деньги. Пухов приходился Афонину дальним родственником,

Беленькая тоже приходилась Пуховым родственницей. Была она дочерью брата пуховского отца. Однако родство это не спасало от нелюбви. Вообще, Беленькую мало кто любил. Пилорама, которой она после смерти мужа владела, находилась на территории бывшего совхозного тока и мастерских. В годы перестройки, великого зла, которое чмарёвцы и селядинцы так никогда не поняли, а потому и не простили далеким властям, богатый совхоз пришел в упадок. Поговаривали, что вот-вот придут американцы и купят и ферму, и совхозный ток, и мастерские. Дескать, устроят они на этих землях огромное фермерское хозяйство на их американский манер, а всех бывших работников совхоза сделают акционерами. Но американцы почему-то не пришли. Наверное, у них нашлись куда более важные дела. Вместо этого появились темные личности в спортивной форме, которые принялись частями скупать вначале ремонтную базу, потом ферму, а потом и ток. Чмарёвское начальство уверяло, что все делается для общественного блага, что появится сразу несколько частных компаний на западный манер. Мол, вставят пластиковые рамы с двойным утеплением, проведут горячую воду, все будут ходить в униформе, на груди табличка с фамилией, и у каждого рация на поясе. Мол, эти фирмы станут между собой конкурировать за работников, а по законам конкуренции сразу начнется рост окладов, да таких, что кто хочет сможет построить себе кирпичный коттедж с туалетом и душем прямо в доме.

Ничего этого, однако, не случилось. Ферма, насчитывающая когда-то две сотни коровьих голов, была продана, коровы отправлены на убой, а в опустевших коровниках поверх окаменевшего навоза уже пробился упрямый березняк. Поля за Селядино, до самой Войнинги, некогда засеянные кормовой кукурузой и подсолнечником, стояли заросшие пастушьей сумкой и цикорием. В ангарах бывшей машинно-тракторной станции судогодские бизнесмены пытались было смонтировать спиртозавод, но его быстро пожгли лихие люди, приехавшие на четырех машинах из Владимира. Спустя полтора десятка лет с той поры, как последняя совхозная корова с мычанием была погружена в кузов огромной фуры и увезена неизвестно куда, все так и стояло в запустении. Окна коровников разбиты, с крыш кое-где сорвало ветром и покололо листы шифера. Ток напоминал потерпевший крушение инопланетный корабль и сорил под себя ржавеющей жестью. И только в прилегающих ангарах кипела жизнь. Там работала пилорама.

Вокруг тока и мастерских забора не было. Стояла невысокая изгородь, такая

устраивается вокруг пастбищ — отесанные от коры еловые столбы, а между ними параллельно земле пара серых необрезных досок. Испокон веков по дороге идущей через ток, ходили селядинцы, чмарёвские пастухи гоняли коровье стадо, по ней же приезжала по вторникам автолавка.

Андрюша Беленький, отставной военный, афганец, одноклассник Афонины и муж Людмилы, что называется, «отжал» эту территорию у прошлого хозяина, купившего в свою очередь ток и ангары у владимирской братвы, в начале века массово потянувшейся в легальные бизнесмены и чиновники. Тогда обошлось без стрельбы. Андрюша приехал с неместными серьезными мужиками в костюмах, показал бумаги в администрации, а потом вместе с участковым и главой поселения составил протокол о вскрытии помещений и описи находящегося там имущества. Уже на следующий день деревенские, нанятые Беленьким по трудовому договору, принялись устанавливать забор из листов оцинкованного железа, прибывая их гвоздями прямо к доскам старой изгороди. Беленький взялся за дело всерьез. За месяц вывез из двух ангаров скопившийся там хлам, включая остовы двух тракторов «Кировец», давно издохших от скверного топлива и кривых рук местных механиков. Самолично купил в Германии и, по слухам, провезя мимо таможни, смонтировал к концу лета две новенькие немецкие пилорамы. Но только-только получил заказы и начал пилить сосновый кругляк на доски, как вдруг его хватил удар. Умер он в скорой по дороге в Судогду. Людмила осталась вдовой.

Пилорама прекратила работу. Мужиков отправили в неоплачиваемый отпуск. Забор повалило осенними ветрами. По железу потоптались чмарёвские коровы, то и дело разбредающиеся по окрестностям тока от нерасторопного пастуха. Наконец помятые листы однажды субботним утром подняли из хрустящей от заморозка травы, отодрали от досок и увезли на приемку залетные цыгане — сборщики металлолома. Селядинцы за эти месяцы только и успели, что пороптать на громкий визг циркулярной пилы, да поделиться слухами, что скоро обнесут железом по кругу всю ферму и ток, а вход будет по пропускам, прощай дорога.

— А вообще, несчастливое место, — судачили меж собой бабы, — Бывший директор совхоза проклял. Людка, вон, одна осталась, хорошо, дите можно матери сплавить, а так куда ей еще лесопилка. Продала бы или мужика себе нового нашла.

Однако, против ожиданий, как только сошел снег, пилорама вновь заработала. Людмила оправилась от потери мужа и взяла дело в свои руки. Оказалась она, против общего мнения о себе, сноровистой и хваткой женщиной. Мало того, в ее небольшом тельце оказался спрятан железный характер. Нерадивых работников увольняла после первого предупреждения, приехавших однажды с проверкой, а по сути с намерением собрать дань чиновников, отбрила таким зычным матом, что было слышно даже на краю Чмарёва.

Были однако и странности. На пилораме работали только чмарёвцы. Селядинских мужиков Людмила принципиально не принимала. Когда Афонин, уволенный с мебельной фабрики, пришел к своей однокласснице узнать про работу, та ответила коротко

— Селядинцы у меня не работают. Прости, Фоня, но это принцип.

Откуда тот принцип взялся, можно только гадать. Афонин подозревал, что было это эхом старинной полудетской вражды между селядинскими и чмарёвскими. Ни в Подолье, ни в Селядино, ни в остальных окрестных деревнях школы не было. Все ходили в чмарёвскую десятилетку. Но дрались стенка на стенку только ближайшие соседи: чмарёвцы с селядинцами. Дрались на переменах, дрались после уроков, дрались, как чуть выросли, на танцах. Иной раз умудрялись подраться даже на призывном пункте, где все лысые и похожие друг на друга. После армии все возвращались братьями и в последний раз дрались уже на свадьбах. Чмарёвцы женились на селядинках, а селядинцы на чмарёвинках. У них рождались дети, которые уже к пяти годам в составе ватаг играли в войнушку деревня на деревню.

— Хотя обратно в Чмарёво переезжай, — буркнул в сердцах Афонин.

— А нечего было разводиться, — отрезала Людмила, села в свой джип и укатила, оставив Афонина хмуро стоять посереде двора. Он вдруг вспомнил, что Людмила была школьной подругой бывшей жены.

— Сука ты, Людка! — крикнул он ей вслед, — Всегда сукой была, сукой и осталась!

Но Людмила этих слов конечно уже не расслышала. В салоне джипа громко бухала музыка.

Уже работая в рекламной фирме, Афонин радовался, что не устроился на пилораму. И зарплата на пилораме была меньше, и зараза Людка в качестве начальницы его точно не устраивала.

— Она у меня математику списывала. Все контрольные за нее решал. А захотела владеть мной, как рабом, — говорил Афонин почтальону, когда тот принес «Судогодский вестник» и по привычке остановился у забора покурить-поболтать, — Звала, мол, приходи. Не пошел.

— И правильно сделал. Шут с ней, дурная баба. Как начнет на своих орать, пилу перекрикивает. Иной раз еду от почты, так на меня орет, что мол это частная территория, нечего ездить. А с хера ли она частная? Тут отец мой всю жизнь проработал. Все мы этой дорогой в школу ходили. А тут эта новая русская.

Коров, которых пастух водил через пилораму, Беленькая тоже гоняла. Правда, в стаде были и три коровы ее матери, привыкшие, как и остальные, ходить через бывшую ферму. С пастухом разговаривать было бесполезно. На укоры Беленькой он только разводил руками и показывал на скотину.

— А я что могу? Они привыкли. Я их в обход, они сюда. Я им, мол, куда? А они вот оно как.

Если коров Беленькая еще терпела, то на машины устраивала настоящую охоту. То дачникам запретит проезжать, мол, поворачивайте обратно, тут частная территория, то водителю автолавки нервы треплет, грозитя проколоть шины. Тому это дело надоело, и он перестал заезжать в Селядино, изменил маршрут и теперь после Чмарёво заворачивал от церкви сразу в лес и катил до Подолья. А до Подолья селядинцам надо было идти через поле, мимо отходов все той же пилорамы, аккуратно столько же, сколько и до магазина. И это еще вначале под горку, а потом в горку, когда уже с покупками. Конечно, ходили и через поле, пусть далеко, и выбор меньше, но продукты дешевле. Тащится какая-нибудь старуха по мокрой от тумана траве с полными куркулями свиных костей, которые тут «рагу» называются, и на чем свет костерит Беленькую и ее самодурство.

Может быть оно, конечно, и совпало, но новый забор Беленькая приказала строить, когда Афонин после очередного сокращения в фирме пересел с пассажирского сиденья «газели» на водительское «ларгуса» и стал приезжать домой за рулем. Минувя конторку, где сидела Беленькая, он поворачивал голову и часто видел, как та грозит ему через стекло кулаком.

— Ну, погрози-погрози, капиталистка херова, — хохотал Афонин и сворачивал за последний ангар, за которым уже стояли дома.

Строить забор Беленькая наняла Пухова и еще одного селядинского мужика.

— Прикинь, — сетовал Пухов Афонину, когда тот остановился возле свежевкопанного столба, — Как фашистка, которая приказывает перед расстрелом самим себе могилу копать. Доведем забор, навесим ворота и сами же станем ходить в обход. Своими руками столбы вкапываю. Вот этими! — Пухов продемонстрировал сухие красные ладони.

— Что же согласился?

— Деньги нужны. Кто от денег отказывается? Тут на заборе заработаю столько, сколько у себя на мебелиной за два месяца. Знает, сучка тощая, на что мужика ловить. Еще родственница. Да таких родственников драть надо.

Между столбами Пухов с напарником прибили брус-пятидесятку и дальше вглухую уже на шурупы посадили двухметровую необрезную дюймовку, да так, что ни щелочки. Столбы под ворота привезли аккурат перед выборами.

В пять утра, когда Афонин выезжал на маршрут, как раз заканчивалась ночная смена. Под большой заказ пилорама работала сутками. Во дворе громоздились огромные стопки свежесколоченных поддонов, связанные пластиковыми лентами и готовые к транспортировке. Афонин посадил в салон знакомого чмаревца.

— Все, сегодня ворота навесят. Как ездить станешь? По Мелиораторов или через озеро?

— Как ездил, так и буду, — Афонин сплюнул через окно, минуя стальные столбы с наваренными петлями и блестящими ранами от болгарки, хрустнул колесами по прутьям использованных электродов, вырулил на бетонку и покатил к магазину, — По этой дороге всю жизнь к Подолью ездили. Сама общую дорогу тракторами разболтала, пока обрезки на кучи свозила. И на дорогу все посваливала. Теперь только на тракторе и проедешь. Частная территория у нее, понимаешь. В трусах у нее частная территория. Пусть там мандавошками командует. Мужика в могилу свела своим характером. Зря она к селядинцам, как к говну. Осерчают да и пожгут к едрени фене.

— О как! Все сказал? — попутчик рассмеялся.

Афонин кивнул.

— Ну, бывай!

Афонин пожал протянутую руку, остановился у крайнего перед магазином дома, дождался, пока хлопнет дверь, и резче обычного дал по газам.

Без четверти пять, Афонин привычно направил груженный баннерами «ларгус» по дороге на пилораму. Незнакомые узбеки, невесть откуда взявшиеся в этой глухомани, прилаживали сваренную раму левой створки ворот на столб. Вторая рама уже висела на своем месте, наполовину обшитая профлистом.

— Скоро закончите? — спросил Афонин, опустив стекло пассажирской двери и нагнувшись, чтобы видеть лица узбеков.

— Через час. А та, что на выезде, уже все.

— Что все? Ворота уже стоит. Может быть и закрыта уже, — узбек улыбался. У него был полон рот золотых зубов.

Афонин покачал головой и поспешил мимо тока. Возле входа в бытовку он приметил Беленькую. Та сделала знак рукой, чтобы Афонин опустил стекло.

— В последний раз тут едешь. Это частная территория, здесь производство, зона повышенной опасности. Попадете под разгрузку бревен, мне потом отвечать. Ходят и ездят как у себя дома. Если я буду ездить через ваши огороды, что скажете?

— Повышенная опасность? — Афонины почему-то разъярило именно это, — Прикинь, она мне говорит об опасности, — обратился он к Пухову, неожиданно появившемуся из бытовки с довольным лицом, на ходу пересчитывающему пяти тысячные бумажки.

— Когда я с ее мужем-покойником еще сержантом по Салангу на броне караваны сопровождал, там была повышенная опасность. Когда нас с Андрюшкой накрыло огнем из эн-сэ-ве-тэ в Термезе при посадке в самолет, там была повышенная опасность. А здесь дорога к моему дому, а не повышенная опасность и частная территория. Ходил и буду ходить, ездил и буду ездить! А будешь выступать, — Афонин наставил на Беленькую указательный палец, — напишу куда надо, что ты огромные кучи досок по зиме в поле жжешь, так что дым с Агалатова видать. Думаешь, дружки из администрации помогут? Не помогут, я в министерство защиты природы напишу.

— Лучше куртку себе новую купи, — Беленькая презрительно оглядела Афонины, как оглядывают старую вещь, прикидывая, может еще сгодиться или вынести на помойку, — Ты в этой куртке еще девок за титьки в нашем клубе лапал. А туда же. Письмо он напишет. Писатель!

Беленькая покачала головой, повернулась к Афониному спиной, дав понять, что разговор окончен, и ушла в бытовку, закрыв за собой дверь.

— Так и знай! В министерство по защите природы от таких вот блядей, как ты! — крикнул Афонин, чтобы Людмила точно услышала через стекло и закрытую дверь, и стараясь придать голосу убедительности — Приедут и наложат штраф в сто миллионов! Кабзда твоей коммерции!

— Садись, довезу двести метров, — кивнул он Пухову, и тот послушно забрался в кабину «ларгуса».

— Ты чего разошелся? — спросил Пухов, — У нас же как, ну закроет она эти ворота, первое время так и будет, а потом надоест бегать туда-сюда открывать-закрывать. Замок сломается, щеколда отвалится, глядишь, и опять все нараспашку, заезжай — не хочу. А охранника не поставят. С чего платить-то охраннику? Да и что охранять? Бревна что ли? Или поддоны? Так за десять лет, что она тут пилит, ни досочки не украли.

Афонин не ответил. Он высадил Пухова, раскрыл шаткие створки ворот из сетки-рабицы, подъехал задом к гаражу и принялся таскать тяжелые, пахнущие пластиком стопки баннеров. Заглянула мать и спросила, будет ли обедать. Афонин посмотрел на часы, прикинул, что еще минут двадцать у него есть, и согласился.

— Эх, водки бы сейчас, — вздохнул Афонин, уписывая за обе щеки приготовленный матерью борщ.

— Нельзя тебе. Ты за рулем, да еще и на работе. А ну как грохнешься со своей верхотуры. Вот закончишь, приезжай домой, тогда и пожалуйста. На вот, похрумкай в дороге, — мать протянула несколько маленьких пупырчатых огурцов.

Афонин поблагодарил, встал из-за стола, сунул огурцы в карман комбинезона, взял у матери из рук завернутые в алюминиевую фольгу бутерброды и вышел через заднюю дверь во двор к машине. Нужно было поторапливаться. До половины двенадцатого ночи, когда условились они с шуриным встретиться перед судоводской администрацией, было еще далеко, но и концы предстояли немаленькие: пять стендов по дороге от Попелёнок до Смыково, потом еще три от Смыкова до перекрестка на Мичурино, а дальше еще с десяток перед поселком Радужный. И перед Радужным надо было снять обязательно. В Радужном жила сплошная интеллигенция. Заметят, что агитация не прекратилась, развоняются на всю область.

Афонин аккуратно выехал со двора, остановился у фонаря, вылез из машины, закрыл ворота, помахал матери, хлопнул дверью и покатил в сторону пилорамы. Он уже от своей калитки видел, что ворота закрыты. Но что они закрыты изнутри на засов, Афонина удивило. Афонин подергал, пнул пару раз ногой, обутой в тяжелый «катерпиллер», ругнулся, сплюнул, посмотрел, как слюна повисла на пыльном кустике полыни и решил ехать через Чмарёво. Стараясь не провалиться в глубокую колею, продавленную тракторами, что возили обрезки с пилорамы в поле на дороге к Подолью, Афонин аккуратно развернулся в три приема на траве. «Ларгус» было забуксовал, но обошлось. Афонин выбрался на деревенскую улицу и сразу нервно погнал мимо домов. Щебенка стучала по днищу. За поворотом возле мусорных баков, когда до края деревни оставалось совсем немного, Афонин ударил по тормозам.

Прямо поперек дороги лежала свежеспиленная толстенная ветла, некогда росшая перед домом пуховского напарника. И сам Пухов, вообружившись бензопилой, обрезал огромный сук у самого комеля.

— Покури, сосед. Тут нам еще минут на сорок колготни. Вон, теща евоная говорит, мол, огород затеняет. А я говорю, огород и перенести можно. А она говорит, пилите давайте. А я говорю, что надо так пилить, чтобы вдоль дороги упало, а не поперек. А как ее так спилишь, когда она наклонютая стоит?

Афонин зашипел от злости, крутанул руль, резко сдал назад, чуть не задев при этом скамейку перед штaketником и, вывернув на дорогу, погнал обратно. Крупный

щебень летел из под колес. Последняя надежда у Афонины была на дорогу на Подолье, ту что вела через поле и по которой селядинцы ходили теперь к автолавке. Однако, поднявшись на холм, он остановился на повороте под стенами крайнего коровника. Здесь примыкала колея от пилорамы, и с этого места дорога превращалась в сплошное месиво глины. Последнюю неделю шли дожди.

— У, Людка! — взревел Афонин. Часы показывали без четверти пять. Времени на работу при естественном освещении оставалось все меньше и меньше. Афонин поехал задним ходом, развернулся возле пуховского дома и вновь направил «ларгус» к пилораме.

Если со стороны Чмарёва на ворота крепили крашенный зеленым профнастил, то со стороны Селядино это были обычные оцинкованные листы, но высотой два с половиной метра.

— Не допрыгнешь, даже если захочешь, — пробормотал Афонин.

Никаких ручек со стороны деревни не предусматривалось. Афонин со всей силы ударил носком ботинка в левую створку, так что осталась заметная вмятина.

— Беленькая! Отворяй ворота, зараза! Отворяй, гадина! Я на работу опаздываю! — заорал он, — Людка, сука! Я сейчас снесу эту твою фортификацию! Ей богу, снесу к едрене фене!

Он оглядел ворота в поисках какого-нибудь отверстия, чтобы посмотреть, не идет ли кто-нибудь на его призыв. Отверстий в новых воротах не нашлось. Тогда он отошел в сторону и попытался найти дырку от сучка или щель в заборе, но Пухов работал справно, щелей не допускал.

— Не слышат, — подумал вслух Афонин, — как тут услышишь, когда визг такой.

И правда, шум работающей пилорамы перекрывал любой крик. Афонин достал из кармана телефон и покопался в записной книжке, в надежде найти номер Людки. Но номер Беленькой он никогда не записывал — без надобности. Там был номер бывшей жены, но звонить ей Афонин не решился бы, даже паче чаяния провались он в колодезь и некого позвать на помощь. Его вдруг затрясло нервной дрожью, как это бывало в Афганистане, когда они уже погрузились на броню, но колонна еще не выехала, а ждала отмашки головной машины. В растерянности Афонин огляделся по сторонам и вдруг понял, что ему делать. Он заглушил двигатель, сунул ключи в нагрудный карман, открыл кузов «ларгуса», достал и начал быстро разматывать по направлению к столбу с фонарем пятидесятиметровую бухту провода. В выключателе на столбе были просверлены две маленькие дырочки, заткнутые жвачкой, чтобы не заметили проверяющие, к дырочкам внутри он лично провел однажды провода и укрепил розеточные муфты. Туда всегда подключались, когда нужно было постричь траву электрокосой вдоль фасадов: общая территория, с хера ли свое электричество тратить?

Афонин выковырял розовые шарики жвачки, вставил в отверстия вилку и побежал обратно к машине. Из кузова каблука достал болгарку, споро снял аббразив и, навертев на шпиндель отрезной круг, воткнул в розетку удлинителя. Он не стал пробовать вырезать люк посередине, чтобы скинуть щеколду, как предполагал, пока разматывал. Нет. Афонин с отчаянным злорадством впился шустро вращающимся кругом в то место, где, по его прикидкам, должны были быть петли. Из-под круга вырвался сноп искр. С левой створкой он управился за полторы минуты. Она не упала, рама повисла на щеколде. Афонин протиснулся внутрь и уже со стороны двора за несколько секунд обрезал петли другой створки. Ворота рухнули в грязь.

— Так-то, бля! — хохотнул Афонин.

Он быстро смотал провод, забросил бухту в кузов, завел двигатель и покатил мимо сваленного в ожидании распила кругляка. Возле бытовки «ларгус» замедлил ход. Афонин опустил стекло, чтобы показать Беленькой неприличный жест, но в окне вагончика свет не горел, а на дверях висел замок.

— Черт с ней, — решил Афонин и поспешил к парадным воротам. Здесь он уже ничего не ломал, а неторопливо, походкой милостивого победителя вышел из машины, вытащил щеколду и забросил подальше в заросли крапивы.

— Вот так-то, бля! — повторил он, словно поставил точку, и распахнул ворота настежь.

Чтобы точно успеть до ночи, Афонин изменил маршрут: не поехал на Смыкова и Мичуринское, а сразу двинул на объездную и на Радужный. И правильно сделал. Только с одним суперсайтом он провозился час. Баннер крепил не он, сменщик, а тот мало того что протянул трос и не снял после этого фал, так еще через каждый люверс закрепил баннер пластиковыми хомутиками к раме, что никто и никогда не делает, но что, наверное, положено по инструкции. Афонин, чертыхаясь и призывая все кары мира на голову тому, кто это сделал, переставлял лестницу вдоль конструкции, залезал, обрезал, вытягивал трос, спускался, опять переставлял и так, пока огромное полотно с шелестом не упало, повиснув на единственном забытом хомуте.

После этого Афонин, сердито сопя, то и дело поглядывая на часы, в страшной спешке снимал оставшиеся баннеры по дороге на Радужный, комкал их уже кое-как и бросал в кузов каблука. Потом гнал по темной Муромской трассе до Судогды со скоростью сто тридцать, рискуя вылететь в кювет. Потом они с шурином устраивали цирк на глазах администрации. Потом он опять гнал по Муромской трассе до совхоза имени Воровского, где до половины третьего ночи освободил еще пять билбордов, пока окончательно не умаялся и не решил перекемарить в кабине «ларгуса». Афонин напился чая из термоса, съел приготовленные матерью бутерброды с колбасой, укрылся кожаной курткой и включил приемник, настроившись на волну радиостанции, передающей старые шлягеры. Играла «Ticket to the Moon».

Эту протяжную композицию группы «Электрик лайт оркестр» Беленький, гонявший еще до армии в чмарёвском клубе дискотеки, всегда запускал на магнитофоне, прежде чем объявить белый танец. Одну и ту же песню он ставил из года в год. Все уже привыкли. И девушки шли приглашать парней, даже если Беленький из одному ему известных соображений делал вид, что забыл объявить. После дембеля в клубе работал уже другой парень, но «Ticket to the Moon» все так же обозначала сигнал к белому танцу.

— А ведь Людка меня не любит, — сказал как-то Беленький, складывая полученное из дома письмо обратно в конверт и убирая за пазуху армейского «пэ-ша».

Они тогда уже вернулись в Ташкент, и до приказа оставалось меньше полугода.

— С чего решил? — удивился Афонин.

— А ни с чего. Чувствую. Вот, про себя рассказывает, про тебя спрашивает, а про мои дела нет. Я ей пишу, она благодарит за письма и опять: «а что там у Фоныки?». Было у тебя с ней что?

— Дурак ты, Беленький! Я у друзей девушек не отбиваю. Что я, падла последняя?

— Да я так, — махнул Беленький, — от отчаянья.

После дембеля Беленький пошел в военное училище, Афонин во Владимирский авиамеханический техникум, выучился на электромеханика. Поженились они в один год, Афонин на своей жене, теперь бывшей, а Беленький на Людке Пуховой, которая, как оказалось, из армии ждала, да и потом ждала, пока Беленький и Афонин учились. Ни с кем, по слухам, и не гуляла.

Когда Афонин сказал Беленькому, что женится, Беленький обрадовался:

— Вот и молоток! Я тоже думаю, что нечего тянуть.

И уже на следующих танцах сделал предложение Людке. Та согласилась.

— Она у меня кремень! — говорил Беленький. — Характер! Ты только не обижайся, сказала, что Светку твою, ну и тебя за компанию на свадьбе видеть не хочет. Наверное, поругалась с подругой. Бабы, что с них взять. Ты не в обиде?

Афонин не был в обиде, но странным образом, после женитьбы друзья стали общаться меньше. Беленькие уехали в дальний гарнизон, на границу с Китаем. Афонины жили в Чмарёво, строили дом, а потом медленно разрушали целый мир на глазах у соседей, пока однажды Афонин не собрал вещи, покидал в тачку и покатыл по направлению к дому матери. Людка к тому времени уже десять лет как была хозяйкой пилорамы.

Закончилась «Ticket to the Moon», началась какая-то незнакомая Афонину песня, и он выключил приемник.

— Ну сука, конечно, как с ней Андрюха жил, не понять, — Подумал Афонин уже без злобы и почти сразу заснул.

Проснулся он в половине шестого утра и весь следующий день работал даже без перерыва на обед. Когда в десятом часу вечера, с забитым пыльными баннерами кузовом и стопкой таких же, лежащих на пассажирском сиденье, он подкатил к Чмарёву со стороны Судогды, уже стемнело. Поклонный крест в начале деревни был освещен яркой луной.

Решив лишний раз не дразнить Людку, он съехал с шоссе сразу за крестом и поехал по улице Мелиораторов. Перед большим ангаром на краю тока Афонин повернул налево, в Селядино. Вдалеке при свете луны были хорошо видны новые зеленые ворота пилорамы.

— Билет, мать его, на луну, — ругнулся Афонин, — Улетел мурак хренов, вернулся, а земли-то и нету, забором обнесена.

На следующее утро Афонин побрился, надел костюм и сразу после завтрака пешком отправился вдвоем с матерью голосовать.

— Надо ходить. Для сердца полезно. Нечего километр, как баре, ехать! — ответила мать на афонинское предложение поехать на машине. — Не наездился за эти дни? Смотри, геморрой заработаешь. Не ленись, пешком, значит пешком. А если тебе выпить захочется, а ты на машине?

Афонину выпивать не хотелось, но полностью исключить возможность выпивки он не собирался. На площадке перед клубом толпился народ. Это были те, что уже проголосовали. Вокруг бегали дети, возбужденные от такого количества народу в одном месте. Не успевшие заполнить бюллетень торопились в школу, где были устроены кабинки, чтобы по той же дорожке вернуться к клубу. Здесь все уже было готово к торжественному митингу по поводу Дня села. Афонины прошли в школьный спортзал, получили бюллетени, поставили галочки напротив каких-то фамилий. После мать отправилась болтать с родственниками, а Афонина поманил Пухов, примостившийся на скамейке на задах магазина.

— Гляжу, ты при параде, — приветствовал он Афонию. — А Беленькая вчера весь день с красными глазами пробегала. Зачем же ты так с воротами? Подождал бы, мы вон за двадцать минут управились, оттащили ствол, можно было проехать. Куда тебя понесло-то?

Афонин пожал плечами.

— То-то и оно, что не знаешь, зачем набезобразил. Теперь извиняться придется. Она баба дурная, но не злая. Заплатила мне даже больше, чем договаривались. Вчера к матери твоей приходила, плакала. Не говорила мать, что ли?

Афонин удивился, что мать про то промолчала.

— Наделал делов. Все вчера про твой подвиг трещали. Моя говорит, мол, жениться Афонину надо, чтобы дурь из башки выбило, а то энергию девать некуда. Ну это она всегда на негативе. Я-то тебе завидую. Свободный человек. Будешь? — Пухов раскрыл сумку, висевшую на плече, и показал горлышко бутылки.

Афонин отказался.

— Это потому что можешь выпить в любое время, никто тебя не ограничивает. А у меня что ни стакан, то подвиг разведчика.

Начался митинг. Заиграл школьный оркестр. На сцену поднялась ведущая и объявила праздник открытым. Опять заиграл оркестр, и к микрофону вышел глава сельского поселения, держа в руках листочек с каким-то списком.

— Иди, сейчас грамоты давать будут. Тебе полагается от района.

— За что это? — удивился Афонин.

— Как за что? За подготовку к выборам, конечно! Ты же плакаты эти вешал, потом не знаю, что с ними делал, потом снимал. Вот тебя и отметили. Начальство, наверное, твое постаралось. Иди, говорю! Моя вчера их заполняла, ты там точно есть. Говорила, смотри, мол, этому терминатору Афонину тоже дали. Иди уже!

Пухов толкнул Афонина и тот поспешил вперед, аккуратно протискиваясь между людьми.

— Андреев Алексей Игоревич — за организацию клуба юных моряков села Чмарёво, — торжественно читал по списку глава.

— Где у нас тут море, — буркнул под нос Афонин, протискиваясь между зрителями. — Болото что ли это перед Селядиным?

На сцену под бурные аплодисменты поднимались награждаемые. Глава пожимал им руку и вручал грамоты в блестящих рамках.

— Аристархов Илья Сергеевич — за неустанный труд на благо села Чмарёво и благоустройство своими силами детской площадки.

— Следующий я, — в панике подумал Афонин и стал энергичнее работать локтями.

Он уже почти добрался, когда за спиной крайнего ряда зрителей вдруг запнулся за торчащий корень сосны, не удержал равновесия и полетел вперед, широко выставив руки. Он даже не успел заметить, как, падая, обхватил кого-то за туловище. Уже через секунду осознал себя уже сжимающим грудь Людмилы Беленькой. Она охнула, обернулась и молча вцепилась в запястья Афонина в попытке отодрать. Но Афонин, который уже успел восстановить равновесие, от неожиданности лишь часто моргал и не отпускал.

— Афонин Денис Михайлович, — произнес в микрофон глава, не то с ужасом, не то с интересом посмотрев на Афонина, — за доблестный труд по подготовке выборов в парламент Владимирской области.

— Я тут, — не своим голосом проскрипел Афонин, отпустил наконец грудь Беленькой, аккуратно отодвинул женщину в сторону и вышел на сцену.

— Ну ты орел, — шепнул ему на ухо глава, вручая диплом.

— Спасибо, — не то за диплом, не то за это неожиданное «орел» поблагодарил Афонин.

Он спустился со сцены и, не помня себя, почему-то опять вернулся к Беленькой, встав рядом. Беленькая взяла его под руку и больно сжала пальцами бицепс.

— Все, Фоня, доигрался. Теперь если не женишься, по судам затаскаю. И ворота тебе припомню. Усек?

Афонин кивнул и как-то затравленно оглянулся по сторонам. Ему показалось, что все смотрят на него со значением и улыбаются. Тут он различил у магазина, в тени березы, Пухова. Тот стоял ногами на скамейке, держал в руке бутылку водки, смотрел прямо на Афонина и что-то ему показывал. Афонин сощурился в попытке разглядеть. И вдруг понял. Фигу!

Пухов показывал то на бутылку, то на Афонина, то поднимал руку вверх и медленно сворачивал из пальцев фигу. И Афонин подумал, что зря отказался выпить. Надо было выпить, пока еще был свободен. Теперь уже поздно.

Ирина Богатырёва

Семейный портрет на фоне гор

Рассказ

В горы ходить за красотой и одиночеством. Всегда думала так, но не всегда получалось. Для красоты — фотоаппарат, а еще картон и масло, а одиночество лучше всего на двоих. На двоих с кем-то, с кем хорошо молчать. Если вас больше, чем двое, это уже не одиночество. А все эти вершины, перевалы, достижения, подсчеты пройденного и его сложность, хвастовство и бравада с приписыванием себе лишних километров пути и лишнего экстрима, — все оказалось смешным и ненужным. Одиночества и красоты — вот чего она ждала от гор.

Стас, кажется, тоже. По крайней мере, с тех пор как их свело вместе. До этого каждый ходил в компаниях, больших и не общих, там и цели были другие, и походы. Но когда их столкнуло однажды — вот так же, в горах, случайно схлестнулись на одной стоянке две группы, и случайно Светка тогда подвернула ногу, и случайно Стас нес аптечку и был как бы медик у них, у соседей, тогда как в их группе ничего толкового не нашлось, один йод и пластыри; и случайно были из одного города, и случайно стали общаться, вернувшись домой; случайностью было тогда вообще все, не случайное началось после, — в общем, с тех пор как их стянуло друг с другом, решено было ходить в горы вместе. Вдвоем.

Быстро поняли, что так удобней. Тандем оказался идеальной группой, обеспечивающей мобильность. Решения принимались проще, маршруты разрабатывались на раз-два, дисциплины добиваться не приходилось. При этом сохранялась видимость демократии, в смысле, каждый отвечал за себя, хотя в глубине души был уверен, конечно, что лидер здесь именно он. Гендерное разделение ролей обоим тоже устраивало. Это когда мужик мамонта завалит, а женщина — разделает и приготовит, мужик дом построит, а женщина его будет держать в чистоте, мужик дров наколет, а женщина будет поддерживать огонь. Ну и так далее. Правда, в их случае мамонт был заранее завален и сублимирован, а дом устанавливался минут за десять, так что мужику оставалось только все это на себе унести как можно дальше. Собрать хворост, развести и поддержать огонь, а также найти для временного дома удобное место, ровное и сухое, под тенью деревьев и недалеко от источника воды — это оба любили и делали с одинаковым удовольствием.

Ирина Богатырёва родилась в Казани, выросла в Ульяновске. Окончила Литературный институт им. А. М. Горького. Автор пяти книг прозы, литературного перевода сборника алтайских сказок и публикаций в журналах «Октябрь», «Новый мир», «Дружба народов» и др. Финалист и лауреат многих литературных премий, в том числе по литературе для подростков и премии «Студенческий Букер». Играет на варгане в дуэте «Ольхонские ворота». Живет в Москве. Предыдущая публикация в «ДН» — рассказ «Трофей» (2019, № 3).

В городской жизни тандем был скоро назван семьей. Свадьбу справили весело и по-туристски: на два дня зарубились в лес недалеко от города, благо, город у них в таком месте, что все нужное рядом: скалы, древнее дно древнего моря с рифами и окаменевшей жизнью. Пили, пели. Навесили веревок на ближайшем останце, лазали на время, на ловкость, жених порывался залезть без страховки, но его со смехом оттащили. В общем, было хорошо, но на утро третьего дня, когда по поляне шелкали дуги палаток и свадебный караван собирался в обратный путь, в город, Светка поняла: все. Это последний раз, когда она пошла в горы в компании. Больше — никогда. Горы — это красота и одиночество. Ну и еще — теперь — Стас.

Потому что стало понятно: что-то уходит, просачивается сквозь пальцы, а вернуть нельзя, дважды в одну реку не войти. Истина заезженная, как старая пластинка в доме родителей, которую уже и слушать не станешь, разве что сохранишь: антиквариат, но вдруг она для нее заиграла. Будто что-то в голове освежилось, глаза открылись, и стало ясно — да, не войти. Сколько бы ни старалась. Как бы ни хотелось. Вода несется, река несется, и это уже не та река, что была секунду назад, и Светка уже не та, что была год, месяц, секунду тоже назад.

Она сидела на берегу, и река равнодушно шумела мимо, словно где-то наверху, на леднике, кто-то забыл выключить кран. И капля, попавшая в нее там, на выходе из ледника, уже пронеслась, и уже попала где-то ниже в другую такую же реку, и так без конца, и выхватить ее, забрать невозможно. Как и оставаться такой же, как прежде — снегом, льдом, ледником, собою, когда еще были важны все эти достижения и перевалы, и их категории, и их сложность, когда жизнь казалась скучной без личных маленьких побед над нею, и горы давали вкус таких побед каждый день. Чего же она хочет теперь? Теперь она хочет чего-то совершенно другого. Это стало понятно, и ничего не поделать. Это был такой же естественный процесс, происходящий в ней самой, как и река и тайга по ее берегам.

Наверное, это старость. Пристроив крошечное зеркальце на коленке, разглядывала то, что оно отражало: скулу, висок, угол глаза, прядь волос. Седых нет. Конечно, еще нет, хотя будут, теперь это ясно. Солнце било в глаза, отражение прыгало, река шумела. Перед собой, на коряжке, пристроила картонку 20x15, рядом — палитра. Этим летом у нее масло. Мольберт с собой тащить не стала. Да и писать решила только такие вот крошечные этюдики, они занимали у нее от силы час. Нарисует на привале и оставит там же, на стоянке. Картонок с собой была пачка, и было приятно от них постепенно избавляться — как будто оставляла часть себя на каждом километре пути.

Этюдик уже получился, такой, как она хотела, — вот и река, ее блеск, разлив, вот и стекающие над самой тесниной с обоих берегов каменистые кручи, здесь их называют боомы. Темно-зеленым был намечен лес по берегам, а ярко-белая точка — ледник там, где сходится перспектива: белесое небо, серо-зеленые горы и голубая река. Получилось нормально. Можно, конечно, лучше, но для этюда вполне. Однако теперь хотелось другого: хотелось вписать в пейзаж себя. Автопортрет на фоне ледника. Когда еще сделаешь такое? Но отражение прыгало, настроение не улавливалось. А какой портрет без настроения?

Это был один из тех спокойных и теплых дней, который потом будет забыт, один из всего похода, но сейчас он был счастьем. Дневка, они никуда сегодня не пойдут. После недельных переходов отдых — это подарок. Бесконечный день, и жара, так что даже вымыла голову в холодной и жесткой реке, и от этого особенно было приятно. И приятно было сидеть и никуда не лезть, не преодолевать километры и не выжимать из себя силы.

Наверное, все-таки старость, думала Светка, шурясь на ледник: он уже не манил. Хотя это не совсем правда: они и раньше ее не манили, в смысле, залезть, покорить, воткнуть флажок в сугроб на самой вершине, за которой только пустота и ультрамарин. Они манили больше собой любоваться. Как и сейчас. Так что вряд ли она кардинально

переменилась. Альпинистом в их танденме был Стас, а она — так, матрасник голимый. Но ей за это совершенно не было стыдно.

Стас и не смог усидеть на месте: еще утром ускакал куда-то на южный склон горы, под которой они остановились, и не было его до сих пор. Ничего, вечер не скоро. А когда придет, можно будет рассказать ему, как играло солнце в воде, как шумела река, как блестел ледник, и как шмыгали вокруг наглые поползни, таская обгорелый хлеб из остывшего кострища.

Она еще раз оглядела этюд: вот чего тут недоставало — костра. Точнее, остывшего кострища, черной точки у самой реки. Природа оживает, когда в ней появляются люди. Или хотя бы признак людей, отголосок присутствия. А автопортрет — ладно бы с ним. Будут еще стоянки, и будут еще пейзажи. Успеет нарисовать.

Она поднялась и пошла к воде умыться. Солнце палило, как оголтелое, на небе — ни облачка. Река шумела. Птицы свистали, кузнечики трещали. Одиночество было полным, красота — неизбежна.

Сначала показалось, что глюк. Так бывает: если долго сидишь у болтливой реки, рано или поздно она заговорит с тобой человечески голосом. Но чтобы так ясно, членораздельно.

Река спросила:

— Глубоко? — А потом снова: — Холодно?

Светка опешила: ну да, холодновато, но вот глубоко ли, не знает, не входила еще.

А река опять, с сомнением:

— Может, не лезть?

И кажется, даже ответила сама себе, только другим тембром, мужским, так что слышно было хуже.

Зато стало слышно, как кто-то ломится сквозь кусты, продирается всем телом, и прежде чем Светка подумала с испугом: «Медведь!» — на поляну вывалился мужчина в одних трусах, зато с огромным рюкзаком, загорелый, поджарый, с выгоревшими на солнце усами и волосами.

— Привет, — сказал он, с разворотом скинул рюкзак на землю и расправил плечи. Подошел, протянул руку: — Михаил. Мы переправимся тут, не возражаешь?

Руку сдавило, как будто тисками. Светка не возражала, а мужчина уже ушел обратно в кусты. Зашумело — он снова переходил реку. Босиком, холодную — кожа на голове до сих пор не согрелась с тех пор, как помыла. Но мужчина был весь раскаленный изнутри, так и пыхал жаром и силой. Растопит ледник, согреет горную реку. Светка поняла вдруг, что сидит в одном бикини, и как-то это неуместно, тут тебе не пляж. Побежала к палатке одеваться.

Пока одевалась, пока раздувала костер и ставила канчик для чая — правило горного гостеприимства, — Михаил сходил туда-обратно через протоку раза три, перетаскивал рюкзаки и всю свою команду. Вывалились на поляну: парень, совсем юный, с пробивающимися усиками, но уже крепкий и подтянутый; девица чуть постарше его, широкая и сильная, с таких лепили бесконечных советских комсомолок, девушек с веслом и ядром, настоящий боевой товарищ, и было предсказуемо, что зовут ее Анкой; и, наконец, женщина прилично за сорок, очевидно, мать этих двоих, тоже спортивного сложения. Ну и Михаил.

Вывалились, поздоровались, но в целом Светку не замечали, как если бы и она, и костер, и палатка были неотъемлемой частью пейзажа. Юноша бухнулся на землю, стал стаскивать ботинки и выливать из них воду. Он один переходил брод обутом, поэтому был осмеян.

— Потерпеть можно, не так-то и холодно, — говорила Анка, разуваясь тоже. Они с матерью форсировали реку в туристских сандалиях на толстой подошве. Встала на землю, расправила покрасневшие от холода пальцы.

— Ты носки тоже, что ли, не снял? — качала головой мать, глядя на юношу.

— Да ну нафиг, холодно, — слабо отмахивался тот, выжимая носки и ставя ботинки поближе к огню, разворачивая их вверх подошвой.

— Не высохнут, — качала головой Анка. — Теперь будешь весь оставшийся поход в мокрых шлепать.

— Лучше пять минут потерпеть, чем потом всю жизнь маяться, — авторитетно заявил Михаил. Сам он стоял на солнце, грелся, но с таким видом, будто оказался здесь случайно. Ноги его были не красные — синие. На левой большой палец наливался на глазах, как груша.

— Ушиб? — ахнула женщина, заметив.

— Пустяки. Заживет до свадьбы. Если не отвалится.

Он властно притянул ее к себе, чмокнул в щеку. Дети постарались отвернуться. А Михаил уже оглядывался вокруг костра:

— Что? Где у вас тут топор? Так не закипит никогда.

Светка развела руками: топора у них не было. Раньше, когда ходили большой компанией, всегда кто-нибудь носил с собой, и рубили, и стук звенел по утрам на стоянках. Но тандемом решили, что обойдутся без. Лишний вес, лучше взять с собой газ и горелку, а хвороста в лесу всегда хватит. Двоим, по крайней мере.

Но Михаил так не думал. Покачал головой: беспорядок. Распотрошил свой рюкзак, извлек ботинки, старые джинсы, обрезанные по колено, и топор. Натянул штаны, обулся. Перекинул топор через плечо, как заправский дровосек. Скомандовал:

— Кто со мной?

Вызвалась Анка, хотя смотрел Михаил на парня. Но тот не горел желанием влезать в сырые ботинки, так что ушли вдвоем, и слышно было, как перекликаются по склону — деловито, бодро, весело.

— Мы тут пообедаем у вас, не возражаете? — спросила женщина, уже извлекая на свет ворох разноцветных пачек — каш, супов, хвост колбасы и полбуханки ржаного. Будто только из магазина.

Светка не возражала.

Пока котелок закипал второй раз, пока Михаил рубил дрова, высоко замахиваясь, пока пытался привлечь к этому делу юношу, которого, как оказалось, нежно звали Алёшей, пока всячески подначивал его и вызывал на слабо, пока они обедали, пытаясь угостить и ее, но Светка — нет, спасибо, я чай, — так что было уже непонятно, кто гость, а кто сидел весь день у огня, ожидая возвращения мужа с добытым мамонтом, — пока все это, узнала о них многое. Что они москвичи, точнее, из Подмосковья — Люберцы, Лыткарино, где-то там; туристы, но на Алтае еще ни разу. У женщины — ее звали Татьяной — за плечами сплавы и восхождения, Урал на лыжах и Кавказ в анамнезе. Анка тоже в походах бывала, а еще занималась каякингом и ходила по канату. Когда Светка удивилась — как так? — выяснилось: обыкновенно — Анка была циркачкой, заканчивала училище. И только для Алёши, еще по-детски застенчивого, это были первый поход, и первые горы, и вообще все в первый раз. Он хоть и выглядел на двадцать, но оказалось, ему шестнадцать, еще не закончил школу.

Зато про Михаила ничего не было понятно. Он только рубил да помалкивал, разве что отпускал шуточки, особенно задирая Алёшу, отчего тот краснел, как девушка. Ясно, что с семьей он знаком сто лет, Татьяну вообще знает разве что не с детства, хотя и выделялся перед ней, как молодожен в медовый месяц. Но кто он такой, этот Михаил или дядя Миша, как звала его молодежь, чем занимается и как его прибило к этой семье?.. Светка догадывалась, конечно, но спрашивать не стала. Неудобно такие вещи спрашивать, да и кто они ей — уйдут через полчаса, и не вспомнить.

— Вы-то куда, вниз, вверх? — спросила Татьяна, когда они уже собирались: Анка гремела посудой, бегая мыть на реку, Алёша скорбно шупал ботинки, не решаясь в

них влезть, и только Михаил уже сидел на своем рюкзаке, полностью собранный, ожидая всех.

— Вверх. — Светка кивнула на ледник, хоть и знала, что они туда не пойдут. Стас, может быть, и поднялся бы, но с собой ни кошек, ни веревок. Да и делать там нечего.

— А что, категорийный, нет? — заинтересовался Михаил. Он ее неправильно понял. Пришлось объяснять, что не знает, что подниматься не будут, просто там озеро, под ледником, вот туда дойдут, постоят пару дней и обратно.

— А я читал, что не категорийный, — продолжал Михаил о своем, вроде бы не услышал. — Ну, что-то типа 1А. Или Б.

— Это уже категория, — сказала Светка.

— Да ладно, детская. Думаю вот, махнуть, что ли? А, махнем? Зарегистрируем Лёшке категорию с первого раза. Что, слабо?

Он кидал это, как кость. Анка хватала ее с пионерской готовностью. Алёша что-то мычал, а Татьяна смотрела на них с какой-то странной улыбкой, так что не возникало сомнений: она-то пойдет хоть сейчас, даже если никто больше не решится. Особенно, если никто не решится.

Ну а что, тандем — наилучшая комбинация для обеспечения мобильности, — думала Светка, глядя им вслед. Уходили так же шумно и бодро: Михаил впереди, за ним Татьяна, следом Анка и последний Алёша, опираясь на трекинговые палки. И было непонятно, чего жалко и непонятно, отчего неудобно, словно припала к замочной скважине, думая, что в комнате никого нет, а там чужая жизнь, и о ней сразу все стало ясно, даже то, чего не хотелось бы.

Ну и пусть с ними. Ушли, и больше не встретим. На то и горы. На то и выбирали они такие маршруты, где немного людей. Солнце стремительно пряталось за склоном. Стас скоро вернется. Надо бы сделать ужин. После чужой суеты наступившая тишина казалась раем. Одиночество возвращалось.

Законченный этюд оставила на кедре, между веток. В прозрачном пакете, чтобы не размыло дождем.

Утром стало понятно: вчерашняя погода — подарок. Еще на рассвете проступило голубое небо между горами, но быстро зашторилось. Ущелье, в котором они находились, было узким и извилистым. Горы вырезали в небе ровно столько пространства, сколько было отведено снизу реке. Глаз выхватывал этот кусок, а что там, за хребтами, можно только догадываться. Может, там синь да гладь, а все тучи ползут только здесь, как небесная река — над земною?

Ледник скрылся. На него села самая здоровая и самая серая туча. Наохлилась и распушилась с твердым намерением никуда в течение дня не слезать. Дождя еще не было, но ветер гнал по ущелью холодный, противный воздух. Костер разводить не стали, ходя дров, заготовленных Михаилом, могло хватить на три раза. Стас изумился, когда, спустившись, увидел эту гору: «Вот чем ты занималась весь день!» Пришлось его разочаровать. Но под ветром и с перспективой близкого дождя возиться с костром не хотелось. Заварили кипятком овсянку — *young porridge, sir*, надменно произносила Светка, протягивая Стасу миску, — собрали лагерь и отправились. Идти предстояло весь день.

Идти предстояло весь день, и тропа оказалась та еще. Древняя дорога древнего ледника, он уходил сверху, прорывая это ущелье и оставлял после себя, как после побоища, горы камней, горы больших камней, горы огромных камней. Сыпуха, курумник и морены, и неизвестно еще, что из этого лучше. Под рюкзаками, в которых и жизнь их, и дом, и снедь на две недели, каждый камень — событие, которое следует пережить. Перелез, выдохнул. Смотри на следующий. И все в гору, в гору.

Вдруг долина стала расширяться, а пологое место, по которому бежала тропа, напротив, прижиматься к воде. Вот уже прыгаешь по самой кромке, вот уже прыгаешь

по камням в русле, под ногами сыро, и только турики, оставленные теми, кто прошел здесь до нас, заверяют: все верно, да, стремно, но правильно, и другого пути нет.

Потом река обернулась водопадом, срываясь с верхотуры, а они карабкались с ней рядом, бок о бок. Все это были верные знаки того, что озеро — рядом.

И вот вылезли. Открылось. И ахнули.

Каменная чаша, а в ней — вода. Но ни красоты тебе, ни умиротворения, ничего открыточного, туристского. Место мрачное, склоны серые, а в воде — трупы деревьев. Кедры, еще зеленые, еще не увяли, плавают вдоль берегов, болтаются, как щепки, перекрывают собою протоку — вот отчего так гудит вода, — завалили тропу. По берегам — обрубки, пни, крошево из древесины и веток. Камни, сдвинутые с прежнего места неведомой силой, темнеют вывороченным нутром — еще не прижились здесь, не обросли лишаями, не выгорели на солнце. В долине непривычно тихо. Вода стоит стылая, стальная. Ни птиц вокруг, ни ветра.

— Ледник сошел, — оценил ситуацию Стас. — Весной, скорее всего.

— Неужели, это то самое? — с горечью спросила Светка.

— Сейчас проверим.

Достал gps, но по голосу ясно — не может этого быть. Так и есть: никакого озера там, где они остановились, оно выше, а это — протока. Просто разлилась, затопило.

— Двинули.

Стас браво подтянул лямки рюкзака и полез первым — через ствол и по камням, выше, дальше. Какая уж тут тропа, какие турики. Направление знаешь, вот и шуруй. Не впервой же.

Вздохнув, Светка оседлала шершавый ствол кедра. Он слегка просел, ломая под собственным весом ветки, спущенные в воду. Внизу блеснуло — снег, ноздреватый, старый, но все еще холодный и белый. Как был похоронен под кедром, так и остался с зимы и вот уже почти пережил лето, а дальше смысла нет таять — все замерзнет опять.

Хорошо, дождя нет, — подумала, перелезая и цепляясь за ветки. Ползти тут мокрым да по скользким камням, то еще было бы удовольствие.

Но, конечно, накаркала: полило, сперва несмело, почти незаметно. Просто вдруг стали появляться на камнях темные пятна. Потом больше и больше. Разлив зашуршал, зашипел. Камни стали скользить под ногами. Надели куртки, на рюкзаки — накидки, пошли как можно быстрее, стараясь не навернуться. Наконец выбритый ледником склон кончился. Долина расширилась, склон порос травой. Появилась тропа и заструилась вверх, круто на хребет, укрытый долгожданной тайгой.

Хребет — всегда водораздел. Новый порог и новый водопад. А наверху, в чаше, будет их озеро.

И оно открылось, синее, спокойное, как и полагалось. Но под дождем — мрачное и слепое. Ледник не отражался, туча так и сидела там, но сомнений уже не было: озеро то.

Пустились бегом. По карте место для лагеря отмечено примерно на середине озера. Там должны быть поляна, кострище, место под палатку.

И она сама. И не одна даже. Два домика — красный и синий. Синий прикрыт полиэтиленом. Кедры над ними, а между — веревка, болтаются разноцветные воздушные шарик. Мокрые, дурацкие, такие не к месту здесь, такие городские. А под кедрами, на корнях, выложены свечи-буквы: «С днем рождения!» Рождение у них, черт. И кто только все это с собой тащит. В лагере — ни души, но кострище еще дымит, и канчик над ним парит, теплый.

И тут гроыхнуло над перевалом, шарахнуло, и полило сильней. Засуетились: некогда торчать, рассматривая чужую жизнь. Некогда сокрушаться, что не успели занять место. Стас оглянулся — и рванул вверх, в тайгу. В любой непонятной ситуации лезь наверх, а там разберешься. Сейчас сработало: пятидесяти метров не пробежали, а вот вам и место между кедровых корней, как раз хватит для одной палатки.

Но сейчас не до нее. Скинули рюкзаки. Прижались к стволу спинами. Гроыхнуло опять, и шарахнуло градом. Стало дико холодно, как будто все тепло из воздуха выпили разом. Стояли у кедра и тряслись, зуб на зуб не попадал — от усталости, от холодрыги, — а кругом шумело, и сыпало, весь пятачок уже засыпало белыми шариками.

— Эй, соседи! Есть кто?

Снизу поднимались. Знакомый голос. Светка, продрогшая, с ног до головы мокрая, выглянула из-за кедра. Идет, синий, квадратный. Ботинки на босу ногу, ноги голые по колено. Огромный плащ болтается и шуршит, как будто он нацепил на себя парус.

— Дядя Миша! — обрадовалась, как родному. И не поняла сама, с чего вдруг слетел этот чеховский «дядя», но сразу он стал как будто ближе.

А дождь припустил сильнее.

— Прошли и ничего не сказали. Непорядок. Ну, я думаю, лишним не будет, правда?

Протянул термос. Вцепились, как будто о него можно согреться. Отвернули, откупорили — пахнуло горячо и вкусно: чаем, травой, взваром.

— Кружка одна, уж не обессудьте.

— Да вы что, не проблема, конечно!

— Вот еще, плеснуть можно.

Достал фляжку, опрокинул в термос. Пахнуло алкоголем. Стало веселее. Дождь лупил по хвое, по плащам, по всему.

— Ну давайте. За знакомство. — Чокнулись: фляжка, термос, крышка от него же. — Ладно, обживайтесь. Вечером занесете. И вообще приходите: у дочери день рождения, двадцать один!

Последнее говорил, уже спускаясь.

Пили чай с коньяком, смородиновым листом, обжигаясь, дую, и ничего никогда не пили лучше.

— А ты говорила, они шепутные какие-то, — укорил Стас.

Светка только пожимала плечами. Дождь не кончался.

Так вот, красота и одиночество.

А раньше была свобода и независимость.

В шестнадцать казалось, ничего нет важнее, чем обрести сразу и то и другое, и еще всем вокруг доказать. И потом, в двадцать. И потом, в двадцать пять все еще казалось — да, ничего нет важнее свободы и независимости. Уже стали появляться первые деньги, небольшие, но свои. Уже не надо было кланяться у родителей, копить тайно на снарягу и билеты, врать, что едешь с подружкой на море, солнце, пляж, мама, все как ты любишь, и никакого экстрима, боже упаси! А самой срываться в горы — только камни, только хардкор.

И вот перевалило за тридцать. И есть работа, и деньги, и родителям врать не нужно. Но не потому, что они теперь тебе доверяют. Просто вдруг стало понятно, что им постепенно становится все равно. Порвалась связь, самая крепкая, с которой не было ни свободы тебе, ни независимости. Не порвалась даже, ты сама ее порвала, все для этого сделала. А другой так и неросло. Ты-то наивно думала, что все это будет вечно, ага. И вот глядишь с удивлением, как они постепенно уходят, с каждым годом все дальше, в свой собственный мир. И места тебе там нет. Тебе, такой свободной и независимой.

И вдруг оказалось, все это — только флажки. Вершины взяты, флажки воткнуты в сугроб. Ты фотографируешься на фоне ультрамарина. Ты всем доказала. А дальше что? Ты уверена, что они будут с тобой всегда, твои высоты. Но ты спускаешься и

живешь, пьешь по утрам кофе и идешь на работу, и все, что есть у тебя, — это фото, где ты в дутом, теплом, в огромных очках, а за спиной — ультрамарин.

Но остановиться уже нельзя. Однажды в горы попав, бросить их уже не можешь. Это знает Стас, это знает Светка, эта знают все. Это болезнь, да, зависимость. Они снятся, мерещатся. В городе, стоя на балконе, смотришь на облако, плывущее над крышами многоэтажек — а видишь ледник и перевал. Встают над тобою эти твои высоты. Зовут. Манят. И срываешься, даже если уже не хотел.

Ну и что, что теперь горы не ради свободы и независимости. Красота и одиночество — тоже неплохо. Во всяком случае, когда нет дождя. И во всяком случае, когда никто не командует.

Утро началось с топора. Рубили звонко, бодро. Рубили в нижнем лагере. И третье утро уже начиналось так.

— О, нет...

Светка заныла, перевернулась, зарылась с головой в спальник, но сон не шел, в голову как будто вколачивали кол — с каждым ударом звонко, крепко.

— Соседи! — раздалось над самым ухом голосом дяди Миши. — Есть кто живой? Карты читать умеете?

Стас завозился. Вылез из спальника, ширкнул молнией. Поднялся из палатки. Стояли над нею и над душою, что-то обсуждали, даже поспорили. А внизу рубили. А ведь, выходит, это не дядя Миша там, — думала лениво. Дядя Миша тут, а рубит кто-то, или это снится, а если снится, то что — что говорит, или что рубит? Но уловить не получалось, мозг уплывал, нудеж не прекращался, в кронах трещала кедровка, крикнул ворон прямо над головой.

Nevermore, ага.

Светка резко села.

Спальник рядом — пустой и холодный. В палатку бьет солнце. Пахнет прелым лесом, смолой и дымом.

— Вставай, соня, — всунулась Стасова голова. Уже умытая, бодрая и свежая. Готова к подвигам. Не голова, конечно, сам Стас. — Королёвы с ними на перевал зовут. У дяди Миши карта хорошая нашлась, полукилометровка. И погода — что надо! Вылазь, завтрак пропустишь.

— О, нет...

Светка упала обратно на ворох одежды и спальников. Он уже знает, что все вместе они — Королёвы. Он уже знает, что они идут на перевал. Он уже собирается с ними. Светка — по умолчанию. И чутье говорило, что вся эта бодрость и тяга к подвигу ничем хорошим не кончатся. Обернется общественным, пионерским, как вчера. Не то лагерь, не то слет, когда все показушно бодрь, энергия так и валит. Какая уж тут красота, какое еще одиночество! Одиночество разбавлялось компанией, а через красоту они бежали, не замечая, она сливалась в фон, пейзаж. Главное — цель. Залезть на вершину. Притащить самое здоровое полено. Сварить макарон столько, что их невозможно слопать, и выкинуть на утро стылую, слипшуюся в ком массу в кусты. А что, канчик надо мыть, и можно же еще приготовить. Столько, чтобы опять не съесть, даже вшестером.

Сделать с этим ничего было нельзя. Королёвы обладали сокрушающим гостеприимством и неподъемным дружелюбием. Они просто включили их тандем в свою команду, поглотили их, и теперь все, что делалось, делалось совместно. Сублиматы вредно, говорили они, а у нас и тушенка, и соусы. Пробежимся сегодня, говорили они, во-он до того подъемчика, а вечером вернемся. Нет, зачем тебе оставаться в лагере? Никого тут нет, вещи не тронут. И Стас с готовностью соглашался: ну, правда, чего ты будешь одна целый день? Пошли с нами. С ними.

Он вообще теперь во всем соглашался с дядей Мишей. Ему, казалось, было удобно, что кто-то взял на себя руководство, решение всех вопросов, и он мог

радостно подчиняться, не задумываясь. Он чувствовал себя полезным и сильным. Таскал, рубил, ходил с дядей Мишей на разведку. Светка смотрела и изумлялась: вдвоем он был совсем не такой бравый, героичный, умелый. А сейчас им можно было восхищаться. Собственно, он этого и добивался. Начала зарождаться догадка, что в тандеме ему просто скучно.

Вылезла из палатки, пошла умываться. Спуск к воде был через Королёвых. Рубила, как оказалось, Анка. Короткие велосипедные лосины и топ, светлые волосы убраны в толстую косу, топор блистал на солнце, как боевое оружие. Анка была похожа на валькирию, деву щита и меча. Да что там, она и была ею.

— Надо с размаху, понял! — говорила и действительно замахивалась очень браво и рушила топор на полено. Алёша, которому это все демонстрировалось, стоял рядом, смотрел кротко. Дров им давно не было нужно, дров было нарублено столько, что зимовать можно.

— Ты учись, учись, — бросал, проходя мимо, дядя Миша.

Он был занят чем-то, он всегда был чем-то занят, не сидел без дела, но в то же время за всем вокруг следил и во все вмешивался. Светка посмотрела на Алёшу с пониманием, он был ей симпатичен. Ей казалось, что он один всем этим тяготится. Как и она.

Спустилась к озеру, умылась. Поднялась и огляделась. Гладь натянулась, ни ветерка. Солнце только-то лизнуло гору напротив. Воздух еще не прогрелся, было зябко и весело. Вода томная, холодная, ледники отражаются в ней во весь рост. Шумит река, срываясь водопадом. А ведь погода будет хорошей. Если бы только остаться, с палитрой и картонками своими поторчать тут, а еще там, и вон с той точки тоже сколько можно было бы этюдики оставить в этих кедрах!

Другой берег серый, необжитой — сплошная сыпуха. Камни всех возможных размеров. И даже если приглядишься, не разберешь, где лезли вчера. Пытались подняться на седловину. Обходили озеро по периметру. Прошли по кромке воды и стали забирать выше. Без тропы, какие уж тут тропы. К счастью, пошел дождь — ничего больше не могло бы остановить Королёвых. Но дождь пошел сильный, с ветром, не повернуть назад в такую погоду было нельзя.

У Светки всю дорогу в голове так и стучало: зачем нам туда, вот ради чего? Холодно, пусто, продуто. Никакой красоты там не будет. Однако никто больше таких вопросов себе не задавал. Стас просто шел, потому что его позвали, лез и лез, еще и руку подавал, еще и вперед убежал, пытаясь найти проход получше. Королёвых не интересовали виды, фотоаппарат они с собой не носили. Они просто хотели подняться, похоже, даже не задумываясь, для чего им это, а когда стало ясно, что нужно повернуть, никто не высказал недовольства, так же бодро начали спускаться. Для них эти вылазки были развлечение, прогулки по окрестностям. По-настоящему же замахнулись на перевал. В тот день, когда Светка со Стасом пришли сюда, в Анкин день рождения, Королёвы уже успели залезть на безымянную высоту прямо над лагерем. Искали тропу. Не нашли. Но дядя Миша все равно перевалом бредил.

— Прийти сюда и не подняться — это, друзья, скажу я вам, преступление, — говорил по вечерам, и Стас с ним предсказуемо соглашался.

Налюбовавшись ледником и противоположным берегом, вернулась к костру. Там уже разложили по мискам кашу, и дядя Миша успел свою съест и развалился у Татьяны в ногах, как в кресле, положив руки ей на колени, как на подлокотники, а голову на живот. Но в этой позе не было ничего томного, он продолжал всеми руководить.

— Палки не берите, не пригодятся, — говорил детям. — Там круто, мешаться будут. Если уж совсем никак, берите только одну.

— Веревку? — спрашивала Анка деловито.

— Да не, не нужна. Мы же так, туда-обратно. Спускаться не будем. Чисто плюнем на ту сторону и назад.

Все засмеялись, даже Татьяна.

— Ё поридж, сер, — сказал Стас, протягивая Светке миску.

Не моя, — хотелось сказать. Вообще не моя. Я варю по-другому, у меня и молока больше, и изюм, и курага. Но промолчала.

Наверное, это все-таки старость. Должна же она когда-нибудь начинаться, — думала, уплетая кашу.

Человек — животное социальное, вспоминался университетский курс антропологии. Стайное. Стадное. Куда все, туда и я.

А вот не дождетесь.

— Я две палки возьму, — сказала, подходя к палатке. В руках — сложенные треккинговые стики.

Стас сидел на корточках, собирал штурмовой рюкзак: газ, горелка, кружка, что еще? Нож, спички, gps.

— Неудобно будет, нет? — спросил, не поднимая головы. — Там крутовато, дядя Миша сказал.

— Ну и что, что дядя Миша. Мне будет страшно. А с двумя — самое оно.

Стас не ответил. Копошился, что-то еще перекладывал. Снизу, от озера, слышались крики. Встрепенулся:

— Побежали. Нас уже, наверное.

Но кричали не их, кричали по другому поводу: застенчивый Алёша штурмовал засохший кедр, который торчал возле их лагеря, почти у самой воды. Дерево гигантское, обломки веток упирались в небо, кора местами уже обсыпалась, одна гладкая, блестящая, отполированная ветром и дождем нутряная сердцевина.

— Давай, давай! — подбадривала Анка снизу.

Татьяна молчала, только смотрела на сына ровно, без гордости или тревоги, как будто для того и родила его, чтобы он на сухие кедровые лаза лазал. Дядя Миша деловито выглядывал снизу, как лучше, руководил. Алёша ничего ему не отвечал, в зубах нес желтый шарик. Он болтался, бил его по лицу и по голове, мешал, и смотрелся Алёша с ним странно — яркий, контрастный на фоне синего неба, черного кедра.

Высота была уже ой-ей, но он как будто решил долезть до самого верха. Светка почувствовала, что симпатия ее к Алёше растет пропорционально высоте: он казался сейчас маленьким бунтарем, наплевавшим на дядю Мишу, на его власть над всеми, над его «давай, давай» и «левее-правее». Показалось даже, что он и на кедр полез, потому что не хотел слушаться, не хотел идти со всеми. Человек — животное стадное, а я вот вам: на кедр, да еще и с желтым шариком.

Желтый на синем — символ независимости. А оттуда недалеко и до свободы.

— Налево давай, там выше, — командовал дядя Миша. В тишине долины, где гудел только водопад из ледника, его голос был зычный и разлетался на версту.

— Не залезть, — отвечал Алёша. Шарик изо рта вынул. Стоял на ветке, которая казалась крепкой, всматривался над головой, в ультрамарин. Приподнялся на цыпочки и стал крепить шарик к самой дальней ветке, до которой только сумел дотянуться.

Светка ощутила, что у нее вспотели ладони. Достала фотоаппарат, щелкнула — крошечный знаменосец вешает знамя на головокружительную высоту.

— Нормуль, — оценил дядя Миша. — Будет по-любому отовсюду видать.

— А это зачем? — спросила Светка.

— Ну, мы же сейчас уйдем, пройдемся до темноты. Там тропа не особо чтобы. А так не заблудимся хоть, — сказал дядя Миша. И вверх: — Лёха-молоток, слезай уже.

— Отсюда вид обалденный! — с восторгом ответил Алёша.

— С перевала еще лучше будет, — отозвался дядя Миша. Подцепил рюкзак,

попрыгал в нетерпении. Алёша спускался, выглядывая ветки под собой. — Ну, я покатил, догоняйте, — сказал и побежал, не в силах его дожидаться — крепкий, сбитый, сплошные мышцы. В одних шортах, совсем без всяких палок.

Татьяна посмотрела на сына, проводила взглядом дядю Мишу — и пошла следом.

— Идешь? — сказал Стас. Не спросил, а скорее окликнул.

Светка вздохнула. Шарик снуло повис в безветрии — не зная, а очередной сигнальный флажок.

О том, что тропы не будет, дядя Миша почти не соврал. О том, что будет круто, не соврал вовсе. Тропы были козьи, узкие. Они вели в никуда и обрывались неожиданно. По ним можно было пройти недолго, но потом опять приходилось карабкаться, хватаясь за траву и камни, на всех четырех, как горные обезьяны. Белые горные обезьяны. Треккинговые стики болтались, прицепленные за лямки к запястьям, то и дело норовили попасть по ногам. Опирались на них доводилось не часто.

Назад и вниз Светка старалась не смотреть. О том, как будет спускаться, старалась не думать. Покрытый травой луговой склон то и дело взрывался ручьями — или таял снег наверху, или гора так пропиталась дождями, что отдавала воду при любой возможности. Ступишь — а из следа течет, вот и готов новый родник.

Потом луговина стала отступать, пошли камни. Вылезли на выход породы: три огромных глыбы, каждая — с дом, торчали, как ребра. Образовывали полку. Залезть на нее — и склон выполаживался, но камни мокрые, скользкие, неудобные: в щели еще лежал снег.

Дядя Миша штурмовал полку в лоб, Татьяна пошла в обход. Остальные остановились. Дышали. Смотрели. Светка оперлась о палки, как пилигрим. Сердце прыгало. В голове гудело. Там еще с утра засел звон топора. Наверх, на полку, совсем не хотелось. Как не хотелось и вниз — крутизна под ногами неприятно отзывалась под ложечкой. Бросила взгляд — озеро разлилось, голубое, спокойное, равнодушное до ее страхов. Желтый шарик пока еще видно. Туда надо будет скатиться вечером. В сумерках, без тропы. И по этой вот полке.

Дядя Миша с Татьяной уже залезли. Анка тоже карабкалась напрямую, подтягиваясь на руках, прилипнув к камню животом и грудью, как в родному. Светка посмотрела, как она болтает ногами в тяжелых ботинках, и пошла обходить камень сбоку. Где-то там должно быть проще, чутье говорило. Ну и что, что чутье — это старость. Кому от этого хуже?

Обход нашелся, пусть и не такой, как хотелось, тоже пришлось обниматься с камнем, но все-таки было не так страшно, как нависать над кручей, болтая ботинками. Вылезла, огляделась — все уже весело ползли дальше. Склон становился совсем каменистым.

Но еще небольшое усилие — и выбрались на плато. Холодная, продутая зальсина горы, не самая еще макушка, так, лобик, но и тут уже было ошеломляюще красиво, а главное, открывался вид на долину такой, что забылась вся сложность подъема — как всегда, когда взгляд тонет в красоте.

Озеро лежало как на ладони. Вытянутое, извилистое, оно казалось отсюда витражом, накрепко вставленным в оправу крутых берегов. Южный — выгоревший, серый и каменистый, северный — темно-зеленый, таежный. Шум водопада долетал равномерным, монотонным гулом, как будто бы там работал насос, который качал эту воду. И весь путь ее, от ледника через озеро и ниже — рекой в долину — был виден отсюда. Река стремилась вниз, вниз, прокладывая себе дорогу в ущелье, разливаясь на плоскогорье и захлебываясь в теснинах, и терялась в перспективе, где горы вставляли друг за другом волнами, как нарисованные мягкой пастелью, все более и более прозрачные, все более и более нереальные.

Кружилась голова. Отдышалась. Достала фотоаппарат.

— Пойдем, а то отстанем, — сказал сзади Стас.

Он тоже любовался, бегал по кромке, топчя карликовые березки, выглядывая то с одной точки, то с другой, но за Королёвыми, оказывается, следил. А они уходили выше, на перевал. Отсюда уже виден — вон, черная седловина контрастно режет небо. Ледник еще выше, конечно, нависает белой глыбой, но на ледник они не пойдут. Хватит мозгов — не сунутся.

И вот по моренам, по моренам — этим черным камушкам, как будто просыпанным по склону, которые на деле окажутся размером с машину, с грузовик, с дом, и между ними будет зиять пустота, и станет дуть оттуда неприятно и жутко, и нога то и дело будет соскальзывать и норовить провалиться. Знаем, проходили.

А Королёвы проходят сейчас, становясь все мельче и мельче, уже теряясь на фоне черных камней.

Стас тоже уходил. И надо было нагнать. Потому что Королёвы — шут с ними, но Стас... Но красота. Но одиночество... Нет, лучше все-таки держаться вместе.

Пересекли плато. Голова кружилась при каждом глубоком вдохе. Тут оказалось небольшое плоское озеро, прозрачное, холодное и пустое, как слеза. На дальнем берегу попался памятник — легкий, из нержавейки. На этом месте такие-то (трое) умерли от ботулизма при спуске с этого перевала. В году, когда вас еще не существовало.

Советские консервы были плохие, отец до сих пор боится ботулизма и проверяет все банки, не вздуло ли. А эти вот не проверили. Или не заметили. Устали, спустились, привал, а дальше еще сколько топать, пока выйдешь к людям. Да и где они, эти люди... Голодные, замерзшие. Поужинали. И вот.

— Господи, какая нелепая смерть...

Голова кружилась сильнее.

Ладно бы, если от завала, лавины, в трещину провалились — это понятно, привычно, это почти геройство, и сколько таких памятников в горах. Но вот так, нелепо, на спуске... Прикинула возраст: нет, на родителей не тянут, а так, что-то среднее. Примерно как старшие Королёвы. А были тогда молодые совсем. Младше чем она сейчас.

— Идем! — окликнул Стас. Он уже стоял на границы морены. Шаг — и полезет. — Не будут ведь ждать.

И что, собственно? Пусть бы, пусть. Что заставляет, что гонит, куда и зачем? Что увидят они там, за перевалом? Другая страна или другой континент? Собственное будущее, только лучше и интересней? Из той страны, из того будущего спустились три имярек во времена, когда нас еще не существовало. У них брезентовая палатка и шариком рюкзаки. У них, наверное, была даже с собой гитара, кто не носил в те годы с собой гитар. Солнышко лесное и изгиб желтый, — что они пели там, в своих неподъемных брезентухах? А может быть, и Высоцкий, здесь вам не равнина, скалолазка моя, — кому-то не обязательно ходить в горы, чтобы знать, какие они. Так вот, спустились. Хоть и не до конца. Поужинали. В последний раз. Гитару, палатки и вещи уносили отсюда другие.

В моренах поднялся ветер, и было непонятно уже, отчего так сильно кружится голова — от этого ветра или от того, что неприятно смотреть в черные провалы, в которых блестит что-то, и как будто живет кто-то, выслеживает тебя. Или оттого, что неприятно думать о *них*, как и вообще о смерти — всегда — неприятно.

Вокруг шумело. И дуло. И шумело. В глазах белело, а потом началась темнота. Она появилась на периферии зрения, но стремительно наплывала, сужая видимость до точки. В этой точке, в единственно оставшемся доступном пространстве, как в глазке видоискателя, пыталась найти, зацепиться — Стас? Стас! Ушел? Нет, вон он, мелькает красная куртка, то выглянет из-за камня, то скроется.

— Стас! — И громче: — Ста-ас!

Ветер в лицо, крик сносит.

Темнота наплывала стремительно, с ней уже ничего нельзя. Но прежде, чем в видоискателе померкло, успела утвердить в камнях острия палок, чтобы стоять на всех четырех, надежно и прочно, даже если отключится прямо сейчас.

Темнота схлопнулась. И ничего не стало. Только ветер. Только гул. Свобода. И одиночество.

— Осторожно. Вот так. Садись. Тут не дует.

— Да нормуль. Спасибо. Уже лучше.

Это была правда. С тех пор как темнота начала отступать, глазок видоискателя расширился, страх тоже пропал. И страх, и нервозность, преследовавшая с утра. Видимо, уже тогда что-то в организме знало, предупреждало ее, но не достаточно ясно. Теперь же все представлялось по-другому. С того момента как увеличился кусок видимого пространства, из пятачка, на который надо ступать, до полного окоема, все стало казаться веселее и легче. Все ерунда, по сравнению с этой темнотой. Все полная ерунда.

Стас шел рядом, поддерживал за локоть. Спускал ее с камней практически на себе. Голова уже почти не кружилась. Тошнота еще накатывала, но тоже пореже. Это при том, что спустились всего ничего — просто ушли с морен. Вот оно, озеро-слеза перед ними.

— Сейчас, чайку, — суеился Стас, доставая горелку и кружку. — Сейчас, сейчас. — Кажется, не на шутку за нее перепугался. — Блин, у тебя же впервые, да? Что было-то хоть? Резкий перепад давления?

Светка пожимала плечами. Да, горняшки не было никогда, и вот — сподобилась. Можно сказать, конечно, что повезло: обычно от нее дольше отходят. Хотя кто знает, еще не вечер. Почему — тоже не ясно: акклиматизация-то давно прошла.

— Старость — не радость, — попробовала улыбнуться.

— Какая старость? — фыркнул Стас. — В тридцать три года.

Он уже заварил чай, крепкий, аж на зубах хрустит, насыпал сахара столько, что в городе бы не выпить. Но тут хорошо. То, что надо. В голове гудело. Сидели за скалой, где не дуло, но все равно был слышен этот неумолчный гул, то ли водопад внизу, то ли ветер на плато.

Вдруг поняла, что озеро — не то, у которого памятник. И место совершенно другое. Распадок, цирк под самым ледником. Его язык спускается в воду. Отсюда, вблизи, видно, что снег не такой-то уж искрящийся и свежий, он почернел и вскрылся, но все равно лежит, не тает. Озеро под ним — потаенное, скрытое. Хребет, под которым они сидели, отделял его от плато. Поэтому тихо, поэтому так тепло. Подняла глаза — солнце ослепительно сияло на ледниковой спине.

И тишина. Безветрие. Одиночество. И красота.

— Какое ты хорошее место нашел.

— Это оно нас нашло.

— Жаль, палитру не взяла.

— Еще бы ты палитру на себе тащила.

— Я бы все это нарисовала. И нас.

— Селфи? — Смеется.

— Ну тебя! Семейный портрет. — Помолчала. — Извини, что с перевалом не получилось.

— Да ладно. Не особо-то и хотелось. Что я там не видел, 1А?

— Слушай, ну давай тогда от них отстанем? Надоели. Я устала. От этой бравады и суеты. Несутся куда-то, неизвестно куда. Как будто им чего не хватает. И ничего вокруг себя не видят. Вот этого вот всего. Мы же ни за что не пришли бы сюда, если бы не отцепились от них.

— Ну, без них мы бы сюда и не поднялись, согласись?

— Блин... — Замолчала, подбирая обоснования. — Ну, блин...

— Ладно, посмотрим. Ты отдыхай пока. Нам еще вниз топать.

Внизу обнаружилось страшное — появились еще соседи. Ходили по стоянке, у озера, меж кедров, перекликались. Палатки — одну большую и две маленькие — вписали между деревьев, прямо на корнях. А что делать, больше мест нет, выбирать не приходится.

Светка со Стасом спустились первыми, Королёвы их не догнали. Шли долго, отдыхали при любой возможности. Если бы не Стас, не спустилась бы. Впрочем, она бы туда и не полезла, если бы не Стас. Дошли до места засветло, не понадобился даже шарик. Но увидев такую беду, Светка совсем помрачнела. Залезла в палатку. Зарылась в спальник. Самочувствие до сих пор было не очень, во всем теле — слабость, из головы как будто откачали воздух.

Стас же, увидев пришельцев, преобразился. Это были настоящие альпинисты — у палаток лежали каски, обвязки, железо, все дела. Казалось, он истосковался по всему этому. Глаза зажглись, озирался, как гончак на охоте. Довел Светку до палатки, проследил, чтобы устроилась, укрыл своим спальником, обещал чай. И побежал к соседям — знакомиться.

Наверное, я не права. Наверное, это только мне нужна красота и одиночество, а он ходит в горы для другого. И так же не может без этого, как я. Но что же мне делать, если я без него не могу теперь тоже, если я без него...

Додумать не удалось. Мысли путались. Светку знобило.

Однако еще живее, чем Стас, отреагировали на пришедших Королёвы. Они прямо так и вклинились в их лагерь, не успев скатиться со склона.

— Здорово, соседи! Откуда будете? — Дядя Миша гремел на весь лес. Внизу застучал топор. Начинались сумерки. Потянуло дымом.

Ребята оказались питерские. Дядя Миша обрадовался:

— А мы тоже из Подмоскovie. Земляки практически!

Шутки, похоже, никто не понял. Дядя Миша растворился, но, как оказалось, ненадолго:

— Соседи, чай готов. Спускайтесь, поужинаем!

Ему отвечали, что у них свое и что как раз будут сейчас готовить, на что дядя Миша гнал уже отработанное: да знаем мы ваше, одни сублиматы, а у нас тушенка, хлебушек, мужикам нужно мясо, так что без разговоров — посуду в зубы и вниз. Через минуту всех ждем.

И правда, сработало: загремели посудой, ложками, мисками, и лес вокруг опустел — все спустились к костру и озеру, на стоянку к Королёвым. Голоса оттуда доносились глухо и были почти неотличимы от гула реки, шума кедров, шума ветра в камнях.

Темнело. Палатка скрывала, и казалось, что Светка не лежит на земле, придавленная тяжестью головной боли и дурноты, а висит где-то в пространстве, как облако или шарик. И видит оттуда все: и озеро, и склон, и перевал, и слюдяные озерца на плато, и снег в распадках, и реку. И неважно, что все уже укрывается темнотой. Оттуда, сверху, все казалось озаренным белесым, будто лунным, светом. И было понятно все. И ничего не жаль.

— Соня, спишь? Ужинать будешь?

Стас. В палатку не влез, стоит рядом. Светка ухнула обратно в тело со своей высоты. В голове отозвалось глухо, как от удара.

— Нет. Тошнит.

— Плохо. Ну, чайку хоть выпьешь?

— Выпью.

— Я принесу.

— Не надо. Я сама. Приду. Сейчас.

— Королёвы завтра уходят. Они у питерцев карту новую взяли. Там, если на ту сторону идти, будет другой перевал, проще, без категорий. Это куда мы в первый день лазали.

— На ту сторону чего?

— Реки. Озера. Они оттуда сегодня пришли, мы просто не там лезли, как оказалось. Тропа есть, не надо было по камням. Просто реку придется вброд. И все.

— И все. Ага.

— Какая-то ты совсем неживая. Королёвы с собой зовут, кстати.

— Не сомневаюсь.

— И ребята говорят, там проблем не будет. Простой перевал, они снарягой не пользовались даже. А сами завтра идут, куда сегодня мы, только на ледник. У них восхождение, трешка.

— Флаг им в руки.

— Светк. Ну ты чего, правда? Не тухни.

— Я не тухну. Ты что Королёвым сказал?

— Ничего пока. Что мы подумаем.

— И как, подумал?

— Светка, ну мы зачем сюда пришли? Чтобы на месте торчать? Чтобы по одному и тому же маршруту туда-обратно топтать?

— Ладно, Стас. Делай как знаешь.

Ушел. Обиделся? Ну и пусть. В конце концов, она тоже имеет право. На свое *хочу* и на свое *не могу*. Жаль только, что у них в этом году они такие разные. Неприятно.

Закопалась в спальник поглубже, с головой. Холодно. Горная ночь, промозглая. Насколько день выдался жаркий, настолько ночь будет стылая. Зато будут звезды. Август, конечно, лету привет. Скоро и снег пойдет. Укроет здесь все — кострище, стоянку, мертвый кедр. Кусты у берега. Дурацкие свечки, которые Королёвы не заберут с собой. Зато люди уйдут отсюда, сезон кончится. Перестанут приходить, беспокоить. Будить. Голосами своими, жизнями наполнять. Останется только озеро. И тайга. И ледник над всем этим.

Что-то вдруг вздрогнуло, зазвенело и рассыпалось. Прислушалась. Гитара? Так и есть. Ударили по аккордам. И пробежали перебором. О, нет... Только не это, не дадут спокойно поспать. Ну кто, кто, скажите мне, таскает с собой в наше время гитару! Анахронизм какой-то. Питерцы, что ли? Альпинисты, мать их? Кто бы еще.

Крылья сложили палатки, их кончен полёт.

Крылья расправил предвестник разлук самолёт.

Пеплом несмелым подёрнулись угли костра.

Вот и закончилось всё, расставаться пора.

Припев пели на три голоса, негромко, проникновенно. Прямо-таки задушевно. И хотелось одновременно и плакать, и материться. Потому что нельзя же так, ну нельзя, честное слово. Нельзя, что ли, оставить в покое того, кому нужен покой. Нельзя не трогать, соблюдать тишину. Никуда не звать, не тормошить, не поить чаем. Не веселить и не развлекать.

Нет, нельзя. Достали. Вытащили. Ворча, как старый медведь, не зажигая фонарика, вылезла из палатки. Голоса уже смолкли, гитара стихла, только костер горел там, у воды. Спины чернели на его фоне. Говорили негромко. Светка остановилась в двух шагах. Вдруг показалось, что идти дальше не стоит. Так и стояла в темноте, прижавшись к мертвому дереву. Из той тишины, из того одиночества, в которое сама себя загнала, смотрела, и было странно, что может приблизиться, заговорить с ними. Попросить чаю. Подвинуться ближе к огню. Нет, не может. Она так замерзла, так

устала, так опустошена всем, что случилось, что чувствовала себя не человеком уже — духом местным, нездешним совсем существом.

— Я не уверена, что в этом есть смысл, — долетело потом, когда уши все же раскрылись, а глаза привыкли к контрастным теням от огня. — В смысле, чтобы идти на перевал. Как колени, болят?

— Да нормально мои колени, не думай даже! Вообще все нормально. А перевал сам в руки идет. Нельзя же упускать.

Татьяна и дядя Миша. И снова Татьяна:

— Мы уже были сегодня на одном. Тебе не хватит для первого раза?

— Вот обязательно надо напомнить, да? Ну и что, что первый. Главное, не количество, а качество. И Лёшке интересно будет. Пусть привыкает пацан.

— Лёшке, — вздохнула. — Кажется, ему это вообще не особо.

— Ну, мила, надо было знать, за кого замуж...

— Ох, прекрати.

Татьяна скользнула с бревна, на котором сидела, подкинула полешко в костер. Занялось ярче, запрыгали тени, и стало ясно, что рядом никого уже нет, они там вдвоем. И говорят то, что предназначено только им. Остальные уже рассосались по палаткам, вон мечутся лучи фонариков между кедров. А она, выходит, подслушивает. Нехорошо выходит. И стоило бы уйти, но она как будто приросла к дереву, не сдвинуться с места.

— Мне кажется, ты как будто пытаешься что-то наверстать. Каждое слово долетало, хоть и было не для нее. — Но ты пойми просто, что так не бывает. Всему свое время.

— А ты меня не списывай, не списывай. Мы еще побегаем. Нашла старика.

— Я не про возраст, Миш.

— А про что?

— Ну, просто. Чего тебе раньше не бегалось? Когда и мне этого хотелось.

— Тебе ли не знать! И чего не бегалось. И что я делал, пока некоторые, задрав хвост, неизвестно где носились. И деньги как — вот этими самыми руками! А ведь все для тебя.

— Ой ли! Мишка, ну вот, правда, не надо. Это детям можешь заливать, я-то, слава богу, все помню.

— И что ты помнишь? Как я каждые выходные к тебе мотался, помнишь? А кто-то за труд считал даже предупредить меня, что ее дома не будет. Приедешь, как дурак, а мама твоя: «Танюши нет, Танюша на слете. Танюши нет, Танюша в походе. Танюши нет, она по распределению уехала». — «Куда?» — «В Казахстан». И все. Ищи, свищи.

— Ладно тебе, Казахстан. Другая планета, что ли?

— Ага. А потом еще лучше: «Танюша замуж вышла, можешь больше не приезжать». Нормально?

— Миш, хватит. Кто старое помянет. Двадцать лет прошло.

— Двадцать два. По Аньке считать можно. — И замолчал злобно. Даже отсюда слышно, что не просто так замолчал. И потом: — А могли бы быть мои. Оба.

— Миш, не начинай. Они и так тебя любят. Сам как будто не помнишь. Каждый раз, как приедешь: дядя Миша, дядя Миша! С рук не слезали. Особенно Лёшка.

— То-то и оно. Дядя. Ай, да...

Замолчали. Костер трещал. На небе качались звезды. Падали куда-то за перевал. Одна, вторая. Было холодно.

Татьяна прижалась ему под бок, вкрутилась под руку.

— Мишка, хватит уже, ладно? Мы же решили вроде: все заново. С нуля.

— Ага. С нуля. — Но голос уже оттаял. Сжал ее медвежьей хваткой, привалил к себе: — Эх, Танька, Танька. Дура ты все-таки безмозглая. Ведь двадцать два года... Двадцать два.

Луч фонарика разрезал ночь, выхватил Светку, стал увеличиваться. Из-за него вышел Стас.

— Вот ты где! Чего пугаешь? Думал, ты лежишь, тебе плохо. Прихожу — а нет ее! И куда?

— Тихо ты. Выключи. Мне лучше уже.

— Правда? — Недоверчиво взгляделся. Хотя что разглядишь так, в темноте. — Ладно. Чего торчишь-то? Я термос с чаем в палатку отнес. Иди, выпей, да спать будем.

— Так, думаю.

— О чем?

— Надо было пастель брать. Серую, белую и уголь. И серую бумагу. Я бы это все нарисовала. Пепельное небо. Черные деревья. Звезды. Отблеск костра на воде.

— Художник. Замерзла совсем. Иди давай.

Приобнял за плечо и пропустил вперед по тропинке. И включил сзади фонарик, чтобы видела, куда ступает.

— Стас, а гитару кто принес? Питерцы?

— Какую гитару?

— Ну, играла которая.

— Тебе приснилось, нет? Никакой гитары. Кто в наше время гитары с собой носит?

По корням поднимались, как по ступеням. В соседних палатках тоже еще мелькали огни, слышались приглушенные голоса. Люди жили, дышали рядом. И совсем не раздражали сейчас.

— Стас, а ты что дяде Мише в итоге сказал?

— Что мы останемся. Что тебе плохо. Поживем пока, а потом спустимся, как пришли, по реке. Они ждать не будут, не переживай, у них дней в обрез до самолета.

— Стас. — Развернулась. Дождалась, что догонит. Погасила сама фонарик у него на лбу. В темноте стояла вплотную, теплое дыхание чувствовалось на лице. — Слушай, если ты хочешь, иди с ними. Продукты разделим, палатку бери, я за день спущусь до базы, буду тебя там ждать. Я просто не хочу, чтобы для тебя быть, ну как бы обузой, что ли...

— Все сказала? Молодец. Вон палатка. Шуруй давай.

Залезли оба. Спали, обнявшись от холода. И Светка знала, что проспит долго и не будет слышать утром ни голосов, ни стука топора, ни шума дождя по тенту.

А когда проснется, никого уже не будет. Дождь прекратится, и тучи разойдутся к полудню. Озеро будет опять играть, отражая небо и горы, и Светка сядет и станет все старательно зарисовывать.

Она нарисует озеро, горы и ледник.

Она нарисует склон, по которому вчера лезли, и желтый шарик как символ дома.

Она нарисует безымянное озерцо там, на плато. И памятник, и гитару у его подножья.

А на последней картонке нарисует тропу вниз. И две фигуры, идущие по ней. Слева, синим и белым — река. Справа, темно-зеленым — тайга. Две закорючки — два рюкзака на ножках, красный и желтый. Веселые, живые, топают вниз, к людям, а за спинами остаются одиночество и красота.

Стасу этюд понравится, возьмут с собой. Остальные попрячут в кедрах.

Андрей Дмитриев

Свет по ту сторону тьмы

* * *

Пушкин —
уж как
проронит в душу
семечко груши,
уж как —
морем надушен —
выйдет на сушу,
уж как
станет бронзовым мужем,
омытым гусарским пуншем,
уж как
станет солнышком будущему,
что развесило уши,
в которых извечно беруши.

Пушкин —
уж как
взобьёт подушку
и ляжет ногами наружу,
пока, севши в лужу,
читатель размок и простужен,
уж как встряхнёт кружево
африканских волос и в ужасе
крикнет: ну и кому же!

А мы сядем в углу с кружкой
чёрного чая
и затанем потуже
поясок этого вот отчаяния.

Дмитриев Андрей Николаевич — родился в 1976 году в г.Бор Нижегородской области. Окончил юридический факультет Нижегородского коммерческого института. Обозреватель областной газеты «Земля нижегородская». Автор четырех сборников стихов, в том числе «Африкаснег» (Владивосток, 2016) и «Глубина тиснения» (Нижний Новгород, 2018). Живет в Нижнем Новгороде.

* * *

Конь — в пальто,
утка — в куртке...
Цирк шапито —
превратился в маршрутку
на хлюпком кольце
цвета грязного снега,
где ловит пинцет
бинт стерильного севера
в развернутой ране
морозных закатов,
хоть город упрямо
вскочит с кровати,
и вновь лопнут швы...
Тротуаром некошеным
уйти не спеши
из озябшего прошлого
без хлебного крошева...

А на волне радио «Ретро»
Джо Дассен убаюкивал страждущих
своим «па-ба па-ба-ба-ба»,
и это по-прежнему было так трогательно,
что казалось, если зима уже никогда не кончится —
все мы наденем оранжевые жилеты
и большими лопатами
качнём мироздания сугроб
в такт волнительной песне
на краю непутёвой дороги,
становясь с каждым взмахом бессмертными...

Новая метеосводка
соткана
из житейского опыта:
не расставайтесь с кофтами...

* * *

Шёлковый Путь —
шёлковым будь,
чтобы погонщика грудь
вздымалась
только при слове «оазис»...
Сухие пески —
скрипят меж страниц.
Казалось бы, никаких перспектив,
а — гляди ж таки — львиц
рычание
царственное
укачивает
в своём сытом пафосе
и не требует крови...

Ночь — оседает,
и хочется к изголовью
положить россыпь яблок из сада.

Вот так — умозрительным
саксаулом
молчишь о ком-нибудь сиром
и снулом,
будто став стулом
возле распахнутых
окон,
где пахнет
грозой, спешащей с востока.

Шёлковый Путь —
лишь нить, и в этом-то суть.
В ритме сердца
мотать на палец —
как тутовый шелкопряд на тельце,
не ведая, сколько осталось...

* * *

Монгол
окончил монолог
про магию
огня и олова.
Из рукава взметнулся голубь,
хоть воздух гол
и перемолот.
Сиди, зелёный богомол,
на лавке в сквере
возле школы,
пусть мчатся в темноту нукеры
по кромке скола —
кардиограммой
молний, пусть
история свою ест правду,
с которой громко наизусть
и страшно вкратце...

Шептали, шептали губы — не то,
что в параграфах сухим языком
разложено по полкам, ящичкам,
папкам, а искрящееся
на стыках времён и слов —
неподдающуюся логике боль,
идущую впереди лезвия тревогу,
прорастающее под гнётом
величия сострадание...
Это и было моление —
пытливое зёрнышко человека.

Кругом
разлито молоко...
А кто?
А в ком?
А далеко ль?
Сидит зелёный богомол,
а в лапках — воздух гол...

* * *

Корни деревьев
ищут золото жизни
так глубоко,
как хватает длины
в чёрном вареве
сосредоточенной почвы.
Нам не видно
этой кропотливой работы,
этого искреннего
устремления.
Мы привыкли
лишь констатировать
высоту и пышность цветения,
а что там —
за кадром грунта —
остаётся тёмным
чуланом земли,
где сложены ржавые ведра
и шанцевый инструмент,
где, кажется, нет ничего
для эстетики
пейзажиста...

Но если же крону,
держашую в пальцах листву
простым шелестящим чудом,
достойным таки восторга,
представить на миг
продолжением корня,
гейзером внутренней силы,
вырвавшимся из недр
воплощением веры
в свет по ту сторону тьмы —
начинаешь чувствовать,
что золото жизни
всё-таки найдено
и явлено миру...

Дмитрий Бирман

Два рассказа

Победитель

У деда было банальное имя Ганс, которое Мария не любила. Она называла его дед или Вебер.

Ганс к этому привык и не обижался, тем более что именно благодаря Марии он продолжал доживать свой тяжко-сладкий век в той самой квартире на Альте-Нюрнбергер-Штрассе, 25, где, собственно, и прошла вся его жизнь.

Если быть точным, то Ганс приходился ей не дедом, а прадедом.

Ганс и Анна взяли правнучку к себе, когда внучка Урсула родила очаровательную малышку от турка Арикана. Красивый и сексуальный эмигрант работал вместе с ней на заводе корпорации БМВ, в так любимом ими родном Регенсбурге.

Собственно, им было не привыкать: их дочь, Эльза, умерла во время родов, а ее муж с благодарностью (и тайной радостью) оставил малышку Урсулу на попечении бабушки и дедушки.

Турок исчез из их жизни так же стремительно, как и появился, а дотошный Ганс не поленился узнать значение его имени.

Оказалось, что Арикан — это... пчелиная кровь.

— Анна! — крикнул Ганс. — А что, у пчел есть кровь?

— Что случилось? — отозвалась Анна с кухни. — Почему ты спрашиваешь?

— Просто хочу знать! — криво усмехнулся Ганс.

— Мед есть, — глубокомысленно ответила Анна. — А про кровь я ничего не слышала.

Ганс любил сидеть на знаменитом кресле за своим старым письменным столом и смотреть через окно на Дунай.

Река жила своей мирной и сытой жизнью, а Гансу, наблюдавшему за мерцанием солнечных бликов, казалось, что его жизнь так же неспешна и вечна, как воды Дуная.

Кресло было действительно знаменитым и считалось талисманом их семьи. Оно чудом не сгорело, когда в одна тысяча девятьсот сорок пятом году горела вся Германия. Креслу просто повезло, оно оказалось в Американском секторе, впрочем, как и весь город.

Бирман Дмитрий Петрович — поэт, прозаик. Родился в 1961 году в Горьком. Автор многих книг, в том числе «Как вкусно пахнет дождь» (2012), «Ежедневник» (2013), «Странные люди» (2016). С 2017 года является Председателем оргкомитета Международного литературного фестиваля им. Максима Горького, который теперь ежегодно проходит в Нижнем Новгороде. Предыдущая публикация в «ДН» — 2018, № 3.

До возвращения Ганса из плена на нем сживал сам Оскар Шиндлер, который в течение пяти лет после войны жил в их доме.

Да, да! Тот самый промышленник Шиндлер, который спас во время Холокоста тысячу двести евреев, переведя их из Германии на свои фабрики в Польше и Чехии. Тот самый, про которого Стивен Спилберг снял один из своих лучших фильмов и, кстати, получил за него «Оскар».

Дело в том, что Шиндлер, который приехал в Регенсбург в тысяча девятьсот сорок пятом, облюбовал дом на берегу Дуная и занял квартиру Ганса, родители которого погибли во время бомбежки. Потом, когда тот вернулся из плена, он благородно перебрался в соседнюю, пустующую.

В общем, кресло уцелело, и Ганс любил сидеть на нем, за тем же письменным столом, за которым он первый раз открыл «Механика» Франка Гетенберга, когда сразу после школы пошел учиться на слесаря по машинам.

Потом было Трудовое агентство, потом вермахт и резервная рота в Ганновере, потом легкая кампания по оккупации Франции (он за рулем, он не пехота), потом Россия и Сталинград.

Что говорить, тогда, в Сталинграде, он был одним из немногих, кому достался счастливый билет под названием «жизнь».

В семье больше никогда не вспоминали беглого турка со странным именем.

Урсула вышла замуж, переехала в Мюнхен, а Мария продолжала жить с ними, превратившись из прелестной малышки в любознательную девочку, а затем в очаровательную и очень неглупую девушку.

Они с Гансом ладили и жили душа в душу, особенно после того, как оплакали Анну, сгоревшую от страшной и очень популярной в последнее время болезни всего за три месяца.

Мария быстро стала в квартире хозяйкой, тем более что Ганс, которому в прошлом году исполнилось девяносто лет, все больше сидел в своем кресле и молча смотрел на реку. Надо сказать, что несмотря на возраст, он сохранил ясный ум, внятную речь и длинную, тощую, прямую, как палка, фигуру.

— Дед, — Мария раскладывала вымытую после ужина посуду в ящике над мойкой, — к нам завтра в гости Петер придет, не возражаешь?

— О! — сказал Ганс, не поворачивая головы.

— Что, «о», Вебер?! — горячая кровь давала себя знать. — Что тебе опять не нравится?!

Мария смачно выговорила слово «опять», как будто выплюнув его.

Повисла недолгая пауза. Ганс повернул голову, посмотрел своими когда-то голубыми, арийскими, а теперь уже выцветшими и слезящимися светлыми глазами на Марию и спокойно произнес:

— О! Опять эмигрант рвется в нашу семью, — у Ганса «опять» было тягуче-раздумчивым.

— Хотя к русским я отношусь хорошо, — добавил он с улыбкой, которая сразу сделала его лицо моложе лет на двадцать.

— Вебер! — Мария была непреклонна. — Он не русский. Он еврей из России!

Петер, он же Петя, учился вместе с ней в Регенсбургском университете на факультете математики.

— Родители увезли его из России по трем причинам, — спокойно и деловито Мария стала рассказывать Гансу историю своего друга.

Она налила в большую кружку сливки, добавила туда мелко нарезанную клубнику, купленную утром в соседнем магазине органических продуктов, поставила ее, вместе с серебряной ложкой, на ручке которой было изображение регенсбургского каменного моста — излюбленного места многочисленных туристов, — перед Гансом и продолжила:

— Во-первых, они не хотели, чтобы Петер служил в армии. Во-вторых, они

хотели дать сыну, помешанному на математике, возможность получить достойное образование в одном из лучших университетов Германии. В-третьих, я думаю, что это было самым главным, — они хотели получить хоть что-то от своего еврейства, используя программу, по которой Германия принимает евреев.

— Ну, ты же знаешь, дед, — Мария уже была прежней — доброй и заботливой. — Если до войны кто-то из родственников здесь жил и стал жертвой Холокоста, то таких принимают в первую очередь. А прабабка Петера жила до войны в Регенсбурге. Вся их многочисленная семья погибла, выжила только Анна, — тут Мария запнулась, посмотрела на Ганса, продолжив быстро и возбужденно:

— Представляешь, дед, она выжила, потому что Оскар Шиндлер, на завод которого Анну отправили выполнять «трудовую повинность», перевел ее с другими евреями в Польшу. Петер как только узнал, что мы живем в доме, на котором установлена мемориальная доска Праведнику мира, так и загорелся прийти к нам посмотреть. Я ему про кресло тоже рассказала, — Мария смущенно улыбнулась Гансу.

— Дальше я точно не знаю, какая-то романтическая история, после освобождения Кракова, — Мария закатила глаза и причмокнула: — В общем, она оказалась на Украине, вышла замуж, а после войны они с мужем переехали в Москву, к его родственникам.

— Вот так, ветеран, — она поцеловала Ганса в щеку и забрала у него из рук кружку с так и нетронутыми клубничкой и сливками.

Петер пришел вовремя, с цветами для Марии, бутылкой «Мозельского» и тортом. Мария представила его Гансу, который с интересом рассматривал гостя.

«Высокий, спортивный парень, с явно семитскими чертами лица, со вкусом одетый, что не характерно для современной молодежи, с очень неплохим немецким», — резюмировал для себя Ганс, закончив беглый осмотр, и улыбнулся гостю своей чудесной, молодой улыбкой.

Мария суежилась, и Гансу было заметно, как она волнуется. Был быстро накрыт стол, расставлен чайный сервиз, который Ганс подарил Анне на их десятую годовщину.

— Дед, садись к столу, только не торопись, — Мария знала, что Ганс терпеть не может, когда его поддерживают под руку. Он уверенно ходил, опираясь на палку с черным костяным набалдашником.

— Вот то самое кресло, — сказала она Петеру, и пока тот заворуженно смотрел на «эту деревяшку», как любовно называл кресло Ганс, Мария аккуратно нарезала торт, разложила на безукоризненно гладкой белой скатерти такие же белые салфетки, а уже на них, как учила прабабушка Анна, поставила десертные тарелки для торта, положив с левой стороны десертную вилку, с правой десертную ложку, а перед тарелкой поставила бокалы тонкого стекла на витых ножках. Кроме того, в центр стола она водрузила бутылку «Мозельского» и салфетницу с красными бумажными салфетками. Мария любила красный цвет.

Пока она хлопотала, Ганс достал из буфета хрустальный графин со шнапсом и поставил его рядом с вином и салфетницей. Мария недоуменно посмотрела на старика, но, безоружная перед его лукавой улыбкой, достала две хрустальные пузатые рюмки на длинных ножках и позвала Петера.

Ганс уверенной, хотя и чуть дрожащей рукой налил в рюмки шнапс, предоставив Петеру наполнить вином бокал дамы, поднял свою, сказал:

— Прозит! — и выпил до дна.

Мария сделала глоток вина, а Петер, чуть поморщившись, пригубил шнапс, поставил рюмку на стол и, пока Мария раскладывала по тарелкам аккуратно нарезанные куски торта, попросил:

— Герр Ганс, а расскажите про Оскара Шиндлера!

Ганс усмехнулся, налил себе еще рюмку, а когда поставил на место графин, вдруг увидел, как отразились в нем салфетки, сделавшие шнапс красным и живым.

На мгновение перед ним мелькнули замерзшая степь и ведро в лазарете, наполненное такой же, только уже мертвой жидкостью.

Рука задрожала чуть больше, но ему удалось выпить не расплескав ни капли.

Он взял десертную вилку, аккуратно положил в рот маленький кусочек торта, чуть прищурился и сказал:

— Сегодня я расскажу вам про Сталинград.

Петер замер, а Мария нервно рассмеялась:

— Ты что, Вебер, хочешь испортить вечер?

— Вот так же смеялись и мы, — Ганс, не моргая, посмотрел на Марию, а потом перевел взгляд на Петера: — перед самым Рождеством одна тысяча девятьсот сорок второго года.

Первые два дня мы смеялись: «Ха-ха, русские нас окружили!» — Ганс тяжело сглотнул и шумно втянул в себя воздух, — но мы быстро поняли, что все очень серьезно. Мы надеялись, все ждали, что Южная армия генерала Гота вытащит нас, но в начале ноября нам стало известно, что они отступили.

— А как вы узнали, что окружены, герр Вебер? — Петер не отрываясь смотрел на старика.

— Солдатский телеграф сообщил, — хмыкнул Ганс. — Я работал водителем грузовика, возил продовольствие. Из ведомостей снабжения я узнал, что нас там почти двести семьдесят пять тысяч.

— Я читал, что сто тысяч взяли в плен, а остальных уничтожили, — сказал Петер и ойкнул — Мария довольно сильно пнула его под столом.

— Да, сынок, — Ганс тяжело вздохнул. — Те, кого не уничтожили, позавидовали погибшим. Свинья Паулюс сказал, что будет верен приказу фюрера и станет сражаться до последнего патрона! Мы замерзли и умирали от ран, лазареты были переполнены, перевязочных материалов не было. Никто не обращал внимания ни на раненых, ни на убитых. Это были последние, самые печальные дни.

Ганс замолчал. Глаза его смотрели вдаль, поверх голов юноши и девушки.

— А мне не жалко вас! — Петер встал из-за стола. — Вы убивали детей и стариков, вы уничтожили в гетто всю семью моей прабабушки!

Ганс открыл глаза и, к нескрываемому удивлению покрасневшего, с раздутыми ноздрями Петера, улыбнулся:

— Мари, налей нам еще чаю! Присаживайтесь, юноша, что вы вскочили?

Мария, метнув на Петера испепеляющий взгляд, стала молча разливать чай.

— Я никого не убивал! Ни-ко-го! — отчеканил Ганс.

— Нам повезло, в нашей дивизии были лошади. Машину я бросил и занимался тем, что топил снег, — воды не было, а нужно было варить конину. Потом я стал посыльным командира батальона и доставлял сообщения в роты и в штаб. Ходил ночью. Степь, мороз минус тридцать градусов, — Ганс медленно размешивал чай, так и не положив в него сахар.

— А потом плен, — Ганс достал из стакана ложку, аккуратно положил ее на блюдце, сделал глоток, вопросительно посмотрел сначала на чай, видимо удивившись, что он не сладкий, а потом на Петера:

— Знаете, что первое сказали мне русские солдаты?

— Наверное, что они вас расстреляют, — растерянно пробормотал тот.

— Нет! — Ганс торжествующе хохотнул. — А вот и не угадал! Они меня спросили: «Ури есть?»

— Ури? — переспросила Мария.

— Да! — торжествовал Ганс, — ури! Русские считали, что так на немецком звучит слово «часы». У меня были карманные часы, и русский солдат дал мне за них буханку хлеба! Целую буханку!

Глаза старика радостно заблестели:

— Я хлеба месяц не видел! Но я — молодой дурак — сказал ему, что часы стоят

дороже! И тут произошло невероятное. — Ганс понизил голос и поднял вверх длинный указательный палец: — Русский запрыгнул в грузовик, выпрыгнул и дал мне еще кусок сала!

Ганс откинулся на спинку стула, задрал подбородок, гордо посмотрел на Петера и Марию.

— Да... В тот момент это было, наверное, большим богатством? — тихо спросила Мария.

— Богатством? — Ганс укоризненно покачал головой. — Нет! Дороже богатства! Тогда это было возможностью еще какое-то время оставаться живым.

— Потом нас построили. Я стоял полный бесконечного счастья, но тут ко мне подошел солдат, похожий на монгола, и отобрал у меня хлеб и сало.

Нас предупредили, что тот, кто выйдет из строя, будет сразу же застрелен, но когда мимо меня проходил русский солдат, который дал мне хлеб и сало, то я рванулся к нему. Застрелить меня не успели. Увидев меня, тот сам быстро подошел, а я каким-то неведомым способом объяснил, что у меня все отобрали. Тогда произошло настоящее чудо, хотя Рождество уже давно прошло! Он пошел, отобрал у монгола хлеб и сало, дал ему затрещину и принес продукты обратно. Потом он улыбнулся, хлопнул меня по плечу, что-то хотел сказать, но его окликнули: «Петрокузин!» И еще что-то там. Вот это «петрокузин» я запомнил на всю жизнь.

— А что это значит, дед? — Мария смотрела на Ганса широко раскрытыми от удивления турецкими глазами.

— Кузин,— это фамилия, — медленно произнес тот, не сводя глаз с Петера.

— А Петро — это Петр, Петя! — выдохнул тот.

Над столом повисла тишина.

— А что было потом? — Петер вытер пот со лба тыльной стороной ладони.

— Потом? — Ганс пожевал губами. — Потом я выжил, вернулся из плена в эту квартиру. После школы я успел выучиться на слесаря по ремонту машин, пошел работать на завод БМВ, встретил там Анну, прабабушку Марии.

В общем, жил, любил, молился.

Петеру показались, что светлые, выцветшие глаза Ганса стали совсем прозрачными.

— Молился? — Мария вскинула брови.

— Да,— Ганс поджал губы и закивал головой. — Молился каждый день. Я просил Бога, который снова подарил мне жизнь, сделать так, чтобы «петрокузин» тоже уцелел и чтобы мы с ним встретились.

— А! Значит, когда ты смотришь через окно на реку и шевелишь губами, ты молишься?

— Уже нет, моя девочка. Лет двадцать, а то и больше, как перестал.

— Почему?

Ганс неторопливо налил себе полную рюмку шнапса, молча выпил.

— Когда в России правил Горбачев, меня, старейшего работника завода, отправили в командировку в Горький, на автомобильный завод.

Толку, конечно, от этого не было никакого, я там видел станки, которые им поставлял Форд еще в конце тридцатых годов, но наше правительство всячески поддерживало любые контакты с русскими в благодарность за то, что Горбачев разрушил берлинскую стену и Германия объединилась. В Горьком, после обильного обеда с обязательной водкой, в сборочном цеху, в зале, где у них проходят то какие-то совещания, то какие-то концерты, я встретил «петрокузину». Я его сразу узнал. В расстегнутом кителе, он с улыбкой смотрел на меня с фотографии и, казалось, что вот-вот должен был спросить: «Ури есть?»

Ганс замолчал, прикрыл глаза, как будто снова хотел увидеть то далекое фото.

— Я спросил девушку-переводчика,— тут Ганс оживился, выпрямился, и глаза его заблестели. — Очень, кстати, милая была девушка! Так вот, я спросил ее: «Чей это портрет?» Она перевела вопрос начальнику цеха, и тот рассказал мне о Петре Семёновиче Кузине. Рассказал, что работник он был золотой, да только пил очень

сильно. Как демобилизовался после войны, на завод устроился слесарем, так и жил. Ни семьи, ни детей. Он говорил, что не может после контузии детей иметь. Друзей тоже не было, одни собутыльники. С работы не выгоняли — ветеран и руки золотые. Часы любые мог отремонтировать. Еще страсть была — рыбалка. Как-то пошел он зимой на рыбалку, а два парня и девушка с ними, на снегоходе, вдвоем поехали по речке, по льду на скорости прокатиться. Разогнались и в полынью попали. Снегоход и так тяжелый, да еще они все на нем, вот быстро и ушли под воду. Пётр Семёнович их-то вытащил, хотя не понятно как, а сам на дно ушел.

Дома у него даже фотографий не было. Нашли только эту. Военную.

Начальник цеха закончил рассказывать, а я все смотрел на фото и думал, что, видимо, плохо я молился.

Мария сидела, глотая слезы и заворуженно глядя на деда.

— Что же получается, — Петер задумчиво потер переносицу. — Получается, вы, герр Вебер, победили? И домой вернулись, и с трудностями справились, и семья у вас, и страна вон какая!

Ганс медленно поднялся, глаза его вдруг стали темно-синими, почти черными, он нахмурил брови:

— Победил «Петрокузин». Он обменял свою жизнь, как минимум, на три. А я просто выиграл в лотерею по билету, который он мне подарил.

День Победы в Эдинбурге

Надо же было такому случиться, что командировка совпала с самым почитаемым мною праздником!

С одной стороны, посетить Эдинбург в составе официальной делегации было очень заманчиво, с другой — отметить День Победы в Шотландии — сомнительная перспектива...

В новейшей истории России «пересмотр» и «передел» стали нормой. Однако Великий праздник День Победы будет отмечаться в нашей стране всегда, причем именно 9 мая.

Сегодня, набрав в поисковике Эдинбург, Шотландия, вы можете получить исчерпывающую информацию. Тогда, десять лет тому назад, я точно знал об этой стране только то, что стихи Бёрнса переводил Маршак, а шотландский виски самый лучший в мире.

Надо сказать, что поездки за границу в составе делегации тогда выглядели достаточно забавно. С одной стороны, международные контакты, безусловно, являлись важными и нужными, с другой, — после, как правило, необременительной, деловой части командированные официальные лица разбредались по магазинам, кафе и барам. Иногда, конечно, случалось, что театры и музеи тоже вызывали интерес, но это было скорее исключением из общего правила.

Нашу делегацию поселили в центре Эдинбурга, в шикарном отеле «Ле Меридиан». Напротив него, через дорогу, находится самый известный в городе винный магазин, история которого насчитывает более двухсот лет.

Девятого мая, после посещения Шотландского Парламента, перед ужином, я зашел в этот даже не магазин, а музей виски и после получасового раздумья выбрал... шесть литровых бутылок водки «Абсолют».

Я думаю, вы догадались, что в нашей делегации было именно шесть человек?

Вручив три пакета (по две бутылки в каждом) наиболее ответственным, я доложил руководителю делегации, что к встрече праздника все готово, однако при входе в ресторан нам надо быть аккуратнее с пакетами (мой жизненный опыт говорил о том, что со своим алкоголем в приличные заведения не пускают). Руководитель —

молодой и амбициозный министр — посмотрел на меня снисходительно, взял пакет и произнес:

— Наш Великий праздник мы будем отмечать по нашим правилам!

Администратор ресторана, милая девушка, которой уверенный министр передал пакет и поручение поставить водку в холодильник, белозубо улыбнулась и объяснила, что по их правилам нельзя приносить с собой алкоголь, а пакет она вернет, когда мы будем уходить.

С той же самой улыбкой она забрала пакет у второго ответственного лица, а вот третье... Третьим ответственным лицом был я, поэтому, быстро сориентировавшись в обстановке (опыт не пропьешь!), я мгновенно спрятал две драгоценные бутылки под плащ.

Людям, знакомым с нелегальным распитием напитков, не нужно объяснять, что уныло разместившись за столом, мы заказали литровую бутылку водки «Абсолют» (идентичную двум спасенным), которая, кстати, как нас и предупреждали знающие люди, была в четыре (!) раза дороже купленной в магазине.

Налили по первой, выпили за Победу! Между первой и второй промежуток небольшой — За Нашу Победу! За тех, кто не вернулся!

Сидевшие за соседними столиками с интересом наблюдали за группой мужчин в галстуках, которые после каждого тоста вставали и выпивали рюмку за рюмкой.

Когда мы начали третью (последнюю!) бутылку, я, как человек воспитанный, жестом предложил соседям присоединиться к нам.

Четверо китайцев за ближним столиком засмеялись и зашебетали, три шотландские дамы за столиком чуть подальше недоуменно пожали плечами, а накаченный юноша, который сидел с девушкой за столиком у окна, видимо решив, что я зову ее, встал и решительно двинулся в нашу сторону.

Вы знаете, как разговаривают на русском языке нелегальные иммигранты из Средней Азии?

Примерно так же, только очень уверенно и громко, я объяснил присутствующим, что у нас дома сегодня Великий праздник, что мы приглашаем их присоединиться к нам. После яркой речи я опрокинул рюмку, хлопнул по плечу напрягшегося качка, подмигнул сразу всем шотландским дамам и мотнул головой китайцам, подходите, мол!

На мгновение повисла густая и вязкая тишина, а потом...

Засмеялась шотландская дама с глубоким декольте, следом захихикали китайцы, а там и качок заулыбался и что-то начал мне говорить.

Я взял бутылку и стал обходить столики, наливая в рюмки и непринужденно общаясь. Когда, минут через десять, в зал вошла милая девушка-администратор, я, тяжело вздохнув, протянул ей оставшуюся рюмку водки, а покрасневшие шотландские дамы стали ей объяснять, как важно поддержать русских в такой день!

Девушка ошалела, открыла рот, чтобы ответить... я быстро влил ей содержимое рюмки и протянул стакан с соком....

Через пятнадцать минут нам вернули изъятые четыре бутылки вкуснейшей водки, а через полчаса еще два зала ресторана присоединились к нашему празднику.

Нестройными рядами мы вышли на улицу. За спиной оставались китайцы, обнимающие шотландских дам, милая администратор, уснувшая в кресле, багровый качок, девушка которого застыла в окне, глядя нам вслед с тоской и сожалением.

Постепенно мы выровняли шаг, начали идти в ногу и от всей души грянули «Катюшу», которая стала нашим Победным подарком спящему Эдинбургу!

Алексей Колесников

Мир непобедим

Рассказы

Ирокез

Но миром правят собаки
Тела населяют собаки
В мозгах завывают собаки
И выживают здесь только собаки

Е.Летов. «Собаки»

Кочуев не был виноват, он только следовал своей «полундре»...

М.Елизаров. «Госпиталь»

После выпускного я подрядился на стройку школы обычным подсобником. Естественно, даже эта должность досталась мне по блату — знакомый договорился с прорабом.

Одноклассница Верочка опубликовала недавно фотографию из того 2014-го лета. Раскинув семнадцатилетние ноги, она сохнет на шезлонге, а Ялтинское море, в уголке фотки, отражает кипящее солнышко. Красота, конечно! Подпись: «Школа окончена. До универа целое лето. Я хорошенькая и молодая. Бесценные воспоминания».

Я тем летом фотографировался по-другому. Вот я на фоне штабелей со шлакоблоком. А вот несу два ведра с раствором, приседая от напряжения. Собака Майдан, за моей спиной, метит бетономешалку. Несчастный рабочий спит на стекловате, загнанный водкой. Наверное, он чешется до сих пор.

Фотографировал Юра.

Эта работа была самой лучшей в моей жизни. Тяжело, но весело. Работать следовало непременно. Мои бедные родители, никогда не видевшие море воочию и ресторан изнутри, собирали копейки, чтобы оплатить чертово обучение. Можно было, конечно, сгонять в армию, но я решил так: пусть служат те, кто должен родине! Те, кто хоть что-то получили просто так. Пошел ты, товарищ майор! Упражняйся на правильных гражданах, выбравших правильное будущее. Делай их тупее себя. А я, знаешь ли, прочел тысячу книг и когда-то напишу свою. Мне нечего делать в казарме. Моя война в душе моей, и это по-настоящему опасно. Я ничего не должен государству. Я существую автономно, как и весь русский народ.

Колесников Алексей Юрьевич родился в 1993 году в Белгороде. Образование высшее юридическое. Печатался в журналах «Новая Юность», «Новый Берег». Живет в Белгороде. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

Отец мой заработал инвалидность на заводе. Мать невроты в школе у доски. Деда вышвырнули с сельскохозяйственного предприятия в девяностые. Я не знаю, что такое финансирование, стипендия, компенсация, льготы, пособия, бюджетное обучение, бюджетное жилье, страховка, карьерный рост, престижная работа, материальные поощрения, очередь на получение комнаты, скидки, призы, гранты, гарантии прав. Товарищ майор! Я всем обделен. Всем! Как мертвый. Я всегда всем за все плачу сколько скажут. Отстань от меня!

Товарищ майор, я помню, как девочка из приемной комиссии, таскавшая свитер в разгар лета, предупредила, что общагу получают только бюджетники. Я снял квартиру через риэлтора и отдал половину маминой зарплаты. Просто все так у них... Непокорлемо.

В общем, товарищ майор, я не хочу защищать такие порядки на войне. Я не готов умереть за право получить ипотеку. Не обижайся.

Ну ладно. Это я теперь такой злой. Тогда я был полон надежд и верил в рекламу. Однако желание поднагидить обществу уже тогда требовало от меня решительных действий.

Все нормальные закомплексованные подростки, обделенные лаской одноклассниц, начинают эксперименты с внешностью. Я отпустил ирокез. Причем, не колючий гребень, как у панков, а покладистый милый ирокезик. Мне казалось: я выгляжу дерзко.

Как и всем строителям во все времена, нам пообещали хорошие деньги. Мы знали, что уж половину заплатят точно.

Мама меня жалела, поэтому пыталась отговорить:

— Отдохни. Успеешь еще поработать. И что это за порядки такие: школьники строят школу, а?

Однако я был решителен. Можно заработать — зарабатывать.

Добравшись до стройки, я переодевался на втором этаже в рабочую форму: шорты, майка, специальные носки и кеды со звездами. Далее я надевал выстиранные перчатки и совал в карман бутылочку сладкой воды.

— Ты принц, конечно, — сказал мне плиточник Костик день на третий.

Захотелось оправдаться:

— В растворе домой ехать запахло просто.

— Не стыдись. Ты ж пролетарий. Раствор — не понос. Грязи только пидоры боятся.

— Да ладно, почти все переодеваются.

Мой аргумент был справедлив, но Костик все равно остался недоволен. Теперь мне ясно, почему. Слишком стерильно я выглядел. Молодой, в меру смазливый, чистенький, гибкий. Каждое утро у зеркала минут пятнадцать я тратил на несвоевременное бритье, а после тщательно чистил зубы и обязательно проверял длину ногтей. Я не выходил из дома, не посетив душ, а трусы менял строго каждые два дня, даже если не покидал комнату. Никто и никогда не видел меня в мятой рубашке или джинсах с вытянутыми коленями. Еще и ирокез...

Моя родина — глухой поселок. Ирокез там — это тест на толерантность, который все проваливают. Те же дела с пирсингом и татуировками. (В те времена, по крайней мере.)

На фоне чубчиков ирокез не скрыть. Я оскорблял чувства односельчан, как бы говоря им: «Смотрите, для меня важно быть непохожим». Какие у меня имелись основания выделяться? Да никаких! Тогда еще я не искал оснований для своих поступков, действуя по велению сердца.

Выламываясь на фоне остальных строителей юношеской свежестью, антипролетарской опрятностью и дерзким причесом, я был безответственен даже перед самим собой.

В школе ко мне привыкли и уже не замечали, а на стройке вспыхнула сотня новых глаз, воспаленных от похмелья и пыли. С первых дней я понял: будет куча претензий.

— В Курске бы тебя наказали за такой хаер, — через неделю предупредил Костик, когда мы вкалывали на первом этаже.

— Так мы не в Курске, Костик. — Я беспечно улыбался, таская кирпичи.

— Это да, — он плюнул себе между ног, сидя на корточках. — Дам я тебе совет, с барского плеча, так сказать: сбрей эту помойку и носи нормальную прическу, ясно?

— Какую?

Костик усмехнулся.

Сглаживать конфликт не хотелось. Драка сулила поражение. Он был не только старше, но и крепче, опытнее. Его перетянутые белыми венами руки сохраняли еще доцивилизационную мощь. В сравнении с Костином я казался обезьянкой, которую можно выжать в кипящий суп для навару.

Костик провел ладонью по черепу, оставив на волосах пыльный след:

— Вот такая прическа аккуратная. Под «троечку», — он тиснул макушку: — Чух, и готово! Прилично и не жарко. Сразу видно, что нормальный пацан. Не чепуха картонная.

— Мне и как сейчас нравится.

— А мне нет!

— Это твое дело. — Я улыбнулся, дестабилизируя конфликт. Получилось.

Такие воспитательные беседы со мной проводились часто. Каждый «воспитатель» не хотел казаться дикарем — я по глазам это видел. Они объясняли, как им казалось, очевидное. Искренне за меня, балбеса, переживали, не понимая, что природа нашего антагонизма абсурдна. Зачем вы тратите на меня силы, товарищи? А мне, со своей стороны, зачем выпендриваться ради вас? Поймите, пока мы увлечены противостоянием, разрушается неизведанная Венеция и пища сатанеет от пальмового масла. Давайте усложняться. Давайте счастье схватим за пальцы, а?

Директор, когда принимал меня на стройку, спросил на армянском русском:

— Ти точно сможешь?

— Скажут нести — понесу. Скажут подавать — подам. Подсобник — не инженер.

— Ко всиму нужен башка.

Неспешно выговорив еще что-то, он тоскливо глянул на ирокез. Как все всегда, в общем.

Я решил: нужно продержаться до конца лета, заработать денег и исчезнуть. Вести себя следует скромно. Дерзить не надо, но и подстраиваться под каждого дикаря тоже не стоит. Мой ирокез — это воспитательная акция. Гуманитарная помощь отставшим индивидам.

Вскоре ко мне привыкли. В открытую не смеялись и не приставали. Ну ирокез, ну умывается тщательно, ну в контейнерах носит обед, а не в кульке, и что, собственно? С работой справляется, и ладно. Чем бы дите не баловалось, лишь бы не экстремизмом, в общем.

Обедая на крыше от грузовика, я подозвал пса Бормана. Сонно покачиваясь, он уселся рядом. За ним притрусила рыжая сука Бутылка.

— Обедали сегодня?

Борман оскалился, как пьяный.

— Ну, хватайте.

Я угостил собачью пару гречкой с подливой.

— Фашиста кормишь?

Я обернулся, — спрашивал Костик.

— Так он же с Бутылкой.

— Да, фашист с бутылкой — это не фашист с гранатой.

На удивление Костик был весел и мил. Присел рядом и принялся вычищать кисляки из Бутылкиных глаз. Собака вертела головой, но не убегала. Я ждал очередных нравоучений насчет внешности, но Костик лишь рассказал несмешную армейскую байку про недисциплинированного салагу, который возомнил о себе бог весть что. Потом собака ему откусила нос, и салага изменился. Стал проявлять небывалую чуткость к приказам командиров и проблемам товарищей.

Вообще отношение Костика ко мне менялось в зависимости от настроения. От интенсивности солнца, может быть. Кажется, он хотел и не мог увидеть во мне человека. Сам себе задавал мучительные вопросы. Пытался понять. Он надеялся нарастить душу, набирая в нее воздуха, но душа так не растет. Она может увеличиться в объеме, но потом все равно сдуется до горошины.

Стропальщик Лёха рассказывал, что Костик научился класть плитку в армии. Солдат там эксплуатировали, продавая их труд заинтересованным гражданам по цене ниже рыночной. Костик, чтобы не таскать кирпичи и не замешивать раствор, в короткие сроки обучился класть плитку, подвизавшись ремонтировать вечерами пол в туалете казармы.

— Талант, — завистливо рассказывал Лёха, затягиваясь сигареткой. — Плитку надо уметь... Криво тут не получится. Сноровка нужна. Я пробовал — неспособен. Руки трясутся, как голодные кишки.

— Костик, а что в твоём деле главное? — заискивающе интересовался я, пытаюсь установить контакт, без особого при этом желания.

Обычно он отвечал что-то вроде:

— Выглядеть как нормальный мужик.

Я замолкал.

При этом мне памятна лаконичная лекция об основах плиточного мастерства:

— Главное не спешить. Лучше лишний раз примериться, а потом слой убрать и посмотреть: как? Уровень — вот твой главный инструмент. Он все косячки заметит. Все по уровню делать нужно: плитку к плитке, чтобы ни одна не горбатилась, не торчала. Одну загонишь, и все — провал! Стена пузом пойдёт, а потом обвалится.

День на десятый у меня появился приятель. Нам вместе пришлось возводить сортир для строителей. Старый, сделанный на скорую руку, признали опасным для эксплуатации. Оказалось, что строительство туалета — это нечто позорное. По крайней мере, Костик на этом настаивал.

— Он тебе, Романыч, настроит. Слышь, опасное это дело, ему парашу доверять... — поддакивала Костику какая-то «пятая колонна» (уже не помню кто).

Опытный прораб Романыч отмахнулся, повторив приказ:

— Иди. Юра строит, а ты на подхвате.

На условности мне плевать. Главное, до сентября продержаться. Параша, так параша.

Солнце, особенно безжалостное в тот день, обжигало веки. Я шурился так старательно, что стянуло лицо. Хотелось на обед. Жилистый Юра, с ногами длиннее туловища, осмотрел меня безрадостно. Не зная, как закентоваться, я решил пошутить:

— Ну что, на парашу нас отправили, да?

Он ответил вопросом:

— Ты гелем его намазываешь?

— Нет. Водой обычной.

— Каждое утро?

— Приходится.

— И что, держится?!

— Не падает.

И тут я обрадовался едва уловимому стеснению на Юрином лице. Стесняющийся человек — сокровище. Чудо, а не человек!

— Так это... а ты не этот... не тот... не гэй?

Почему-то Юра произнес через «э».

— Нет, — ответил я. — А ты?

Он рассмеялся:

— У меня жена и две дочери.

Общая работа сблизилась. Я догадался, что Юру «свои» тоже не очень котируют. Не знаю, за что. Видимо, за его неспособность присоединиться к коллективу на основе принципа общей ненависти. Да он и вообще, кажется, не умел ненавидеть. Добряк. Среди собак он был бы сенбернаром.

Нужно сказать о Юриных «своих». Это были гастарбайтеры из Украины. В 2014 году, как известно, между русскими и украинцами только начался чемпионат ненависти. Украинцы жили прямо на стройке, и инициатива построить капитальный туалет исходила от них. Вскоре на нашем объекте воссоздалась точная модель человеческих отношений, существовавшая между селами Колотиловка и Покровка в первые дни войны. Граница, проходившая между будущей школьной столовой, где жили украинцы, и будущим спортзалом, где обедали и собирались мы, нарушалась редко. Однако нарушалась. Стороны при этом держались крайне любезно и даже обменивались сигаретами. Изредка ругали начальство, дескать, зажрались, суки, опять задержали аванс. После все вновь кучковались отдельно, пересказывая детали быта вражеской стороны. Украинцы считали, рассказывал Юра, что им мало платят из-за нас. Наш каменщик Глушко, наоборот, разъяснял, что платят нам скромно из-за «хохлов», согласных вкалывать за копейки, что существенным образом отражается на показателях рынка труда.

— Приехали... Страну развалили, теперь к нам сунулись порядки наводить. Мужики, да они и строить-то не умеют.

Один старый электрик — Липатов, кажется, — возразил:

— Так это не они приехали! Это их наш директор приобрел. Если не они, то таджики. Или алкашей по району соберут. Эти хоть строители настоящие.

— Кто их знает, какие они строители!

— Нормальные. Вон их работа, — он показал на «коробку» столовой на заднем дворе.

Разгорелся ненасытный спор, состоящий из цитат, позаимствованных в вечерних политических шоу, сомнительных фактов и нелогичных обобщений.

Я ушел мыть посуду.

«Власовцы», «бандеровцы», «хохлы», «майданутые», а они нам: «колорады», «оккупанты», «агрессоры», «москалы» — слова, как колода карт. На каждого валета есть дама. Один спорщик на козырей надеется, а другой — на крапленую десятку. Но вот, игра окончена. Первый в плюсе, а второй слегка проиграл. Карты в топку. Новые игроки. Новая колода. А хозяин казино не интересуется результатами партий. Он точно знает: казино — прибыльный бизнес. Самая дорогая в округе мулатка ему что-то шепчет в ухо на интернациональном языке. Он убавляет вопли политического шоу и закрывает глаза, чтоб ничего не испортилось.

Юра часто объяснял, что в Харькове всегда положительно относились к русским. Он так, я думаю, извинялся за националистический бардак. Я не требовал этих извинений, но и сам ощущал, что обязан оправдаться, причем не лично, а от лица нации. Идиотское чувство.

— Слушай, мы очень много говорим о политике. Теперь все разговоры с русскими сводятся к этому.

Мы возводили перегородку в будущей столовой. Юра намазывал долгий и широкий слой серого раствора, а потом зачем-то половину собирал мастерком в ведро. Прикрыв глаз, будто целясь, он вновь выбирал раствор из ведра, что-то измерял локтем, убирал лишнее и только после этого клал первый кирпич нового ряда. В общем, какие-то профессиональные хитрости.

— Ты прав. Только до знакомства с тобой я про политику ни с кем не говорил, совершенно. И не думал!

Я бегал с ведрами от бетономешалки к Юре и обратно.

— О! Как сметана растворчик! Молодец, пацан! — похвалил он, а потом глянул на меня, худого, красного, потного, и сказал наставительно: — Тебе про девок нужно думать, а не про политику!

— Кстати, о девках! — Мне хотелось рассказать эту историю, и я обрадовался возможности. — Обедаем мы сегодня. Сидим в спортзале, как всегда, почти полным национальным составом. Ну, треп идет бессмысленный. Глушко под это дело пачку клея через забор перекинул, а мы все дискутируем...

— Про политику? — Юра вынул сигаретку, прикурил и высморкался под ноги.

— Сначала про политику, а потом, после обеда, про баб. У кого какие приключения. Лёха солировал, как всегда, долго и скучно, а потом закурил и говорит: «Есть у нас на стройке одна... Хорошая женщина. Штукатурша. Надя! Знаете?» Мы никто Надю не знаем, а вот Лёха, судя по всему, давно за ней ухлестывает. В общем, он описал ее с такой любовью, как наш русско-украинский советский писатель Булгаков свою Маргариту. И такая она, и сякая. Веселая, добрая, а главное, животик круглый...

— Хм... Я ее что-то не знаю... — задумался Юра.

— Маргариту?

— Надю эту!

— А-а. А я теперь знаю! — продолжал рассказывать я. — После обеда меня послали куда? Натаскать штукатурам песка в актовый зал! Прихожу и, между делом, спрашиваю: «А кто Надя?» И тут поворачивается ко мне копия Лёхи, только в косынке и без переднего зуба! Лет сорок пять, видно, что плотно на стакане сидит, но зато бойкая, шустрая и лифчик не носит — соски через майку на волю стремятся.

Юра рассмеялся, вспомнив Лёху: дряблого, рябого, кривоногого мужика с гусиной грудью и шрамированной головой.

— И что она?

— Я, говорит, Надя, а шо? Женихи разыскивают? Тут я не выдержал — заржал. «Может, и разыскивают, говорю, вернее, наверняка. Вообще-то мне поручили у вас справляться о необходимых объемах песка». Она заскучала сразу. Сказала, что ей пофигу — сколько принесу, столько и намешают. Договорились на корыто.

После мы с Юрой вместе обедали. Он угостил меня невероятным салом. Густо перетянутое мясными веревочками, оно вздрагивало на черном хлебе, как девушка на морозе, а оказавшись во рту, мгновенно таяло, что шоколад в духовке. Понимаю, что это стереотип — про украинцев и сало, — но оно действительно там вкусное. Помню, как до войны мы ездили с родителями в Харьков и возили контрабандой целые кусищи этого желто-белого золота. Ну и, конечно, дешевые джинсы. Разница курсов позволяла почувствовать себя на Украине олигархом. Они, кстати, нас еще и за это не любят.

В тот день, после обеда, мы увидели вертолеты. До сих пор жители Белгородской области вспоминают о них как о самом ярком впечатлении всего лета.

В крупных городах вертолеты — обыденность. Там военный вертолет способен затеряться. Он невидим среди железных стрекоз, тянущих через город товары, полицию или буржуазную задницу, спешащую на футбол или к любовнице.

Военный вертолет в поселке — это война, о которой рассказывали по телевизору. Это засов изнутри на двери погреба.

Вертолеты напоминали раззадоренных ос, покинувших улей. Они плыли над

стройкой величественно. Мы боялись, что они рухнут на наши головы. Мы замерли, все как один, думая о родных. Мы видели лица пилотов — так низко летели махины. Мы снимали вертолеты на камеры, не зная, можно ли будет показывать видео. Мы, и русские, и украинцы, знали, куда летят вертолеты. Знали, зачем человек придумал военный вертолет.

Как хорошо, что я дезертир!

Я утаил кое-что от Юры. Там, среди штукатуров, я встретил Нину. Когда я вошел, она кокетливо засупонила цветастую рубашку. Заметив ее румяный живот, я смутился. Она улыбнулась.

Немногим меня старше, она все же казалась абсолютно своей среди горластых теток. Даже покрикивала на них. Ее движения были торопливыми и точными. Тетки же, наоборот, после обеда трудились лениво, берегли плечи и спины, сонно поглаживая стены шпателем.

И еще: пока я вертелся у Нининых ног (штукатуры работали со стремянок), до моих ушей доносились безобидные шутки насчет ирокеза. Вот зачем он был нужен, оказывается.

— Ты на «Дракошу» похож. Бутылка, — обратилась она к кудрявой собаке, — правда, он похож на тот мультик? Ты не смотрела, наверное.

Все, сказанное Ниной, казалось остроумным и трогательным. Она говорила, как актриса в моноспектакле. Головка в белой косынке — Нина, Ниночка. Угольная прядь мешает глазам. Белая пенка скопилась у устья рта. Потные полумесяцы под свежей грудью. Бамбуковый позвоночник под рубашкой от макушки до попы.

Все дело в контрасте. На фоне теплой и мягкой от раствора стены, среди этих буторчатых баб, она казалась ожившей статуей. Я до сих пор помню и затертые шорты, и перепачканную рубаху, и старенькие кеды в капельках краски.

— Подожди, Дракоша. — Нина скинула косынку, поправила волосы и добавила: — Поможешь мне клей принести.

Мы пошли вместе. От волнения я изменил походку, поэтому волновался еще сильнее. Оказалось, что мы примерно одного роста. Собака Бутылка сопровождала нас.

— Ты так смотришь на меня...

— Как?

— Слушай, я не маленькая. Я понравилась тебе, да?

— Почему?

— Что «почему»? Говорю же: по взгляду видно. Ты заруби себе на носу или на чемнибудь еще: у меня двое детей и любовник-дагестанец.

Мы как раз поднялись на второй этаж и шли вдоль окон без стеклопакетов. Школа смотрела пустыми глазницами. Следила за нами, завидуя нашей полноценности.

У одного из окон курил Костик. Он задумчиво прослеживал миграцию перистых облаков на север поселка. «Как разваренные пельмени», — подумал я.

Очень хотелось, чтобы Костик нас не заметил, но ощутив, наверное, мой напряженный взгляд, он обернулся и беззлобно оскалился. Я кивнул в знак приветствия. Он ответил.

— Друган твой? — спросила Нина.

— Ну, типа.

Она кончиками пальцев тронула мой ирокеза. Я отмахнулся, как от пламени.

— Забавно, — протянула Нина. — Слушай, а тебя не быют за него?

— А должны?

Она повела плечом:

— В поселке никто так не ходит.

— Они трусы.

— А ты смелый, значит?

— Пошли уже.

Я схватил сразу две пачки клея, а Нина одну. Глянуть издалека: молодые родители гуляют с тройней.

Нина жила неподалеку, на улице Коммунистической. После окончания ПТУ она уехала в город. Там что-то не сложилось, поэтому пришлось вернуться. Одно время мыла пол в кафе «Чёрное небо». «Там начальник урод». Бросила. Сидела без работы, а потом мать позвала подсобницей.

— В сезон штукатур может хорошо зарабатывать. А еще это полезно для фигуры. Вот. — Она встала на носочки, подняла руки вверх, вытянулась. Ни костей, ни жировых складок — березка в рубашке.

— Прикинь, — продолжала Нина, — пошла бы я поваром-кондитером — по профессии своей — и что!? Через год бы жопа в окно не влезла. Кстати, давай вместе пообедаем сегодня? Я набрала целый пакет хавчика. Приходи помогать, а то собакам отдавать жалко. Придешь?

— А у тебя действительно ребенок и дагестанец?

— Дурак! Какой дагестанец жене штукатурить разрешит!?

Действительно.

— А ребенок? — не унимался я.

— К сожалению, я бездетная, — она развела в сторону руки как для объятий.

Целую секунду я всматривался в ее черные глаза с неразличимыми зрачками. Нина искренне сожалела? Шутила? Или делилась радостью? До сих пор не знаю.

Обед пришлось организовывать наспех. Предварительно я занял будущую душевую комнату, разложив в ней свои вещи: сменную одежду и собранный мамой паек. Две доски я уложил на три шлакоблочины — получилась скамейка. Столик: крышка, накрытая гладким шифером, не слишком очищенным от налипшего раствора. Лишний мусор я выволок ведром на улицу, а дыру в стене завесил мешковиной, чтобы не сквозило. Эта комнатка, еще не оштукатуренная, с торчащими из бетонного пола подводками для воды, приглянулась мне сразу. В ней не воняло мочой, и располагалась она в самом дальнем уголке нашей стройки.

— Романтишно, — похвалила Нина.

— Приятно такое слышать, мадам, — ответил я, принимая натрамбованный едой пакет и термос.

Это было первое в моей жизни свидание. Нина сказала, что я чистоплюй.

— Как ты отдыхаешь от работы? — спросил я, уплетая холодную курицу под сыром и майонезом.

— Я очень люблю читать.

Мне никто не говорил этого прежде! Казалось, что книгами на всем свете увлечен лишь я. С возрастом выяснилось, что в городах, где всего больше, существуют реальные читающие существа. В поселках, а тем более в деревнях, давно таких не водится — вымерли, а новые не народились. Исключения не в счет. (Обычно, это забитые мальчики в дешевых свитерах. Их библиотекарь узнает по скрипу обуви.) Учителя за сорок пять способны вживить в беззащитные детские мозги Пушкина и Лермонтова, но далее, класса с восьмого, и они бессильны. Толстого, Достоевского, Шолохова и даже крошечного Чехова никто в моем поселке не читал в десятые годы, а сейчас всё еще хуже. На территории, сопоставимой с платоновским полюсом, не появилось ни одного книжного магазина за все те годы, пока я существую, если я существую вообще.

— А что ты любишь читать?! Современную литературу или классику? Нашу или зарубежную? А может стихи? Или, может... комиксы?

— Да ну нет, — сказала она, глотнув молока. — Я читаю мифы. Мне очень нравится про древних богов. Это я в последнее время увлеклась. Раньше пофигу было.

— И чем тебе мифы нравятся?

— Мужики там настоящие! Мужественные, сильные, смелые...

— И говорят скупое, — перебил ее я.

— Да. Не треплются, как бабы.

— У тебя молоко под носом. — Я поднял руку, но не дотронулся до Нины. — Мне очень нравится миф о Прометее. Читала?

Нина кивнула головой неопределенно. Я высказался:

— Первый ссыльнокаторжный. Я часто размышляю о том, как ему там было одиноко на этой горе. Наверное, когда вновь и вновь прилетал ненасытный орел, Прометей радовался ветерку от его крыльев. Кстати, и он дождался освобождения. Позитивный, в общем-то, финал...

Мы помолчали. Где-то близко заработал мотор крана дяди Пети.

— Все. Закончился обед, — сказала Нина и ушла, оставив мне пирожок с яйцом и луком.

Мы встречались случайно, но эти случайности я хитро планировал. Иногда у мокрого шланга — мы там омывали ноги. Иногда за столовой в тени уцелевшего тополя. Порой я поджидал Нину у кабинета директора, где нам рисовали «восьмерки». Однажды мы столкнулись у туалета. Я Нину по-джентельменски пропустил и отошел к забору, чтобы не слушать.

Служебный роман, в общем. Я не умел ухаживать за девушками и сейчас не умею. Делать что положено — стыдно. Делать то, чего по-настоящему хочется, — нельзя. Нужно все время откупаться, а откупаться нечем.

Однако уже к середине лета кое-что романтичнее сложилось. Большую часть строителей разогнали в связи с приездом какой-то инспекции. Украинцев вывезли в посадку, немногочисленных таджиков закрыли в котельной, а местных оставили. Понятно, что работать никто не хотел. Раздавались привычные строительные звуки, но они не составляли оркестр. Там бахнуло — тут гухнуло. Запела и умолкла бетономешалка, единожды кашлянул перфоратор.

В последнее время я помогал строгому каменщику, похожему на Максима Горького, но он куда-то исчез. В связи с задержкой зарплаты и с ее безосновательным сокращением возникла катастрофическая текучка. Помню день, когда на всю стройку остался только один человек, способный возвести стенку, и тот перегретый на солнце Аркадий Глушко. Даже украинцы, в качестве протеста, однажды бросили все и уехали. (Их потом лично Алексей Сергеевич, наш самый главный по финансам, уговаривал вернуться.)

Чудесным образом Романович не отправлял меня к Костику, будто чувствуя возникшую между нами неприязнь. Старый прораб, перевидавший всякое, моего ирокеза не чурался. Он поручил мне ответственную работу — откосы. Крановщик дядя Петя возносил нас с ведром к окнам третьего этажа, глушил кран и закуривал. А я, балансируя в дырявой люльке, суетливо гнал откос, черпая густой раствор надломленным мастерком. «Вот оборвется люлька, и позвоночник в шепки, — думал я. — Но ничего. Зато заработаю. И август уже скоро. Дембель!»

В тот день, незадолго до обеда, я услышал крик с земли:

— Пацан! Пацан! Быстрее! Пацан!

Я выглянул из люльки:

— Падаем?!

— Не! Слушай, посиди, пока я по делам сбегая, а?

Дядя Петя стоял у крана с вечной сигаретой под усами и хрипел от напряжения.

— Что случилось?

— Да телефон оставил, а на него щас бабища моя звонить будет. Жена ответит, и все! Ты ляпай тут, а я побежал, ладно?!

Не дождавшись моего одобрения, он заправил льняную рубашку в брюки со стрелками и понесся со двора.

Прежде я не знал, что у таких мужиков, как дядя Петя, бывают любовницы. Мне казалось, что любовь — это дело молодых, а молодость, считал я, заканчивается лет в двадцать пять. Смешно, конечно. Дядя Петя — усатый мужик под два метра ростом. У него есть кран, и он никогда не появлялся на работе пьяным. Естественно, у него есть любовница! Возможно, их несколько.

Настал обед. Стройка затихла. Солнце напоминало сигаретный ожог на васильковом платье. Хотелось многого: есть, пить и по-маленькому. Дядя Петя не появился. Двор опустел, как перед выносом покойника. Только рыжий кобель Серёга метил штаб Алексея Сергеевича, лениво задрал ногу.

С высоты наш муравейник казался трогательным. Не верилось, что школьники, такие же как я вчерашний, проживут здесь первые радости и несчастья, а стареющие учителя станут смотреть в окошко, позволяя глазам отдохнуть.

— Эй, Дракоша!

Я вскинулся и глянул вниз — Нина. Она держала ладошку у бровей, как богатыри на картине.

— Привет! — крикнул я. — Висю вот!

— А дядя Петя?

— Он по семейным обстоятельствам.

— К бабище своей убежал?!

Все, оказывается, были в курсе.

Нина подошла ближе — ее ноги скрылись под грудью.

— Как же ты без обеда?!

Я поднял на мастерке раствор:

— У меня тут и первое, и второе.

— Сейчас! — Она отбежала, а потом остановилась и добавила: — Никуда не уходи. —

Пошутила.

Я сел на перевернутое ведро и уставился в черное окно над люлькой. Квадрат Малевича! Можно вписывать в него все, что отсутствует. Вскоре в нем появилась Нина.

— Лови, — она швырнула мне пайку.

Котлета, яйцо, помидор и детский пакетик сока.

— А сама?

— И сама буду, — она продемонстрировала такой же кулек.

Забравшись на окно, как второклашка, она вынула яйцо, треснула им по коленке и очистила.

Я слегка растрогался: Нина не только обаятельная девушка, но еще и отличный товарищ.

— Спасибо тебе большое, Нина!

— Ешь, давай! Обед не вечный.

Потом, употребив пищу, Нина сонно попросила:

— Расскажи что-нибудь.

— Что?

— Сказку.

— А если уснешь и свалишься?

— Что ж ты за мужик, если я с тобой усну?!

Пользуясь тем, что не вся кровь еще устремилась от мозга к желудку, я начал: — Помнишь, был у нас на стройке мужик горбатый? Не то чтобы прям с горбом, но согнутый. В паленой адидасовской куртке ходил. Даже в жару, помнишь?

— Ну... Калаш, что-ли?

— Наверное. Ну вот, он пропал...

— Уволился же!

— Нет! Ничего подобного! Помнишь еще, пацан бегал рыжий-рыжий, весь в конопушках — тоже его не видно.

— Так тоже свалил он, — настаивала Нина.

— Ничего подобного!

— И куда они делись, по-твоему?

— Их скармливают оборотням, — хладнокровно ответил я. — Скажи мне, Нина-штукатур: сколько у нас собак на стройке?

— А я считала?

— Посчитай: Майдан, Борман, Серёжка, Мент, Бутылка и Раствор — шесть?

— Вроде...

— Так. Шесть собак, да?

— Да.

— Скажи теперь: ты их кормила когда-нибудь? Что ни кинь — от всего нос воротят. Знаешь, почему? Да потому что они исключительно человечесиной кормятся. Место их обитания помнишь? Возле штаба Алексея Сергеевича. — Я указал рукой. — Видела, как они там к вечеру стаей собираются и облизываются в ожидании?

— Что за чушь?

— Алексей Сергеевич их ставленник, понимаешь? — не замечая насмешек, продолжал я. — Собаки — реальные хозяева стройки. Мы тут возводим не школу, а новый Вавилон во имя оборотней, скрывающихся в собачьих шкурах. Днем они ошиваются рядышком, выбирая жертву, а потом сообщают о выборе Алексей Сергеевичу. Если оборотням приглянулся кто из строителей — все! Пиши пропало! Уволился горбатый будто, ага... конечно! Сцапали! В кабинет заволокли и скормили собакам! Хорошо хоть, до новой луны они терпят... А вот как серп разжиреет, как лучи луны темные очи прижгут, так и начинает их плоть паскудная крови человеческой алкать! Обращаются они тогда в уродливых человекоподобных существ, поросших красной щетиной. Скулят на луну — жалуются. Голод терзает чудовищ — голод лижет сердца. Если они вдруг останутся без жертвы, то к утру весь поселок передушат, как сонных в сарае курочек. Мы тут их благодетели. Их послушная добыча... — Я увлекался, не боясь смутить мою слушательницу литературщиной.

— Ты больной! — прошептала Нина. Кажется, ей нравилось.

Подул освежающий ветер. Во двор забрался незнакомый автомобиль. С тоской я подумал, что обед заканчивается. Сейчас исчезнет Нина, и сказке конец.

— А зачем им эта башня — Вавилон?

Я объяснил:

— Им нужен собственный храм. Каждому существу — своя крепость. Вон, глянь, Майдан побежал... видишь, как он двор метит?

— Как!?

— В форме пентаграммы. Звезду рисует, сука, — я схватил надкушенный помидор и швырнул в собаку. Майдан дернулся, понюхал приземлившийся овощной снаряд и глянул на меня саркастически.

Нина засмеялась — все было не зря.

— Пацан! — слышалось снизу.

Дядя Петя прикуривал новую сигарету от старой.

— Ну что там? — поинтересовался я.

— Все путем. Тебя спускать?

Нафантазировав себе несусветное, я решил, что у нас с Ниной роман. Однако мы и не виделись толком после свидания под небесами. Все как-то мельком, на ходу. Я приглашал Нину на обед и так просто посидеть на досках, но она не шла, ссылаясь на занятость:

— Требуют закончить классы до конца месяца. Загнали, гады.

Было еще одно. Как-то, разгружая газельку со стеклопакетами, я засвидетельст-

вовал долгий и, как мне показалось, неуверенный разговор Нины с неизвестным. Я видеть не мог — мешала пленка, которой я недавно сам завесил окно. Конечно, я решил, что там Костик, но быть в этом уверенным не могу до сих пор. На самом деле это совершенно не важно.

На День строителя, 11 августа, наш главный активист заявил директору:

— Гев Аликович, ты там передай мои слова: если зарплату не выдадут — забастуем до осени. А сегодня — сокращенный день! Работаем до двух и начинаем праздновать. Позвони и передай!

Никто забастовок не боялся, да и директор сам, кажется, против сокращенного дня не возражал. Стройка, набравшая скорость, мощь, вдруг захирела, как простуженная. Мы раньше положенного уходили с работ и долго тянулись в кабинет директора утром. Останавливались то поболтать, то выкурить очередную сигарету.

В тот день мы так и не начали с Юрой работать. Сидели и болтали в тени тополя.

— Приезжай в Харьков на рынок. Свожу тебя к корешу в палатку — у него джинсы — во!

— Так война же.

— Война посреди говна. Вызов сделаем! В Харькове тихо. Это в Киеве... там фашикам никак глотку не заткнут.

— Посмотрим, — вздохнул я. — А ты на сабантуй собираешься?

— Мы своим кругом, — с усмешкой ответил Юра.

— Национальным составом?

— Ага. Ты заходи к нам, если что. Ты ж горилку будешь пить?

Я пожал плечами. Было стыдно признаваться, что я еще не пробовал водку.

— А где Нина? — спросил я у тетки-штукатурщицы, которая частенько меня подкалывала насчет того, что я «жених».

— Домой ушла. У нее бабка заболела. Вот они с матерью и ушли. Вернется, может...

Раз Нины нет, то можно и выпить, подумалось мне. Праздник ведь.

Мы расположились в актовом зале без дверей и окон. Смастерили столы, организовали рукомойник и бочку для мусора. Пахло вареными яйцами, потом, водкой, луком, лимонадом, сигаретами и костром — на нем мы поджаривали хлеб.

— Выпей, — сказал Костик, сидевший рядом. — Ты же мужик.

Я старательно избегал его и рассчитывал соседствовать за столом с кем-то другим. Но он сам упал рядом и хлопнул меня по плечу, дружелюбно так, почти ласково: «Можно рядышком?»

— Если не привык, то немножко, — вкрадчиво поучал Костик. — Для аппетита чисто. Нужно же когда-то начинать!

Кто-то поддержал:

— Да врежь ты стакан! Чего ты!?

Я помнил, что в начале лета мой организм не перенес банку пива, безапелляционно исторгнув рыжую гадость. Бесцветная водка в пластиковом стаканчике казалась безобидной, что ли. В общем, я согласился.

Я ничего не почувствовал. Голова не закружилась, и ноги не потеплели. В горле чуть пощипало, и все.

— Красава! — похвалил Костик.

Закусив, я не отказался от следующего стакана. И еще одного. И еще.

Вскоре я не мог сфокусироваться на перевернутом ведре без дна. Оно глядело на меня пустотой и подрагивало. Вяло пережевывая хвостик лука, я пытался вникнуть в болтовню мужиков, но слышал только шорох губ. Слов отныне не стало.

Костик, раскрасневшийся, гладкий, смешливый, что-то спросил, а я кивнул в

ответ, не разобрав. Пытаясь подчинить своей воле лицо, я нахмурился и тяжело выдохнул — кисловатое дыхание обожгло ноздри.

Решив пройтись, я сонно поднялся и вышел из столовой. Остывающее солнце уныло утопало за церковью, подсушивая выступивший пот. Мимо, трясая ушами, пробежала сука Бутылка. «Самая кровожадная из оборотней», — почему-то подумал я. От мамы пришло сообщение, но прочесть его я не сумел. Почесывая лоб, я сел на травку и пустил слюну змейкой — попало на кеды.

Размечтавшись о свидании с Ниной, представляя, как это будет, я стал засыпать, но тут у виска что-то щелкнуло — я завалился на спину, треснувшись головой.

— Бить я тебя не буду, — послышался знакомый голос. — Бить нельзя, а то статью пришьют. — Хозяин голоса усмехнулся. — Но подстричь — подстригу. Ты не против?

Костик! Он как бы шутил со мной, а я идиотически улыбался и мямлил что-то невразумительное. Мне казалось, что если мы шутим, то ничего плохого не произойдет. Всякий раз, пытаясь подняться, я вновь заваливался на траву. Даже от малейшего толчка падал. Костик веселился, приговаривая:

— Дурашка-неваляшка. Я в армии таких по жопе ремнем учил.

Ворочаясь, я приминал траву и жалел ее, беззащитную, зеленую, ни в чем не виноватую. Как безысходно она зарывает соленой росой, когда солнце погаснет! Я целовал траву губами, не брезгуя черноземом, породившим ее. Окунал в нее губы и хотел плакать, но не плакал. Мне оставалось доработать одну неделю, и ничего бы не произошло. Я слишком расслабился. Забыл, что окружен оборотнями.

Что-то холодное лизнуло мой лоб и поплыло к макушке. Казалось, мне вычерпывают ложечкой мозг. Застыв в собачьей позе, я боялся пошевелиться, даже зажмуриться не мог. Костик держал меня за пылающее ухо и криво стриг, царапая кожу. Перышки волос сыпались в траву и терялись в ней. В тетрадном листочке мама хранит клочок моих первых, состриженных локонов — светлые, колечком. Как это трогательно: первые состриженные локоны сына.

Я несвязно молился. Просил сил, чтобы наказать обидчика, но тело не слушалось. Оно было беззащитно, а значит, вовсе не существовало.

— Еще спасибо мне скажешь, — пообещал Костик, вывернулся, содрогнулся, не отрезал, а дернул последний клоч над ухом и, наконец, отошел, собирая ртом весь воздух. Так пловцы делают, когда выползают из бассейна.

Остальное я помню плохо. Пришли украинцы, потом пришли наши. Стоя в кругу, они пьяно базарили насчет меня. Я отполз под яблоню и блеванул, не поднимаясь. Потом, по звукам, я догадался, что Юра и Костик дерутся. Зрители давали советы и улюлюкали, как на футбольном матче. Матерились все исключительно порусски. Хотелось подняться и помочь Юре, но даже развернуться и взглянуть не хватило сил. Пахло чем-то кислым. Я понял, что это аромат моего вывернутого желудка. Содрогаюсь от мерзости к самому себе, я поднялся, протер рукавом рот и обнаружил лишь темень.

— Живой? — громче, чем следовало, спросил Юра, трогая край разорванной рубахи

— Да. Ты победил?

— Разняли. — Юра сел рядом. — По очкам, наверное, я все-таки победил. Ногой сунул в челюсть ему, козлу!

— Это хорошо. Прости меня, Юра.

— За что?

— За то, что я есть.

Стыдясь случившегося, я три дня не появлялся на стройке, а когда собрался, выяснилось, что грянула забастовка — никто не работал. Украинцы уехали, побросав вещи. Многие местные уволились, не став бороться за зарплату. Остальные каждый день приходили на объект и ничего не делали. В основном пили.

С Ниной я общался эсэмэсками — она была подчеркнута холодна. День на третий я бросил эту затею, устав придумывать вопросы, являющиеся предлогом для нашего общения. Видимо, Нину оскорбило то, что я не эпический герой, а слабый русский мальчик.

В конце августа я явился к директору, чтобы уволиться. Он сидел полубоком к столу в неизменном черном пиджаке и курил, смотря на дождь за окном.

— Гев Аликович, я увольняться пришел, — объяснился я.

Черные глаза под густыми с проседью бровями долго меня, коротко стриженного рассматривали, а потом вернулись к дождю.

— Пиши заявление, — неспешно проговорил директор, вытащил ящик стола и пошарил в нем рукой не глядя.

Не знаю почему, но он заплатил мне расчетные. Причем полную сумму. Никому не платил, а мне отдал все. И отвернулся смотреть на дождь.

Занятия начались в ноябре. В универ я явился с коротеньким, но выкрашенным в зеленый ирокезом. Вскоре он превратился в агрессивные дикобразовские шипы. Это было по-настоящему экстравагантно. Прежний мой причесон шокировал только дикарей вроде Костика. А новый едва не довел до инфаркта декана. От ненависти он чуть не задохнулся, а по слухам, даже секретарша Лида не могла довести его до такого состояния.

Что ирокез! Я бы рога не стал спиливать, если бы они начали пробиваться из черепа после произошедшего!

— Мы тебя после первой сессии отчислим, — пообещал декан.

«Ага, конечно! Я учусь платно. Спонсирую вас всех. Кормлю, по сути», — хотел я сказать, но не сказал, конечно. И лишь улыбнулся, чтобы соответствовать образу разгильдяя.

Никто меня не отчислил. Сессию я сдал без троек и вообще, если бы умел выпрашивать, то получил бы красный диплом.

Ирокез определил отношение окружающих ко мне. Он формировал круг моих приятелей. Именно благодаря ирокезу у меня столько, как любят говорить не странные люди, странных приятелей. Мои девушки были выбраны ирокезом. Ирокез требовал останавливаться и показывать ментам паспорт чаще других. Ирокез, часто меняющий свои цвета, обращал на себя внимание сотен глаз в торговых центрах, кинотеатрах и в автобусах. Об ирокезе шушукались мамы коллеги в ее отсутствие.

Теперь я начисто облысел, как отец, дед и прадед. В офисе, в ящике моего стола, всегда хранится пластинка «Каптоприла», потому что я гипертоник, как мать, бабушка и прабабушка. Водка давно уже меня не подводит. Я способен усваивать ее в любых количествах.

В Украине до сих пор война. И где-то там, надеюсь, не воюет мой друг Юра.

Недавно, приехав к маме в поселок, я встретил Нину у супермаркета. Мы оба прикинулись, что незнакомы. Она некрасиво располнела и осунулась, превратившись в тетку наподобие тех, с которыми работала. Яркие ногти, кислотный пуховик, сапоги-ботфорты. Наливное лицо. Вялая сигаретка.

Никого со стройки (Костика тоже), я так и не встретил. Даже мельком из автобуса не увидел. Но однажды в псине, инспектирующей мусорку, я узнал Бутылку. Бессмертное существо с постаревшей мордой.

Она и не знает, что ее так прозвали люди. Какая глупая кличка для кудрявой псины с черным пятном на боку.

Как страшно все-таки, что человек способен выдумать все, если только захочет.

Святые

Первый Ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю.

Откровение Иоанна Богослова

Видимо, с самого начала я был обречен, и дело тут, полагаю, не в том, что пенсию мне выдавали на почте. Помню, что в самый первый раз я сунул бумажки в нагрудный карман байковой рубашки, поблагодарил и вышел под весеннее солнце, так приятно согревшее мои глаза. Я от него немного ослеп, поэтому пальцами стал тереть веки и, думаю, что очень забавно, приоткрыл рот. В глазах приятно почернело, а потом резко стало ясно. В шаге от меня стояли двое: Масал и Филька, вернее, стоял только Филька, а Масал сидел на корточках и курил, глядя на меня снизу вверх.

— Здарова! — сказал Филька, замахнулся как для удара, а потом резко изменил траекторию движения руки. Мы поздоровались — послышался звук удара босых ног об воду.

Масал отпружинил, оправил голубые джинсы и тоже меня поприветствовал. Нужно было что-то говорить, но я не знал, что.

— Че, пенсия? — будто радуясь за меня, спросил Филька. Он указал на мой выпуклый нагрудный карман.

Я кивнул.

— А че через почту?

Я напомнил Фильке, что у нас в селе банкомат часто неисправен. Какие-то хулиганы часто его разрывают на части, мечтая, видимо, обогатиться. Филька, понимающе усмехнулся и поинтересовался:

— Получается, ты пенсионер теперь, да?

— Получается так, — ответил я, улыбаясь. Чему улыбался? Идиот.

Все это время Масал безучастно читал что-то с телефона, а когда мы с Филькой шутили, то он приподнимал свои красивые глаза и улыбался, поддерживая нас. На нижней губе у него была черная родинка. Я все время на нее смотрел тогда и потом тоже.

Масал говорил на привычном для нашего села суржике. Например, вот так он спросил у меня про палец:

— Шо, як тыби живеться без пальцев?

— Почему «без пальцев?». Без пальца. Вот. — Я показал свою левую руку, осиротевшую без указательного.

Масал жеманно усмехнулся. Не сдержался. Филька глянул на товарища с укором и поддержал меня:

— Ничего, дядька Сашка вообще без ног живет.

— А пенсию яму платят? — спросил Масал.

— Должны, — ответил я.

Мы помолчали, потом Филька спросил:

— Ну а сколько ты получил?

Я ответил. Филька неодобрительно поджал нижнюю губу, повел головой в сторону и выругал государство. Поругал матом и при этом очень забавно, поэтому Масал хихикнул и провел розовой рукой по желтоватым, будто топленое молоко, волосам.

— Чюишь, ну а шо, давай проставься, да? С получки, — заискивающе предложил Масал.

— Нет, — строго ответил я.

На нищенскую пенсию мне нужно было жить весь месяц, если, конечно, раньше я не найду работу сторожем, дворником или вроде того. У нас в селе без связей никуда не устроишься, а у меня какие связи? Никаких. Я и на курятник-то попал чудом, а

теперь без пальца меня и туда не берут. Говорят: «Ты еще что-то себе отрубишь, а потом выплачивай тебе пособие».

Мой ответ парням не понравился. Особенно Масалу, его глаза сразу погасли, если можно так сказать. Я это сразу заметил. Конечно, он, как всегда в таких случаях, попробовал улыбнуться, но у него не получилось скрыть недовольство. Я тогда сразу заметил, что они оба переживают сильнейшее похмелье.

— Слухай, че ты мнешься? Жлоб шо ли? Пацанам якихся пятисот рублив зажав? Щас бы взяли пивка, сижек и посыдили бы по-пацански. А в потом мы тебя пригостим? Херли ще робыть до вечера, да?

Я молчал.

— Пошли, — сказал Филька и легонько потянул меня за курточку.

— Да не пойду я никуда! У меня еще дела сегодня, не могу я утром пить. Тем более, я вам не благотворительная организация. Все. Давайте, пацаны. — Сказав это, я чуть не расплакался от обиды, ненависти, неловкости и страха. Руки не протянул и побрел прочь, чувствуя их взгляды. Раскаленные спицы взглядов, упертые в мой затылок.

— Ну ты и жопашик! — крикнул Филька. — Я фигею, какой ты жопашик. Масал, дай сигу.

— Ныма, — коротко ответил Масал. Громко, чтобы я слышал. Это они для меня комедию разыгрывали.

— А у тебя есть? — крикнул Филька.

Они нагнали меня и шагали рядом.

— Я же не курю, — ответил я, отворачиваясь от их лиц.

— Купи нам сиг, ну по-пацански, ну фиг ли ты ломаешься, как целка, ну?

Я почти согласился, но форма просьбы была так возмутительна, эти козлы вели себя уж очень по-хамски. Очень! И я вдруг понял одно: если я поведусь на их уговоры, то стану ненавидеть сам себя всю оставшуюся жизнь. В общем, в очень грубой форме я их попросил отвалить.

— Ты с нами так не разговаривай, — пригрозил мне Филька и ухватил меня за рукав.

— Ага, — поддержал Масал. — Не дорос еще до нас, глист мамин.

Я понял, что предстоит неизбежное. Они уже завелись, уже без слов на своем зверином языке сговорились. Я сжал кулак без одного пальца (я левша) и вмазал Фильке в голубой и мягкий глаз. Филькина голова закинулась, но очень скоро он пришел в себя и ответил мне стремительным толчком в шею. Я задохнулся на миг, и этого времени хватило Масалу, чтобы врезать мне в ухо кулаком, пнуть ногой в коленку и повалить наконец-то на землю. Меня лежащего добивал уже Филька, он стучал своими отклеивающимися черными туфлями по затылку и ругался откуда-то сверху. Масал ржал. Я сам чуть не засмеялся в какой-то момент. Потом меня, скрюченного, они развернули, как ежа, Масал топнул ногой по мне и уронил вязкий плевок рядом с моими глазами.

— Да, — протянул Филька, — ты еще та шкура, конечно.

— Ты шерсть! — метко обозвал меня Масал, после чего нагнулся, нашарил деньги в кармане, показал их Фильке и знаешь что? Я могу поклясться, что Филькино желтое лицо с редкой серебряной бородой залилось блаженными тенями, как у святого.

Через месяц, когда я опять пришел на почту, Масала и Фильки не было. Я расписался в ведомости, купил на почте коробок спичек и вышел на улицу. Было зябко, и тучи так плотно завесили солнце, что казалось, стужается вечер, а не заворачивается рассветом новый день.

— Ну что ты, инвалид? Ничего здесь не болит? — Филька показал в область своего паха, обтянутого блестящим, очевидно новым спортивным трико.

Я молча двинулся в сторону магазина «Ольга». Ольга — это любовница главы нашей сельской администрации и по совместительству его зам по вопросам культуры.

У нее есть свой водитель, причем глава из личных денег доплачивает водителю три тысячи, чтобы тот открывал перед Ольгой дверь всякий раз, когда она садится в машину или выходит из нее. Мне это рассказывала мама, а ей, в свою очередь, однажды в церкви по секрету парикмахер этой Ольги Людмила. Я шел и думал о том, чтобы через эту Люду поспрашивать насчет работы, сторожем или водителем. Водить-то я без пальца могу, главное связи. Но где их взять? Кстати, дверь мне открывать перед Ольгой не хотелось совсем. Ни за три, ни за пять тысяч. Хотя, вот за десять, может быть. С меня же не убудет: она свою работу выполняет, а я буду выполнять свою, какая разница, кто чем занят... ну не знаю, в общем. Теперь-то что уже.

— Э, ты шо, оглох? Слух отшибло? — крикнул мне вслед Масал.

Я хотел сказать, что да, отшибло слух. Вы вот и отшибли в прошлый раз. Я два дня тогда лежал и твердое есть не мог, врал матери, что с велосипеда свалился. Хотел ответить так, но промолчал.

Они догнали меня, и между нами состоялся почти такой же, как и в прошлый раз, разговор, только теперь Филька ласково смотрел на меня и чуть позевывал. Он неловко как бы извинялся за произошедшее, оправдывал свое поведение, сводя все к самому тупому оправданию, которое может быть сформулировано только в обществе рабов и унтерменшев. В червевом сердце запущенной толпы, бывшей когда-то давным-давно народом. Филька сказал:

— Короче, ты сам виноват.

Отвратительно. Универсальное оправдание, применяемое к любому несчастью, к любой пропасти, в которую может быть сброшен человек.

— Сам виноват, понял? — повторил Филька еще раз.

— Тот, кто сам — никогда не виноват, — ответил я.

Они не оценили глубину моего философского открытия. Еще какое-то время мы поспорили, а потом они стали меня пинать. Били весело, с таким звуками, какие бывают, когда женщина моется в ванной. Я, наученный тем разом, сразу заорал. Помощи ждать было неоткуда — это понятно. Но моих врагов это немного пугало. Иначе вскоре Масал бы не сказал:

— Чуишь, Филька, хорош, а то опять об его туфли порвэшь, хорош.

«Хорош, хорош», — подумал я и открыл грязные глаза. Обветренная рука Фильки с неровно сломанным ногтем на указательном пальце тянулась к моему карману за пенсией.

Они мне оставили мои спички.

Если бы не мамина зарплата уборщицы, то мы бы умерли от голода в тот месяц. Помню, что однажды мы ужинали одной на двоих сваренной свеклой. Ее красный, поэтому пугающий сок растекся по всей миске, и мы макали в него ржаной сухарик один на двоих, запивая несладким чаем.

В мае, после Дня Победы над фашистами, я опять пошел на почту. Я просил перенести получение пенсии на пару дней, чтобы обмануть моих грабителей, но тетя Оксана сказала:

— Бери, раз пришел, некогда мне тут с вами.

Я свернул купюры трубочкой и сунул их в джинсы, решив, что не дам себя больше бить, буду сражаться, как крыса, чего бы мне это ни стоило. Шел дождь, Филька подплыл ко мне, дружески улыбаясь, и потребовал:

— Давай деньги.

Я грубо послал его, и драка началась. Сначала я даже немного лидировал: Масала я сильно ударил между ног, поэтому он отвалил, а Фильку я молотил по голове со всей ненавистью пострадавшего. Я рассек ему бровь, и казалось, победа близка, но Масал очень скоро откорчился, подкрался как бы сбоку и накинуд мне на шею петлю, сделанную из колючего фанатского шарфа. Так его в армии, видимо, научили. Я расслабился, запаниковал без кислорода. Филька сунул мне в челюсть и лишил меня первого зуба, я завалился на бок и больше уже ничего не чувствовал.

После этого мать пошла к участковому — к моему однокласснику Женьке Свистельникову. Со времен школы Женька разжирел (рассказывала мать), носил теперь короткую стрижку, и весь его крошечный кабинет был уставлен позолоченными иконами. Женька выслушал маму и посоветовал купить электрошокер.

— Да за что же его покупать? — спросила мать. Женька предложил взять кредит.

— У меня на них уже три заявления лежат, — пожаловался Женька. — А что я могу сделать? Они же чернокнижники. У них штрафов тысяч на сто, а толку? Они нигде не работают, имущества у них нет, голозадые ходят по деревне и милостыню просят. Как святые.

Мама, конечно, не рассчитывала на такую позицию местной власти, поэтому, возмущившись, почти закричала:

— Да разве ж им штраф?! Их судить нужно как преступников, а ты штраф!

Свистельников, как и в детстве, опустил взгляд на круглые коленки и оттуда, с тоном оправдывающегося, сказал:

— Чтобы их привлечь, нужны факты, нужно побои снять, свидетелей опросить. Это не так просто. Это целое мероприятие. Заявление, экспертиза и прочие процессуальные моменты, в общем, в следующий раз...

— В следующий раз!? — возмутилась мать, встав из-за стола. — Какой может быть следующий раз!? Они убьют его.

Тут, конечно, мама расплакалась, а Свистельников размяк и пообещал «проработать» Фильку и Масала.

Июнь был промозглым и дождливым. Двенадцатого числа я вышел из отделения почты, натянул на голову капюшон и бегом помчался к магазину «Ольга». Страшно хотелось жрать. Деньги, отдельными купюрами, я рассовал по всем, какие были, карманам. Филька и Масал ждали меня у входа. Масал курил, стряхивая пепел на промокшие кеды, а Филька что-то пережевывал. Очевидно, оба они были пьяны.

— Чего вчера не пришел? — недовольно спросил Филька, когда я приблизился.

— Да выходной же на почте, — ответил я.

Филька коротко глянул на Масала, а потом спросил серьезно, глядя на мои сжатые кулаки:

— Бить или сам отдашь?

Я ощутил несправедливость острее, чем прежде. Раньше, чтобы получить деньги, они были вынуждены меня колотить и рисковать здоровьем, а теперь, выходит, они хотели получить деньги безвозмездно, не пошевелив и пальцем. В то же время не мог я сказать им что-то вроде: «Бейте, ничего в жизни не дается просто так». В общем, я стоял и думал.

— Ты чего ментам настучал? Не по-пацански поступил, не по-пацански, — пристыдил меня Филька.

— Мама пожаловалась, — ответил я.

Масал улыбнулся, его смутило это нежное: «мама», а вот Филька, видимо, понял меня и простил.

Мы начали драться, прямо возле магазина. Бой был коротким, вскоре они свалили меня в лужу и стали монотонно терзать, без всякого удовольствия, так, с прохладцей даже. Филька, кстати, бил меня не сильно, я сначала подумал, что он жалеет меня, но потом услышал шепот:

— Не бей по лицу, не старайся сильно. Менту обещали.

Я все понял и лег на спину, чтобы им было удобнее вытаскивать деньги из промокшего в луже меня. Продавщица магазина «Ольга» выбежала из магазина и закричала:

— Что ж вы делаете? Вы мене всю клумбу истоптали, сволочи! Я сейчас Владимиру Владимировичу (главе) позвоню! А ну пошли отсюда!

Мои грабители лениво удалились, перешептываясь, конечно, забрав все мои деньги, а я полежал еще немного в грязи, а потом стал подниматься. Почему-то в этот

миг мир показался мне хрустальным, и осторожно, чтобы не повредить его, я перевернулся на другой бок, перенес центр тяжести на руки и потихоньку привстал. Чтобы вернуть себя к жизни, прежде чем окончательно распрямиться, я глотнул из лужи. Вода была соленой, и сладкие песчинки хрустели на зубах.

С этого времени о том, что меня грабят, знали все в селе. Но никто, ни один человек не попытался мне помочь. Ежемесячное избиение односельчанина стало для всех чем-то вроде засухи, лишь мешающей как следует расти огурцам.

Потом случилось нечто удивительное: в следующем месяце я от них улизнул. Обхитрил чудом. На радостях я купил продуктов сразу на всю пенсию и много-много зефира. Два пакета еды домой притащил. Когда мама ела колбасу с хлебом, она вдруг отвернулась к окну, и я, конечно, понял, что она плачет.

В июле я рассчитывал, что опять смогу от них удрать, но Филька и Масал встретили меня у дома и проводили до самой почты, потом мы опять дрались, и они опять отобрали пенсию. Было кое-что новенькое. Масал сказал:

— Ты нам ще за той раз теперь довжен, поняв?

Я показал фак беспалой некрасивой своей рукой.

Бежал тяжелый ледяной дождь с ветром, а эти двое медленно шли по жирной, промокшей земле, утопали в блестящем черноземе и казались самыми светлыми фигурами на фоне серых штормовых облаков. Ну, святые, в общем.

Все это продолжалось до зимы. Два раза я смог их обмануть и присвоить себе свое же. Они были очень недовольны и обещали «взять» с матери. Я почти лишился зубов, мое лицо больше не спухало, ну и похудел я, естественно, сильно. Подвизывал джинсы веревочкой, чтобы они не спадали, а еще теперь за пенсией я ходил только в очень старой и рваной одежде, чтобы не жалко было, а то грязь, кровь и все такое.

Снег пошел в декабре, прорвался, он сыпал и сыпал, днем и ночью, я чистил двор, иногда по два раза в день, старался чрезмерно, однако снега было столько, что казалось, он похоронит всех нас в своей пушистой и мокрой радости. Однако в середине декабря снегопад прекратился, солнце, удивительное, яркое, выбелило село, и ударили морозы. Вот в этот день умерла мама. Не от голода, конечно, но и от него тоже. Я ее еле похоронил. Пришлось занимать у многих. Могила сам копал, хорошо, что земля не успела как следует промерзнуть. Все было как положено: поп, поминки. Все как у людей, в общем.

Новый год я встречал в одиночестве, весь день смотрел телевизор и чай пил, а после поздравления президента лег спать. Вот в ту ночь я и решил уже все. Не могу сказать, что обдумывал долго и терзался. Скорее, я просто дал себе команду, как послушному псу.

Январскую пенсию я забрал в середине января. Был солнечный морозный день. Я такую погоду не люблю, глупо как-то: неприятный мороз и веселое желтое солнце. Они меня ждали за «Ольгой», подманивали и смеялись. Пар изо рта у них шел густой такой. Как молоко из-под коровы.

— Я предлагаю сразу подраться, — сказал Филька, — а то холодно, согреемся хоть.

Мы с Филькой в детстве даже немного дружили, странно, конечно, это все.

— Ну шо? Погнали? — спросил Масал и стал подходить ко мне, расставляя худые ноги.

Все мы так привыкли к этому мероприятию, что чувствовали некоторую неловкость друг перед другом за то, что исполняем свои обязанности немного формально. Филька зачем-то закурил. Сделал пару тяжек и выбросил сигарету в сугроб. Ударил меня.

Я был в старой отцовской морской шинели, там полы такие широкие. Вот как раз в них, под сердцем я прятал топор. Да, как Раскольников. Я высвободил моего дружка и даровал ему волю.

Помню, Масал запричитал, как старуха:

— Шо ты робишь? Шо робишь? Брось!

Я и бросил, когда закончил с Филькой. Прицелился и метнул топор в спину убегающего Масала. Топор попал обухом, но Масал все равно споткнулся и завалился, как неуклюжий мешок. Я подбежал и покарал его. Конечно, у меня сдали нервы, и поэтому я орудовал топором еще несколько минут зря. Бесплезный труд.

Удивительно, кстати, мягок человек.

Меня арестовали, конечно. Женька Свистельников приехал на своей «приоре» к моему дому ночью и принялся орать:

— Сдавайся!

А я у соседа был, ключи ему отдавал, чтобы он за домом присматривал: протапливал там, воров шугал. Я ведь выйду когда-то.

Помню, мент, который снимал отпечатки пальцев, спрашивал:

— А где еще один палец?

— Отрубил, — говорю, — случайно. И их тоже случайно. Несчастный случай. Сами, — говорю, — виноваты.

В общем, сию я уже пятый год. Юбилей получается. Когда выйду, то хочу к тебе первым делом съездить, не зря же мы год переписываемся, да? Вон каким я откровенным с тобой сделался. Всю правду, как есть, рассказал и ничего не утаил. Ты только не бойся. Я очень хороший человек, просто не мог я иначе. Нужно было разрубить петлю на шее, понимаешь? Там, с той пенсией январской, и материна последняя пришла. Не мог я им ее отдать, они и так пожирнели за мой счет. Хватит.

В селе все думают, что я свихнулся. Никто меня не жалеет. Однако теперь они будут знать, что все происходящее со мной — не было нормой. Все происходящее со мной — происходило со всеми сразу. Теперь все будут знать, что так нельзя. Поразительно, конечно, но приходится вот так доказывать всем известное. Конечно, я не образчик морали. Я только частный случай, окончившийся трагедией. Но как иначе ему окончиться, если с трагедии все началось?

Филька (на самом деле его звали Антон, а фамилия просто Филимонов) участвовал во второй чеченской войне, поэтому нашу сельскую школу называли в его честь. Бюст слепили и наклеили у крыльца. Масала все в селе знали, многие говорили так: «Хороший был парень, жалко... пожил бы еще».

В общем, все записали этих двоих в мученики, а меня в маньяки. Пугают мною теперь детей.

Надеюсь, ты видишь, что никакой я не маньяк, а они никакие не мученики. Надеюсь, видишь.

Все равно правды нет. Я вот одному здесь рассказал свою историю, и знаешь, что он мне на все это ответил?

— Они, — говорит, — святые по сравнению с тобой.

Как специально, гад!

У меня здесь времени много, я размышляю целыми днями о всяком, на прогулках тоже не перестаю. Снег сыпет и сыпет. Большая в этом году зима. Мы снег этот убираем: дорожки на шаг рассчитаем, а сугробы делаем по краям. Вымокнешь за день, распаришься, а потом придешь в барак, заползешь на нары, ноги подожмешь и сидишь. Как в детстве. Я в такие часы в голове сочиняю тебе письма, а по выходным сажусь писать.

Знаешь, может я совсем спятил, но мне кажется порой, что мой обрубленный палец немного подрос. Может быть такое, а?

Вечная пятница

Тушу окурок о серую стену подъезда, на которой нарисован изогнутый крест, — это не моих рук дело. Какое-то время стою и люблюсь крестом, а после поднимаюсь в квартиру моряка. Дверь открыта. В квартире бардак.

Пью у моряка с понедельника. Говорю ему всякое, а он не слушает. Называет меня «друг». А я никому не друг. Я один. И отец мой сирота, не познавший ласки.

— Ты принес?

Я отвечаю утвердительно. Протягиваю моряку шершавый пакет с водкой, килькой и хлебом. Он кивает одобрительно.

Килька у меня отлично получилась — я радуюсь этому про себя, а моряк говорит с кривой рожой, что очень меня ждал. Спрашивает о моих волосах. Я отвечаю, что их ветер распутал. Он запускает пухлые желтые пальцы в свои курчавые рыжие волосы и улыбается беззубым ртом.

В комнате моряка пахнет сигаретами и потом — эти ароматы смешивал я. Я пропитываюсь этим запахом, пока мы пьем.

Моряк говорит «бля», когда выпивает. Я предложил ему так говорить. Это слово ловкое, оно напоминает выстрел из дамского пистолета.

Смотрю на город через грязное окно — начинается снег.

Моряк обиженно разглядывает мое лицо и засыпает, сидя на стуле. У него задрался край майки — виден белый жирный живот с серыми волосами. Водки больше нет.

Пора идти. Знаю, что не вернусь. А у моряка через три дня лопнет аппендицит и он умрет от перитонита. Моряк не заметит приближения смерти в пьяном бреду. Умрет во сне, ощущая жар под сердцем.

Я глажу голову спящего на прощание забинтованной рукой и ухожу, набросив дубовую морскую шинель, — она пахнет рыбой.

На улице отлично сотворенная зима. Мне нравится снег — в моей истории он титры. Хочется курить, и я прошу сигарету у прохожего. Мне жертвуют. Я боюсь огня, поэтому прикуриваю зажмурившись.

На улицелюдно, как впрочем везде. Иду мимо магазинов и аптек, казнию и милую наугад встречных. Меня никто не узнает.

Захожу в сырой подвал пивной и прошу стакан светлого пива. Выпиваю залпом и прошу еще. Выпиваю опять. Торговец на меня не смотрит — он занят подсчетом денег. Прошу бутылку водки и понимаю ясно, что пора расплачиваться.

Выхожу из погребка и сталкиваюсь с подростками. Их двое. Один из них бьет меня по ребрам, и я чувствую знакомую боль. Сгибаюсь и точно падаю к ногам ударившего. Вдвоем они топчут меня ботинками, плюются и кричат. Смеются детскими голосами, превращая в фарш мое лицо. Я накрываю глаза ладонями и плачу. Мои слезы разъедают снег. Прошу о пощаде кровавым ртом, а они шарят по моим карманам. Находят тридцать рублей и водку.

Один из них закуривает дрожащими руками, а потом стирает с кулаков кровь о снег.

— Густая, — сообщает он.

Я киваю.

Присмотревшись ко мне внимательнее, он, видимо, узнает меня. Начинает мелко дрожать и безмолвно тычет в меня пальцем. Второй за нами следит бестолково, спрашивает вкрадчиво:

— Ты чего?

Молчание. Узнавший меня опускается на колени, кладет руки на голову и всхлипывает, потом потихоньку ложится на бок, опускает лицо в сугроб и, вздрагивая, шепчет неразборчивые слова.

Второй, не узнав меня, топчется на месте и трет руки о куртку. Наконец он сплевывает в снег и спрашивает:

— Кто ты?

Я отвечаю:

— Бог.

Алёна Жукова

Числа

Рассказ

Обратный отсчет отпущенного нам времени начинается в момент рождения, а жизнь умещается в прочерк между начальной и конечной комбинацией цифр на могильной плите. Кому-то выпадает прочерк длиной в десятилетия, для кого-то он измеряется часами и минутами. Первое число определяет второе, но знать финальную комбинацию цифр не хочется. Ребенок, надувая щеки и гордо выпячивая живот, разгибает пальцы: один, два, три... Так бы и жить, не выходя из детского безвременья, но придуманные людьми знаки для зарубок на времени, именуемые числами, острыми крючками вонзаются в мозг. Есть на земле люди, которые слышат их стройную гармонию. Я знаю такого человека — это не специалист по нумерологии, не астролог и не предсказатель, это молодая женщина. Загадочную музыку чисел она услышала в детстве. Стараясь постичь ее модуляции, зашла так далеко, что могла... Нет, давайте расскажу все по порядку.

В жизни маленькой Анюты все было, как у большинства детей из хороших семей: папа, мама, бабушки, дедушки с обеих сторон, престижная школа, уроки музыки, спортивные секции, танцевальный класс. Она не ленилась, прилежно училась и росла без особых проблем вроде хронических болезней, плохого аппетита или капризного характера. Единственная странность, досаждавшая родителям, проявлялась в желании забраться куда-нибудь повыше — дерево, забор ли, крыша гаража — все равно, а потом спрыгнуть оттуда, расставив руки, как крылья. Во снах она часто летала, а торчащие в разные стороны непослушные кудряшки напоминали перья взъерошенного воробья.

Ее жизнь изменилась в восьмой день рождения. В гости пришли соседские дети, парочка одноклассников и мама сестры Ирина с племянниками. Анюта ерзала на стуле, сидя за праздничным столом в шифоновом платье, которое согласилась надеть по настоянию мамы только потому, что это подарок тети Иры. Кусачий кружевной воротник впивался в шею, не давая вертеть головой, а пышная юбка все время задиралась, но это было все равно лучше того костюма, который купили незадолго до дня рождения. Мама называла костюм «выходным». Выходить в плиссированной юбке и жакете «вкусного кремового цвета», как говорила бабушка, полагалось к роялю во время экзаменов в музыкальной школе. Аня возненавидела его всей душой. Ее заставляли застегивать жакет на все пуговицы, а юбочку аккуратно разглаживать, когда садишься. Отыграв в нем экзамен за третий класс музыкальной школы, получила от мамы нагоняй, что вытирала мокрые от страха ладони о подол, нарушив похожие на

Жукова Ольга Григорьевна (псевдоним — Алёна Жукова) — прозаик, сценарист, кинокритик. Автор ряда книг, в т.ч. «К чему снились яблоки Марине» (2010), «Дуэт для одиночества» (2011), «Тайный знак» (2016), «Странная женщина» (2017). Лауреат нескольких литературных премий. Живет в Торонто. Предыдущая публикация в «ДН» — 2018, № 7.

лапшу складочки, — они потемнели и разъехались, потеряв тугую трубчатую форму. Пришлось срочно искать, во что бы обрядить именинницу. Виновница торжества в это время наслаждалась свободой, почесывая живот через дырку в сарафане, которая образовалась после неудачного прыжка с дерева, но тут появилась тетя Ира со своим «шифоновым сюрпризом» опять-таки кремового цвета, и Аня загрустила. Тетка вынула из пакета похожее на большой ком сахарной ваты оборчатое платье. Платье понравилось всем, кроме именинницы. Гости причмокивали и покачивали головами, говоря, что теперь девочка похожа на девочку, и даже больше — на куколку. Слово «куколка» Аня возненавидела еще сильнее, чем слово «кремовый».

Когда младшие из гостей, наевшись торта и надувшись ситро, выбежали с именинницей во двор, взрослые выдохнули, раскупорили бутылку шампанского, но тут за окном гроыхнуло, полил дождь и поднялся ветер. Пришлось звать всех назад, благо по телевизору шла «Мэри Поппинс», но дети отказывались заходить. Разинув рты, они смотрели на Анюту, едва удерживавшую в руках большой цветастый зонт. Чуть не взлетев, она прокричала: «Зачем нам телевизор? Сами летать будем, как Поппинс. Айда на гаражи!»

Гаражи были невысокими, где-то на уровне одноэтажного дома, но никто туда не полез. Дети с любопытством наблюдали за Анютой. Она забралась на крышу, распахнула над головой зонтик и прыгнула. В момент прыжка из-за порыва сильного ветра зонтик вывернулся, и, проделав в воздухе кувырок, девочка упала. Она лежала без движения, странно вывернув голову, и была похожа на сломанную куклу в нарядном платье, которую выбросили на дорогу за ненужностью. Под ней растекалось большое кровавое пятно. Дети с воплями бросились к дому...

Врач «скорой», осматривая девочку, хмурился и приказал немедленно везти в больницу. Диагностировали черепно-мозговую травму средней тяжести. Аня долго не приходила в сознание.

После падения у Анюты осталось чувство, что ее словно выставили за порог дома, а все, кто остались внутри, живут дружно и наблюдают за ее поведением — впустить или не впустить назад. Она бы с радостью вела себя хорошо, но мешал ветер. Даже самый маленький, дурашливый ветерок, теребивший легонько волосы, заставлял Анюту трястись от страха: она задыхалась, потели ладони, путались мысли и слова, а уж при сильных порывах становилось совсем худо — она забивалась в угол комнаты, отказываясь выходить на улицу. Детский психолог пытался понять, что именно пугает Анюту, когда дует ветер. Может, она боится, что он ее унесет далеко, как это случилось с Элли в книге «Волшебник Изумрудного города»? Аня отводила глаза и молчала. Никто бы не понял, если бы она попыталась рассказать, как ветер путает мысли, как нарушает ритм той музыки, которую она услышала после падения. Звуки пульсируют внутри головы и превращаются в цепочки чисел, а не нот. На вопрос доктора, чего бы ей больше всего хотелось, она знала ответ: ей хотелось, чтобы все услышали ту музыку чисел, которую слышит она, но вместо этого упрямо повторяла: «Хочу, чтобы все отстали от меня и оставили в покое».

Последствия травмы оказались тяжелыми. Аня превратилась из веселой, общительной девочки в инвалида. Она теряла равновесие при ходьбе, ее часто донимали головокружения; спорт и танцы пришлось оставить. Прыгать и летать ей тоже расхотелось. Уроки музыки превратились в пытку. Учительница недоумевала, куда делась Анина музыкальность, — ученица играла, как робот.

Родители, включая бабушек и дедушек, бросились лечить девочку, таская по врачам, психологам и всевозможным целителям от китайцев до цыган. Ничего не помогало. Аня все больше уходила в себя, часто пропускала школу, растеряла друзей. Ее не интересовало ничего, что занимает девочек в этом возрасте: ни где встретить принца, ни что надеть, ни как избавиться от прыщей и стать сногшибательно

прекрасной. В зеркало она не смотрелась, а зря. Взъерошенный воробышек по законам волшебной сказки постепенно превращался в дивную птицу.

Ей нравилось, уединившись, слушать музыку и покрывать страницы тетрадей, журналов, книг и даже стены бессмысленными цепочками цифр. Мама, видя дочкины странности, прикладывала ладони к губам, трясла головой и заходила в рыданиях. Папа твердил, что Анну надо отдать в математическую школу, если она жить не может без чисел. Увы, ее успехи в школьном курсе математики не впечатляли. Никакого особого математического дара никто в ней не замечал. Еще хуже было в музыкальной школе — дотянув семилетку, бросила, потому что не захотела играть придуманную кем-то музыку, а свои мелодии никак не рождались в ее голове.

То, что произошло накануне «выпускного», заставило родителей по-настоящему испугаться. Оказалось совершенно невозможным уговорить Аню пойти с одноклассниками на бал. Мама работала в родительском комитете по организации праздника, и ей поручили подготовить материалы для мемориальной доски учителей-ветеранов Великой Отечественной, чтобы дети помнили, кому они обязаны своим счастливым детством. Аня, случайно глянув в мамины списки, посоветовала проверить одно число, утверждая, что дата смерти указана неправильно. Мама проверила — Аня оказалась права. Исправив опечатку, спросила, откуда она это знает, ей что, знакома история жизни этого человека? Аня односложно ответила: «Вижу». «Что значит вижу? — удивилась мама. — А так?» Она прикрыла ладошкой столбики с датами рождения и смерти. Аня покачала головой: «Так не вижу. Мне нужно знать первое число». Мамина ладонь сдвинулась вправо. Аня, не задумываясь, назвала даты смерти. Оторопев, мама подняла глаза на Аню: «А может, ты знаешь, когда и мы умрем?» — и съёжилась. «Конечно знаю, но для живых это число условное. Есть комбинации цифр, которые возникают в разные моменты жизни и могут быть конечными, а могут и не быть. Почему, не могу ответить, думаю над этим, но кому это интересно?» — и, не взглянув на коробку с туфлями и платьем, купленными к выпускному, ушла в свою комнату, плотно затворив дверь.

Суперспособности Ани вызвали неподдельное волнение у поредевшего состава бабушек и дедушек — им особенно не терпелось узнать свое «второе» число. Семейный совет экстренно собрался в полном составе за круглым кухонным столом. Волновал главный вопрос: как она это делает? Высчитывает или ясновидение? Аня наотрез отказалась объяснять, что и как происходит в ее голове, и называть даты смерти всех собравшихся. Попросила никогда ее об этом не спрашивать, забыть эту никчемную, с ее точки зрения, способность, а лучше послушать музыку ее вычисления. Да, именно вычисления, а не сочинения. Собравшиеся поскущели, не добившись желаемого.

Анин опус звучал вполне сносно. Композитору похлопали, вежливо спросили, как называется произведение. Аня, с каменным лицом, лаконично ответила: «Номер один». Бабушка всплакнула. Беда, настигшая семью девять лет назад, не оставляла надежды на счастливую или хотя бы нормальную жизнь для Анян. Она не улыбалась, не смеялась, а плакала только тогда, когда испытывала физическую боль. Кому может понравиться такая девушка, даже если она красавица? Успокаивало их то, что в современном мире многие женщины сознательно выбирают одиночество, и главной для них становится карьера. Аня, несомненно, гений, и ее ждет блестящее карьерное будущее, возможно, даже Нобелевская премия, но вот выйдет ли она замуж? А может, стоит попробовать полечить ее где-нибудь за границей? Их Ирка выскочила замуж в Штаты. Довольная, зовет пожить сестру с семейством, но больше всех Аня ждет, чтобы проконсультировать у американских докторов.

План отъезда в Америку Ане категорически не понравился, она намеревалась поступать в консерваторию на композиторский факультет, не смущаясь, что давно забросила регулярные занятия музыкой и шансы поступить у нее нулевые. Конечно, срезалась на первом же экзамене и, к общей радости семьи, подала документы на экономический. Поступила, отлично училась и блестяще закончила с красным

дипломом, но потом неожиданно устроилась обычным бухгалтером на довольно скучную работу. На недоуменный вопрос — «почему?» — ответила, что знает улочку, которая ведет прямо к офису и не продувается ветром. Она считала это серьезным аргументом, а если кто думал иначе — его проблемы.

Фирма, куда Аня устроилась, работала с крупными инвесторами, давая рекомендации по биржевым сделкам. Анна сразу же понравилась начальству своей безукоризненной аккуратностью в расчетах, обязательностью и работоспособностью. Терпеливо просидев в своем рабочем кубике несколько лет, однажды решилась на смелый поступок. Проанализировав отчеты и планы компании за полугодие, отметила ошибочные шаги руководства и слабость стратегии и дала свой прогноз по ситуации на финансовых рынках, наметив пути выхода из кризиса. Прогноз был настолько неожиданным и неординарным, что казался бредом, но все, что предсказала эта бухгалтерша, получившая в коллективе прозвище Анька-робот, сбылось. Начальство тут же пригласило ее в группу аналитиков, где она встретила Вадима, свою первую любовь. Бурный гормональный всплеск вывел из эмоциональной комы почти тридцатилетнюю девственницу. Она влюбилась. Кроме пресловутой «химии», а в их случае алхимии чисел, для нее абстрактной, а для него материальной, их связала тайна быстрого обогащения и взлета компании. Разгадка тайны лежала на поверхности. Глава консалтинговой компании, сорокатрехлетний Вадим Сергеевич Моргуна, начинал и заканчивал рабочий день рука об руку со своей советчицей Анной, поразительным аналитиком и по совместительству — страстной любовницей. Дома Моргуна ждала новенькая, молоденькая жена, уже третья по счету, а две прежние растили его детей. С момента встречи с Анной Вадим утроил свои капиталы. Теперь с ее помощью он с легкостью отыгрывал на бирже деньги клиентов, щедро делясь с помощницей комиссионными и сладкими пряниками удовольствий, от безудержного секса и сказочных путешествий до царских подарков. Аня расцвела. Теперь она бесстрашно шла навстречу ветру, распахивая перед ним пышущую любовным жаром грудь. Все могло и дальше катиться и катиться, но Анина тележка забуксовала. Вадиму не хотелось терять время и выпускать удачу из рук, поэтому время свиданий неизбежно сокращалось. Он удивлялся, какой рассеянной и невнимательной она становится после секса, хотя должно быть наоборот — эмоции позади, можно как-то собраться, включить голову... Это обижало Аню, ей хотелось нежности, ласки. Все чаще в душу закрадывались сомнения об искренности его чувств. Однажды, просто так, в качестве проверки, намекнула на возможный отъезд в Америку к родной тетке, то ли погостить, то ли остаться... Ответная реакция возлюбленного ошеломила: «Родная, это здорово! Очень правильный выбор для такого спеца, как ты. Будешь в центре событий, в сердце финансовых потоков, слухов, прогнозов! Оттуда сможешь меня консультировать. Мы такого наворотим, например, откроем филиальчик нашей компании. Я буду к тебе наезжать». В его интонации Аня уловила только радость и ни капли сожаления по поводу возможной разлуки.

Анюта, не попрощавшись и до одури нарыдавшись, уехала с намерением не возвращаться.

К моменту прибытия в Новый Свет ей исполнилось тридцать три, и она считала, что жизнь кончилась. Вадим преследовал ее звонками и сообщениями, которые безжалостно ею стирались. Не верила ни одному слову. Их умопомрачительный роман оказался фальшивкой. Слово «любовь» стало в один ряд с «кремовым» и «куколкой» и вызывало еще большую тошноту.

Америка приняла Анну вежливой отстраненностью большого мира и душной опекой тетки Ирины. Несмотря на Анины протесты, Ирина потащила ее к врачу. После анализов и проверок врач не нашел ничего, что могло бы напоминать о травме, перенесенной в детстве. Посоветовал побольше положительных эмоций и спорта. Узнав, что Аня собирается всерьез возобновить занятия музыкой, поддержал ее решение.

Обследования никак не успокоили Ирину, она настаивала, чтобы племянница жила по соседству и просила «быть на виду» — всегда отвечать на звонки и почаще заходить в гости.

Главным Аниным открытием Америки стало возвращение юности. «Тридцать три» на этой части планеты считалось только началом взрослой жизни, а для некоторых так и оставалось возрастом поиска себя. Пришлось опять учиться — сначала языку, потом специфике местной экономики, слушать лекции, сдавать зачеты и экзамены. Внутренние часы вернули ее на десять лет назад. Студенческая жизнь оказалась разнообразной, допускалось совмещать обучение точным наукам с искусством. Не дававшая покоя идея поступления в консерваторию подтолкнула Аню взять тут же, в Университете, курс теории музыки и композиции.

Музыкальный класс вел вечно полусонный, меланхоличный профессор Вацлав Ягдзинский. Студенты «выпадали в осадок» в концентрированном растворе его депрессивных лекций о всеобщей мерзости бытия и музыки в том числе. Практические занятия шли под негласным тэгом «не буди Вацлава», никто не хотел нарваться на обидную критику. Все вокруг знали причину его мизантропии: жестокие мигрени, с которыми не справлялась медицина. И несмотря на тяжелый характер профессора, ни один студент не пожелал бы его ухода. Вацлав Ягдзинский считался признанной знаменитостью, о нем спорили модные критики, его имя и произведения вошли в энциклопедию современной музыки. К тому же Вацлав был щедр на высокие оценки и терпелив к прогульщикам. Студенты его обожали. Ане он тоже сразу понравился, но лучше бы она не открывала энциклопедию, в которой значилась дата его рождения... Нет, не может быть! Смерть должна была наступить послезавтра! Но как не дать этому случиться?

Конечно, если он каким-то образом проскочит энергетическую воронку финального числа, то останется жить хотя бы до следующего опасного сочетания цифр. Но только вторжение извне может нарушить внутреннюю гармонию чисел, управляющих жизнью и смертью. Как в музыке — с помощью нужной ноты композитор может превратить аккорд из диссонанса в консонанс, или наоборот. Ей надо попытаться вложить в мелодию цифровой код, способный гармонизировать внутренние и внешние силы. Этот код она без труда вычислит. Осталось сочинить музыку, которая понравится профессору, запомнится и, как вирус, войдет в него, разрушив прежнюю программу и перенастроив на новую. Кстати, есть прекрасный шанс воспользоваться заданием Вацлава — написать двухголосный канон на предложенную или собственную тему. Господи, где же ее взять — собственную тему, да еще умудриться встроить код, когда в распоряжении только числа хроматической гаммы? Эти числа она слышит. Не только слышит, но и чувствует, какой у них цвет и запах. Не зря ведь все это...

Музыка, которую Аня записала после нескольких часов тяжелой работы, звучала необычно. Основная минорная тема была лишена драматизма и повторялась многократно в обоих голосах, буквально застревающая в памяти.

Практические занятия шли, как обычно, уныло. Вацлав приглашал студентов к инструменту по их желанию. Никакой обязательности. Хочешь — играй, не хочешь — не играй, просто сдай нотную запись. По всему было видно, что сегодня ему особенно плохо. Он с тоской смотрел в окно. Там порывы выпущенного на свободу весеннего ветра бились в стекла, заставляя их мелко дрожать. Вацлав вздрагивал, рассеянно улыбался, втягивая голову в плечи. Аня наблюдала за ним с пониманием — ее тоже раздражал, хотя уже давно не пугал, разгулявшийся ветер. Урок шел к концу, а она все не решалась выйти и сыграть свой канон, словно все могли услышать его секрет. Потели руки, дрожали пальцы. Когда подошла ее очередь, она на деревянных ногах подошла к роялю и в полуобмороке начала...

Очнувшись, когда Вацлав, буквально дыша в затылок, склонился над клавиатурой, напевая основной мотив. Аня сняла руки, удивленно покосилась на него, обвела взглядом изумленный класс. Вацлав не просто проснулся — он встал!

— Мисс Анна, откуда этот мотив? — спросил профессор, вскинув бровь. — Ничего подобно не припомню.

— Это мой, — проямлила Аня. — И конструкция моя.

Вацлав хрипло закричал, что, видимо, означало приступ смеха:

— А ведь точно! Действительно, правильное слово — конструкция. Это не музыка, конечно, но как здорово! Как логично, точно, оригинально! Каждый интервал выверен, дивный контрапункт и ритм. Знаете, мисс Анна, у меня даже перестала болеть голова, настолько я увлекся, разгадывая ваш полифонический ребус. Пришлите, пожалуйста, нотную запись на мою электронную почту.

Вернувшись домой, Аня увидела в компьютере несколько сообщений от профессора. Он закидывал ее комментариями, указывая на сильные и слабые места композиции, а под конец попросил прийти завтра на занятие на полчаса раньше, чтобы кое-что обсудить. Ко всему сказанному добавил, что давно не был в таком хорошем расположении духа. Она очень хотела, чтобы он не отвлекался сегодня ни на какую другую мелодию, но попросить об этом было бы хамством. Аня просто сложила пальцы крестиком, чтобы для профессора наступило завтра.

Ответив на дежурную эсэмэску тетки успокоительным «Все ОК», упала в кровать. Сон, пришедший в эту ночь, был красивым и горьким одновременно. Они стояли с Вадимом на вершине холма, заросшего цветами. Он шептал слова любви, обнимал и целовал в шею. Вдруг оступился и кубарем скатился с холма в глубокий овраг. Она хотела броситься на помощь, но не могла сдвинуться с места — вокруг ее ног, словно змеи, закручивались плющи и выюнки, переплетаясь цепкими усами. Проснувшись в слезах. Ей остро захотелось услышать Вадима. Между ними лежала пропасть в тысячи километров и бездна непонимания; восемь часов разницы во времени и бесконечность упущенных часов и минут. Часы уже показывали утро, хотя еще не рассвело, но на той части планеты, с которой Аню теперь связывали только фантомные боли отмирающей любви, давно светило солнце. Ей не спалось. Она встала, сварила кофе и села у ноутбука. Открыв на фэйсбуке страничку Вадима, заметила, что на недавних фотографиях презентаций, поездок, банкетов он выглядит веселым, даже игривым. Часто рядом с ним его молоденькая, модно одетая жена с огромным пузом. Конечно, нигде нет Ани, даже на тех групповых фотографиях со всяческих празднований компании, где она точно была. То есть он выбирал и ставил те, куда она не попала. Обида накрыла Аню, но желание услышать Вадима не проходило. Она позвонила.

Вадим ответил не сразу, но тут же обрушил на нее поток требовательных «почему»: почему уехала не предупредив, почему не отвечает на звонки, почему ведет себя по-идиотски? При этом он не давал ей вставить слова, расписывая как скучал, как измучился и... О боже! Лучше бы он этого не говорил! Но, увы, оно прозвучало: «Анюттик, девочка моя дорогая, палочка-выручалочка, без тебя как без рук! Помоги! Я в полной заднице...»

Аня отшвырнула телефон и заорала: «Ненавижу!»

До занятий была еще уйма времени, но усидеть дома она не могла. Вылетев из парадного, поскакала вприпрыжку по мокрому асфальту, засыпанному листовным крошечком вчерашней бури. Ей хотелось взлететь. Как давно этого не случилось! Разлитое в лужах солнце жгло пятки. Кто сказал, что энергия мести дурная? Может быть... Но какая мощная! В ее голове уже созрел план наказания бывшего любовника.

Как и было условлено, она пришла в аудиторию за полчаса до занятий. Вацлав не появлялся. Аня с тревогой смотрела на часы, готовясь принять худшее, — сообщение о скоропостижной смерти профессора.

Аудитория заполнялась, студенты недоуменно переглядывались — такое случилось впервые: обычно Вацлав приходил первым. Прошло десять минут с начала пары, как дверь распахнулась и смущенный, но веселый профессор появился перед студентами

и прокричал: «Я проспал, ребята! Какой это кайф!» Студенты устроили ему овацию. Аня не выдержала и расплакалась от счастья. Никто вокруг даже не мог представить, от какого. Она вчера отыграла профессора у смерти. Как это произошло, она не узнает. Профессор вряд ли расскажет, что весь вечер только и делал, что слушал ее канон. Потом лег спать и проспал без боли всю ночь, а наутро встал намного позже чем обычно, с абсолютно свежей и здоровой головой. Кто мог бы догадаться, что сосуд в голове, готовый лопнуть этой ночью и залить кровью весь мозг, успокоится и вернется в нормальное состояние. Но даже не зная всего этого, Аня, увидев профессора живым, поняла — ее идея работает! А если работает в одну сторону, то сработает и в обратную. И это значит, что Вадиму недолго осталось: он будет получать от нее голосовые сообщения с подсказками по финансовым операциям, а фоном в них будет звучать музыка со встроенным кодом, уменьшающим интервал между датой рождения и смерти. Его жадность приведет к тому, что интервал будет сокращаться очень быстро...

Возвращаясь после лекций, она даже не заметила, как стемнело. Темнота внутри была гораздо гуще. Город, набрякший затяжными дождями, рыдал, всхлипывая каждой водосточной трубой. Сильный порыв ветра сбил ее с ног, она упала. Ударилась не больно, но показалось, что слетела с той злосчастной крыши и все вернулось: страх ветра, обморочное состояние, дикая карусель в голове... Аня побежала, не разбирая дороги, что-то крича и размахивая руками. Чуть не угодила под машину, ей зло вдогонку просигналили, а у самого подъезда дома сходу врезалась в соседа, выгуливающего собаку. Пес прыгнул в ее сторону, заливаясь лаем. Хозяин собаки, спортивного вида молодой мужчина, подхватил теряющую сознание Аню и, стараясь перекрыть ее вопли: «Ветер, уберите! Помогите!», предложил вызвать «скорую», не понимая, что ее так напугало. Все это крепко напоминало наркотический перебор. Аня только и сумела выдавить сквозь стиснутые зубы на английском: «пани... паник атак» и тут же ненадолго потеряла сознание. Собака взвизгнула. Мужчина, поразившись красоте, которая упала ему в руки, легонько подул в лицо девушки, неуверенно похлопал ее по щекам. Она открыла блестящие от слез глаза и вцепилась в его куртку, умоляя: «Пожалуйста, не оставляйте меня одну». Он утешал ее как мог, сидя рядом на корточках, а его собака бросилась облизывать Аню.

— Толик, назад, — скомандовал хозяин на чистом русском.

Аня опешила.

— Вы русский?

Он ответил утвердительно, но почему-то на английском.

— Никогда бы не подумала, — честно призналась Аня.

Лицо молодого мужчины было почти неразличимо в темноте.

— Из-за цвета кожи? — усмехнулся сосед. — У меня мама русская, а отец марокканец. Они в России встретились, но там же и расстались. Я, кстати, тоже бы не подумал, что вы не местная. Очень уж у вас американский стиль.

— Это как? — заинтересовалась Аня.

— Ну, как сказать, за версту видно: «Мне до вас никакого дела нет и оставьте меня в покое, пожалуйста». А на лице ноль эмоций.

Аня вздохнула: «Есть такое».

Сосед внимательно посмотрел на нее:

— Ну, а сейчас как вы себя чувствуете? Вы окей? Такое часто с вами случается?

— Давно прошло, но я понимаю, почему вернулось. Вас как зовут? Меня Аня, если что...

— Теодором, а по-нашему Фёдор, можно Федя. Знаете, Аня, что удивительно: мы столько раз, гуляя с Толиком, замечали вечно куда-то спешащую, неприветливую девушку, и вот только сейчас по-настоящему разглядели. Теперь Толик не может глаз оторвать. Хозяин с ним заодно. А почему мы тут стоим, мокнем? Разве мы не живем в одном доме? Вы на каком этаже?

— На пятом.

— А я на седьмом. Давайте, я вас провожу. Моя квартира 703-я, если вдруг понадобится какая-то помощь или просто станет скучно. Мы с Толяном, правда, не очень веселая компания. Не так давно остались совсем одни.

Толик лежит у двери и ждет. Как ему объяснишь, что мама уже никогда не вернется. Она его щенком из Москвы привезла, лет десять назад, когда решила к нам переехать.

Аня понимающе кивнула, тяжело вздохнув.

— А кличку «Толик» кто придумал? Смешное и странное для собаки имя.

— Это у мамы в России друг закадычный был Толик, Анатолий... Хороший человек и поэт, но крепко пьющий. В память о нем и назвала.

Они зашли в подъезд, сели в лифт и вышли на одном этаже...

К полуночи Аня, слегка захмелевшая от вина и разговоров, умиротворенная и сонная, вернулась наконец на свой этаж. До поцелуев дело не дошло — она проявила поразительную стойкость, борясь с желанием остаться у Фёдора навсегда, но не факт, что он бы этого захотел. Хотя... Ну вот совершенно точно пару раз смущенно утыкался глазами в пол, когда она перехватывала его восторженный взгляд; всячески пытался обаять, накормить, утешить. Хороший человек Фёдор. Учитель естественных наук в средней школе. В его квартире пахнет кофе и корицей, Толиком тоже немного пахнет, и холостяцким бытом, но именно там хочется остаться, натянуть вечерком пижаму, забраться на диван с ногами и жевать чипсы, а потом включить сериал, но начав целоваться и так его и не досмотрев, оказаться вдвоем в постели. Он так трогательно читал стихи Толика, посвященные маме. Дал его книжку. Одно стихотворение ей особенно понравилось, про двухместный островок, коротенькое такое. Читая, Федя все время на нее поглядывал. Где оно? А вот...

Не было причин для этого, знаков не было судьбы.
Просто в море одиночества появилась остров «Ты».
Ходят рядом люди умные, но не видно никому,
Что теперь живу на острове и вернуться не могу.
Бьются волны бед и радостей и шумит людской поток,
И спасает от безумия наш двухместный островок.

Ей бы сейчас с Фёдором в самый раз на такой остров, а то ведь совсем с ума сошла — хотела укоротить жизнь Вадиму! Ужас и стыд! Зачем? Он сам укоротит, когда начнет терять деньги.

В эту ночь Аня заснула с улыбкой. За окном опять бушевала весенняя буря, но этого она не заметила, а утром, выйдя из дому, повстречалась с Фёдором и Толиком. Они делали вид, что оказались здесь и сейчас совершенно случайно. Оба сильно промокли, хотя дождь закончился час назад. Фёдор вежливо поздоровался, зато Толик не выдержал и бросился к Ане, как к старой знакомой.

— Я совершил преступление, — заговорщически шепнул Федя ей на ухо. — В нашем парке вся сирень побита ветром и дождем. Вот...

Он распахнул куртку, под которой прятал огромную, в полкуста, ветку кудрявой, мокрой от дождя, нежно-лиловой сирени.

— Если кто и заметил, плевать, — добавил он. — У меня есть оправдание: я сорвал ее для тебя.

Аня прижала к себе сирень, окунув в ее влажную свежесть покрасневшее лицо. Задохнувшись счастьем и пряным весенним духом, с трудом перевела дыхание:

— Разве это преступление? Господи, знал бы ты, на что я способна!

Фёдор обнял ее, рассмеявшись:

— Значит, все самое интересное впереди.

Арина Обух

Спиной к прозаику Гоголю

Рассказ

Поэты стояли на Малой Конюшенной спиной к прозаику Гоголю и читали свои стихи. Слушал их один Гоголь. Стоял под дождем и слушал. Внимал. Нравилось, не нравилось — вопрос.

Поэтический фестиваль. Поэтов очень много. Но не столько у Гоголя, сколько в кафе рядом: прочитав стихи, поэты бегут туда переждать дождь. А дождь не переждать.

— Мы умрем, а она о нас напишет! — сообщает Саша, указывая на меня.

Новость о смерти никого не воодушевляет. Тут все бессмертные.

— Вы красивая, — говорит одна из поэтесс.

— Спасибо.

— Что — «спасибо»? Я вам сочувствую.

Я смотрю на поэтессу: красивая. Значит, знает о чем говорит.

Рядом с памятником остался стоять лишь один поэт. Он беседует с Гоголем.

Поэт распивает коньяк и доходит до той кондиции, когда оживает бронза.

— Нас много, а вы один, Николай Васильевич...

Сквозь серое волокно дождя я вижу рыже-фиолетовую птицу Асю. Ася подходит к поэту.

— Ася, ты чудо! — сообщает поэт.

У Аси стрекоза на безымянном пальце и осколок какого-то метеорита на указательном. Ее шею обнимает длинными руками какая-то плюшевая кукла-кулон. У Аси рыжее каре, фиолетовое платье из льна и абрикосовая сумочка из кожи, тонкий узор, авторская работа. Длинный ремешок сумки делит Асю пополам. И обе половины прекрасны.

— Ася, ты чудо, — повторяю я вслед за поэтом.

— Мне через два месяца пятьдесят, — отвечает Ася.

Нет-нет, пятьдесят ей исполнится лет через триста. Вероятно, возраст ищет ее где-то в Тарту, Суздале, Алма-Ате, Каире, но Ася так часто меняет свои координаты, что возраст вряд ли ее отследит.

Асю надо запоминать, фотографировать каждый день. Потому что она никогда не повторяет свои наряды, единичный выход.

Ася занимается антиквариатом. Скупает его по всему свету и продает. Ася — поэт, филолог, птица и антиквар.

Но я вижу так: на самом деле она просто приходит домой, открывает большую книгу сказок всех народов мира и проваливается в одну из иллюстраций. Там все эльфы,

Арина Обух родилась в 1995 году в Санкт-Петербурге. Выпускница Художественно-промышленной академии им.А.Л.Штиглица. Член Союза писателей Санкт-Петербурга и Союза художников России. Лауреат Молодёжной премии Правительства Санкт-Петербурга в области художественного творчества, премии журнала «Знамя», Международного конкурса «Волошинский сентябрь» и др. Предыдущая публикация в «ДН» — 2019,4.

феи, драконы, кузнечики, лисы и шелкопряды отдают ей свои наряды и украшения. И Ася возвращается обратно в мир.

Отведав с поэтом по пятьдесят, Ася зовет меня в кафе, названное именем рыжего постимпрессиониста.

Мы раздвигаем дождь, как кулисы, и оказываемся за уютным столиком у окна. А в окне виднеется старинный дом, в котором когда-то обитали придворные музыканты, а в ленинградское время жили писатели.

Когда-то по этой улице ходили и Зощенко, и Шварц, и Форш... И теперь тоже ходят: призрачны и прозрачны.

— Ася, расскажи о себе.

И Ася рассказывает.

...На дворе середина 60-х. Физики и лирики. Мама Аси — лирик. Папа — астрофизик: в двадцать два года открыл комету. Понятно, молодой перспективный ученый. У лирика и астрофизика появилась астра-Ася

Когда ей исполнилось десять, родители развелись. Мама вышла замуж за московского режиссера и уехала вместе с ним и Асей в Москву.

...В 90-е Асе нужно было фиктивно выйти замуж. За бандита. Так сложилось, мать не возражала.

— А я вся в серебряном веке была, понимаешь, мне вообще не до того было, у меня диплом по Георгию Иванову...

Ася осталась верна Георгию Иванову.

А в 91-м Ася стояла у Белого дома. Ася была за мир. И в дула танков вставляла гвоздики. Потом даже в газетах появилась фотография с Асей, статья называлась «Девушка, целующая солдата Таманской дивизии, перешедшего на сторону защитников Белого дома».

Она днем и ночью раздавала гвоздики, мокла под дождем, ждала мира, и вдруг к ней подошел человек, снял с себя куртку и надел на нее.

— Я не очень красивая была, мокрая курица, не понимала почему он ко мне подошел. Уже потом спросила его: «Почему ты ко мне подошел тогда?» — а он говорит: «У тебя был самый несчастный вид, захотелось тебя обнять».

— А дальше?

— Обнимал четыре года. А потом я влюбилась, замуж вышла. И он женился, наверное, дети были...

Много всего было. Свобода была. Кто-то защищал Белый дом в 91-м, а кто-то в 93-м. Меня лично не было ни там, ни там. Я появилась только в 95-ом.

А Ася в 95-м уже разводилась с мужем в Лондоне. Муж предложил Асе составить завещание, мол, «всякое может случиться, мы не вечные». Асе было двадцать восемь, впереди была вечность — Ася решила, что муж торопится, и тут же развелась.

— И что потом?

— Он умер.

И вправду торопился, значит.

Папа любимый тоже умер. Астрофизик ушел на небо, звезды позвали. Маленькая астра-Ася осталась на Земле. Копия папы, кстати.

— А мама?

— А мама... знаешь, она всю жизнь говорила мне, что я худая. Худая и худая. Приходит и говорит: «Ты худая». «Ты такая худая». «Ты опять похудела». Только когда я забеременела, она не знала, как меня задеть и поэтому сказала: «У тебя кошка худая».

Говорят, что мать отняла у Аси дочь. То есть дочка теперь живет вместе с бабушкой в Израиле, встречи с Асей запрещены. Ася пытается вернуть дочку, долго и мучительно тянется эта история...

Но с другой стороны: Асе идет ее жизнь. Материнство осталось в сердце и на фотографиях — нежное, далекое, недостижимое. Есть и такое сказочное фото: Ася вместе с дочкой на закате солнца и даже их тени смотрят друг на друга.

Теперь не смотрят.

А вокруг Аси голоса, сплетни — жадные языки пламени неугасающих костров:

— Нет, ты представь: Ася прилетела на фестиваль в Коктебель с коляской!

Купалась в море, парила над Кара-Дагом, вечно оставляла где-нибудь коляску, и весь фестиваль нянчил ее птенца.

- Кстати, отец ее ребенка тоже поэт.
- Нет, он ученый.
- Не знаю, кто он, но у него есть жена.
- Но он, кажется, хотел уйти из семьи...
- Наоборот, он только вернулся.
- Этот поэт уходит из семьи лет десять. Вечный двигатель.

...Мы все привыкаем к собственной жизни. Да что там к жизни, вот мой знакомый недавно купил себе новую куртку, замшевую, фирменную. И понес свою старую куртку, которую носил шесть лет, на помойку. По дороге достал ее из пакета и обнял. Старая куртка тоже обняла хозяина. Так они стояли у помойки не в силах расстаться.

Старая куртка была уютной, она все знала про своего хозяина, она его принимала и даже простила ему сломанную молнию. Новая куртка была хороша, но в ней не было этого уюта, хотя она была по фигуре, но немного жала.

В общем, мой знакомый до сих пор носит любимую старую куртку.

Мы все привыкаем к жизни. А жизнь привыкает лишь к некоторым. Вот к Николаю Васильевичу она привыкла. Возможно, он уже и не рад этому, но вечно стоит на Малой Конюшенной. А сверху идет вечный дождь.

Кстати, когда-то эта улица называлась именем Софьи Перовской. Именем цареубийцы. Но вечный и справедливый дождь смыл это название и вернул родное.

На вечную жизнь обречен и рыжий постимпрессионист, именем которого названо кафе на Малой Конюшенной, в котором мы сидим с Асей. Я думаю, что сейчас этот нидерландец рыжим духом носится по всему миру, залетает во все кафе и музеи своего имени...

— А знаешь, что перед смертью сказал Ван Гог? — спрашивает Ася и отвечает: — «Печаль будет длиться вечно».

Печаль длится вечно.

Жизнь идет какими-то зигзагами, неправильно и выстраивается в судьбу.

Ася смотрит в окно, а я на Асю. Ее профиль чудесным образом вписывается в невозможно прекрасные подсолнухи великого нидерландца, ее рыжие волосы вплетаются в этот букет и горят: кадмий оранжевый, неаполетанская желтая, сиена натуральная. И сережка-стрекоза Аси — изумрудная капля.

- Какая ты красивая, Ася.
- Спасибо.
- Что «спасибо»? Я сочувствую...

Я редко вижу Асю. В основном в Питере на фестивале поэтов. «Петербургские мосты» называется. Сезон белых ночей. Встреча наша обычно проходит так: мы стоим у памятника Гоголю и нас фотографируют.

— Нет, ну вы посмотрите на них! Вы посмотрите! Сфотографируйте меня с ними! — Саша старается перекричать выступающего на сцене поэта. К неудовольствию последнего.

Пока фотограф бежит на помощь, Саша успевает отснять пятнадцать кадров на свой телефон.

- Саша, нам нужна одна фотография, а не сто!
- Тихо! Не двигайтесь! Я komponую кадр! А то вы не все помещаетесь!
- Кто «не все», Саша?!

Видимо, Саша видит такую компанию: Гоголь, Зощенко, Шварц, Форш, невидимый небесно-рыжий постимпрессионист и мы с Асей с боку припека.

- Ну что? Получилось?
- Да!
- Покажи.

...Малая Конюшенная, ночь светла. Мы с Асей стоим у памятника. Очень сильный дождь.

Игорь Сид

Украина и Россия: синергия ресентиментов

...вороги між нас з'являються лиш по тому,
коли ми самі поводимось, як вороги¹.

Сергей Жадан

...Унитаризм разорвет Украину.

Александр Ткаченко²

Катастрофические события, произошедшие в последние несколько лет с Украиной, — переход Крымского полуострова де-факто в состав России, гражданская (или «гибридная»: неологизм, оказавшийся неожиданно точным в своей туманности) война на востоке страны, где возникли две самопровозглашенные республики, находящиеся в той или иной степени под внешним влиянием той же России, — все это многим кажется неким самодостаточным процессом, начавшимся зимой или весной 2014 года³. В данном эссе мы рассмотрим, как процесс новейшего раскола Украины не просто связан с менее очевидными процессами, происходившими со страной в предыдущие более чем 20 лет, но и определяется во многом именно ими. Так надводная часть айсберга, заметная издали, возвышается над океаном благодаря поднимающей ее основной, более мощной части, скрытой от глаз, без которой, однако, невозможно ее существование.

Уже самый поверхностный взгляд на ситуацию обнаруживает в ней элементы странной асимметрии. Донбасс, где четвертый год, по формулировке киевских властей, проводится «антитеррористическая операция», полыхает огнем, гибнут тысячи мирных людей; число беженцев составляет миллионы. При этом с Крымом складывается совершенно другая, мирная ситуация. Не было попыток ни предотвратить присоединение этого региона к России, ни вернуть его себе силой, и официальным Киевом регулярно делаются заявления, что такой поворот невозможен. Иногда даются пояснения о том, что возвращение полуострова в Украину (в неопределенном будущем) должно быть мирным — путем волеизъявления крымчан, ввиду предположительного роста (в этом неопределенном будущем) привлекательности жизни в самой Украине. Это очень убедительный, современный, воистину гуманистический подход. Но почему он не применялся к Донбассу, никаких разъяснений нет. При этом Крым официально именуется «временно оккупированным», где уточнение «временно» создает устойчивый художественный эффект определения, данного навсегда⁴.

Между тем, Минские соглашения по урегулированию военного конфликта в Донбассе систематически нарушаются с обеих сторон. Складывается устойчивое впечатление, что этот острый воспалительный процесс способен продолжаться, самовоспроизводясь, бесконечно.

Игорь Сид — поэт, переводчик, эссеист, журналист, путешественник. Родился в 1963 году в крымском городе Джанкой. Окончил биологический факультет Днепропетровского государственного университета. Автор книги эссе «Геопоэтика» (М., 2017) и др.

Весьма возможно, со временем мир узнает ошеломляющие факты о тайном бэкграунде событий этих лет. Но построение конспирологических гипотез не представляется нам продуктивным. Конспирология, навязывающая историческим событиям примат произвола, субъективного фактора — прежде всего способ отказать этим событиям в исторической логике, в объективной их неизбежности. Мы попытаемся все же разглядеть эту объективную логику — или, по меньшей мере, логику взаимодействия факторов субъективных и объективных. Только тогда появится шанс выработать механизмы влияния на процесс, а значит, и надежда что-то исправить.

1. ПЕРВОЕ ПРИБЛИЖЕНИЕ. ЗНАКИ «АПОКАЛИПТИЧЕСКОГО КОНФЛИКТА»

Этот текст можно рассматривать как развернутый комментарий автора к собственным размышлениям, публично высказанным еще десятилетие назад. О «*попадании культурного пространства Крыма в силовое поле нового, почти апокалиптического конфликта*»⁵, о «*не всегда адекватных представлениях друг о друге жителей юго-востока и запада Украины*»⁶ и о «*напряженности между опасно разрозненными русскоязычной и украиноязычной интеллектуальными элитами Украины*»⁷ автор говорил, в частности, в украинских масс-медиа уже в 2008—2009 годах.

Это эссе посвящено ситуации в Украине. Россия — в лице и властной элиты, и поддерживающего ее большинства населения — откровенно выбрала сейчас движение в сторону архаизации, клерикализации, патернализма, отказа от свобод и ценностей, считающихся европейскими. Сюжет, не вызывающий веселья, однако уже не раз страной испробованный и оттого достаточно понятный и прозрачный. Гораздо менее понятный и очевидный сюжет развивается в Украине. Это вызов для исследователя.

Риск высказывания на темы современной украинской истории и предпосылок сложившейся политической ситуации автор позволяет себе в силу ряда биографических обстоятельств.

В 1995 году я переехал из родного Крыма в Москву и основал здесь Крымский геопоэтический клуб — «экстerrиториальное продолжение» Боспорского форума современной культуры, который я провел на полуострове к тому моменту трижды с 1993 года. Крымский клуб⁸, как и Боспорский форум, стал международной площадкой для перманентного художественного эксперимента, столкновения ранее не соединявшихся элементов культуры, презентации новейших явлений в разных жанрах литературы и видах искусств. С 1998 года одним из инновационных направлений нашей работы было ознакомление российской аудитории с современной украиноязычной словесностью. Мы привозили из Украины литературных знаменитостей, представляли новые книги, переводили их и содействовали их изданию в России⁹.

На фоне литературного процесса в России, тогда в основном аполитичного и космополитичного («искусство ради искусства»), очень необычно выглядело живое участие украинских писателей в культуротворчестве и нациетворчестве, бурно расцветавших в Украине. Социальные темы в молодой соседней литературе не несли на себе обязательного налета дидактики, а искренняя патриотическая интонация не перерождалась в пафос. Это создавало свежую интеллектуальную интригу — ведь для наших писателей патриотизм и фальшивый пафос были неразрывно и тошнотворно связаны: идиосинкразия, выработавшаяся в десятилетия «социалистического реализма» и диктата идеологии. «... Очень многие писатели до сих пор еще боятся писать об этом времени...» — сетовал еще в 1993 году вернувшийся из эмиграции писатель-«шестидесятник» Василий Аксёнов¹⁰. «...Мне писатель видится в большой мере общественной фигурой, а именно в этом нынешняя генерация писателей очевидно филолит... Досадно, конечно, что интеллектуальный рынок России сегодня лишен такого автора, каков, например, у братьев-славян Юрий Андрухович», — подытоживал в 2004 году эту эпоху московский литературный критик Александр Гаврилов¹¹.

И вот в конце 2007 года я по семейным причинам на год вернулся в Украину. Первые полгода жил в Крыму, весной 2008 организовал несколько культурных событий на первом Киевском форуме издателей, а летом принял приглашение

возглавить региональную редакцию одной из основных украинских газет. Редакция базировалась в Днепропетровске, где в советские годы я окончил школу и университет. Работа с ежедневными новостями погрузила меня глубоко в информационные потоки общественно-политической жизни страны. Осенью грянул экономический кризис, газета закрылась, и в декабре я вернулся в Москву. Однако в контексте нашей нынешней темы 2008 год был для меня отмечен переворотом в восприятии украинских реалий, травмой отрезвления.

Взгляд на жизнь Украины с нулевой дистанции вызвал у меня определенный шок. Увиденное прямым взглядом не соответствовало моим привычным представлениям о «стране, стремящейся в Европу».

Вместо того чтобы совместно искать общий исторический путь для своей родины, две основные группы населения — симпатизирующая Европе и симпатизирующая России — твердо настаивали каждая на собственном выборе как на единственно возможном для всей страны, игнорируя интересы друг друга с высокомерием, доходившим до расизма.

«Если упрощенно, восточные жители [Украины] считают западных “фашистами”, западные восточных — “совками” (Homo sovieticus, говоря научным сленгом). Чтобы был понятнее трагизм ситуации, уточню, что смысл и того, и другого термина в данном контексте оказывается все ближе к немецкому слову Untermensch¹²», — так характеризовал я развитие этого катастрофического раскола через шесть лет, в марте 2014 года¹³.

Центральная же власть, вместо того чтобы помогать обеим половинам населения страны найти взаимопонимание и компромисс, артикулировала свою солидарность только с одной из них и неуважение к другой, провоцируя у последней антипатию к первой группе и к самой власти. К моменту моего переезда, например, в Украине активно обсуждался указ президента Ющенко от 12.10.2007 о присвоении звания «Герой Украины» Роману Шухевичу — борцу за независимость, в 1920—1930 годы участнику политических убийств, а в 1941—1942 годах капитану и заместителю командира сначала знаменитого батальона «Нахтигаль», а потом 201-го батальона шуцманшафта, подчинявшихся СС. Значительная часть русскоязычных граждан Украины восприняла этот шаг государства как жест симпатии к нацистам и презрения к памяти их жертв.

Допускаю: новый национальный лидер искренне верил, что реабилитацией УПА он возвращает стране «историческую правду» и закладывает фундамент ее единства. Но это лишь мотивы действий — возможно, не проанализированных заранее на предмет наиболее вероятных последствий.

Основу антинародных, в самом точном смысле этого слова (народ в итоге оказывается расколот), указов Ющенко о присвоении Шухевичу и Бандере звания «Герой Украины» я вижу в логической ошибке, подмене понятий. Эти деятели отдавали свои силы и свою жизнь не за все население Украины, а только за украиноязычную его часть: этнокультурную группу, количественно преобладающую далеко не во всей Украине — как тогда, так и сейчас. Поэтому объявить их «героями всей страны» — значит дать прямой сигнал представителям других языковых культур, что они объявлены в своей стране чужими. Воспроизводится надежный древний принцип divide et impera — разделяй и властвуй.

Никаких общественных противовесов — рычагов для сдерживания этих опасных процессов — я в стране не увидел и испытал тревогу. В первые же месяцы я сделал несколько публикаций в центральных медиа Украины на темы, ранее мне чуждые — связанные с политикой, а именно с социокультурными противоречиями и угрозами, вызываемыми ими.

Сильнее всего сейчас волнует меня интервью, данное главному редактору журнала «Политик Халл» Ольге Михайловой. За шесть лет до начала боевых действий в Донбассе я почему-то захотел говорить не только на мирные темы культурных проектов, но и об опасности *«нового, почти апокалиптического конфликта»*. Публикацию я озаглавил *«Остановить войну мифов»* — имея в виду увиденное мною тогда у народов России и Украины опасно возрастающее противостояние взаимных негативных мифологем, активно формируемое в обеих странах усилиями масс-медиа, а отчасти и интеллектуальной элиты. Говоря о зреющем конфликте в Украине, я приводил исторический пример гражданской войны 1917 — 1923 годов в России, когда

сражались войска Красной Армии и Белого движения: «...Тогда это был кровавый красно-белый раскол российского общества. Сегодня — относительно вегетарианский, но в перспективе тоже чреватый кровью раскол Украины по языковому признаку». С тех пор война не только стала очевидной для всех, но триумфально перешла из мифологического пространства в физическое, из холодной формы в горячую.

Позже я пришел к выводу, что лингвистический параметр, языковая идентичность — не точный и не главный маркер раскола. Более существенным я считаю теперь разделение общества в стране по выбору ответа на вопрос: необходимо ли Украине свойственное современной Европе равенство прав существующих в стране языковых культур — или же русский язык, русскоязычная культура и, соответственно, их носители должны быть обязательно поражены в правах? Сам я до 2008 года — до этих пугающих наблюдений и первых серьезных размышлений над ними — придерживался второй позиции.

Тот год стал переломным в моем восприятии реалий Украины. После серии алармистских в отдельных тезисах публикаций, которые практически не имели резонанса в украинском обществе, я отчаялся что-либо изменить и стал сворачивать публицистическую активность. Последний раз в мирное время я коснулся этой проблемы в 2012 году, упомянув в рецензии на книгу российского регионалиста Вадима Штепы «шансы потерять Крым или Донбасс для Украины, пробующей нивелировать культурное разнообразие своих земель»¹⁴.

2. ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

В тот год жизни в Украине впервые за много лет активно возобновилось мое общение с земляками по полуострову. И я услышал серьезный набор претензий к киевской власти, накопившихся у крымчан. Игнорирование острых социально-экономических проблем региона и при этом — попытки сделать его еще более зависимым от центра; понижение статуса республики Крым в рамках украинского государства (формальный элемент федерализма, имевший место в середине 1990-х годов) до «автономной республики» — то есть фактически до статуса одной из областей страны; а главное — не слишком агрессивная, но упорная политика дерусификации/украинизации русскоязычного населения. Дискриминация его в культурных правах — в чем-то де-факто, а в чем-то и де-юре — имела место в области образования, делопроизводства, масс-медиа, сферы развлечений и т.д. Заметных результатов этой политики я в Крыму не видел, и мне объясняли это тем, что давление со стороны центра встречает здесь разнообразное тихое, но активное сопротивление, в том числе в виде вынужденного «бюрократического» торможения и нивелирующих решений местных властей. Но сам факт, что для сохранения своих культурных прав нужно регулярно реагировать на очередную угрозу, решительно осуждался. Многие обращали мое внимание также на тот необъяснимый факт, что русский язык, родной для половины населения страны, почему-то не был наделен статусом государственного, в отличие от языка украинского. (Мне, старому африканисту, идеальным примером — точнее, европейской нормой! — представляется современная ЮАР с ее одиннадцатью государственными языками, где официально уравнены в правах язык бывших колонизаторов и языки ранее дискриминированных этнических групп.) Отдельным пунктом обвинения был демонтаж успешного крымского экономического проекта Евгения Сабурова в 1994 году; об этом уникальном историческом прецеденте скажу ниже.

Многие из тех моих земляков, кто уважал западные ценности и личностные свободы, обличали фальшивость, на фоне всего вышеперечисленного, лозунга о «движении Украины в Европу». Те же, кому была ближе, наоборот, патерналистская модель отношений общества с государством, кто ностальгировал по СССР, объявляли фактическое неравноправие, дискриминацию своих прав подлинной реализацией европейской модели, делая вывод о полной бесчеловечности последней. И тем, и другим все меньше хотелось жить в таком государстве. «...Крымчане вполне понимают, что для западной Украины ситуация обстоит иначе, они знают, что Бандера — герой для Галиции, они просто не хотят принимать его в качестве героя также и для себя... Украина, ее независимость накрепко связаны в понятии обычного крымчанина не с надеждой и

развитием, а с упадком и деградацией... В начале 80-х по уровню благоустройства населенных пунктов, развитию социальной сферы и экономики Крым был гораздо ближе к Европе, куда мы так упорно уже двадцать лет идем, чем сегодня», — писал в феврале 2014 года крымский историк, директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.

Таким образом, решение большинства крымского населения на референдуме (несмотря на традиционные манипуляции с подсчетом, речь идет в любом случае о большинстве: 99% или, например, 70% — не столь важно) я считаю прежде всего результатом этнокультурной политики в Украине начиная как минимум с середины 1990-х годов. Однако при взгляде с Запада оно воспринимается в основном как повод к безоговорочному моральному осуждению. О причинах этого решения, судя по всему, мало кто задумывается, просто считая крымчан «плохими»¹⁵.

Наверное, самым болезненным для меня моментом оказался литературный вечер в керченском институте океанографии и морского рыбного хозяйства (ЮгНИРО) с участием известных украинских, российских и белорусских поэтов, проведенный мною в рамках фестиваля «Баррикада на Тузле» в августе 2008 года. До зала было не больше минуты ходьбы по маленькому зданию, однако из всех моих бывших коллег по Институту (я работал там с 1985 года до переезда в Москву в 1995-м) пришел послушать лишь один человек.

Все остальные — ученые, эксперты, люди с открытым сознанием и склонные к рефлексии, прежде с удовольствием посещавшие мои мероприятия в институте — неожиданно отказались прийти, прямо или намеками обвинив меня в коллаборационизме с киевской властью. По традиции как советской, так и дореволюционной интеллигенции они во все времена дистанцировались от любой власти, а тогдашнюю власть считали безнадежно больной агрессивным украинским национализмом и стремлением к этнократии, гегемонии украиноязычной части страны.

Претензии к Киеву я слышал от русскоязычных граждан Украины и раньше, до этого моего временного возвращения в Крым. Так, мой друг-историк, негативно оценивший в 2014 году присоединение Крыма к России, в середине 2000-х поразил меня фразой: «Мне не нравится быть в собственной стране человеком второго сорта». Тогда я просто не понял, что он имеет в виду. А первый подобный случай, припоминаю, относится к 1995 году, когда вышедшая на пенсию симферопольская телевизионная редактриса жаловалась мне на странную административную политику на государственном телевидении Крыма: местных менеджеров и специалистов заменяли на присланных из Киева менее профессиональных, но с «правильными», т.е. украинскими фамилиями. Тогда я не придавал этим сетованиям особого значения.

Один из наиболее запомнившихся разговоров на большую тему произошел примерно в 2000 году или немного позже в одном из крупных городов Восточной Украины, в гостях у семьи известного в том регионе деятеля позднесоветского литературного андеграунда. Внезапно проявив незаурядный полемический пыл, его жена рассказала мне о разнообразной культурной дискриминации русскоязычного населения в регионе и в стране в целом.

Я предложил ей не тратить силы на кухонные споры, а учредить в своем городе правозащитную и культурную организацию, которая занималась бы решением этих проблем, и направить свой социальный темперамент на доброе дело отстаивания вышеупомянутых прав путем открытой гражданской деятельности. Украине нужен диалог разных этнокультурных групп, и таким способом будет выстраиваться здоровое равновесие общественных сил.

Встретившись с ней снова через несколько лет, я узнал, что ничего она не учредила, а ограничилась регулярным «сбросом пара» в частных беседах, без каких-либо полезных последствий, и в очередной раз сделал для себя вывод, что русскоязычное население Украины неспособно отстаивать свои права, эта культура здесь укоренена слабо и, следовательно, будет постепенно замещаться культурой украиноязычной... Препятствовать этому неизбежному процессу бессмысленно.

Тревожное сообщение — об опасной для общества и для страны национальной политике в Украине — я постарался тогда не услышать. Когда мы боимся корректировать свою картину мира, мы готовы цепляться за второстепенные детали и делать из них легкомысленные заключения.

3. НАСИЛИЕ КАК «ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ». КУЛЬТ ПРЕЗРЕНИЯ

До 2008 года дискриминация русскоязычного населения Украины казалась мне исторически справедливой, необходимой и даже естественной. Значительная часть этих людей являются потомками либо населения украиноязычного (судя по многочисленности украинских фамилий среди них), насильственно русифицированного в рамках Российской Империи, либо пришельцев из метрополии, которые эту русификацию осуществляли. Поэтому страна должна совершить компенсаторное культурное усилие и украинизировать эту часть населения «обратно»!

Мне, жившему с 1995 года в Москве, было некомфортно идентифицироваться с теми гражданами Украины, кто стал материалом для «восстановления» или «исправления» идентичности, кого хотели «улучшить» — считая их, что совершенно очевидно, «плохими». Сам я знал украинский с детства (его преподавали в днепропетровской школе с первого или второго класса наравне с русским), и мне казалось, что живущим в Украине навсегда отказаться от родного языка в пользу языка «более прогрессивного» не только нетрудно, но и необходимо. И я с готовностью отождествлял себя с теми, кто требовал украинизации русскоязычных или молчаливо поддерживал ее. А сталкиваясь с протестной реакцией, неосознанно отключал у себя способность к эмпатии и не признавал за людьми, превращенными в объекты политических и культурных манипуляций, право на отказ от «улучшения» и даже на протест. Эти люди были для меня просто полуфабрикатом для величественного процесса создания новой европейской нации. Несправедливость, совершающуюся сегодня «как компенсация несправедливостей прежних эпох», я считал не просто нормой, а священной обязанностью цивилизованного государства.

Правами человека, по моим тогдашним представлениям, обладал лишь тот, кто их отстаивал. Тех же, кого устраивало «неевропейское» существование, я не считал в достаточной степени людьми. В эту категорию автоматически попадали неисчислимые массы, для которых «перестройка» и эпоха «дикого капитализма» 1990-х (времена моей молодости и поиска себя, оставившие у меня самые прекрасные воспоминания) обернулись только обнищанием и фрустрацией, и в итоге — стойким отвращением к идеям либерализма и капитализма.

Как и, по-видимому, большинство постсоветских интеллектуалов, я презирал «совков» — людей, сохранивших советскую ментальность (а чаще, наверное, только казавшихся мне таковыми). Забывая о том, что презрение, направленное на тех, кого ты считаешь менее продвинутыми или совершенными, чем ты сам, на самом деле означает отсутствие у тебя самого этой «продвинутой» и «совершенства».

Это *априорное презрение* к людям другой ментальности и/или идентичности и его *корпоративная апология* в среде тех, кто хочет видеть себя «уже не советскими» или «никогда не бывшими советскими» людьми, — удивительно массовое и, возможно, самое страшное наследие СССР. Страшное: ведь люди, которые чувствуют, что вы их презираете (причем не за что-то конкретное, а просто заранее: уже за то, что они не такие как вы), неизбежно и заслуженно ответят вам тем же. Дальше начинается цепная реакция.

4. О ВЕРТИКАЛЬНОЙ И ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СТРУКТУРАХ ИДЕНТИЧНОСТИ

Определение «априорное презрение» представляется мне достаточно точным, однако стилистически скорее бытовым — слишком экспрессивным. Пытаясь наиболее широко определить мировоззренческую систему, в которой это явление может зародиться и сохраняться, я хочу напомнить о понятии «*иерархическое сознание*» — или, как вариант, «*вертикальный формат антропологического сознания*». Основой для «вертикального сознания» я пролагаю «*потребность в низших*»: когда для психологического комфорта человеку необходимо знать о существовании этнических, социальных, конфессиональных или иных групп, являющихся в сравнении с ним и его группой в его представлении менее развитыми (морально, интеллектуально,

цивилизационно) или деградировавшими. Поскольку эти низшие «другие» по определению не являются людьми в полной мере, с ними можно поступать менее гуманно, нежели с членами своей группы, или даже совсем негуманно.

Собственно, это та же (усваиваемая с младенчества или приобретаемая в сознательном возрасте) потребность в дегуманизации и объективации части человечества, которая делает возможным, в том числе, устойчивое и массовое существование расизма, нацизма и пр.

Наиболее точным было бы определение *«вертикально структурированная идентичность»*. Возможно, это вообще самая архаичная, «естественная» форма идентичности: апологизирующая, окультуривающая или даже сакрализирующая примитивную бытовую (чтобы не называть ее «животной») ксенофобию. В архаичных обществах градус агрессии более непосредственно зависит от степени идентификации с другим, и «чужой», «не такой как ты», очень часто представляет собой реальную опасность (недаром, например, латинское *hostis* могло означать и «гость», и «враг»). В древности ксенофобия и базирующаяся на ней вертикально структурированная идентичность были «естественны», т.е. эффективны не только в тактическом, но и в стратегическом плане. В обществах, где роль культуры вырастает, ксенофобия и связанная с ней агрессия стратегически ущербны и могут быть эффективны только на короткий промежуток времени, пока не включатся культурные, в том числе этические и правовые, механизмы в обществе, окружающем субъекта ксенофобии (а иногда и у него самого).

Современную эгалитарную, основанную на безусловном равенстве всех людей идентичность, которую принято связывать с гражданскими или — термин очень условен, конечно, — европейскими установками, можно, соответственно, определить как *«горизонтально структурированную идентичность»*. «Другие» заведомо не лучше тебя и не хуже, и никто не является ни для кого «низшим» или «высшим». Для формирования и сохранения такой идентичности нужны специальные и постоянные педагогические усилия и наличие в культуре, в том числе в искусстве, образцов такого отношения к другим людям.

5. МОЕ УЧАСТИЕ В РАСКОЛЕ УКРАИНЫ

Очень важно называть вещи своими именами. Исповедуемое мною до 2008 года представление о том, что определенная группа населения может целиком нести бремя коллективной исторической вины и должна быть «очищена от скверны» (а именно от родного языка и культурных традиций) — это идея тоталитарная и, по сути, конкретно сталинистская. Очень похожей идеей обосновывалась, например, в СССР депортация в Среднюю Азию во время Второй мировой войны многих народов или этнических групп, якобы виновных в массовом пособничестве нацистам. Парадоксально, но спустя более чем полвека после смерти Сталина его идеи, сеющие вражду между людьми, продолжают торжествовать в стране, которая твердит о своей европейской ориентации. И автор этих строк — давний симпатизант Украины, с юности считающий себя европейцем, всегда осуждавший сталинизм — еще десятилетие назад был в этом вопросе убежденным сталинистом. А многие мои тогдашние единомышленники по-прежнему провозглашают ту же самую идею, называя ее, например, «искоренением имперского наследия», и каким-то фантастическим образом связывают ее не со словом «Сталин», а со словом «Европа».

Самое ужасное, что свою политическую позицию по отношению к русскоязычному населению Украины я считал частью своей личной миссии и долгие годы регулярно транслировал ее при каждом удобном случае — как публично, так и в приватном порядке. И только в последнее десятилетие осознал, что сумел внести свой вклад в то, что стало одной из главных предпосылок нынешнего катастрофического раскола Украины.

Напомню, что с 1998 года я стал одним из нескольких деятелей российской культуры, активно пропагандировавших в своей стране новую украинскую литературу. Это были прежде всего переводчики и культуртрегеры Анна Бражкина (лидер «украинофильского» движения в те годы), Александр Руденко-Десняк (пионер перевода

на русский язык авторов украинского «расстрелянного Возрождения»), переводчики Елена Мариничева, Юлия Ильина-Король, переводчик и издатель Андрей Пустогаров. В интеллектуальных кругах Украины мы естественно воспринимались как полпреды соответствующих российских кругов, как главная и лучшая референтная группа. При этом нас справедливо считали близкими по духу и полностью «своими». Поэтому неудивительно, что наши социокультурные установки и взгляды на новейшую историю понимались как наиболее релевантные.

Несчастье заключалось в том, что своим согласием с принципиальной асимметрией культурной политики Украины, с практикой навязываемой сверху украинизации мы, российские коллеги и друзья, как бы апробировали все это, давали на это некую нравственную санкцию.

Так, я публично поддержал осенью 2004 года нашумевшее «Открытое письмо 12 аполитичных литераторов», с которым известные украинские писатели, включая моих друзей, выступили против кандидата в президенты Украины с криминальным прошлым Виктора Януковича, пообещавшего избирателям сделать русский язык в Украине вторым государственным. Дискуссия вращалась в основном вокруг жесткого определения в этом тексте русского языка как «языка попсы и блатняка». Разговорные неологизмы «попса» и «блатняк», выражающие априорное презрение к языку другой части населения страны, в данном контексте подразумевали, что в Украине русский язык связан прежде всего с низкопробным репертуаром музыкальных масс-медиа («попса») и с околोकриминальной субкультурой («блатняк») — а украинский, соответственно, заведомо выше всего этого.

В полемике и я, и остальные диспутанты проигнорировали главный, ключевой момент письма — то, что возможный статус второго государственного для русского языка, родного для половины населения страны, был назван «абсурдным»¹⁶. Стыдно вспоминать, что в те годы мне тоже казалась абсурдной европейская идея равенства культурных прав основных этнокультурных (языковых) групп в стране, равно как и идея символического их равенства, выражаемого одинаковым статусом языков в Конституции¹⁷.

Сегодня, видя разрушительные последствия моей многолетней поддержки культурной дискриминации, я считаю себя не менее ответственным за развитие в Украине конфликта, чем кто-либо из украинских деятелей культуры, включая моих друзей — интеллектуалов, поддерживавших это государственное насилие публично.

Нынешняя моя критическая оценка собственной негативной роли в этом процессе не позволяет мне выступать с позиции обвинителя в отношении всех тех, кто и сегодня отстаивает сталинистскую позицию, продолжая успешно раскалывать свое общество. Обвинение непродуктивно — тем более, когда тоталитарные установки и деструктивные действия людей почти повсеместно остаются неосознанными. Я не обвиняю, а предлагаю заняться внимательным исследованием тех психологических механизмов, которые оказали на исторические события, возможно, даже большее влияние, чем идеи. Только путем анализа учеными — и осмысления обществом — этих во многом автоматических процессов можно наконец остановить налаженную машину саморазрушения страны. И этот полезный опыт имел бы общемировое значение.

6. СИСТЕМА РЕСЕНТИМЕНТОВ

К моменту возникновения Украины как независимого государства после распада/упразднения СССР наличествовал ключевой исходный фактор, некое объективное обстоятельство, задававшее импульс и направление многим дальнейшим процессам. Страна в социокультурном плане была изначально крайне неоднородна и состояла из двух пусть не равных по численности, но сравнимых по масштабу частей, доставшихся ей в наследство от враждовавших друг с другом империй — Речи Посполитой, а затем Австро-Венгрии (Запад страны), с одной стороны, и Российской империи (Центр, Восток, Юг) — с другой. В обоих исторических ареалах население прочно сохраняло если не специфическую идентичность, то как минимум характерную ментальность. А вместе с тем — неготовность идентифицироваться с «другими» украинцами как согражданами одной страны. Советская эпоха с ее интернационалистским воспитанием,

с одной стороны, и репрессивными практиками — с другой повлияла на ситуацию двояко: определенная часть населения приобрела черты единого нового этноса, но при этом сохранились и даже окрепли очаги национального самосознания, сопротивляющиеся нивелирующей этнической политике и насилию.

На этот этнокультурный и ментальный субстрат накладывается такой важный и тоже крайне медленно меняющийся фактор, как *ресентимент*¹⁸ — в двух соответствующих диаметрально направленных модусах, распространение которых было в той или иной степени привязано к описанным выше двум ареалам и обусловлено влиянием соответствующих империй либо их распадом. Именно здесь кроется источник развития конфликта на долгой латентной его стадии. Совокупность этих ценностных и мотивационных векторов сложилась в специфическую *систему встречных ресентиментов*, которая определила столь многое в жизни современной Украины.

Ницшеанский термин довольно точно подходит для описания процессов в постсоветских обществах, и в том числе в украинском. Ресентимент — один из мощнейших компенсаторных психологических механизмов, реакция людей на конфигурацию политической и/или социальной жизни, воспринимаемой ими как несправедливую. Ресентимент дает выход чувству неполноправности у дискриминированных людей, облекая его в особую систему морали, приподнимающей их над дискриминаторами. (Актуализация архаичной «потребности в низших», о которой шла речь в 4-й главе.) В нашем случае мы имеем дело с *инерционными* формами ресентимента, когда он давно лишен породившей его причины и культивируется как удобный механизм оправдания бытовой ксенофобии (банальной культурно-языковой нетерпимости), в котором ключевым рабочим элементом является когнитивный диссонанс. Собственно говоря, ресентимент — это актуальная форма вертикальной структуризации идентичностей, путь возвращения избыточной агрессии в современность.

Подчеркну еще раз: подлинной мотивацией постколониального ресентимента, ввиду отсутствия (с момента распада СССР) порождающих его причин, является именно инерционная вульгарная ксенофобия, реагирующая прежде всего на простейшие раздражители — маркеры инаковости: язык визави, визуально различимые знаки его культурных предпочтений и т.п. В корне бед, о которых идет речь в этом тексте — недостаточно (либо ложно, апологетически) отрефлексированные ксенофобские реакции. А формируемый носителем ресентимента образ «врага» — всего лишь универсальный (и максимально эффективный) способ снять с себя ответственность за собственный неуспех.

7. ПОСТИМПЕРСКИЙ РЕСЕНТИМЕНТ

Относительно молодая, глубиной примерно в три десятилетия форма ресентимента в Украине присуща определенной части населения ее Востока и Юга. Это типичный *постимперский ресентимент* — травматический синдром для носителей имперской ментальности после распада родной империи. Исчезновение Советского Союза, вместе со всей его системой ценностей, прочной социальной иерархией и пр., для многих людей, в основном старших поколений (во всех социальных слоях, не только для социально-политической элиты), живущих в разных постсоветских республиках, стало, без преувеличения, драмой или даже трагедией. Пропагандистский слоган 2000-х годов «крупнейшая геополитическая катастрофа XX века» оказался психологически близок очень многим.

Постимперский ресентимент может тем или иным способом концептуализироваться и апологизироваться. Осенью 1991 года, еще до подписания «Соглашения о создании Содружества Независимых Государств», один из политических идеологов позднего СССР Анатолий Черняев писал: «Крым... Нельзя его отдать, это позор для национального самосознания России. А оно — единственно «идейная» опора российской политики»¹⁹.

Для носителя постимперского ресентимента любое националистическое, антиимперское движение ассоциируется с мертвящим хаосом, энтропией. Восприятие этнических особенностей оппонентов — ниспровергателей имперского уклада — при

этом обостряется. Всегда интересны примеры из художественной литературы. «...Видишь — в вышиванках малороссы./ Ты спрашиваешь, что они несут?/ Скорей всего, херню», — пишет в стихотворении 2006 года²⁰ русскоязычный поэт из Харькова Станислав Минаков, известный также острой критикой, особенно в последние годы, политического курса украинского правительства. Стихотворение в целом выдержано в духе иронии и эпической отстраненности: соседи автора по крымскому кафе являются как бы представителями отдельных регионов распавшейся советской империи. Но в данном фрагменте возникает, кажется, живая интонация — впрочем, негативная и подчеркнута «неполиткорректная».

Вышиванка — национальная украинская рубашка; малороссы — старое русское колониальное название-экзоним для украинцев (жителей Малороссии). Говорить они, по мнению автора, могут лишь ерунду, вздор — причем вздор злобный: примерно таково значение финального бранного слова в этой цитате.

Ценностно-мотивационные векторы постимперского ресентимента направлены в сегодняшний день из прошлого, причем из реконструированного с той или иной степенью фантазии, мифологизированного прошлого, которое, тем не менее, необходимо «возрождать». Настоящее, соответственно, также частично мифологизируется, желаемое выдается за действительное, а очевидные вещи могут оставаться как бы не замеченными.

Прекрасной иллюстрацией к постимперскому ресентименту в его постсоветской версии является знаменитая фраза российского бандита в фильме Алексея Балабанова «Брат-2» (2000), убивающего бандита из Украины со словами «*Вы мне еще за Севастополь ответите!*»

Отрефлексированное художественное сознание работает с ресентиментом, с коллективным бессознательным порой довольно неожиданно, преображая его в эстетические конструкции, лишенные (гео)политической компоненты. Так, у российского поэта Марии Степановой, носительницы европеистских взглядов, в известном стихотворении, опубликованном в 2011 году, звучит «историко-географический» вопрос: «*Зачем, как донорскую почку, / От нас вы отделили Крым?*» Вопрос, разумеется, риторический, не подталкивающий к идее возвращения полуострова в состав России: донорские органы обратно не трансплантируют.

Еще о данном модуле ресентимента. Для его носителя страна Украина, разумеется, не является суверенной и вообще сущностью, сколько-нибудь «отдельной» от России как метрополии и как матрицы. «Интегральный» пример: мой земляк по Крыму, московский писатель Виктор Зуев написал публицистическую книгу «Эксперимент “Украина”». Недоразумение длиною в столетие», в которой характеризует Украину как «искусственное государство» и «историческое недоразумение».

8. ПОСТКОЛОНИАЛЬНЫЙ РЕСЕНТИМЕНТ

Другой распространенный в Украине вид ресентимента, «встречный» постимперскому — *постколониальный* (я бы даже уточнил: «консервированный антиколониальный», поскольку никаких объективных причин для его существования давно нет), ввиду инерционности психологических механизмов прочно сохраняющий колониальную картину мира еще долго после падения колониальной системы: своеобразная фантомная боль, культивируемая как традиция, как сверхценность. Сопротивленческий пафос постколониального ресентимента связан с памятью — тщательно удерживаемой — о Российской империи, в рамках которой украинская культура была в той или иной степени дискриминирована (в частности, украинский язык, в формулировке «малороссийское наречие», был некоторое время ограничен царским указом к употреблению) и с которой отождествляются наследовавшие ей Советский Союз и Российская Федерация. Здесь также полезно обратиться к цитатам из художественных произведений.

Прозаик и поэт Юрий Андрухович — в последние 20 лет, вероятно, самый известный в мире современный украинский интеллигент. Я поклонник его прозы и эссеистики и люблю цитировать его в быту и в собственных текстах. Удалось ему, в том числе, одно из самых ярких художественных выражений постколониального

ресентимента — в знаменитом романе «Московиада» (1992), насыщенном иронией и гротеском. Юрий описывает, от лица националистически настроенного украинского поэта Отто фон Ф., изменения антропологического типа украинцев за последние столетия в результате взаимодействия с «великороссами» (жители Великой России, т.е. россияне: антоним к «малороссам», здесь используемый иронически):

«...За последние триста лет мы вполне уподобились этим суровым северянам. Почему-то начали рождаться другие украинцы — свиноголазые, с невыразительно округленными рылами, с бесцветными волосами, существующими лишь для того, чтобы вылезать. Очевидно, естественное желание наших предков как можно скорее выбиться в великороссы привело к определенным приспособленческим мутациям»²¹.

Ровно то же «обострение восприятия этнических особенностей оппонентов», о котором говорилось выше в связи с ресентиментом постимперским. Этот пассаж выглядит неожиданной (преднамеренной?) аллюзией на расистское выражение-клише «русская свинья», которое послевоенный советский фольклор приписывал нацистам в отношении жителей оккупированных территорий СССР. О ненависти как эмоциональном стержне данного эпизода написал после выхода русской версии книги московский критик Андрей Урицкий — апеллируя для наглядности к «зеркальным» стереотипам ресентимента постимперского (ничуть не менее мифологическим): *«...Уже нет места иронии, это говорит суровая злоба. В ответ хочется припомнить укорененный в массовом сознании образ украинца, хохла, салоеда и противопоставить ему русоволосого и голубоглазого светлого отрока... Но дело в том, что эту страничку (одну, к счастью, одну-единственную страничку) написал не Андрухович и даже не фон Ф., ее написала Великая Национальная Идея, а любая национальная идея начинается с поиска врага...»²².*

Предоставлю слово уроженцу Львова Игорю Клеуху, одному из лучших, на мой взгляд, эссеистов и прозаиков, пишущих сегодня на русском языке: *«...На протяжении семи веков коренное население находилось здесь в положении людей второго сорта, — чего люди не выносят более всего на свете, за что, просыпаясь к исторической жизни, мстят без разбору. Ведь кто-то запрещал же здесь проведение шевченковских вечеров (даже новогоднюю елку в центре города, чтоб не пели колядок!), кто-то загонял униатов в подполье...»²³.*

Один из наиболее любопытных в культурологическом и антропологическом смысле современных украинских текстов, внятно выражающих постколониальный ресентимент и при этом связанных с Крымом, — известное стихотворение Сергея Пантюка «Ускользают минуты из верши колоний моих...» («Нигилизм на коня»). Текст написан в парадоксалистском стиле, местами тяготеющем к абсурду, с рассыпающейся семантической связью между строками, последняя из которых звучит совсем неожиданно и напоминает политический лозунг: *«И от жажды загорится последний москаль в Севастополе!»*. «Загнуться» — в русской и украинской разговорной лексике означает «умереть под давлением каких-либо определенных причин»; «москаль» — экспрессивный украинский экзоним с негативными, «колонизаторскими» коннотациями, изначально обозначавший солдат царской армии, а в настоящее время — россиян вообще, но зачастую и русскоязычных украинцев, для подчеркивания их чужеродности в стране. На фоне текста — очень «книжного», окрашенного этически нейтрально, полного архаизмов и намеков на некие сакральные сферы или феномены — фраза о москале звучит не столько проклятием и пожеланием смерти, сколько ритуальным заклинанием или просто «голосом коллективного бессознательного».

Отметим, автор называет жителя Севастополя «москалем», хотя в период написания стихотворения (не позднее 2008 года) Крым еще не был отторгнут от Украины. В мифологической картине мира постимперского ресентимента есть удивительная общность с картиной ресентимента постколониального: для последнего Украина также не является независимой самостью! Она подвержена постоянному губительному воздействию, эрозии со стороны бывшей метрополии (и, таким образом, неотделима от нее), и одним из факторов этого вредоносного влияния является русскоязычное население Украины — которое, согласно мифу, связано с Россией теснее, чем с Украиной, и заведомо является российской «пятой колонной». Например,

житель Севастополя — это по умолчанию враг, вредитель, примирение с которым абсолютно невозможно, что хорошо артикулировано в стихотворении Пантюка.

Оказалось, что ресентимент как фиксированная «привычная травма» в своей полупатентной фазе может существовать неопределенно долго без объективных на то причин. Но все же он требует свежей подпитки негативными эмоциями, и когда ее получает, немедленно расцветает пышным цветом. Поэтому ситуация, при которой давний обидчик снова оказывается в роли такового, для носителя ресентимента желательна. А значит, вполне понятно и логично стремление спровоцировать обидчика на поведение, которое можно интерпретировать как колониальную экспансию. Характерно, что «проукраинские» апологеты войны зачастую интерпретируют участие России в конфликте в Донбассе не столько как поддержку сепаратистов или поддержание «болевого очага» в Украине для сохранения буферной зоны с Западом, а как «захватнические действия» с целью присвоить данные территории, как это было сделано с Крымом.

9. РЕСЕНТИМЕНТ «АНТИКОЛОНИАЛЬНЫЙ»

В сложном механизме внутриукраинского конфликта помимо двух описанных выше противостоящих друг другу (и при этом синергически²⁴ друг с другом взаимодействующих) видов ресентимента имеет место еще один важный активный фактор.

В результате описанной выше асимметричной внутренней политики Киева за годы независимости у значительной части русскоязычного населения Украины сложился протестный поведенческий комплекс, который можно рассматривать как новый, самый молодой вид ресентимента. Его можно было бы определить как собственно «антиколониальный», в отличие от постколониального, сохранявшегося за счет инерции, однако до серьезных исследований на эту тему предпочту дать термин в кавычках.

Известный британо-американский культуролог Александр Эткинд убедительно исследует аутоколониализацию в России. Уместно ли говорить о «колониальных» внутренних отношениях в постсоветской Украине? Здесь имеет смысл вспомнить многократно цитированное и по-разному интерпретируемое высказывание знаменитого советского правозащитника, академика Андрея Сахарова: «Мы получили в наследство от сталинизма имперскую систему с имперской идеологией, с имперской политикой “разделяй и властвуй”. Систему угнетения малых республик и малых национальных образований, входящих в состав союзных республик, которые таким образом сами превращались в империи меньшего масштаба»²⁵. Увы, калькирование по принципу фрактальности²⁶ духа империи ее составными частями стало суровой реальностью и в Украине.

Именно этот психосоциальный феномен («антиколониальный» ресентимент) имел место, например, в эпизоде с моими бывшими коллегами на фестивале «Баррикада на Тузле», описанном в главе 2. И именно он стал одним из главных факторов, повлиявших на решение многих крымчан в 2014 году.

Вопрос о том, легитимен ли крымский референдум, в этой работе не анализируется: не потому, что для обеих сторон ответ совершенно однозначен и переубедить никому никого не удастся, а потому, что фиксация на данном вопросе уводит исследователя от фундаментальных причин того, что произошло. Сейчас задача была рассмотреть не степень юридической оправданности тех или иных событий, а внутренние механизмы, этими событиями управляющие.

Мотивации, присутствующие в этом феномене, хорошо иллюстрирует, например, экспрессивный пассаж моего давнего друга, крымского поэта Андрея Полякова в эссе, написанном два десятилетия назад: «Если слово “патриотизм” и имеет какой-то не униженный для меня смысл, то это утопический патриотизм моего языка и моего Крыма. Моего оболганного, гонимого, полузапрещенного языка и моего оболганного, униженного и преданного полуострова...»²⁷. Развернутый, уже не столь эмоциональный рассказ об этом явлении и породивших его причинах (без применения терминов «ресентимент» и «антиколониальный») дан Поляковым весной 2014 года в нашумевшем интервью для Colta.ru, одного из лучших российских сайтов о культуре. Часть читателей,

однако, усмотрела в мотивациях автора ресентимент постимперский. На самом деле, конечно, разные модусы ресентимента могут сочетаться (и расслоить их бывает порой затруднительно), а иногда могут и переходить друг в друга.

10. КРУШЕНИЕ ЕВРОПОЦЕНТРИСТСКОЙ УТОПИИ

Ключевым, поворотным событием в истории постсоветской Украины — ставшим, возможно, одной из главных причин превращения постколониального ресентимента в доминирующий фактор исторических изменений в стране — я считаю демонтаж комплексного проекта развития Крыма, предпринятого в 1994 году Евгением Сабуровым, выдающимся российским ученым-экономистом и писателем, уроженцем Ялты. Его пригласил из Москвы возглавить крымское правительство Юрий Мешков — президент Республики Крым, рассчитывавший на поддержку им своей сепаратистской политики («курс на сближение с Россией, вплоть до полного присоединения»).

Однако Сабуров — антикоммунист и либерал, убежденный «западник» — выступил за сохранение полуострова в составе Украины, нарушив тем самым планы Мешкова. За первые же полгода в роли администратора-хозяйственника талантливый ученый сумел заметно поднять экономику региона и усовершенствовать местное законодательство в сторону современного западного. Знакомые бизнесмены из Союза предпринимателей Керчи говорили мне с большим воодушевлением, что, по их оценкам, Крым планомерно превращается в «украинскую Швейцарию».

Сабуровский проект был единственной известной мне государственной инициативой в Украине, ориентированной реально, а не на словах, на последовательную внутреннюю перестройку социально-экономической жизни по европейским принципам. И, разумеется, самим своим существованием он опрокидывал картину мира, выстраиваемую постколониальным ресентиментом. Если бы русскоязычный Крым под руководством россиянина²⁸ стал экономическим форпостом Украины — и фактически самой «западной», самой европеизированной ее частью! — это разрушило бы всю мифологию о зловредных «москалях». Возможно, были другие причины, почему Киев не поддержал лояльного ему руководителя региона и допустил уход его с должности на пике успеха, но заботу о благе Украины среди возможных мотиваций я исключаю²⁹. Это произошло во второй половине того же 1994 года. А все достижения правительства Сабурова вскоре были успешно сведены к нулю его преемниками.

На основании всего вышеизложенного я предполагаю, что подлинное движение в Европу, основанное на внутренней работе по европеизации сознания населения, вопреки заявляемым публичным европоцентристским лозунгам так и не стало путеводной целью для украинских властей на протяжении большей части постсоветского периода³⁰. Если это так, то проект Сабурова выглядит просто наивно-утопическим, а его крушение — закономерным и неизбежным.

Более того, не исключено, что само государственное наступление на русскоязычную культуру в Украине стартовало поначалу именно как реакция на опасность лидирования Крымского региона в движении страны к Европе.

Разобраться в этом — еще одна важная задача для историков и архивистов будущего. Надеюсь, не слишком отдаленного...

11. СЦЕНАРИЙ ДЛЯ УКРАИНЫ. ВАРИАНТ I: ЕВРОПЕЙСКИЙ, ИЛИ ГУМАНИСТИЧЕСКИЙ

Чтобы понять, что можно было сделать для предотвращения украинской катастрофы (и, не исключено, еще можно будет сделать для преодоления ее последствий), имеет смысл проделать мысленный эксперимент: сравнить два основных возможных «сценария коллективной исторической судьбы» для страны Украина с момента распада СССР. Исполнители сценариев в обоих случаях — те, кто несет ответственность за совершаемый страной на каждом этапе выбор, т.е. национальная элита: политическая (государственная власть) и интеллектуальная (лидеры мнений).

Рассмотрим сценарий, оптимальный для реализации гуманистического государственностроительного замысла, заявленного украинской властью и интеллектуалами

на старте независимой республики. Формулировку этого замысла — «европейская ориентация» — я понимаю прежде всего не как геополитический выбор («любой ценой и как можно скорее войти в ЕС»), а как готовность к тонкой и упорной работе по совершенствованию национальной ментальности в сторону того, что называют европейским мышлением. «Европейские ценности» важнее и первичнее, чем Европейский Союз. Страна с населением, не признающим этих ценностных ориентиров, по определению не готова к членству в таком альянсе.

Главный инструмент первого сценария — это (долженствующая овладеть национальной элитой) ключевая европейская идея равенства людей в правах, независимо от их происхождения, социальной, религиозной, иной принадлежности и их общественно-политических взглядов. Переформатирование фактически доминирующей вертикально структурированной идентичности в горизонтальную.

К осуществлению этого сценария есть единственный путь — преодоление в украинском обществе инерционного ресентимента в обоих его здешних разновидностях: постимперской и постколониальной.

Какие шаги необходимо предпринять на этом пути?

Во-первых, устранить языково-культурную дискриминацию в законодательстве. Изначально, при формировании Конституции родной страны, имеет смысл либо не указывать в ней государственный (официальный) язык, как это мудро сделано например в США, либо указать в таковом качестве все три языка, на которых говорят самые крупные языково-культурные группы страны: украинский, русский и крымскотатарский. Главный смысл этого конституционного шага — необходимый жест артикуляции равенства языковых культур в стране, демонстрация *концептуального единства страны* всем субъектам социально-политического противостояния. Практически все это должно означать всеобщее равенство культурных прав: свобода получения образования на любом из крупных языков, выбора рабочего языка для делопроизводства и т.д.

Во-вторых, необходимы мощные государственные программы по развитию в стране общественного диалога на культурно-языковые и социально-политические темы и максимально чуткие механизмы обратной связи по этим вопросам. Нация должна учиться *рефлектировать*, анализируя общественные мифы и избавляясь от ложных представлений. Необходима комплексная работа с прессой, в том числе борьба с «языком вражды», который, как сорняк, всегда прорастает на поле, лишенном ухода.

И в-третьих, государство-строительство в тесной связи с культуротворчеством. Необходимы работа по созданию у населения встречных позитивных образов «других» языковых культур и интеграция их в универсальный образ *сограждан*. Огромную роль в этом деле могут и должны сыграть писатели, художники, музыканты и их систематические, поддерживаемые государством поездки с выступлениями по стране. Речь не о «пропаганде», а о *работе по раскрытию друг другу* разных частей населения.

Подобных проектов нужны десятки и сотни. В реальной Украине в сфере литературы мне известны только два масштабных проекта с такой миссией.

Упомянутый выше фестиваль «Последняя баррикада» проводился тандемом «оранжевого» политика Олеса Дония и ведущего поэта Украины Сергея Жадана поочередно в разных городах страны с участием поэтов и бардов, работающих на украинском, белорусском и иногда на русском языках. При проведении «Баррикады на Тузле» (крымский этап проекта в 2008 году, куда я был приглашен как соорганизатор) был приглашен также ряд крымскотатарских поэтов. Проект имел симпатичную концепцию, связанную с уникальной историей анархистского движения на территории Украины³¹.

Проводившийся с 2006 года в столице поэтический фестиваль Александра Кабанова «Киевские лавры» изначально, наоборот, более широко презентовал русскую поэзию — как из Украины, так и из России, откуда приезжала значительная часть участников. На всякий случай заявляю как свидетель (один из десятков или даже сотен участников проекта), что литература на русском языке, и в частности современная поэзия, не представляла и не представляет ни малейшей опасности для украиноязычной культуры в Украине.

Представленность двух основных литератур Украины на «Киевских лаврах»

постепенно выравнивалась. На этом фестивале царил дух равенства языковых культур в стране. В этом, как я понимаю, заключалось главное отличие от «Последней баррикады», где русскоязычные авторы приглашались в основном из России.

Итак, главным результатом первого варианта сценария является *новый человек*: новый украинец как европеец, независимо от языка, на котором он говорит. Усилий одного поколения для этого, наверное, недостаточно. Необходимо терпение и постоянство усилий. Страна, население которой консолидировано на таких основах, готова к сближению с Европой и вступлению в ЕС.

И само собой, никакая антиукраинская пропаганда извне неспособна расколоть такое общество и такую страну.

Однако, принципиально важно следующее. До тех пор, пока сторонниками единения с Европой не станет добровольно большинство населения, те из граждан Украины, кто уже мыслят по-европейски и являются подлинными демократами, не станут требовать вступления страны в ЕС во что бы то ни стало. То, что я наблюдал в Украине все годы — категорические требования одних сближаться только с Европой, а других только с Россией, что в обоих случаях означало необходимость насилия над огромной инакомыслящей частью населения, — печально напоминает мне дух «раскулачивания» и насильственной коллективизации 1930-х годов в СССР. Это то же ясно выраженное сталинистское мышление, которое мы видим и критикуем почему-то только в России.

12. СЦЕНАРИЙ ДЛЯ УКРАИНЫ. ВАРИАНТ 2: ИНЕРЦИОННЫЙ, ИЛИ ВИКТИМНЫЙ

Как видим, реальный исторический маршрут, пройденный независимой Украиной за четверть века ее существования, пока пролегал в каких-то иных семантических пространствах. Заявленный гуманистический концепт почему-то не сработал. Рассмотрим альтернативный маршрут, который, по моим наблюдениям, сложился в реальности. Его итогом стало разделение страны на несколько частей — сперва ментальное, а под конец и физическое — и болезненная неопределенность ее будущего.

Чтобы этот сценарий стал возможен, ведущей мотивацией в деятельности элиты страны должна быть не европейская идея, а ресентимент — в той или иной его разновидности. Кто оказывается у руля — «прозападные» или «пророссийские» силы — не столь важно. Важно, чтобы эти люди упорно подогревали в обществе градус ресентимента.

Имела ли место тайная договоренность между лидерами «жертвенной стороны» и лидерами стороны «агрессивной» — не имеет принципиального значения. Синергическое взаимодействие вполне могло быть неосознанным с обеих сторон: *«договоренность коллективных подсознаний»?*.. От этого оно не стало менее эффективным.

Этот второй сценарий я называю «инерционным» не только потому, что его основой в случае постсоветской Украины является инерционный ресентимент, но и потому, что главное условие его реализации — отсутствие (либо, при их возникновении, саботирование) любых конструктивных идей и усилий в области государственностроительства. Выше я упоминал торпедированный крымский проект Сабурова, здесь же приведу слова моего близкого друга, крымскотатарского художника Исмета Шейх-Задэ, сказанные в мини-интервью украинскому журналу «Фокус» накануне крымского референдума:

«Освоение Крыма Украиной провалено. Чтобы Крым оставался с Украиной, украинским властям нужно было лучше, чем в России, пытаться понять русскую цивилизацию. Киев относился к полуострову не как к перекрестку — геополитическому, культурному, — а как к даче. В числе причин этого провала — дефицит креативности. Провинциальное мышление. Патологическое желание быть при ком-то. Уверенность, что проблемами Украины должны заниматься все, кроме самих украинцев, — ООН, США, НАТО, Россия...»

Итак, делать ничего не надо, усилия излишни: система ресентиментов сделает все за вас. Общество, одна часть которого дискриминирована, а другая привилегирована, но, что важно, не ощущает или не признает своих привилегий, а к дискриминированной

относится как к безнадежно отсталой, неизбежно со временем поляризуется до экстремума.

Однако данный сценарий имеет еще одну важную особенность: он состоит из двух внешне очень разных этапов: долгого подготовительного, латентного, «неочевидного», когда элита, пользуясь распространенностью ресентимента, провоцирует его для углубления раскола в обществе (*divide et impera!*), — и стремительно развивающегося «очевидного» этапа, который может очень долго не наступать. Для перехода к этому этапу необходимо дождаться ситуации резкого ослабления центральной власти в стране. И разумеется, необходимо наличие соседней страны или стран, которые будут готовы к силовому вмешательству для поддержки одной из противостоящих сторон. Украине в этом плане «посчастливилось» на все 100%.

Конечно, властной элите еще очень важно в определенные моменты не предпринимать определенных активных действий. Как известно, пророссийские митинги после победы Евромайдана проходили не только в Донецкой и Луганской области, но и в нескольких соседних областях. В последних сепаратистское движение было без особого труда купировано. Такое, разумеется, вполне могло произойти и в Донбассе: государство обязано проявлять волю к самосохранению, законно применяя насилие, и это достаточно простая задача. Однако две восточные области оказались предоставлены сами себе, и ход событий, как и следовало ожидать, перешел в «очевидный», виктимный сценарий.

Наконец, важнейшим фактором развития второго, инерционного, сценария является максимальное насаждение и воспроизведение мифа о том, что на самом деле страна якобы идет по первому, гуманистическому, пути. Человеку всегда трудно ощутить дискриминацию в обществе, когда ее объектом является не он, а тем более, когда дискриминированы его оппоненты: ведь такая дискриминация не может быть несправедливой!

Убежденность решающей части интеллектуальной элиты Украины в том, что общество и государство все эти годы развиваются по правильному, европейскому пути, что дискриминация — это очень европейский инструмент, — вот главная, на мой взгляд, гуманитарная катастрофа страны и главная гарантия перманентного разрушения страны в ближайшем будущем.

13. БАНАЛЬНОСТЬ РЕСЕНТИМЕНТА

Итак, на сегодня ресентимент в Украине тотально восторжествовал во всех его вариантах. Конец 2016-го и весь 2017 год отмечены небывалым размахом идеологической и административно-юридической кампании против русского языка — идущей пока с переменным успехом. *«Идет война с участием России, поэтому русский язык должен быть максимально поражен в правах»*, — слышится отовсюду. Я поверил бы в связь первого тезиса со вторым, если бы не слышал те же самые призывы к дискриминации от тех же людей за много лет до начала конфликта. Очевидно, в сознании этих людей *война шла всегда*. И значит, ничему происходящему сегодня можно не удивляться.

Постимперская и «антиколониальная» разновидности ресентимента вернули России Крым, постколониальная избавилась и от Крыма, и — фактически — от Донбасса, а также продемонстрировала миру экспансионистские намерения России. Благодаря синергически согласованным действиям получили желаемое все модусы: очевидный и блестящий результат «win — win»³²... Внешне выглядящие заклятыми врагами, «противоположные» разновидности ресентимента на самом деле необходимы друг другу и продуцируют весьма сходную картину мира — правда, описываемую из полярных друг другу (в плане моральных оценок) точек.

Аналогично, бесконечное продолжение конфликта в Донбассе устраивает обе его стороны — точнее, *власть* по обе стороны государственной границы: свидетельство тому — систематические нарушения Минских соглашений обеими сторонами. Российская власть получает надежную подконтрольную ей буферную зону на своей границе со все более враждебным к ней (в реальности или в ее представлении — не так важно) Западом, украинская власть — поддержание своего народа в состоянии болевого стресса, отвлекающего его от растущих внутренних социально-экономических

проблем, и моральный карт-бланш в глазах западной общественности для дальнейшего закручивания гаек украинизации русскоязычного населения.

Незаинтересованность нынешней украинской политической и интеллектуальной элиты в мирном процессе в Донбассе и в возвращении Крыма в Украину очевидна. Об этом свидетельствуют прежде всего сеющие раздор месседжи, которые Киев регулярно посылает разным частям страны, например, о том, что «Украина никогда не станет федеративной». В неменьшей степени об этом свидетельствует дружное молчание интеллектуальных лидеров по поводу этих провокаций. И угроза дальнейшего развития унитаризма побуждает тех, кто не хочет, чтобы ему «улучшили» его культурную идентичность по единому шаблону, к дальнейшим протестным и конфликтным действиям.

Я хочу обратить внимание читателя, например, на публичное заявление президента Порошенко в феврале 2015 года о жителях Галиции как государствообразующей для Украины группе населения³³. Это достаточно ясное послание жителям Востока и Юга: *«Вы — худшие, неполноценные украинцы! Какой станет в будущем ваша страна, решать не вам»*.

Как фантастически это ни звучит в контексте «ориентации на Европу», но за прошедшие три года это откровенно дискриминационное заявление не было осуждено или оспорено ни кем-либо из украинских политиков, ни, например, деятелями культуры. Все выглядит так, что жителей Галиции устраивает статус людей первого сорта в своей стране, возвышающий их над жителями других регионов.

Одного этого примера достаточно, чтобы получить ясное представление о глубинных причинах и механизмах происходящих событий и о ближайшем будущем прекрасной многострадальной страны.

И еще раз повторю: *какой именно из двух синергических модусов ресентимента в Украине привлекался властями для раскола страны на длительном первом этапе виктимного сценария, не имеет большого значения*. Важна сама готовность властей, не решая актуальных внутренних проблем государства, это государство активно разрушать — внятно артикулированной дискриминацией одной из частей населения, провокационным стиранием различий между разными частями... О подобных действиях, например, первого президента Украины вспоминал известный российский правозащитник, сооснователь и генеральный директор Русского ПЕН-центра Александр Ткаченко (1945–2007): *«...Известна история о том, как крымские татары, прибыв в Киев на встречу с Кравчуком, были встречены им следующими словами: “Татары? Какие вы татары? Вы — украинцы”. И это — не байка, это конституционная норма. Мне кажется, что унитаризм разорвет Украину»*³⁴.

Если бы власти независимой Украины все годы ее существования поддерживали морально и подкрепляли привилегиями не Запад, а Восток страны, не постколониальный, а постимперский ресентимент, и пытались русифицировать украиноязычное население, а не наоборот — результат сегодня был бы приблизительно тот же. Отсоединиться захотел бы не Восток, а Запад, но в итоге страна так или иначе оказалась бы расколота физически, и государственная пресса точно так же писала бы о прибывающих извне на помощь внутреннему врагу интервентах — только не о военных и добровольцах из России, а о «наймидах Запада». Теоретическая возможность отделения, например, Галиции, — в случае если киевская власть примет ориентацию на Россию, — в свое время всерьез обсуждалась в украинской прессе.

Здесь упомяну небольшой эпизод, имеющий для меня символическое значение. В декабре 2010 года я написал двум украиноязычным киевским журналистам, которые специализировались по социокультурным темам и которых я считал своими друзьями, срочный e-мейл о варварском решении мэрии Керчи — закрыть половину городских библиотек. Крымские журналисты против всеильного керченского мэра были беспомощны, а публикация на общеукраинском уровне могла бы стать спасением. Однако на мой сигнал SOS один коллега просто не ответил (и на этом наше общение, до того всегда очень теплое, вообще прекратилось), а второй после долгой паузы сообщил, что был очень занят и поэтому переслал мое письмо другим авторам, а те не посчитали тему интересной. Вскоре половина библиотек действительно была закрыта, а у меня осталось тяжелое чувство, что мои авторитетные коллеги посчитали

недостойным делом (роняющим их репутацию в Киеве?) публично защищать русскоязычные библиотеки Крыма.

И мне хочется задать риторический вопрос: «Не произошло ли отсоединение Крыма от Украины сперва на тонком уровне — в головах и сердцах, например, этих моих друзей, а уже потом — на грубом уровне политики?.. Не они ли осознанно оттолкнули Крым, оставив его тогда в беде, сняв в себя ответственность за его судьбу?»

Суммируя все вышесказанное, я хочу сказать, что основная суть происходившего на «неочевидном» этапе виктимного сценария — это раскол страны на тонком уровне, работа властной и отчасти интеллектуальной элиты по нагнетанию противостояния и разрыву важнейших внутренних связей в украинском обществе. Доведенный до предела, этот невидимый раскол был, по сути, приглашением к внешней агрессивной силе: вмешаться и сделать разделение страны видимым для всего мира. А тем самым — снять ответственность за все произошедшие и за дальнейшие события с тех внутренних сил в стране, которые долго и упорно эти события подготавливали.

14. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НАДЕЖДЫ

К счастью, далеко не все лидеры мнений в Украине мотивированы ресентиментом.

В декабре 2014 года премия Би-би-си за лучшую книгу десятилетия была присуждена выдающемуся украинскому писателю и поэту Сергею Жадану за роман «Ворошиловград». Выступая по скайпу перед собравшимися, лауреат *«сказал, что пора допустить к участию в конкурсе книги, написанные на русском языке. Тут половина зала словно ежа проглотила»*, — написал в тот же день в Фейсбуке присутствовавший при церемонии литературный критик Юрий Володарский (между прочим, известный сторонник и Майдана-2004, и Евромайдана-2014).

Насколько я знаю, эта абсолютно европейская идея Жадана организаторами премии — европейцами — «не услышана» до сих пор. Добавит ли патриотизма украинскому писателю, пишущему на одном из основных языков Украины, премия, которую он никогда не сможет получить, каким бы патриотом своей страны и каким бы гением он ни был?

И здесь — один из поводов задуматься о реалистическом распределении исторической ответственности за раскол Украины. Акторов в этом процессе может оказаться гораздо больше, чем кажется при поверхностном взгляде.

В конце 2016 года Жадан произнес в интервью следующее: *«Если мы действительно хотим сохранить ту страну, которая у нас есть, нам следует быть осторожными, выбирая героя того или иного персонажа. Нельзя одну тоталитарную матрицу заменять другой только потому, что она построена на патриотических основах»*³⁵. Имена не названы, но вряд ли писатель мог иметь в виду что-то иное, кроме упоминавшихся выше указов о статусе героя Украины для Бандеры и Шухевича. Из этого высказывания следует логичный вывод — в нынешней Украине сохраняется тоталитарная матрица. И существование страны остается под угрозой до тех пор, пока не отменены разрушительные указы.

Еще пример гуманистической позиции. Один из самых авторитетных украиноязычных прозаиков Тарас Прохасько в интервью еженедельнику «Новое Время» в августе 2016 высказался так: *«Я понимаю, что это неправильно, но Донбасс нужно отпустить. Неправильно, потому что это нарушение территориальной целостности. Но я до сих пор думаю, что так лучше. Я предпочитаю не заставлять кого-то меня любить, а просто не быть с тем, кто меня не любит...»*³⁶. «Я пытаюсь понять обе стороны конфликта, сепаратистов тоже», — говорит львовский прозаик Любка Дереш в октябре 2017 года в интервью известному украинскому телеведущему Остапу Дроздову.

Возвращаясь к упомянутой церемонии Би-би-си и акцентируя внимание на моменте «идея не услышана», предположу, что в основе конфликта в Украине лежит, в значительной степени, коммуникационная катастрофа. Стороны конфликта развивают противонаправленные мифы друг о друге и категорически отказываются корректировать свои представления. Причем мифы эти тесно (и синергически) взаимосвязаны — как и лежащие в их основе постколониальный и постимперский ресентименты, — а во многом даже совпадают.

Воля к поиску взаимопонимания в Украине существует, но ее носители пока что остаются в слабой позиции. Когда Сергей Жадан «пригласил на литературную встречу в Харькове поэтессу из Донбасса Елену Заславскую, на него обрушился шквал критики» (обвинения в предательстве и заигрывании с врагом. — И.С.), — пишет в августе 2016-го украинская газета «Зеркало Недели»³⁷. Голоса в пользу поиска взаимопонимания с оппонентами и мирного решения конфликта, принадлежащие цвету украинской нации, заглушены хором тех, кто требует крови врага. Но я уверен, что темные для Украины времена рано или поздно закончатся и европейские принципы жизнеустройства восторжествуют во всех областях жизни. На самом деле мне кажется, что нежелание слышать Другого сейчас стало общемировой болезнью, некоей дурной модой на упорную неадекватность и взаимную глухоту. Но это — тема для отдельного исследования.

Негативные процессы, идущие в последние годы как в России, так и в Украине, ни в том, ни в другом случае не кажутся мне необратимыми. В перспективе я склонен смотреть с оптимизмом даже на ближайшее десятилетие. Но сейчас оба государства в той или иной степени движутся в направлении *от Европы* — что бы ни заявляли нам политические или интеллектуальные лидеры.

Продолжит ли Украина двигаться по инерционному сценарию или ее граждане найдут в себе силы для изменения ситуации — покажет время.

Здесь специально отмечу, что *отсутствие у одного из основных языков страны государственного статуса — само по себе не проблема*. Страшной проблемой этот вопрос становится, когда в стране начинает торжествовать инерционный ресентимент в разных своих видах, требующий унижения для оппонентов, и конституционный рычаг начинают использовать как палку для битвы. В контексте же подлинно европейском этот статус имел бы скорее орнаментальное значение.

Но чтобы что-то изменить, нужно прежде всего помочь завязыванию диалога между противоборствующими сторонами. И здесь, не дожидаясь, пока представители власти осознают необходимость начать движение к Европе на деле, а не на словах, огромную роль могут сыграть лидеры мнений, интеллектуальная элита страны. Главное — отказаться от культа презрения, от вертикального структурирования идентичностей. Я верю, что хотя бы некоторые из нынешних интеллектуальных лидеров — писатели, публицисты, авторы популярных блогов — когда-нибудь, перечитывая свои высказывания, полные унижительных определений в стилистике «языка вражды» и призывов к неравноправию по этнокультурному признаку, скажут себе: то, чего мы тогда хотели, не имеет отношения к Европе. И мы получили тогда именно то, чего хотели.

Напоследок хотелось бы процитировать лауреата Нобелевской премии поэта Иосифа Бродского, очень четко сформулировавшего, как важна в современном мире «*узнаваемая любым членом демократического общества тональность — отдельного человека, не позволяющего навязать себе статус жертвы, свободного от комплекса исключительности. Этот человек говорит как равный с равными о равных: он смотрит на людей не снизу вверх, не сверху вниз, но как бы со стороны*»³⁸. Как мы знаем, сам мэтр не всегда, увы, был верен этому принципу — и за это в Украине многие его не любят. Но это отнюдь не означает, что мы, желая себя воспитать, имеем моральное право не следовать этому принципу.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Это эссе было опубликовано в немецком переводе в научном сборнике «*Sirenen des Krieges Diskursive und affektive Dimensionen des Ukraine-Konflikts*» («Сирены войны. Дискурсивные и аффективные аспекты конфликта в Украине»), вышедшем в берлинском издательстве Kulturverlag Kadmos. Текст писался два с половиной года и отправлен в редакцию в августе 2018-го, книга вышла в декабре 2019-го. Очевидно, задача трудно давалась всем. Мне — мучительно. Каждый смысловой узел сочинения стягивает и кусок биографии автора. Но каждый очередной рывок продвижения в тексте давал некое небольшое просветление, шаг наружу из непроглядной темноты, в которой я начинал.

Дело не в чувстве вины: «да, я один из тех, кто раскалывал Украину», — или:

«опомнившись, я поленился кричать, не захотел докричаться до тех, кто продолжал раскол». Дело в тихом (экзистенциальном, как принято говорить) ужасе осознания пропасти между моими, да и, пожалуй, всеобщими представлениями о человеческой и межчеловеческой реальности — и открывающейся постепенно, благодаря этим рывкам, реальности как таковой.

Люди идут на войну, на лишения и смерть зачастую не ради того, что кажется им самым священной жертвой, а ради чего-то совершенно иррационального, познанию и обезвреживанию чего, на мой взгляд, следует посвящать теперь исследования и, как ни странно, душевные усилия.

Именно так. Объективный научный взгляд, свободный от нравственных оценок, сейчас равен нравственному служению. Антропологии как науки, позволяющей прикладное применение знаний, все еще практически не существует, — ровно в меру ее беспомощности перед задачей постижения природы (а тем самым и приближения к излечению) горячих конфликтов.

Что изменилось со времени написания эссе? Главное — это уход президента Петра Порошенко, насчет мотиваций которого я не питал никаких иллюзий и для себя называл «президентом войны». 73% проголосовавших за другого кандидата означают, что прозрение может быть массовым. Но пришел новичок в политике, пока что труднопредсказуемый. Постсоветский интеллигент с парадоксальным сочетанием амплуа актера-комика и делового человека, прошедший еще в тинейджерском возрасте (родился в 1978-м) закалку эпохи перемен. Последний по времени значимый месседж миру от Владимира Зеленского — гражданственное посылу «новогоднее поздравление» — все еще не дает однозначного ответа, куда вырулит его курс: в Европу, в смысле примата гражданского общества и преодоления сталинистской идеи о неравноправии этнокультурных групп, или в наращивание внутреннего конфликта как ресурса власти, куда тянули страну Ющенко, Янукович, Порошенко? Тревожит в тексте инерционная формулировка «защищающий страну на Востоке», возвращающая к мифологеме об исключительно внешнем враге. Надеюсь, что героическая риторика здесь — лишь тактическое средство нового лидера, усыпляющее бдительность патриотов войны.

И. С., февраль 2020

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ «...враги среди нас появляются лишь после того, / когда мы сами ведем себя, как враги». Сергей Жадан, «Наші діти, Маріє, ростуть ніби трава...» Первотип — на официальной странице С. Жадана в Фейсбуке от 25 апреля 2014 г.

² Александр Ткаченко (1945–2007) — советский и российский поэт, правозащитник, сооснователь и первый генеральный директор Русского ПЕН-центра: «Крым — это колоссальная модель того, как можно жить вместе». Интервью для альманаха «Остров Крым», № 3, апрель, 1999.

³ «Кое-кто считает, что эта война родилась третьего марта. Если так, то она быстро повзрослела. Война-акселерат», — так начинается рассказ западноукраинского писателя Владимира Ешкилева «Однообразие диких гусей», датируемый июлем 2014 года (перевод Евгении Чуприной).

⁴ Возможно, здесь имеет место неосознанная реминисценция на неологизм «врэвакуанты» (аббревиатура от «временные эвакуанты») в знаменитом романе Василия Аксёнова 1979 года «Остров Крым». По сюжету книги, термин для беженцев от наступающего большевизма, осевших в Крыму после гражданской войны в России, закрепился на десятилетия и стал этнонимом.

⁵ Игорь Сид. «Остановить войну мифов». Интервью Ольге Михайловой. Политик HALL, №42, 2008.

⁶ Игорь Сид. Очерк «Масаи Крыма и Галиции» // Газета «24», 31 мая 2008.

⁷ Игорь Сид. «Instrumente for eine neue Anthropologie». Интервью Татьяне Хофманн. Сайт novinki.de, март 2009.

⁸ Краткая версия названия проекта «Крымский клуб» является прежде всего отсылкой к «Римскому клубу» и подразумевает унаследованные от него приоритет гуманистических принципов, глобальность мышления и озабоченность будущим.

⁹ Так, мне посчастливилось стать переводчиком первых книг Юрия Андруховича и Сергея Жадана, вышедших на русском языке (Андрухович Ю. Перверзия. Роман. / Пер. с укр.

А.Бражкиной и И.Сиды. — М.: Новое литературное обозрение, 2002; Жадан С. История культуры начала столетия. Поэтический сборник. / Пер. с укр. И.Сиды. — М.: KOLONNA Publications, АРГО-РИСК, 2003.).

¹⁰ Василий Аксёнов. «Открыть Крым миру». Интервью Игорю Сиду. «Гуманитарный Фонд», 01.11.1993.

¹¹ Александр Гаврилов. «Русская литература и государство в новом веке». Интервью Игорю Сиду. «Со-Общение» №6, 2004.

¹² Нем.: неполноценный человек; представитель низшей расы; «недочеловек» (на жаргоне германских фашистов).

¹³ Игорь Сид. Сквозь фильтры мифа (Durch den Mythos gefiltert). Tageszeitung, 08.03.2014.

¹⁴ Игорь Сид. Раскрась карту // «Русский Журнал», 28.06.2012.

¹⁵ Тем, кто искренне хочет разобраться, что происходит, я рекомендую широко общаться с крымчанами — причем, представляющими обе позиции по отношению к статусу. В том числе имеет смысл посетить Крым. Это единственный достоверный способ узнать настроения на полуострове и роль украинской внутренней политики в их формировании.

¹⁶ В дискуссии на сайте русской редакции Би-Би-Си.

¹⁷ Тот факт, что папку в компьютере, куда я в 2000-е годы складывал электронные письма моего живущего в Украине близкого друга, возмущавшегося национальной политикой Киева, я назвал тогда (при всем теплом к нему отношении) словом-синонимом к термину «идиот», был настолько характерен для тогдашнего меня, насколько и психологически типичен. Я узнаю себя тогдашнего во всех тех, кто по-прежнему провозглашает: «В стране Украина может быть только один язык — украинский!».

¹⁸ Ресентимент (фр. *Ressentiment* — противочувствование, злопамятность, озлобление) — чувство враждебности к тому, что субъект считает причиной своих неудач.

¹⁹ «1991 год: Дневник помощника Президента СССР». — М.: Терра, 1997.

²⁰ Станислав Минаков. «Кафе “Третій Рім”». Зимний вечер в Ялте.

²¹ Юрий Андрухович. Москowiада: Роман. — М.: Новое литературное обозрение, 2001 / Пер. с украинского А.Бражкиной.

²² Журнал «Знамя», №12, 2001.

²³ Игорь Клев. «t° карта Галиции (Письма из Ясенева)» // Русский Журнал, 22.12.1998.

²⁴ Синергия — усиливающий эффект взаимодействия двух или более факторов, характеризующийся тем, что совместное действие этих факторов существенно превосходит простую сумму действий каждого.

²⁵ Андрей Сахаров. Интервью Григорию Цитриняку для журнала «Огонек», июнь 1989.

²⁶ Фрактал — структура, состоящая из частей, которые в некотором смысле подобны целому.

²⁷ Андрей Поляков. Поэт в провинции: Эссе // Независимая газета, 16.10.1998.

²⁸ Красноречивая деталь. В этот свой «крымский» период Сабуров, не отказываясь от российского гражданства, попросил и вскоре получил гражданство украинское (хотя украинские законы двойное гражданство запрещали), — которое, живя потом в Москве, с гордостью сохранял до самой своей смерти в 2009 году.

²⁹ Сам Сабуров, впоследствии долго сохранявший лояльность по отношению к украинскому руководству, политкорректно объяснял свой уход конфликтными взаимоотношениями с Мешковым, непониманием ситуации со стороны украинской прессы и международного сообщества (предпочитавших трактовать его деятельность через стереотип «российского империалистического проекта») и отстраненностью российского руководства, не приложившего усилий для разъяснения ситуации: см. мое интервью с ним для журнала «Со-Общение» (№ 2, 2005).

³⁰ Исключением в этом ряду может служить как минимум часть команды президента Кучмы, как бы парадоксально это ни звучало для тех, кто когда-то требовал его отставки. Впрочем, я не располагаю достаточной информацией, чтобы делать однозначные выводы.

³¹ Правда, эпатажная ретростилика фестиваля могла вызывать неоднозначную реакцию у неподготовленных слушателей: черные знамена, настоящий старинный пулемет, выкатываемый на сцену перед выступающими. Для ясности: как зритель двух и со-организатор одного фестиваля под этим брендом уверенно могу сказать — проект не был агрессивным. Главной его эмоцией был позитивный пафос нациетворчества: то, о чем я рассказывал в первой главе.

³² От англ. win — победа: победа без поражения, со взаимной выгодой.

³³ «Порошенко: Галичане — основа государственности Украины». // Корреспондент.net, 11.02.2015.

³⁴ Александр Ткаченко: «Крым — это колоссальная модель того, как можно жить вместе». Интервью Андрею Кавадееву. // Журнал «Остров Крым», № 3, апрель 1999.

³⁵ Интервью с С.Жаданом для украинского журнала «Платформа», 19.12.2016.

³⁶ Интервью с Т.Прохасько для журнала The New Times, №31 от 28.08.2015.

³⁷ Юрий Володарский: «Не нужно смотреть на мир сквозь розовые очки!» // «Зеркало недели», 27.08.2016.

³⁸ Иосиф Бродский. О Серёже Довлатове. // Звезда, № 2, 1992.

Людмила Синицына

О дивный Арзамас!

Венец желаниям! Итак, я вижу вас,
О други смелых муз, о дивный Арзамас!

А. С. Пушкин

Темная тропинка под густой сенью деревьев значительно сокращала путь, зато на каждом шагу поджидают то застывшие в корчах корни деревьев, то черепаховым панцирем выгнутые камни, а то просто темная выемка. Но у меня в руке фонарик, который отец ласково называет «жучок». Он и в самом деле жужжит... Сначала едва слышно, потому что ручка, на которую надо надавить, чтобы «выжать» пучок света, поддается туго, с заметным усилием. Но чем больше жмешь, тем легче становится. Такое ощущение, что фонарик, набрав скорость, уже работает сам по себе, поддерживая бегущий впереди круг света...

Оказывается, рука и по сей день (а ведь прошло почти пятьдесят лет!) сохранила то давнее ощущение упругого сопротивления!

Воспоминание всплыло само собой, когда я взяла в руки фонарик с витрины. Музей при Арзамасском приборостроительном заводе им. П. И. Пландина выстроен не так давно по предложению третьего Генерального директора (сейчас Председателя совета директоров предприятия) — Олега Вениаминовича Лавричева. Большинство экспонатов не только разрешают, но и настоятельно советуют взять в руки. Фонарик — первое изделие, выпущенное в шестидесятых годах теперь уже прошлого века.

— Арзамасский «жучок» пользовался большим спросом, — продолжает рассказ директор музея Лилия Сорокина.

Что неудивительно. Он не нуждался в батарейках (кто жил в те времена, помнит, каким они были дефицитом), ему не требовались аккумуляторы, подзарядка... Незаменимая вещь где-нибудь в горах, в дальних маршрутах. Какой же замечательной была эта идея — автономного, независимого источника света!

На соседней витрине еще одно знакомое изделие — трехрожковая люстра (опять — как символично — связано со светом). Сколько раз мы просиживали под ними, когда готовились сначала к школьным экзаменам, а потом уже и к студенческим сессиям. Да и сейчас люстра не сильно выбивается из ряда тех, что продаются в магазинах.

— Думаете, это просто коробка из-под макарон? — лукаво спрашивает Лилия Сорокина. — На самом деле, перед вами уникальный прибор — «дедушка» ксерокса. Выглядит странно. Но работал. Им пользовались, когда надо было скопировать чертежи. Ставили упаковку оконного стекла, сверху стелили кальку, потом синьку, вместо крышки — еще один лист стекла. Ну и подсвечивали, чтобы чертеж отпечатывался. Когда стекло лопалось от нагрева, заменяли новым.

— А это? Неужели легендарная «Легенда»?!

— Так и есть!

— Тоже ваше изделие? Во времена моей молодости это был самый компактный магнитофон.

Когда мне его выдали в редакции радио, я почувствовала себя... настоящим журналистом! Кожаный черный футляр на длинном ремешке, в который помещался магнитофон, напоминал элегантную сумочку, приятно оттягивающую плечо. «Легенда» долго служила нам верой и правдой, с ней легко было «трое суток шагать и трое суток не спать»... Любители послушать записи у костра тоже старались прихватить ее с собой в поход.

— А так выглядели первые счетчики воды и газа. Сегодня такие счетчики, правда уже нового поколения, стоят в каждом доме... или почти в каждом доме.

Что ж получается? Арзамасский приборостроительный постоянно с нами, с первых дней существования и до сих пор?! Семьдесят лет мы пересекались и продолжаем пересекаться с ним.

Осознание этого поразило еще при первом посещении музея — с группой писателей во время литературного фестиваля в Нижнем Новгороде. После встречи с читателями в городской библиотеке Арзамаса мы пришли познакомиться с музеем знаменитого завода. Через полгода я приехала в город, чтобы собрать материал для своих записок, и это ощущение — связи с историей города — только укрепилось.

«Те приборы, что гордостью стали для нас»

Всё на свете должно быть измерено —
И вода, и тепло, недр богатства и газ.
Этой цели и служат уверенно
Те приборы, что гордостью стали для нас.

Это слова из гимна, который встречает поток работников у широко развернутого ряда пропускных автоматов. «Та заводская проходная», что выводила в люди жителей города со дня основания приборостроительного, сейчас сильно преобразилась, как и сам завод. И сотрудники, что идут в цеха, совсем не напоминают массу людей прежних лет, одетых чаще всего в сдержанные (мягко выражаясь) серовато-темные тона. Сейчас женщины, как правило, выглядят вполне нарядно, в таком виде можно и в гости, и в парк, и в кино, куда хочешь, везде будет уместно. Да и мужчины — в светлых рубашках и брюках — хоть на парад выпускай. Правда, в восьмидесятых годах поток был многолюднее, сейчас количество заводчан уменьшилось почти наполовину.

Ровно в восемь часов утра поток сразу иссякает. Опоздание, как можно себе представить, — явление исключительное.

Открываю дверь расположенного рядом с проходной музея, невольно отмечая, какое это светлое, праздничное современное помещение, где каждая витрина — веха в истории завода и города. В составлении коллекции принимали участие все заводчане и жители, потому что так или иначе судьба каждого человека в Арзамасе пересекается с судьбой завода.

Мне предстоял разговор с главным метрологом. Иван Иванович Демчук — аккуратный, собранный — вошел в музей, где мы могли поговорить, точно в назначенное время. Что меня нисколько не удивило. Я уже не раз прошла по заводу, по его цехам, поговорила со многими мастерами, инженерами. И общее представление о стилистике ведущего предприятия России у меня сформировалось.

Иван Иванович, устроившись за столом, произносит неожиданный, вроде бы не имеющий никакого отношения к заводу, вопрос:

— С чем первым делом сталкивается новорожденный? — И, не дожидаясь ответа, продолжает: — Его начинают измерять: вес, рост. И потом каждый месяц появляются данные, которые позволяют понять, правильно ли ребенок развивается, все ли с ним в порядке. Точно так же и первые шаги цивилизации связаны с измерениями. Сколько стадий на том или ином участке поля, как далеко летит копье, сколько меховых шкурок требуется сдать и так далее. Каждый новый цивилизационный шаг связан со все большей точностью измерений. Эталоны, утвержденные в 1889 году, хранятся в помещениях Международного бюро мер и весов в Париже в особых условиях. И вот очередной виток или рывок. В мае прошлого года утверждены новые значения:

килограмм, ампер, моль и кельвин теперь определяют формулы, которые рассчитываются... на принципах квантовой физики. Вы представляете, какой это уровень точности?!

Что ж, как заметил еще почти сто лет назад поэт Николай Гумилев, «...все оттенки смысла умное число передает». Однако какими бы бесконечно точными ни были килограммы и граммы, километры и миллиметры, все-таки «мера всех вещей — человек». И не только потому, что само тело, количество пальцев на руках и ногах, размах рук, длина шага — первые «измерительные эталоны».

Конечно, Протагор сформулировал утверждение о том, что «человек — мера всех вещей» для доказательства относительности нашего знания о мире. Но, как часто случается, выражение уже давно перетолковали на свой лад. И сейчас мы его используем, чтобы подчеркнуть: мера всех вещей — человек, поскольку он все пропускает через себя, через свою душу, личность.

Каждый город нашей просторной родины (как, впрочем, и других стран) «измеряется» людьми, которые там родились, выросли, оставили память о себе, или теми известными личностями, чьи пути пересекались с ним.

Такая теснейшая связь существует между «солнцем русской поэзии» и городом Арзамасом. Даже не потому, что Александр Сергеевич трижды останавливался здесь по дороге в родное Болдино (еще в 1619 году Фёдор — сын Петра Пушкина — получил это село «за московское стояние против поляков»), хотя одного такого визита для иного города было бы достаточно, чтобы гордиться, пусть и косвенной, причастностью к личности великого поэта.

Связь Арзамаса и Александра Сергеевича намного значимее. Правда, восклицание «О дивный Арзамас!» — вовсе не выражение восторга при виде достопримечательностей города. Это строки из посвящения, которое юный выпускник лицея (в тот день он получил прозвище «Сверчок») прочитал в день уже официального вступления в литературное общество «Арзамас», куда его задолго до того ввел дядя Василий Львович. И без малейшего сомнения можно утверждать, что пребывание Саши Пушкина в этом обществе решило судьбу российской словесности. А чтобы объяснить, какое это имеет отношение к городу, придется сделать небольшое отступление.

Гусиная столица

Звания «гусиной столицы» Арзамас удостоился с легкой руки Екатерины II, побывавшей здесь проездом летом 1766 года. Летописец Николай Михайлович Щегольков оставил в «Исторических сведениях о городе Арзамасе» (книга вышла в 1911 году) немало красочных описаний: приезд ее императорского величества, богатство кортежа, тревожнения местного населения, встреча с дворянством и купцами. Упомянул Николай Михайлович и о гусиных боях, которые жители устроили на Соборной площади на потеху придворным.

Екатерина II не удостоила посещением сию грубую забаву. А вот ее приближенные вошли в азарт, наблюдая за сражением крупных задиристых гусаков, и даже начали заключать пари. Граф Орлов оказался прозорливее других. Владелец подарил отличившегося бойца фавориту Екатерины, чем тот остался «весьма доволен»... Что неудивительно. Жители вывели особенную породу, которая и получила название «арзамасский гусь». Туловище у него было «плотное, спина широкая, грудь выпуклая, крепкая шея». А глаза, глаза! Непременно «голубые с желто-оранжевыми веками». Клюв тоже особенный: у основания «толстый, желто-оранжевого цвета», а кончик — «белый с розовым кольцом».

Арзамасские гуси славились не только отменными бойцовскими качествами. Гурманы ценили их за особенно нежное и сочное мясо. Пользовавшихся большим спросом гусей разводили в таком количестве, что, когда выпускали их пастись на притешные луга (то есть луга при реке Теша), создавалось впечатление, будто среди лета выпал снег, покрывший берега белыми сугробами.

Некий проезжий оставил шуточные воспоминания о своем пребывании: «Город

этот с давних пор справедливо почитается столицей гусиного царства. Поистине при виде этих зеленых площадей, сверкающих живописными лужами, и улиц, занятых отрядами самой воинственной птицы, хватающей за ноги редких прохожих, невольно приходит в голову мысль, что город сей в некую неблагоприятную годину был осажден и завоеван гусями... Гусь — это арзамасская история, это прошлое и настоящее, это, наконец, и будущее города, ибо он, несомненно, покоится на безмятежном размножении и процветании этой значительной, воинственной и крупнокалиберной птицы». (Кое в чем прозорливое высказывание оказалось исключительно точным.)

Владимир Галактионович Короленко, не раз бывавший проездом в Арзамасе, тоже отметил «изобилие домашней птицы, при выпасе которой вся поверхность реки превращалась в шумную, многоголосую улицу. Нечто вроде Невского проспекта».

Целые стада (до двадцати тысяч) крепких, выносливых гусей пешим ходом перегоняли не только до Нижнего Новгорода, но до Москвы и Петербурга.

Чтобы уберечь лапы, стадо прогоняли (отсюда и название Прогонной улицы) сначала по смоле, а потом по рассыпанному песку (есть варианты и по соломе). «Подкова» — так называли арзамасцы изобретенную гусиную обувь — иной раз сохранялась в целости до места назначения.

«Можно было подумать, — писал Короленко, — что снежная дорога ожила, волнуется, шевелится, течет... целые отряды погонщиков отправлялись с хворостинами за этой армией. А что пыли, что гоготу, сколько оживления и суматохи, когда какая-нибудь почтовая тройка с разбегу врывается в середину отряда». Заканчивает писатель рассказ на грустной ноте: «теперь ее (птицу. — прим. ред.) бьют и битую наваливают в вагоны».

Еще более грустно то, что, к сожалению, в середине двадцатого века селекционеры перестали заботиться о том, чтобы поддержать своеобразие породы, не занимались ее сохранением, и «арзамасцы» сошли на нет, растворились в массе обычных гусей.

Однако на гербе района изображение гуся в память о его славном прошлом все же сохранили. Так что совсем не случайно Олег Вениаминович Лавричев — третий генеральный директор приборостроительного завода — десять лет назад поддержал идею фестиваля «Арзамасский гусь». О заводе рассказ еще впереди, но поскольку речь зашла о славной птице с оранжевым клювом и голубыми глазами, трудно удержаться, чтобы не подтвердить, насколько верно угадал неизвестный путешественник связь прошлого, настоящего и будущего города с гусем.

Встать на крыло

Теперь, имея некоторое представление о том месте, которое так долго занимал арзамасский гусь в жизни России, попробуем прояснить, почему вдруг литературное объединение передовых людей, последователей реформатора русского языка Николая Михайловича Карамзина, выступавших против архаистов-шишковистов, получило название весьма удаленного от Петербурга города.

На самом деле вопрос относится к разряду не имеющих материалистического объяснения явлений. Дело в том, что гостиницы в Арзамасе обладают мистическим свойством оказывать воздействие на умы постояльцев и менять ход отечественной культурной жизни.

В 1869 году в городе остановился на ночлег Лев Николаевич Толстой. На следующий день он собирался осмотреть (для приобретения одного) еще одно поместье. Однако ночью его охватило неслыханное по силе переживание, какого он не испытывал прежде. Переживание, названное им «арзамасский ужас», — полностью перевернуло взгляды Льва Николаевича на собственное предназначение. В город приехал известный писатель, замечательный семьянин, деятельный помещик. А на следующий день покинул его философ, мыслитель, взгляды которого изменили жизнь не только самого писателя, но и огромного числа людей. И не только в России, но и в мире. Это, конечно, тема настолько значительная и обширная, что с моей стороны было бы слишком легкомысленно даже упоминать о таком событии. Но это имеет отношение к тому, что случилось задолго до появления в городе Льва Николаевича.

Литератор, граф Дмитрий Николаевич Блудов тоже имел неосторожность останиться на ночь в дивном граде (местные поисковики даже определили местоположение того трактира). Должно быть, Дмитрию Николаевичу не сразу удалось уснуть: мешали воспоминания о нешуточных литературных распрях, кипевших в столице. Граф относился к числу передовых литераторов, горячих приверженцев Карамзина. Он все придумывал, как можно достойнее ответить на враждебные выпады последователей Шишкова. Эти мысли пробудили фантазию. На следующий день Дмитрий Николаевич записал явившийся ему «магнетический сон», которому он дал название «Видение в Арзамасе».

Вернувшись в Петербург, Дмитрий Николаевич зачитал друзьям свое произведение. Суть пародийного «Видения» — желание высмеять идейных противников, участников литературного общества «Беседа любителей русского слова» — ретроградов и архаистов.

У меня нет ни малейшего желания пересказывать «магнетический сон». Современники без труда угадывали в тексте намеки, они казались остроумными и веселыми. Сейчас пародийный текст Блудова представляется не менее смутным и темным, чем те произведения шишковистов, которые он высмеивал в своем сочинении. Для нас важно то, что «точкой сборки» стал город Арзамас. Так уж распорядились «случай и судьба».

После развеселившего всех чтения — под смех и шутки — решено было организовать свое собственное литературное общество (в пику «Беседам любителей русского слова») и присвоить ему название в честь города, где случилось «видение».

К тому же, как писал потом в «Записках» один из членов общества Филипп Филиппович Вигель: «...кому в России не известна слава гусей арзамасских. Эту славу захотел Жуковский присвоить обществу, именем их родины названному. Он требовал, чтобы за каждым ужином подаваем был жареный гусь, и его изображением хотел украсить герб общества».

Не исключено, что немалую роль в выборе названия литературного общества сыграла внутренняя рифма: Арзамас и Карамзин... Но это уже мои собственные домыслы.

Каждое собрание арзамасцев превращалось, говоря нынешним языком, в перформанс — своеобразное представление. Молодые люди с азартом высмеивали все, что выглядело с их точки зрения нелепым, устаревшим, отсталым. Каждая встреча становилась неповторимой. Потому что всякий раз участники живо откликались на то, что задевало и привлекало внимание. И все это в форме травестирования и пародирования.

Принимая нового члена, они устраивали посвящение. Более всего довелось претерпеть доверчивому и терпеливому Василию Львовичу Пушкину. Молодые участники выдавали церемонию за якобы традиционную, а на самом деле сочинили ее специально для этого случая. Зная, что Василий Львович недавно вступил в одну из лож, они с азартом пародировали масонский обряд. На испытуемого надели хитон, обшитый раковинами, на голову водрузили широкополую шляпу, выдали посох и с завязанными глазами повели в комнату, где остальные арзамасцы пускали ему под ноги хлопушки. Василию Львовичу пришлось изрядное время пролежать под шубами, слушая речь Жуковского (это именовалось «шубное прение», что символизировало нудность заседаний шишковистов). В следующей комнате новоиспеченный член общества должен был пронзить стрелой чучело, олицетворявшее Шишкова... Одним словом, участники действия старались придать каждому шутовскому действию символический смысл, высмеивающий очередной порок противников прогресса.

Александр Иванович Тургенев (ему же предстоит проводить в последний путь Пушкина) заканчивает описание вечера, где молодежь от души повеселилась, вещами словами: «Быть может, арзамасский гусь спасет русскую словесность, как спасли римские гуси вечный город».

Как в воду глядел! Арзамасские гуси, принесенные на ужинах в жертву членам литературного сообщества, вывели-таки российскую словесность на новый уровень. Именно там юный Саша Пушкин обрел непринужденность, легкость слога и свободу

выражения. Несерьезность, юмор, пародийность — в такой атмосфере он «становился на крыло». Вот где произошла «точка сборки» русского литературного языка, который в пушкинской обработке сохранил пластичность и живость, присущую народному языку, и вместе с тем стал по-западному строже, четче, определеннее. Исчезла невнятица, громоздкость и во всем блеске засверкали «осиянные слова». Словно рыдван, на котором, переваливаясь с кочки на кочку, выезжали Ларины всем семейством в Москву, сменила быстрая легкая коляска.

Ну и наконец... Вы можете представить Александра Сергеевича без гусяного пера?! Как изменился бы летучий почерк и как выглядели бы его наброски, если бы, например, ему пришлось пользоваться стилем или тростником? Нет! Только гусь — птица, которая принадлежит сразу трем стихиям — воде, земле и небу.

А попробуйте сосчитать, сколько гусяных перьев пошло на нужды литераторов и ученых, сколько записок, воспоминаний достались нам в наследство, благодаря этой благородной птице! Поистине приходится признать, что до сих пор (не считая города Арзамаса) мы так и не воздали должное птице, столь бескорыстно служившей отечеству.

С какого времени брать отсчет? С этим просто. Дата всероссийского гусяного праздника — день вступления Саши Пушкина в литературное общество «Арзамас».

«Уж не мираж ли это»?

Будь моя воля, я бы проложила какую-нибудь окружную дорогу так, чтобы в Арзамас можно было въехать только со стороны поймы реки Теша, где просторные луга упираются в высокий берег. После моста через реку видно, как, тесно прильнув друг к другу, уходят вверх к Соборной площади торговые ряды. Ну а там, дальше, располагаются каменные особняки местного дворянства. Да не абы какие, а тоже заказанные хорошим архитекторам. Со стороны поймы, как на блюдечке видны и все золотые, голубые, зеленые купола, все колокольни...

И среди этого разнообразия белым лебедем выступает величественный красавец Воскресенский собор. Сколько раз путешественники, глядя на него, восклицали «Уж не мираж ли это»? Такой внушительных размеров собор вполне мог бы украсить и бывшую, и нынешнюю столицу России. В любом из этих городов он занял бы достойное место — мимо не пройдешь!

Для Арзамаса такая махина могла бы выглядеть неуместной, как «Титаник» в речной заводи реки Тешы, если бы... если бы не его гармоничное равновесие. Это поистине выдающееся произведение уроженца города — архитектора Михаила Петровича Коринфского. Знаковое сооружение и знаковое имя. Одна из тех фигур, которыми «измеряется» Арзамас.

А от Михаила Петровича тянется нить к его замечательному наставнику Александру Васильевичу Ступину — еще один человек из тех, кому присвоили звание «Почетного гражданина города». С рождением Александра Васильевича (через несколько лет исполнится 250 лет с этой даты) связана какая-то тайна, потому что родители — дворяне Борисовы — почему-то отдали мальчика на воспитание мещанке Ступиной. Под этой фамилией и в этом сословии она его и записала.

Завершив образование в Санкт-Петербурге, Александр Васильевич вернулся в родной город и основал рисовальную школу — первое и единственное на то время частное учреждение. И... начал выпускать одного талантливого ученика за другим. Среди них, может быть, и не мировые знаменитости, но вполне достойные мастера. Об уровне подготовки можно судить уже по тому, какое количество выпускников стали академиками живописи: К.Макаров, Н.Алексеев, В.Раев, А.Надеждин. Просто кузница кадров!

Академия приняла школу Ступина под свое покровительство. Лучшим студентам выдавали медали. Михаил Коринфский после окончания этой школы смог поехать учиться в Петербург, стал помощником Казакова при строительстве Казанского собора.

С уважением отнеслись к начинанию арзамасца видные художники. К.Брюллов,

А.Егоров, В.Шебуев, И.Акимов подарили для школьного музея свои полотна. Академия художеств прислала для занятий гравюры и эстампы, а также слепки с античных скульптур.

В школу Ступина могли поступить не только дети чиновников, купцов и мещан, но и крепостные. Наиболее одаренные ученики по его ходатайству нередко получали вольную. За все время существования Ступин выпустил 168 художников! И почти половина из них — крепостных. Многие из его выпускников стали не только учителями уездных и губернских училищ, но и основателями собственных художественных школ (в Саранске и Козлове).

Более всего нашему сердцу говорит имя его ученика — Василия Григорьевича Перова. И, конечно, все мы помним картину «Тройка», где подростки тянут бочку с водой по заснеженной дороге, — свидетельство того, как плохо обстояли дела с питьевой водой в городе. С самого первого дня его основания (со времен Ивана Грозного) это было больной темой.

Арзамасский Моисей

От перовской «Тройки» нить тянется к следующему «эталону» — к арзамасскому Моисею, как назвал Максим Горький самоотверженного священника Фёдора Ивановича Владимирского. «Жители бедные пьют некую ржавую жижицу из оврага “Сороки”, жижица сия образуется от стока внешних вод и разной дряни с усадебных мест. Она скверно пахнет...» — так сосланный в провинциальный городок Горький описывает свои ощущения. Состоятельные люди могли позволить себе «доставку воды на дом». Платили за такую работу немного. Неудивительно, что родители подражали для заработка детишек.

Почти двенадцать лет Фёдор Иванович (не будучи ни гидрографом, ни инженером) исследовал все окрестные овраги, чтобы определить место, где следует поставить водовод. В городской управе к деятельности Владимирского относились с пренебрежением, многие считали, что отец Фёдор занимается не своим делом: ему бы заботиться о душах своей паствы, а не тем, какую воду им приходится пить.

Помощи от городской управы и думы для изысканий он долгое время не получал. Однако своего добился. 22 января 1912 года настоятельные и многолетние труды воплотились в жизнь. В нужном месте была поставлена водонапорная башня (она сохранилась до сих пор). Каждый житель города получил возможность пить чистую, хорошую, а главное — здоровую воду.

Горький отправил Владимирскому письмо: «Дорогой отец Фёдор, прочитал я в “Нижегородском листке” об открытии водопровода, вспомнил героические труды Ваши, наше хождение по лесу, вокруг “Мокрого”, лицо Ваше и речи; вспомнил все и радостно заплакал: такой праздник душевный, все это так прекрасно!».

После того как устройство водопровода уже произошло, инженеры с удивлением дали очень высокую оценку проекту отца Фёдора. Его пригласили с докладом на XI Всероссийский водопроводный съезд, проходивший в Риге. Кто-то из присутствовавших заметил, что метод, предложенный Фёдором Ивановичем, уже двадцать лет используется в Германии. Благодаря этому замечанию выяснилось, что «арзамасский Моисей» применил свой метод на пять лет раньше немецких инженеров. Вот вам и «поп, толоконный лоб».

«Ангел Русской Церкви»

Невозможно перечислить, сколько живописных полотен появилось в веке девятнадцатом и начале двадцатого, где священнослужителей на радость и на потеху публике изображали в самом недостойном виде. Сколько было написано гневных, презрительных и обличительных слов о лживости, самодовольстве, о самоублажении служителей церкви...

Прошло совсем немного времени. Наступила пора гонений. И сколько стойкости, верности, бескорыстной преданности вере проявили эти «толоконные лбы». И те, кто исполняли свой долг в самых скромных отдаленных церковках, и те, кто нес

ответственность за многочисленную паству. Сколько героизма, готовности принять любые страдания, какую несокрушимую веру выказали эти ставшие святыми мученики.

Тяжкий крест выпало нести и уроженцу Арзамаса епископу Сергию Старгородскому. В декабре 1925 года после ареста митрополита Петра ему пришлось исполнять обязанность местоблюстителя — в то самое время, когда с точки зрения советского права церковь находилась на нелегальном положении... Сергей стал искать возможность ее легализовать.

Его позицию разделяли далеко не все архиепископы. Некоторые, обвинив Сергия в предательстве, призывали верующих уходить в катакомбы. А это грозило новым расколом, разбродом и шатанием.

В архиве отца Сергия есть письмо архиепископа Филиппа (сначала резко осуждавшего его), написанное при переезде из одной тюрьмы в другую. В письме Филипп назвал отца Сергия «святым мучеником».

Получив послание, отец Сергей поцеловал его и прижал к груди со словами: «...С таким письмом и на Страшный суд предстать не страшно!.. После моей смерти будут всякие толки, и трудно будет понять, что я вынужден был делать в это время, чтобы сохранить литургию».

А под конец жизни патриарх Сергей добился того, к чему стремился, — был созван Церковный Собор. «Ему удалось, — написано в сборнике его памяти (составлен О.Л.Рожновой), — в невероятно сложных условиях сохранить апостольское преемство, связанное со сферой мистического, оно передается при рукоположении епископов и указывает на непрерывность течения церковной жизни, начиная с апостольских времен и до сегодняшнего дня».

На стене духовного училища, где учился отец Сергей Старгородский, висит памятная доска. К 150-летию со дня рождения ему установили памятник и благоустроили одноименную площадь.

О ком еще не было сказано? Летописец Николай Михайлович вспоминал: «Арзамасский голова Афанасий Фёдорович Колесов неустанно трудился в пользу города, замостил те улицы, в которых не было проезда, устраивал съезды, разбил сквер около собора, построил каланчу и сделал еще много хорошего. Он имел очень много недоброжелателей, которые порицали все его начинания. Теперь, когда со дня его кончины минуло уже почти 25 лет (1887), можно сказать безстрастно, что это был лучший, самый мудрый и благопопечительный городской голова г. Арзамаса».

«Мерой» Арзамаса можно назвать и Василия Порфирьевича Вахтерова (1853—1924) — основоположника уникальной концепции, которая получила название «Эволюционная педагогика». Но нам больше скажет то, что он (уже на исходе XIX века) издал «Русский букварь», по которому училась вся страна. Букварь выдержал больше 120 изданий!

«Арзамасское лихолетье»

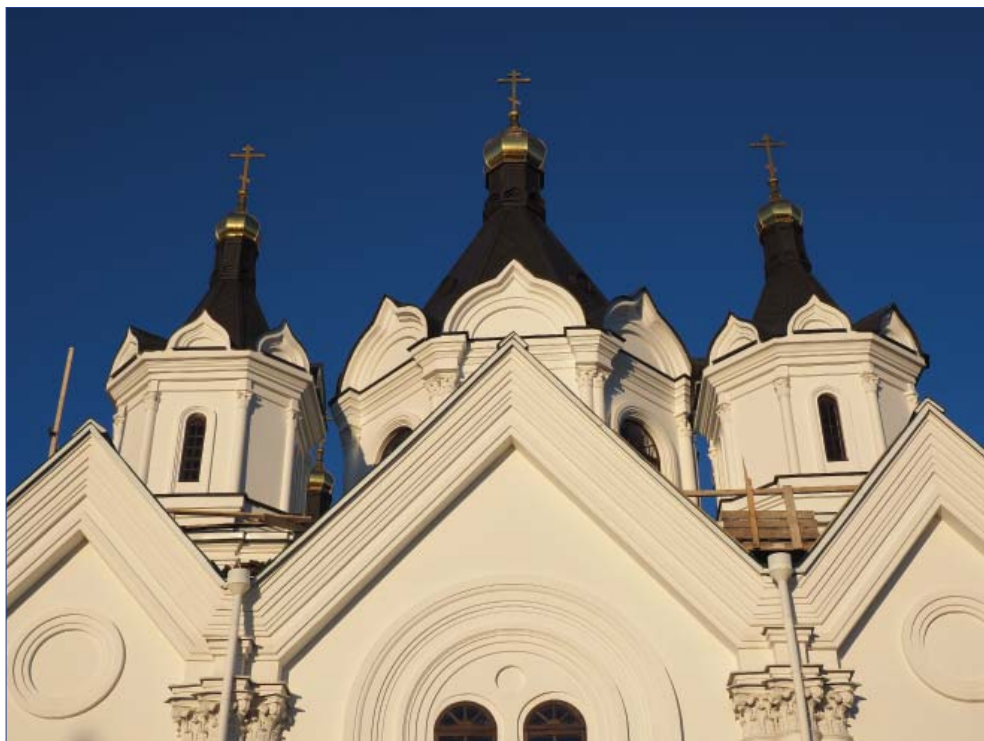
Щегольков выделял несколько периодов в истории города. Бурный расцвет — золотой век — начался с 1775 и длился по 1850 год. Время при Екатерине (1851—1885) он оценивает как серебряный век. А затем (с 1885 по 1900) наступил промежуток, который Николай Михайлович нарек «Арзамасским лихолетьем»: «Пишущему эти строки лично пришлось пережить все невзгоды этого времени и воспоминания о них еще свежи в памяти всех арзамасцев». Начался упадок во всех сферах, «не говоря уже об отживших свой век кожевенных заводах, сильно сократилось меховое производство. При оскудении заработков сократилась и местная торговля. В Гостином ряду более 20-ти лавок стояли пустые... В шутку говорили, что арзамасские ботиночники зарабатывают только себе на табак... А курение женщинами табаку в эти годы, особенно среди небогатого класса, сделалось поголовным. Материальному обнищанию соответствовало и умственное убожество: до XX столетия в Арзамасе не было средних учебных заведений»...

Вот так и тянулась жизнь в городе, наверное, еще скучнее, чем у той девочки в Тарусе. Но все проходит. Прошло и это.

О ДИВНЫЙ АРЗАМАС!



Памятник П.И. Пландину — легендарному директору приборостроительного завода, с именем которого связан «золотой век» предприятия и города Арзамаса.



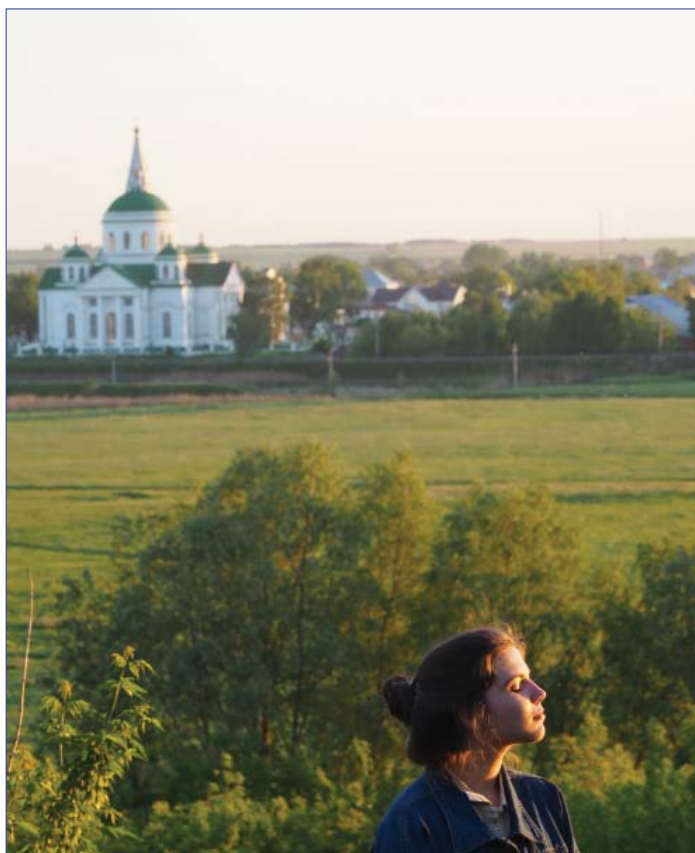
Ритмы и рифмы удивительных монастырей и храмов.



Величественный Воскресенский собор — главная святыня и достопримечательность Арзамаса — мог бы украсить любую из двух российских столиц. Мимо не пройдешь.



Вид на церковь Смоленской иконы Божией Матери.



Сколько раз паломники и путешественники,
любясь Воскресенским собором,
воскликали: «Уж не мираж ли это?»



Многие улочки и переулки сохранили уютную
атмосферу уездного города



Музей истории Арзамасского приборостроительного завода открыт в 2012 году благодаря инициативе генерального директора предприятия О.В. Лавричева.



Трехрожковая люстра — одно из первых изделий завода.



К середине XX века ценная порода арзамасских гусей выродилась, «арзамасцы» перестали существовать как особый вид.



Фестиваль «Арзамасский гусь» расширяет круг в прямом и переносном смысле.



Детский ансамбль «гусят».



Как не сфотографироваться на память с таким красавцем?



На празднике даже обычная картошка
кажется необыкновенно вкусной.



Площадь перед Арзамасским приборостроительным заводом.

Новый золотой век

Новый отсчет жизни города начался в мае 1956 года, когда на пустыре, «где паслись коровы и пастух играл на свирели», появились проектировщики современного по тем временам приборостроительного завода.

— Очень мне нравилось в детстве сидеть на крыльце дома у бабушки и смотреть на дорогу, — рассказывает ветеран завода Галина Борисовна Буянова. — Ждала, когда появится редкий прохожий. Иногда проезжала телега — такое развлечение! А уж если случалось, что мимо проезжала машина, оставлявшая за собой клубы пыли, это становилось событием. Но когда начали возводить завод, сосчитать машины мне уже не удавалось. Я росла, и рос завод. Все мое детство окрашено совершенно неповторимыми воспоминаниями, связанными с заводом, — ведь туда поступил работать отец. Помню, в детстве услышала от отца — он с кем-то из заводчан разговаривал и все повторял: «трубка Бурбона, трубка Бурбона»... И я себе представляла какого-то человека, который курит трубку. А потом, когда пришла на завод, самой пришлось вести это изделие. Забавно...

Почетный ветеран Маргарита Николаевна Фадеева рассказывала, как к ним, выпускникам 57-й школы, пришел заместитель директора завода:

— Он стал звать к себе, обещал: «Будете ходить в белых халатах». И мы всем классом после сдачи экзаменов пришли подавать заявление. Но... завода еще не существовало как такового. Вовсю шла стройка. Так что первое время работали «подай-принеси». Белые халаты, косынки появились позже... Молодой я была маленько зяблостая, посмелее других, и меня выбрали бригадиром. Вот так с самого начала и до самого конца проработала в 16-м гальваническом цехе.

Такая уж выпала счастливая планида городу Арзамасу и новому приборостроительному заводу, что его по-настоящему первым директором вскоре стал Павел Иванович Пландин.

По той удивительной вязи, узор которой создает прихотливая рука провидения, отец Павла Ивановича — известный художник, признанный в Чебоксарах мастер — учился живописи... как раз в Арзамасе (помните школу Ступина!).

Заводские корпуса только еще возводились, «жучки», люстры, диктофон «Легенда» — все это еще было впереди, но Павел Иванович пригласил в кабинет ведущих специалистов. Задание выглядело «не в тему», но, как считал новый директор, очень важным: надо было начать строительство... пионерского лагеря для детей заводчан. И уже в начале июня лагерь принял первую смену. А к Новому году директор отправил в Москву машину, чтобы сделать закупки для подарков.

— Мы открывали пакеты, — вспоминает Галина Ивановна, — и оттуда — о чудо! — доносился мандариновый аромат! Там лежали невиданные у нас в городе хрустящие душистые вафли, шоколадные конфеты «Кара-Кум», «Северное сияние», «Белочка»... Словно и в самом деле к нам пришел щедрый Дед Мороз. Заводские елки становились незабываемым праздником. У нас у первых появилась возможность смотреть мультфильмы. Наш лагерь «Шатки» расположился в самом красивом месте района с удивительным сосновым бором. Воспитателями там работали приборостроители. Лагерь считался лучшим в области. Все удивительное в нашей жизни было связано с заводом.

Развивалось производство, сложнее становились заказы, все более тонкие работы приходилось выполнять заводчанам. Росло их мастерство. И развивалось то, что мы сейчас называем инфраструктурой города: строились не просто дома, а микрорайоны жилых корпусов для сотрудников, появились детские сады, профилакторий «Морозовский», агроцех — совхоз «Морозовский»....

— Меня на завод взяли не сразу. Жди очереди. У тебя, говорят, брат уже работает!

Тогда на заводе действовало правило: брать не больше одного человека из семьи. Со слезами ушла, — вспоминает токарь-часовщик, кавалер ордена Ленина Г.В.Хритинина. — А когда взяли, очень волновалась... Представляете, какая была конкуренция?! К нам брали лучших из лучших. Я первое время даже на обед уйти боялась. Уважение у нас было огромное — к заводу, к тому, что мы должны делать...

Павел Иванович всегда думал о будущем, о тех специалистах, которые должны прийти на смену. И вскоре в городе появились здания приборостроительного техникума и политехнического института. И по сей день заводчане растят там смену.

Зимой сотрудники, следуя примеру Павла Ивановича, совершали забеги на лыжах. Увлечение стало массовым.

К слову, директор Олег Вениаминович точно так же увлек многих любимым видом спорта — фехтованием. Заводской спортивный клуб «Знамя» после победы команды саблистов вошел в число лучших спортивных клубов России. Мне представляется, что каждое из спортивных увлечений соответствует темпоритму времени. Лыжи, походы в лес, длительные забеги — вырабатывают выносливость, способность выдержать долгое напряжение... Фехтование требует скорости реакции, быстрого реагирования, внимания, способности мгновенно отвечать на вызовы времени...

— А летом у заводчан была возможность отдохнуть на нашей базе отдыха в Алупке. Мы, можно сказать, в Воронцовском дворце жили. Ну не в самом дворце, конечно, но близко. Там был номер, который назывался «пландинским», — перечисляла достижения тех лет Галина Ивановна.

— И чем он отличался от остальных?

— Да ничем, — пожимает она плечами. — Когда Павел Иванович уезжал, номер мог занять любой сотрудник. И почему-то для многих это было предметом гордости: «Я останавливался в пландинском номере», — говорили они как бы между прочим. Наверное, казалось, что таким образом приобщились к замечательному человеку. Павел Иванович был совершенно бескорыстным. Абсолютным бессребреником. Но даже у такого, как он, нашелся недоброжелатель. Кто-то написал анонимку, что директор купается в роскоши за счет завода. Приехала комиссия. Вошли в кабинет к Павлу Ивановичу, изложили претензии. Он вынул из кармана ключи от квартиры: «Ищите!» Члены комиссии приехали к нему, открыли дверь: на полу скромный линолеум, стены покрашены масляной краской, на кухне сбитый из ящиков шкафчик для посуды. В гостиной — какой-то потертый половичок. Ни люстр, ни ковров, никакой зарубежной мебели... Члены комиссии развели руками: «Все понятно!» — развернулись и ушли, краснея от стыда. У каждого из них квартира была обставлена намного лучше, чем у главного директора уже прославленного на весь Союз завода.

В музее есть «уголок» Павла Ивановича, где висят его живописные картины, написанные маслом. Он унаследовал талант от отца. И вполне мог бы занять достойное место в ряду художников. Но пространства картины было маловато для такой личности. Талант Павла Ивановича оказался мощнее. Это был настоящий руководитель масштабного предприятия.

— Первые гироскопы, которые стали у нас выпускать, были еще довольно простыми. В те годы, объясняя принцип работы гироскопа, приводили в пример юлу, а сейчас сравнивают со спиннером. А по сути, как у нас говорят, это «мозг летательного аппарата», — поясняла Буйнова, — как поется в гимне «...Без приборов, что нами рождаются, самолетам, ракетам не взмыт в небеса...». Изделие, где имеют значение микроны.

— Когда я ходила по цехам, про некоторых мастеров говорили: «Они пальцами чувствуют микроны». Похоже на легенду.

— Почему легенду, — немного даже обиделась Буйнова. — Так оно и есть на самом деле. Есть доводчики, которые меняют диаметр цапфы с дискретностью в

полмикрона. Обычно сразу спрашивают: «Арзамасские левши»?! Только знаете, мастерам такого уровня некогда подковывать блох. У них задачи посложнее. Здесь, у нас, начали и продолжают прокладывать дорогу к звездам: первый спутник, полет Гагарина, ракета, оставившая на Луне наш вымпел. Чем мы гордились, что заставляло весь мир смотреть в сторону Советского Союза, — все это в той или иной мере имеет отношение к нашему заводу. И до сих мы напрямую связаны с космосом.

Новое лихолетье

«Новый золотой век» превзошел все предыдущие. В середине 80-х на заводе работали почти двадцать тысяч человек. Практически каждый четвертый арзамасец так или иначе был связан с приборостроительным. Завод процветал. И ничто не предвещало катастрофы.

Новое лихолетье обрушилось неожиданно. В 1987 году неожиданно скоропостижно умер Пландин. Большое горе. Но мощное градообразующее предприятие справилось бы с такой потерей. Директором завода стал Юрий Павлович Старцев, опытный, знающий главный инженер, давний помощник Пландина, прекрасно осведомленный обо всех делах.

Однако перестроечные реформы выбили из колеи не только рядовых граждан, но и промышленные гиганты. Государственные заказы вдруг как отрезало. Ни времени, ни возможности постепенно и плавно освоить новую продукцию не оказалось. Финансы пели не только романсы, но и все оперные арии. Положение выглядело безвыходным. Чтобы привлечь покупателей, требовалось наладить продукцию на уже совершенно новом уровне, а для ее изготовления требовалось модернизировать производство, вложить немалые суммы на переоборудование. В общем, перепрыгнуть пропасть в два прыжка.

Самый простой выход, следуя примеру других, — как можно быстрее распродать все, что можно продать, пока на это есть спрос... Но костяк приборостроительного был такой мощный, основа такая надежная, что Юрий Павлович и его команда приняли вызов.

Мачты гнулись и скрипели... паруса срывало штормовым ветром. Старцев лично беседовал с каждым специалистом, если они приходили подавать заявление об уходе, убеждал не покидать завод, говорил, что вместе они — сила и смогут победить. Ему поверили. Ядро лучших профессионалов он сохранил.

Постепенно, шаг за шагом, удалось наладить выпуск медицинского оборудования: эхотомоскоп ЭТС-МО1 (УЗИ), биоэлектрический стимулятор МИОТН-604, аппарат озонотерапии АОТ-Н-01-АПЗ, оборудование оказалось таким надежным, что его начали покупать не только в России, но и за рубежом.

К середине 90-х наступил перелом. Заводская продукция обосновалась на рынке товаров. А к миллениуму Арзамасский приборостроительный вошел в число устойчиво работающих российских предприятий.

Проверка

Горожанам и заводчанам выпало пережить не только экономические трудности, но и проверку на человеческие качества. 4 июня 1988 года в 09:32 на железной дороге, в непосредственной близости от города, взорвались три вагона с промышленной взрывчаткой.

Черный гриб взметнулся к небу. Нетрудно представить, какие мысли одолевали людей — еще слишком жива была память о Чернобыле. Но... уже через несколько минут руководители из администрации города и завода прибыли к месту трагедии, не думая о том, чем им это может грозить — заражением, радиацией или чем-то еще. Они готовы были первыми принять удар. Это погасило панику.

Пожарные отрезали огонь, который устремился к цистернам с горючим. Благодаря их упорству удалось предотвратить еще большую трагедию.

Стояла тридцатиградусная жара. Экскаваторщик Михаил Иванович Куклин начал расчищать площадку через три часа после взрыва, а закончил работу в полночь.

В пять утра он снова сел на экскаватор — сменщика у него не оказалось. Металл не выдерживал нагрузки. Приходилось выключать мотор, чтобы дать машине охолонуть. Только в эти пятнадцать-двадцать минут Михаил Иванович мог отключиться на короткое время, а потом снова садился на свое место. Железо отказывало. А люди нет.

На помощь врачам, медсестрам пришли студенты медучилища, санитарные дружины. Жители немедленно устремились к поликлиникам и больницам, чтобы сдать кровь, помочь раненым. У кого были машины, помогали развозить пострадавших.

Один из вырванных взрывом участков рельса повредил электроподстанцию, в город перестала поступать вода... Не стало ее и в больницах. Жители несли то, что осталось: в чайниках, кастрюлях, банках, кувшинах... Отдавали последнее.

Когда по радио и по телевидению прозвучало сообщение о трагедии, в город посыпались письма и телеграммы. Почта была завалена ими. Школьники взялись помогать. Нашлись добровольцы, вставлявшие вылетевшие стекла. Пенсионеры сдавали деньги на помощь потерпевшим. Тогда не существовало еще практики психологической помощи, но за каждой пострадавшей семьей закрепили одного-двух человек из жителей города для моральной поддержки и помощи. Каждый старался быть полезным, чем мог. Город выдержал испытание на человечность.

Из Нижнего Новгорода к месту трагедии на помощь горожанам прибыли члены райкома комсомола. Среди добровольцев был Олег Вениаминович Лавричев.

Ровно через двадцать лет, в 2008 году — день в день — Совет директоров избрал Лавричева генеральным директором завода. Вот такие странные совпадения случаются в жизни.

Через два года, в 2010, после того как Олег Вениаминович встал у руля, выдалось, как многие из нас помнят, необычайно жаркое лето. Начались пожары.

Конструкторы завода за три дня (!!!) разработали огнетушители нового поколения. 13 тысяч ранцевых огнетушителей сошло с конвейера (работа не прекращалась все двадцать четыре часа в сутки). Их в прямом смысле выхватывали с ленты, чтобы отправить к местам бедствия.

Покой нам только снится

Казалось бы, третий директор — Олег Лавричев — пришел в счастливое время, когда тяжкие годы лихолетья уже миновали. Завод встал на ноги, заказы поступали, продукция находила сбыт. Но тут разразился мировой кризис: снова срывались поставки, снова наступил сбой в относительно налаженной и стабильной жизни. Снова требовалось перепрыгнуть через экономическую пропасть в два прыжка.

Думается, навыки фехтовальщика Олегу Вениаминовичу в тот самый сложный период очень даже помогли. Директор вместе с командой руководителей разработал пункты антикризисной программы: инновации, модернизация производства и выход на новые рынки. Ничего себе программа?! Такую и в «мирное время» не просто выполнить... Но уже был опыт «бури и натиска», работники завода верили, что снова справятся... И справились.

Я осматривала завод, когда все трудности остались позади. Точнее, сначала я познакомилась с музеем — это было обязательным требованием тогдашнего директора, прежде чем он давал согласие встретиться с представителями прессы или с гостями. И это понятно. Музей позволял наглядно проследить все этапы большого пути. После знакомства с ним никому не придет в голову задавать праздные и пустые вопросы.

Там, где в музее располагается уголок Павла Ивановича Пландина, стоит его письменный стол, висит более чем скромного вида плащ и под ним — огромные резиновые сапоги, чтобы можно было сунуть ноги прямо в ботинках и пройти к нужным цехам, — ведь стройка еще продолжалась.

Но с самого начала Павел Иванович рассчитывал поднять свое детище на такой уровень, когда сотрудники перед входом в помещение будут переодеваться. Что сейчас и происходит. Только «спецовка» выдается уже не для того, чтобы защитить одежду от грязи, а чтобы защитить изделие от частиц пыли, которые приносят сотрудники.

Не так давно проходил конкурс предприятий, связанных с авиапромышленностью. На завод приехали представители тридцати трех регионов. Гости прошли по цехам, дошли до литейного, который традиционно на всех предприятиях самый грязный. Приезжие прошли цех насквозь и скептически усмехнулись:

— Все ясно. Это вы организовали для показа. А теперь отведите в действительно работающий цех. Мы хотим посмотреть, как все обстоит на самом деле.

— Но это и есть обычный цех, он работает в штатном режиме, — ответила мастер.

— Не может быть, — оглядывая цветы, аквариумы, зимний сад, — воскликнули гости. — Так не бывает!

Мастер только плечами пожала:

— Но у нас нет для вас грязнее...

Для тех, кто хорошо знает производство, наверное, подобная чистота в литейном выглядела непривычно. Но поскольку я до того как оказаться там, уже прошла по заводу и везде царила эта самая — сразу бросающаяся в глаза чистота, — то и литейный цех, до которого я добралась в конце, меня уже не поразил. Казалось, что так оно и должно быть: аквариумы, цветы, зимний садик.

— Когда-то, еще на первых этапах становления, никак не удавалось наладить выпуск одного прибора. Проверка показывала наличие брака, — вспоминал главный метролог Иван Иванович Демчук. — В чем дело? Прошли от начала до конца цепочки. Ничего! Нет такого места, где происходил бы сбой. Наконец спохватились. Проверили спирт, которым чистили детали. Оказалось, что дело как раз в нем. А ведь мы имели дело со сверхочищенным спиртом! И это было тогда. Можете представить, какие требования сейчас. Есть помещения, где приходилось возводить специальный фундамент. Эти цеха выглядят как операционные! А как иначе? Чистота — не прихоть, не каприз, не желание показать «вот какие мы!». Это требования и современного производства вообще, и требования к нашим изделиям в особенности: ведь мы обеспечиваем российскую оборону надежными гироскопическими приборами, без которых системы противовоздушной обороны оказались бы беспомощными.

Ноосфера

Во время перерыва немалая часть заводчан, пользуясь хорошей летней погодой, выходила прогуляться, поиграть в настольный теннис или в шахматы, кто-то садился на лавочку почитать заводскую газету. В месте, отведенном для курильщиков, я увидела человек пять-семь — не больше. Весьма скромная (если учесть количество работающих) группа.

— Обстановка не располагает к курению, — ответил на мой вопрос председатель совета трудовой молодежи Илья Константинович Теплов. — Люди предпочитают заниматься спортом. Это престижно, это, скажем так, модно. Да и все условия, чтобы найти увлечение по душе, есть.

После знакомства с экспозицией музея, после осмотра завода, после всех встреч и разговоров меня стали одолевать сомнения: а не упустила ли я чего? Собранный материал выглядел картинкой в духе Палеха! Все так ладно, все красиво, как в сказке... Учиться и повышать квалификацию — пожалуйста. Купить квартиру? — завод помогает. Каждый этап производства отработан, каждый участок выверен. На заводе не встает вопрос «кто виноват?». А при обсуждении второго типично русского вопроса принимается решение не «что делать», дабы исправить какие-то накладки, а что нужно сделать даже не завтра, а послезавтра или после-послезавтра. Ищутся варианты ответов на вызовы, которые только еще могут появиться.

— Потому что девиз предприятия «Работать на опережение!» — попытался рассеять сомнения Илья Константинович. — И знаете, — он не без юмора посмотрел на меня, — бесполезно искать промахи у завода, признанного образцовым. К нам столько комиссий приезжает, столько проверок устраивают специалисты самого высокого уровня...

Что я еще отметила задним числом — на заводе много привлекательных людей.

Это заметно и когда смотришь на поток идущих к проходной, и когда встречаешься со специалистами. Не стану утверждать, будто любой мастер или рабочий цеха — фотомодель. Но общее ощущение именно такое.

Скорее всего, такое впечатление создается благодаря выражению лиц. А выражение — это состояние души.

С кем бы я ни разговаривала, в каком бы цехе ни оказалась, везде говорящие отзывались о своем месте так, словно это самое главное звено на заводе.

«Любая работа начинается с документа», — считает Виктор Николаевич Усимов, начальник отдела технической документации.

«Инструментальное производство — первое, что образуется на новом предприятии», — приводит веский довод Владимир Владимирович Тимофеев.

«Кадры решают все. Каким бы высокотехнологичным ни был завод, главный его капитал — это люди!» — нисколько не сомневается начальник отдела кадров Ирина Александровна Кузина.

Надежда Сухина — секретарь Генерального директора — уверяла, что огромная ответственность лежит на секретарях-референтах: «Они должны знать производство, быть в курсе всего, обладать навыками психолога. По тому, как они ведут себя, у людей складывается самое первое впечатление о предприятии. Наше железное правило: если тебе поручено что-то сделать, нельзя это перепоручить кому-то другому или отложить “на потом”».

А кто рискнет переубедить директора комбината питания в том, что именно от них зависит успешность работы?! «Мы замешиваем четыре с половиной тонны муки и уже к пяти утра приступаем к работе, чтобы успеть к приходу заводчан испечь всеми любимые пирожки. Видели, как их раскупают? Некоторые пакетами домой несут. И что нам скажут, если пирожков не будет? Я даже представить такого не могу!» — восклицает Любовь Семёновна Васляева почти с ужасом. Наверное, ей такое и в страшном сне не приснится.

Каждый считает свое «звено» самым важным. Наверное, поэтому вся цепочка получается такой прочной.

— Элитные профессии формируют особый тип, — кивает Иван Иванович Демчук. — Выполняющие особенные заказы специалисты — не рядовые личности. Уровень требований — это и уровень осмысления. Появились детали с микронным допуском — это уже новая психология, другая степень ответственности. Сродни искусству: как если бы произошел переход от народного танца к классическому балету. Сейчас никого не удивит видеоконференцией, онлайн отчетностью, сквозным проектированием, — все стало обыденностью сегодняшнего дня.

Эти слова мало что скажут человеку, далекому от производства. И даже уточнение — «единое информационное пространство» — тоже не очень прояснит общую картину. Для наглядности попробую воспользоваться термином Вернадского. Конечно, слово «ноосфера» по отношению к заводу можно употребить с большой натяжкой. Но тем не менее у завода действительно образовалась особая, присущая ему, ноосфера, которая включает все, что было перечислено, и куда входит многое, что невозможно «потрогать»: настроение сотрудников, их надежды, чувства, вера в себя, ощущение стабильности, азарт творчества, устремленность в будущее....

— Ехали мы как-то с подругами в автобусе, о чем-то разговаривали, — вспомнила во время нашего разговора ветеран Силачева, — какой-то мужчина обратился к нам:

— Вы, наверно, с приборостроительного?

— Да, а как вы узнали?

— Но вы же у нас элита! — ответил он. — Вас сразу видно.

Эти воспоминания Марии Александровны относятся к концу семидесятых годов. Что же говорить о нынешнем времени? Если за токарным станком работают люди с высшим образованием!

Изменения шли постепенно, накапливались, и образовалось то, что ощущаешь, может быть, не в первую минуту, но вполне определенно. Однако ноосфера — это не купол, что висит только над заводом. Она по нейронным сетям родственных, дружеских, самых обычных человеческих связей распространяется по всему городу.

Достаточно напомнить о том, что в городе в золотые времена приборостроительного существовал свой оперный театр! Поэтому достаточно привычное словосочетание «градообразующее предприятие» здесь несет дополнительные смыслы: постепенно вместе с заводом Арзамас тоже стал элитным городом.

Все выше, и выше, и выше

В том, что эталон руководителя у заводчан есть, сомнения не возникало. Биография третьего директора, Олега Лавричева, в каком-то смысле повторяла биографию предшественников: он начинал на заводе слесарем (то есть знал производство изнутри), закончил Горьковский политехнический институт, потом он накопил немалый опыт комсомольской работы, затем опыт руководителя нескольких предприятий... И наконец почти двенадцать лет Олег Вениаминович стоял у руля признанного образцовым мегалайнера промышленности.

История полнится примерами, как вновь пришедшие пытаются свалить великанов, на плечах которых они поднялись. Но Олег Вениаминович не боялся отдать должное предшественникам. За то время, что он возглавлял завод, было выпущено несколько книг. Одна из первых посвящена Павлу Ивановичу Пландину. Это не формально изданная биография, а рассказ по тщательно, с любовью собранным материалам: где родился и жил Павел Иванович в Чебоксарах до того, как приехал в Арзамас, рассказ о его родителях, о том, чем увлекался Пландин.

Кроме того, вышел альбом, где собраны рассказы всех, кто был так или иначе причастен к значимым моментам истории завода, становления, развития, взлета и периода лихолетья. Книга, в которой «никто не забыт и ничто не забыто».

Благодаря Лавричеву перед зданием завода появился и памятник Пландину: высокий, по-спортивному худощавый, подтянутый, в неизменном плаще, в каком его видели горожане и заводчане много лет подряд, первый директор быстрым шагом идет в сторону заводской проходной. Вместе с теми, кто и сейчас утром идет в ту же сторону.

— Земля начала дрожать так, что казалось — еще секунда и помещение, где мы находимся, рухнет. Мощный рев, — это из сопла вырывается огонь... — вспоминал свои ощущения Олег Вениаминович, пережитые при запуске «Протона-М», когда он стал свидетелем старта космического экипажа. — Но вот махина медленно оторвалась от земли и устремилась вверх. Все быстрее и быстрее. Наконец огненный хвост исчез. Наступившую тишину воспринимаешь оглушительной... А еще? Чувствуешь какое-то опустошение. Словно частичка души улетела вместе или вслед за этим гигантом... «Неужели это мы? Неужели мы к этому причастны?! Мороз по коже...

Олег Вениаминович помолчал, переживая сказанное, а потом вдруг, размышляя вслух, добавил:

— Надо попросить, чтобы нам записали очередной старт, будем показывать новичкам. Чтобы они понимали, куда пришли, с чем имеют дело и какой уровень ответственности ложится на их плечи.

На этих строках можно было бы закончить записки о городе и заводе, но все-таки мне хочется еще добавить слова главного метролога, которыми Иван Иванович подвел итог нашему разговору:

— Прежде наши средства измерения, наши эталоны проходили проверку в сторонней организации. Мы на этом теряли много времени. Приходилось ждать очереди, потом результата. А сейчас завод получил у Росаккредитации право проверки и метрологической экспертизы. И не только на своем предприятии. Мы получили право проводить такую проверку сторонних организаций. Теперь не мы едем, а к нам приезжают.

Очень символично, не правда ли?

Евгений Абдуллаев

Дети стекольщика

Десять поэтических сборников 2019 года

Нужны ли сегодня поэтические сборники?

Если следовать логике Томаса Куна — то нет. Полвека назад в своей знаменитой «Структуре научных революций» он открыл следующую закономерность. По мере того как наука становится все более специализированной и недоступной для неподготовленного читателя, меняется формат научных публикаций. Прежде для классической науки это была книга — рассчитанная не только на коллег-ученых, но и на широкий круг непрофессионалов-любителей. Что касается современного исследователя, пишет Кун, то «результаты его исследования не будут больше излагаться в книгах... Вместо этого они, как правило, выходят в свет в виде коротких статей, предназначенных только для коллег-профессионалов»¹.

Следует вывод: «В современных естественных науках книги представляют собой либо учебники, либо ретроспективные размышления о том или ином аспекте научной жизни»². Популярные издания, одним словом.

Не происходит ли то же в современной поэзии?

Не дошла ли она в своем развитии до той же ступени профессионализации и эзотеричности, когда необходимость в поэтическом сборнике постепенно отпадает? (Если, конечно, это не популярная поэзия или популярная книга о поэзии.) Не достаточно ли — как и в мире точных наук — перейти только на короткие публикации в профессиональных изданиях (читай — литературных журналах)? А то и просто — на странице в соцсетях, где круг френдов вполне совпадает с кругом коллег-профессионалов?

И состояние поэтического книгоиздания сегодня, вроде бы, эту мысль подтверждает. И не только книгоиздания. Самая крупная поэтическая премия — «Поэзия» — дается у нас не за книгу, а за стихотворение. Самые заметные поэтические серии — «Воймеги» и журнала «Воздух» — до книжных прилавков фактически не доходят.

Все же аналогия между науками (естественными) и поэзией — довольно условна.

У ученого новые исследования, новые результаты важнее предыдущих и как бы отменяют их. У поэта новые стихи не отменяют прежних — за исключением самых ранних, ученических. Поэтому книга остается основной «единицей изменения» поэтической работы. И к счастью, они пока издаются.

К концу года на моем рабочем столе и в его окрестностях нарастают сугробы стихотворных сборников. На этот раз — даже больше обычного. Поэтому решил слегка сломать традицию годовых обзоров: вместо шести-семи книг речь пойдет о десяти. Столько сложилось, столько собралось, неожиданно пропитав друг друга скрытыми переключками, отсветами и связями.

¹ Кун Т. Структура научных революций. 2-е изд. М.: Прогресс, 1977. С. 40—41.

² Там же. С. 41.

Сны милиционера

Вадим МУРАТХАНОВ. Цветы и зола. — М.: Воймега, 2019. — 68 с. Тираж 300 экз.

У этой книги долгая история. Первая ее версия — с тем же названием — была издана в Ташкенте в 2000-м. Почти в самиздатовском виде, как и все пять первых книг Муратханова, и полнее по составу.

Дальше произошло то, что обычно происходит с поэтическими сборниками, выходящими где-то за пределами МКАДа и воробьиным тиражом. О ней забыли. Кажется, забыл и сам автор — в начале 2000-х пробовавший другую, более прозаически-графичную манеру письма.

К счастью — все же помнил: дополнял, редактировал, сокращал, готовил к новому изданию.

Тема детства разлита во всех сборниках Муратханова; но в «Цветах и золе» она достигает почти предельной концентрации. «Мудрая интонация взрослого, глядящего издалека на собственное детство», — заметила о стихах Муратханова Мария Галина. Интонация «Цветов и золы» — неуверенная, «неуклюжая» интонация *самого* ребенка.

Беспокойное вторжение —
Ветер в комнаты проник.
Не знает их расположения,
Ошибаясь, хлопает дверьми.

Нестрогий размер, неточная рифма — все придает этой интонации достоверность. И неожиданный пародийный эффект, сближающий эти стихи с Приговым и с концептуализмом 80-х в целом. Появляется и почти приговоский «милиционер» — но увиденный, опять же, широкими от удивления детскими глазами.

За столиком милиционер
у входа в госучреждение
сидит, неумолим и сер
с момента своего рожденья.

Сейчас он спит. За ним меж плит
бежит ковровая тропинка,
но во все стороны торчит
неутомимая дубинка.

Детская здесь не только оптика, но и слух: «милиционер» и «госучреждение» читаются «милиционер», «госучреждение». Жень — тут не меньше слышится Пастернак — «На даче спят. В саду, до пят Подветренном, кипят лохмотья...» Двойная игра.

Даже название — «Цветы и зола» — кажется не литературной игрой (привет Бодлеру), а детской ослышкой. Точно это слух ребенка сопротивляется тому, что зло — (зло!) может цвести. И вместо «зла» слышится «зола».

Зола в книге тоже присутствует — хотя и не названа. Мир стихов Муратханова — мир торопливого увяданья; это, возможно, и делает его не совсем детским.

«Выцветшие конверты», «плакаты пожелтевшие» и листья, что «все попадали»... Все это, возможно, превратится в прах и золу. Чтобы сквозь них, как ахматовский «одуванчик у забора», проросли новые цветы и травы.

В заброшенном корпусе ржавчина, сырость,
разбитые стёкла и грязь.
Но прямо на крыше загадочный вырос
росток, никого не спросясь.

Взросление Золушки

Евгения Джен БАРАНОВА. Хвойная музыка: Стихотворения. — М.: Водолей, 2019. — 108 с. Тираж не указан.

Если герой Муратханова — взрослый, стремящийся стать ребенком, то героиня «Хвойной музыки» — ребенок, стремящийся стать взрослой. Или хотя бы казаться ею.

Поезд дальше не поедет.
Просьба выйти из вагона.
Чай, не маленькая. Чаю!
С мёдом, с мятой, с молоком.

Лучше всего у Джен Барановой — именно о таких «детских» вещах. О чае с мёдом, мятой и молоком. Об абрикосовом варенье. О Золушке.

Много уменьшительно-ласкательного. Если дождь — то «дождик»: «дождик серенький». «Домик лица». Кирпичик, водица, заборчик... Да и как по-другому? Бабка в окне? Нет, только так: «Мне четыре. Я узнала тайну:/ в том окошке бабушка живёт».

Но героине очень хочется повзрослеть.

И взросление происходит.

Прежде всего — через постижение опыта смерти (страшноватое название первой части — «Какие все мёртвые»). Через постижение опыта боли — как чего-то нормального, почти повседневного. С чем смириться трудновато, но неизбежно; такова плата за взросление.

Так мячик, брошенный, ничей,
минуты две не понимает,
что он лишь царь, что он лишь червь,
и потому его пинают.

Двуединство жизни и смерти, радости и боли. Стихотворение «Хвоя», давшее название сборнику — и готовность к поглощению природной, родовой стихией («Матушка-хвоя, возьми моё тело назад,/ плечи укутай в коричневый шелест и шорох»), вызывающая в памяти «Титанию» Тарковского, и — открытый, скорее, мажорный финал. «Не отвечает медовая матушка-хвоя». Слияние с хтонической Хвоей-Титанией отложено, путь жизни и взросления продолжается. Тем более что в нем столько еще красивого и по-детски радостного.

Сначала шрифт пойдёт курсивами,
а после сердце занырнёт,
туда, где ложки красивые
с ботинок отбивают лёд.

И так румяно им и льдисто им,
и так морозно мне дышать,
что вспомню тени волокнистые
на Черноморской, 45.

Шелковицей давлюсь ли, смехом ли,
машинки ль собираю в ряд...
А ложки твердят: «Поехали!»,
голубоглазо так твердят.

Что ж, и мы поехали дальше.

Следующая на очереди — книга Инги Кузнецовой.

Внутренний киноэрос

Инга КУЗНЕЦОВА. *Летяжесть*. — М.: Издательство АСТ, 2019. — 560 с. — (Поэтическое время). Тираж 1500 экз.

Нас так хорошо успели отучить от того, что крупнейшие издательства могут издавать серьезную поэзию, что книга Кузнецовой стала почти сенсацией.

Антон Чёрный в «Prosōdia» (2019, вып. 11) так прямо и спрашивает: «Почему именно Инга Кузнецова? Какой образ современного русского поэта считает успешным массовое книгоиздание?»

Пиши я это для «Литературного барометра», может, поразмышлял бы на эту тему. Но в этом обзоре меня интересуют литературное качество книг, независимо от того, где и как они были изданы.

Есть два вида «кинематографической» поэзии. В первом случае стихи выглядят как спрессованный киносценарий. Во втором — скорее, как запись уже снятого фильма, оживший экфрасис¹.

Стихи Кузнецовой ближе ко второму типу — но лишены присущей ему замедленности и отстраненности. Это скорее «внутреннее кино». «Внутреннее зрение», как названа одна из частей книги. Кино-внутри-сознания, с быстрой сменой ракурсов и неожиданными монтажными стыками. И с непрерывно звучащей музыкой. Гобой, тромбон, «скрипка пиццикато», «ноты Баха».

утром шнитке
перевёрнутый шлем
мотоциклетный
небо летнее
из-за ветра подкладка совсем отошла
и махрится тысячей перистых лемм
сбой симметрии
страх любого числа
сердце на тонкой нитке

вечером альбинони
как шныряют в погасшей траве
дай им жизни хотя бы по две
жуковатые вороватые
деловитые муравьиные
бабочка села на пальцы
тащит складной парашют
дай им небо тебя прошу
без церемоний

Кинематографичность «Летяжести» подчеркнута и слегка сюрреалистической фотографией на обложке, и надписью (там же): «Мне нравится эта поэзия. Ларс фон Триер, кинорежиссер». И страничкой в конце книги: «Любимые фильмы Инги Кузнецовой».

О чем кино Кузнецовой? О любви. О то приближении к ней, то удалении от нее. По мере приближения смена ракурсов и образов учащается, речь вот-вот рухнет (или взлетит) в глоссолалию.

вектор этой любви
внеположен и жизни и смерти
вектор этой любви
слишком быстро повёрнутый вертел

¹ К первому можно условно отнести стихи Ф.Сваровского и С.Янышева (периода его «Умра»); ко второму — Ш.Абдуллаева, А.Макушинского, С.Тимофеева...

вертел этой любви
 опрокинутой верности вертер
 что проходит сквозь жалобу вётел
 это ветер

Такое вот странноватое внутреннее кино, с ветлами, вертелом и ветром, и множеством других неожиданных вещей. И музыкой. «Фантомная музыка/ ещё звучит».

Ливень, летчики и любовь

Лилия ГАЗИЗОВА. О летчиках Первой мировой и неконтролируемой нежности. — [Место не указано]: Издательство журнала «Интерпоэзия», 2019. — (Библиотека журнала «Интерпоэзия»). 64 с. Тираж 500 экз.

Это кино — другое, документальное.

Дело даже не в названии, вызывающем в памяти кадры кинохроники с рептилеобразными бипланами. Дело в самой оптике — с первого же стихотворения, «Попытки киносценария».

В моём фильме идёт дождь.
 Вода стекает по жёлобу крыши
 Потемневшего от бессонницы
 Старого дома
 В большую деревянную бочку,
 Там плавают головастики.

Молчаливый старик
 (О нём все забыли)
 И грустная девочка
 (Она станет через много лет балериной)
 Сидят на крыльце.

Там, где у Кузнецовой — музыка, у Газизовой — тишина. Люди молчат либо говорят короткими, как бы случайными фразами. Как и должно быть в документальном кино.

У Газизовой есть стихотворение, посвященное Кузнецовой: «Осень». Точно в пандан кузнецовскому: «Пришла зима, похожая на осень, / и вещи, словно брошенные оземь / озябшие плоды».

Осень такая пора,
 Когда уже никто не виноват,
 А будущее
 Не имеет рода,
 Как глаголы татарские.

Осень такая пора,
 Когда долго решаю,
 Летние туфли
 Убрать уже
 Или оставить в прихожей.

Вещи не бросаются оземь — лирическая героиня неторопливо подыскивает им место. Так и видишь ее, задумчиво стоящую в прихожей.

Эта тоже книга о любви.

Каждое утро
 Придумываю твою смерть.
 И к вечеру
 Она сбывается.
 Но к рассвету
 Ты снова оживаешь
 И гладишь мои волосы.

О любви как «неконтролируемой нежности», которая возникает вдруг, случайно, как неожиданная закадровая речь. И о ней — пожалуй, лучшие стихотворения книги. «Любовь и земледелие», «Каждое утро», «Когда мы поссорились...».

Свет удивления и жалости

Надя ДЕЛАЛАНД. *Мой папа был стекольщик*. — М.: Стеклограф, 2019. — 70 с. Тираж 400 экз.

Разгадка названия дана в первом же стихотворении. «Мой папа был стекольщик, и теперь / я всем видна насквозь, совсем прозрачна».

Для младшего поколения, вероятно, требуется пояснить. «У тебя папа не стекольщик?» — это человеку, загораживающему обзор. Последние лет двадцать этот хамоватый вопрос ушел в языковое небытие — куда ему и дорога. У Делаланд неожиданно воскрес, преображенный в метафору самой поэзии.

Это и метафора исчезновения лирического субъекта. В стихах Делаланд он (точнее — она) теряет всякую материальность, плотность. «Тело мое, состоящее из стрекоз...»

А обложка добавляет и еще один смысловой акцент. Бог-стеклодув выдувает из трубочки Еву. Рядом, на табуреточке, удивленно следит за процессом голый Адам.

У Делаланд много того, что можно назвать духовной лирикой.

Если попробовать определить главную интонацию ее стихов, то это, наверное, *удивление*. Удивление — миру, удивление — людям, яблокам на ветке, Богу, старику в транспорте. Все это удивление с какой-то ясной, бесхитростной доверчивостью сообщается читателю — не взхлеб, не навязчиво, с дерганьем за рукав, а как-то тихо, осторожно, точно лирическое *я* поэта само не до конца уверено в своих открытиях.

но жалость пересиливает всё
когда сидит обиженный и толстый
подходит бесконечный близкий взрослый
и на руки берёт несёт несёт
несёт качает и души не чаёт
и солнце постепенно настаёт
и сладко пахнет и весь день поёт
огромными весёлыми лучами

Заговаривающаяся речь, со множеством недосказанностей. И не нужно досказывать — разрушая доверительное понимание между автором и читателем, которое возникает с первой же страницы.

Порой у Делаланд исчезает не только субъект поэтической речи, но и ее объект. Мы лишь догадываемся, что «обиженный и толстый» — скорее всего, ребенок. А порой и не можем догадаться.

за окном это красное полусухое шуршит
опрокинув немного воды по дороге к рассвету
обернусь прямо в прошлое кто-то его ворошит
стариковской метлой и бумага вот тоже краснеет
отойди убегай или сделаю злое лицо
уноси свои грабли и чёрный пакет с головою
ты был дворником-трусом сантехником был подлецом
ты смеялся в рукав и гулять выходил под конвоем
а теперь во дворе глухомань умирающих крон
задохнись и увидишь лиловые всполохи дыма
без огня потому что никто никогда не влюблен
и никто никогда и никем никогда не любима

Что это — «красное»? К кому обращена речь? Прозрачность предметов такова, что сквозь них видно всё. Но это «всё» — тоже бесконечно прозрачно, почти на границе видимости, и единственное, что остается — чувство удивления и жалости.

Заклинание сливового дождя

Aigerim TAZHI. Paper-thin skin. [Айгерим Тажи. Бумажная кожа] / Translated from the Russian by J. Kates. — Brookline, Mass.: Zephyr Press, 2019. — [148 с.] Тираж не указан.

Книга Тажи, как и «Летяжестъ» Кузнецовой, несколько выпадает своими «где и как» из рецензионной линейки.

Где — в американском издательстве «Zephyr Press» (что по-английски означает только «легкий западный ветер», а не кулинарное изделие).

Как — в виде билингвы: справа — стихи Тажи, слева — они же в переводе Джима Кейтса, известного американского переводчика современной русской поэзии.

Первая книга Тажи, «Бог-о-слов», несколько самиздатовская по дизайну и неровная по составу, вышла в 2004-м в Алма-Ате. Впрочем, и в ней было с десяток неординарных стихов, из которых и была составлена дебютная журнальная подборка Тажи в «Новой Юности» (2009, № 4). Нынешний сборник, вышедший почти с пятнадцатилетним перерывом — книга зрелого поэта.

Та же — как и у Делаланд, и у Кузнецовой — мерцающая зыбкость. Только более «объективная», обращенная к внешнему миру — но и мир этот более причудлив, сюрреалистичен.

Верблюжьей походкой
путник пылит, приближается.
Глаза разного цвета,
руки вырезаны из дерева.
За пазухой гадюка мёртвая,
жалящая верёвка.
Конь пал на дороге.
Хрупкий, как ветка,
остов. Волны песочной шкуры.
Имя твоё? Выговори хоть слово.
Складки лица. Солнце меняет угол.
Бумажная кожа просвечивает,
на лбу проявляются буквы.

У Делаланд — прозрачность стекла, у Тажи — бумажной кожи. Кто этот странноватый и страшноватый путник? Имя невозможно произнести — оно проступает само: на коже, как на бумаге. И остается неизвестным.

Упрощая, можно сказать, что лирика Кузнецовой — более философична, Делаланд — религиозна, Тажи — мифологична.

У лирической героини Тажи почти первобытные — первозданные — отношения с природой.

Подслушав в парке разговор,
Пришла к зачахшей старой сливе
И в крону спрятала лицо.
Вначале с жаром говорила,
Потом, стесняясь, угрожала:
«Если не дашь плодов — срублю!»
Так сливами рвануло небо,
Как будто дёрнула за бусы.
Три дня фруктового безумства,
И пированье надоело.
Плоды, как мусор, на траве
Растоптаны в пюре.

...А теперь — к лирике, по форме более традиционной. Но с внутренним движением к ее преодолению. Это можно было бы назвать *новым традиционализмом*, если бы эпитет «новый» не был так выхолощен прибавлением ко всему мыслимому и немислимому.

Резковатый звук струны

Евгений МОРОЗОВ. О том, как ты была всегда. — М.: ЛитГОСТ, 2019. — 108 с. Тираж 200 экз.

Понятие поэтической известности сегодня фактически лишилось смысла; слыша о поэте — *известный*, сразу хочется спросить — *кому*. Если — за пределами литературного сообщества (и частично — филологического), то из более-менее серьезно пишущих поэтов — пожалуй, только Быков и Полозкова.

Эволюционирует и понятие неизвестности. Опять же — *кому*?

Евгения Морозова я узнал только по этой книге. Она у него, как оказалось, третья. И какие-то публикации уже были. Нет, не молод — 1976 года. Поздний приход? Похоже на то.

Интересная попытка обновить традиционную форму за счет неожиданных, парадоксальных эпитетов.

Я вижу твои утверждающие губы,
очередные глаза, принуждённые просьбы,
корни ромашек на выбритом пляже,
резкий скелет под нерукотворным тестом.

Мне не очень близка эта линия «усложнения» эпитета, но у Морозова эпитеты порой так неожиданны и кладутся так густо, что это перестает восприниматься декоративным украшением — и становится стилем.

Ты, мой ранний малиновый друг,
мой цвет весны, заплачка невинности,
детское хотение луны и счастья,
бодрый ветерок серебряных мыслей,
придорожную веру сермяжной травы,
несожжённый ковыль тугого отчаянья
за глубокой пазухой, за зорким киотом
потеряй на память, чтоб не забыть.

«Энергетика этих стихов поразительна», — пишет в предисловии Катя Капович.

Согласен. Стих у Миронова сделан грубо и плотно и, что называется, хорошо разогрет и разогнан.

Но у этой «энергетики» есть и другая сторона, толкающая стихотворца на широкий путь многословия, забалтывания самого себя. Там, где воля к парадоксальным метафорам и непредсказуемым, как горные повороты, эпитетам ослабевает, — возникает что-то в духе «стадионной» поэзии шестидесятников (которых тоже несло от «энергетики»). «...Не смотри, что азиатчина / из земли, чья смерть добра, / воскресая в будни, складчину / продирается с утра...» Даже в лирических стихах это ощущается по какой-то размашистости и исповедальной горячности:

Уходя из дома, где тесно зверю,
а в углу гитара да вещи-сны,
я так страшно хлопнул входною дверью,
что оставил в воздухе звук струны.

Остановись стихотворение на этом замирающем звуке струны — можно было бы простить и излишний надрыв, и невнятные «вещи-сны» (то ли «вещи и сны», то ли «вещи сны»...) Но оно катится дальше, наматывая катрен за катреном. «И пока маячил, стесняясь выпасть / из обоймы, в будничном наяву...»

Как писал Морис Бланшо (я уже где-то приводил это): «Мастерство писателя

находится не в пишущей руке... Мастерство — всегда дело другой руки, руки не пишущей, способной вмешаться в нужный момент, схватить и отстранить перо».

«Господи, как не внове, / что я люблю попу...» Почему бы нет — «попса» бывает разной. Главное, чтобы «попсовость» не проникала в стихи, не уводила от новой экспрессивности, интересно намеченной.

Сады чужие и свои

Василий НАЦЕНТОВ. *Лето мотылька*. — Воронеж: АО «Воронежская областная типография», 2019. — 80 с. Тираж 350 экз.

Современная лирика — какое-то царство энтомологии. Только вроде недавно писал о «Полёте жука» Алексея Алёхина, потом о «Сне златоглазки» Елены Лапшиной... Теперь вот подоспело «Лето мотылька» молодого воронежского поэта Василия Нацентов.

Молчу травой, но звук неповторим,
гляжу стрекозами, но взгляд неповторим,
и проще быть не встреченным, одним,
и знать наверняка,
что знает только ветер —
какое лето — лето мотылька
в чужом саду, на слишком белом свете.

Как и Морозов, Нацентов думает и пишет традиционным стихом. И тоже стремится как-то «сломать», трансформировать его. Правда, они поэты разных поколений: Нацентову — двадцать с небольшим. Молодость и ее переживание — одна из главных тем книги: «Я молод. И мне нечего сказать / о имени и времени своём...» Мотылек, кружащий в стихах, — один из ее (молодости) образов.

Как за всякой дебютной книгой, за «Летом...» тянется послед поэтических традиций. Она полна невольных цитат или — если взять анаграмму фамилии автора — центонов. Как пишет в рецензии Ольга Балла: «Здесь легко расслышать и Блока, и Пастернака, и Тарковского, и — кого ещё?... да весь гул поэтического столетия сразу» («Воздух», 2019, вып. 39). Но заметна и точка преодоления этого «гула». Если у Миронова — это парадоксальный эпитет / метафора, то у Нацентов — усложнение ритмического рисунка, работа с паузами, лакунами.

Не идёшь по земле,
не стоишь на земле,
но даёшь имена
птицам, травам и каждой второй сигарете.

Не-стрекозы, не-сад,
не-дыхание рук по листе,
не-любовь, не-ресницы,
но страх потерять.

И боишься.

Интересная поэтическая апофатика — отрицание как невозможность высказать, отобразить во всей полноте. Часто — с повторами, усиливающими ощущение этой трагической неполноты. «Я не слышу его, я не слышу...» — «Смотрят и не моргают/ смотрят и не моргают...» — «Не говори. Нам не наговориться».

Свой голос у автора есть; главное — чтобы мог развиваться и окрепнуть. Чтобы не запрещали, не запубликовали, не затаскали по литтусовкам. Надеюсь.

Сквозь итриховку дней

Андрей КОРОВИН. Голодное ухо. Дневник рисовальщика: стихи. — М.: ArsisBooks, 2019. — 248 с. Тираж 300 экз.

Поэзия как дневник. В этом жанре пишут очень разные поэты: Владимир Салимон, Борис Херсонский, Всеволод Емелин, Виталий Пуханов, Андрей Родионов... Дневниковость может означать отклик на злобу дня, а может — какие-то мысли и воспоминания, которые приходят в голову автору.

Главное — ритм ежедневных (или почти ежедневных) записей, создающих ощущение времени, максимально, под завязку заполненного стихами. Таков, например, «Одесский дневник 2015–2016» Бориса Херсонского, где каждое стихотворение помечено следующей по порядку датой. Или «Поэтический дневник, начатый в день смерти Юрия Мамлеева 25 октября 2015» Андрея Родионова.

Стихи в «Голодном ухе» идут без указания дат; однако поэзия это именно «дневниковая», построенная на живом отклике на все то, что случается с автором. На его путешествия, его встречи, его ежедневные перемещения по Москве. Все словно набросано быстрым карандашом — что и отражено в подзаголовке: «Дневник рисовальщика».

стоит солнцу вырваться из тени
и переполняют небеса
молодые дерзкие растенья
выкатив нахальные глаза

у заборов наглые улыбки
с граффити усмешки на губах
девушки гуляют словно скрипки
со смычками сумерек в зубах

Достоинство этого рода поэзии — в ее импрессионистичной легкости, недостаток — в необязательность многих строк — а порой и стихотворений. (Чувство, возникающее при чтении и Херсонского, Салимона, Родионова...). Хотя в поэтических дневниках, как и в обычных, важна не литературная удача каждой отдельной записи, а именно движение, течение живой и непрерываемой речи.

Мне ближе те стихи, где за легкими карандашными росчерками проступают более глубокие планы и смыслы.

пока душа подсвечена внутри
в ней есть кому таиться и скрываться
токуют чувства словно глухари
душе всегда немного восемнадцать

никто не знает здесь — откуда свет
дорога в соснах ровная прямая
задашь вопрос песок скрипит в ответ
идушего тебя не понимая

Эта та дневниковость, о которой писал Бродский: «По самой природе своего ремесла, поэты ведут дневник. Часто против собственной воли, они честно прослеживают, что происходит с их душами». Да. Особенно когда те — «подсвечены внутри».

Ангел самоанализа

Евгения ВЕЖЛЯН. Ангел на Павелецкой. — М.: Воймега, 2019. — 88 с. Тираж 300 экз.

Случай почти рядовой: научная идентичность заслонила поэтическую.

Как литературоведа и критика, как преподавателя РГГУ, организатора различных обсуждений и круглых столов — Евгению Вежлян знают гораздо лучше.

Та же ситуация, что и со стихами Дмитрия Бака, Артёма Скворцова, Юрия Орлицкого, Наталии Азаровой, Ильи Кукулина, Елены Михайлик, Владимира Козлова, Льва Оборина¹...

Проблема даже не столько в идентичности литературоведа/литкритика, сколько в степени ее влияния на поэтический текст. В опасности для последнего превратиться в литературоведческие рефлексии «в столбик», в «стихи о стихах».

Поэтому к «Ангелу на Павелецкой» приступал не без сомнения. В последних публикациях Вежлян преобладала именно эта, «филологизирующая», линия. «Социальная поэзия», «Философская лирика» (это всё — названия). «Стоит отказаться от языка, и ты — внутри смыслового потока, где каждый жест значит нечто...» (это уже стихотворная цитата).

В «Ангеле...» такие тексты тоже встречаются — но, к счастью, не они в нем делают погоду.

...Или так:
зажимая в руке пятак,
проходя через турникет,
человек ты еще или нет?

Если стихотворный дневник Коровина — постоянное наблюдение за другими, взгляд вовне, улавливающий все, что попадает в поле зрения (и в поле слуха — отсюда, возможно, и «Голодное ухо»), то у Вежлян — дневник непрерывной саморефлексии, взгляда в себя и на себя. На поверхности текста появляются люди, предметы, существа, но только как повод для нового взгляда, нового вопроса — к себе, о себе.

«Еду в церковь». Встреча с инвалидом-бомжем в метро («сколько езжу с утра через Выхино / столько лет и встречаю его»). Вторая часть стихотворения — в самой церкви: «а во время службы в алтаре / под небом нарисованным / бабочка / вот такие дела».

И наконец, в третьей части возникает главное: авторефлексивное — связанное с темой времени, «накапливаемой» в двух предыдущих частях:

Время — оно как макароны.
Вещи — неочевидны.
Слова — тяжелы.
Особливо когда намокнут.
«Матушка», — обратилась ко мне
девушка надцати лет.
Ну какая я матушка, в самом деле,
ну какая я матушка.
Или что, мое время уже сварилось?

¹ Кирилл Корчагин, кстати, недавно и меня отнес к этой группе («...Стихи Абдуллаева-Афлатуни чаще всего кажутся заметками на полях его критических статей...») («Воздух», 2019, вып. 38). Ему, возможно, видней: он сам и филолог-стиховед, и критик, и куратор, стихотворец.

В этом «сплетении высокого косноязычья мысли с веселой ясностью бытовой речи» (Денис Драгунский, с обложки), в минимализме образных средств Вежлян продолжает линию Розанова — в поэтическом ее варианте. Это не самолюбование, не кокетство — это попытка понять «недостижимого себя,/ в котором столько пробелов,/ столько слепых пятен...»

Пара слов под опускающийся рецензионный занавес. О тех книгах, которые не вошли в этот обзор — хотя вполне того заслуживали. Просто — не сложилось, не скомпоновалось на «монтажном столе».

Оксана Васякина, «Ветер ярости» (Москва, «АСТ»). При всем скепсисе к нынешней феминистской моде, должен признать: Васякина — автор талантливый, и если не залипнет в своем громокипящем феминизме, то и, что называется, многообещающий.

Изяслав Винтерман, «Пчеловек» (Москва, Воймега). Самая удачная из книг израильского поэта — уже писал о двух его книгах в прошлогоднем обзоре.

Ербол Жумагул, «Трюк драматурга» (Алма-Ата, ИП «Волкова»). «Языкант — то ли певчий акын, то ли Кант от Слова / прислонился, косячник; вернулся на сцену снова». Возвращение после почти десятилетней паузы поэта, ярко дебютировавшего в нулевые.

И наконец, книги Александра Маниченко «Ну или вот о нежности» и Юлии Подлубновой «Девочкадевочкадевочкадевочка» (уф!), вышедшие в новой екатеринбургской поэтической серии «InВерсия». Но они уже помечены двадцатым годом, и есть возможность сказать о них в следующем обзоре. Который, надеюсь, произойдет — если слова Томаса Куна не окажутся вещими и сборники современных поэтов продолжат составляться, издаваться и читаться.

Валентин Курбатов — Валентин Распутин

Напрямик

Время в зеркале одной переписки

Наверно, Валентин Григорьевич опять бы поворчал. Как ворчал он, узнав, что я согласился на публикацию своей переписки с Виктором Петровичем Астафьевым: прилично ли при жизни письма-то печатать?

А я-то сам разве не думал об этом? Но вот иркутский издатель Геннадий Сапронов настоял, а Валентин Григорьевич, прочитав переписку, потом и предисловие написал. Стало понятно, что дело не в честолюбии, а в «скоропортящемся времени», которое стремительно теряет память.

Это в спокойные устойчивые времена жизнь растет, как дерево, и «годовые кольца» шире или уже только от плотности лет, которые всегда чуть на отличку. А нынче, когда молодая жизнь брезгает старыми «кольцами» и старается держаться подальше от них, дерево жизни мечется, как больной в жару, и речь его делается несвязна. И новая литература не дитя старой и не только не числит ее матерью, а и мачехой не зовет — сама от себя родилась.

Вот тут «литературный процесс», как «процесс в больных легких», уходит на глубину, доживает свою прежнюю жизнь по конвертам частной переписки.

И это тоже важно — тогда еще были конверты и бумажная переписка, был почерк, который много определяет в интонации письма, в самом его лице. А уж в электронном письме индивидуальности не жди — сама механическая буква охладит порыв, угасит улыбку. Отчего и проза нынче делается «цифровой» плоской и все будто чуть на одно лицо.

Наша переписка с Валентином Григорьевичем Распутиным началась с 1975 года. Годом раньше мы познакомились и вступили в переписку с Виктором Петровичем Астафьевым, и в одном из осенних писем 1974 года он написал мне беспокойное, любящее письмо о Валентине Григорьевиче, только что напечатавшем тогда повесть «Живи и помни». «Ох, дадут они Вале», — писал Виктор Петрович, зная этих «оних», которые дадут, по своему опыту, и просил скорее писать о повести, ограждать ее от «них». А вскоре еще и Псковский театр поставил «Деньги для Марии», и Новосибирское издательство предложило мне написать о Валентине Распутине в серию малых биографий. Ну и пошло...

И если сейчас взять эту переписку целиком, она будет родней книге «Крест бесконечный», сложившейся из нашей переписки с Астафьевым, и «Уходящим островам», которые сложились из многолетней переписки с А.М.Борщаговским. Но сейчас мне бы только хотелось побудить читателя к разговору о переписках вообще — как лучшем зеркале времени. Публицистика всегда обобщительна и избегает частностей, и оттого ее портрет времени и верен, но холодноват, и всегда немного «не про меня», словно все перемены дня так и совершались на газетных полях, а не на живом человеческом сердце.

Сейчас мы по-разному глядим на 90-е годы. Одни зовут их «лихими» и торопятся поскорее забыть, другие величают «колыбелью демократии» и готовы благословить. Я, признаться, из первых — консерваторов. Эти годы были для меня особенно мучительны,

потому что они развели Виктора Петровича и Валентина Григорьевича, которые оба были уже моим сердцем, и трещина только ширилась. Их переписка, вышедшая недавно, подтверждала, что они разошлись после газетных писем периода расстрела Белого дома: «Раздавите гадину!», которое подписал среди прочих Астафьев, и «Письма к народу», поддержанного (если не сочиненного) Распутиным. И как, оказывается, и в частной переписке мы намертво связаны с временем. Ты его в дверь — оно в окно.

Да и уклонись-ка от него, когда твои собеседники то депутаты, то советники президента. Сами для этого пальцем о палец не ударят, даже уклоняться будут, но и самое бесстыдное время на глубине хочет оставаться по-русски совестливым, и «простые люди» (странная категория, которой прикрывается всякий политик), а на деле-то просто люди, народ, живое тело Родины, ищут себе заступников от всегда подозрительной для народа власти.

А раз читают и любят и верят, то в первую голову их и зовут — Астафьева, Белова, Распутина, потому что в избирателях-то как раз «баушка» Катерина у Астафьева, Иван Африканч у Белова, распутинские старухи из «Матёры», да «дочь Ивана, мать Ивана». А механизм власти им чужой — вот писатели и бьются за них, и порой оказываются далеко от себя, и тут без боли никак.

Виктор Петрович умел эту обузу половчее стряхивать и Валентина Григорьевича все звал держаться подальше от «них», работать, а не «бороться», а Валентин Григорьевич и сам знал, что хорошая книжка и правда больше сделает, но, видя боль страны, понимал, что «писатели — единственные, поди-ка с нас за это спросят». И не в Советах спросят, а на небесах, где с русского человека спрос особый.

Они должны были разойтись, как ни болезненно это прозвучит. В тот затянувшийся час нервного восторга и помрачения большинства Виктор Петрович больше слушал улицу, а Валентин Григорьевич — свое сердце и не то что *не мог, не умел* перемениться, а *не хотел*, потому что твердый характер и суровый ум, который он умел держать в узде, не позволяли ему изменить тому, что для сердца, для народной его части, было святыней. Разные они были. Астафьев весь наружу, а Распутин — весь внутри: две половинки одного русского сердца. Все врозь и все вместе — «умом Россию не понять».

С той поры переписку с астафьевской стороны вела только Мария Семёновна, его жена, и по письмам чувствовалось, что они разговаривают «через голову»: «Скажи ему...» И так уже до кончины Виктора Петровича. Эхо этого расхождения будет отзываться и в нашей переписке.

В.К.

Валентин Курбатов — Валентину Распутину
Псков

30 апреля 1993

Дорогой Валентин!

Слава Богу, ты хоть на относительной свободе!

Я десять раз за время твоей болезни собирался в Москву, но теперь уже не только на Сибирь, а и на Москву никаких карманов не хватит. Придется домовничать и понемногу возвращаться мыслью в прежние границы, когда и поездка в соседнее село была событием и уходила в домашнее предание. Оно, может, и к лучшему. Мысль меньше суетится, и начинаешь, как матёринская Дарья¹, «на ее д о-о-лго смотреть». Отечество наше окончательно посыпалось. Референдум² был его последней возможностью как-то оглядеться. Оно предпочло безумие. Что же теперь остается? Стоять в одиночку. Воспитывать детей людьми. Искать кусок хлеба. Побольше делать для церкви. Да молиться, чтобы Бог дал человеческую кончину без унижающего страдания.

Жизнь не получилась. Оказалось, что она больше должного связана с родной идеей и идеей общественной. А в одиночку жить не выучился — все кажется напрасно и бесцельно — как-то уж очень животнов. И в церковь мало гоюсь, хоть только в ней, в долгих службах, и нахожу единственное успокоение. Слишком далеко успел выйти из церковной ограды, чтобы вернуться совсем и не оглядываться. Сейчас бы какую-нибудь долгую, требующую терпения и не вовсе бессмысленную работу, но слово как-то существенно поистратилось, размылось в своих существенных смыслах, оказалось

вылущено, будто вместо зерна одна половина осталась — отчего никакие статьи и никакие книги (и искреннейшие и честнейшие) уже не действуют на человека.

Надо бы домом заняться, с избой возиться, в деревне подольше жить, но и домашние обстоятельства не пускают, и мысль заранее бежит как от самообмана. Работать-то хорошо, когда душа просит, а когда сам себя из-под палки заставляешь, то и дом не в радость.

По инерции что-то еще делаем, к Пушкинскому празднику готовимся³, к Дню славянской письменности, но тоже как-то все через силу и без интереса. Никто к нам не едет. Манили Крупина⁴ — ему некогда, Белова⁵ — тоже. А на большее уже и фантазии нет — надо ведь чтобы и читатель знал того, кого мы зовем. Как-то вдруг осталась матушка-литература без авторитетов. Я еще сочинил на свою голову Религиозно-философское общество им. Кирилла и Мефодия (у нас было в прошлом веке братство их имени). Так вот тут лень-то мысли и сказала, и вся бесполетная скудость нашего любомудрия и обнаружилась. Скорее стал скрываться за приглашение авторитетов, чтобы сам да и товарищи мои себя стыдиться не начали, пустого празднословия своего. Но и у приглашенных сквозила та же усталость холостой мысли. Вроде и свое говорят, но такое чувство, что то ли в сотый раз слова свои произносит, то ли сам уже им не верит...

Мысль вообще, кажется, по Руси холостой пошла. В межеумочный период попала, никак за живое не зацепится.

Прости, что я вместо ободряющих обыкновенностей о здоровом воздухе, о румяной пользе Подмосковья, о калорийности санаторного питания все в свою занудную сторону ворочу, но уж тут подлинно — у кого что болит...

Выбирайся поскорее, Валентин. На кухне-то все-таки легче разговаривать, чем в письмах. Обнимаю тебя.

Твой Валентин Курбатов

¹ Старуха Дарья — героиня повести Валентина Распутина «Прощание с Матёрой».

² Всесоюзный референдум 1991 года о сохранении СССР.

³ Традиционный Пушкинский праздник поэзии в Михайловском.

⁴ Владимир Крупин — русский и советский прозаик.

⁵ Василий Белов — русский и советский прозаик.

Валентин Курбатов — Валентину Распутину

Псков

29 июня 1993

Дорогой Валентин!

Очень я был рад, что на Пушкинском празднике сумел уговорить Василия Ивановича [Белова] остаться и съездить в монастырь. Он и сам потом понял, насколько ему это было нужно, и уехал покойнее и светлее, чем приехал. Уже в поезде с какой-то острой тоской заговорил о Викторе Петровиче [Астафьеве], как-то минуя всю болезненную нынешнюю внешность, и тут-то я особенно ясно и понял, почему он все время вспоминал недавно ушедшую мать, и видно было, что действительно не находил себе места. Она для него была связана с Виктором Петровичем, и вот он не может разорвать сердце. Но сам, конечно, руки не протянет, чтобы не быть неверно понятым. Да и не он это должен делать. И хоть я верю, что все вы правы, а Виктор Петрович менее всего, но вот поди ты — никак мне не смириться с тем, что вы порознь и пока еще продолжаете удаляться друг от друга, и никак для себя не определю, верно ли это перед Богом, а не перед короткой человеческой правдой. Все казалось, что следовало бы резче говорить друг с другом, а не друг против друга — это, может быть, было бы больнее, но зато здоровее. Но теперь, похоже, уже ничего не воротишь. Единомыслия уже не будет. Его не будет по многим частностям между тобою и Беловым, тобою и Клыковым¹, тобою и Шафаревичем², тобою и Крупиным, и по частностям болезненным. Я уже не говорю о себе — со мною-то вообще согласиться нельзя: больно широк, надо бы поуже.

Но видно, в конце концов придется единомыслие понимать пошире и Россию пожестче, чтобы устоять в главном. А мы оказались [даже] жестче, чем следовало, и

вот на этом-то и можем быть пойманы расторопными дирижерами, которые мелкие трещины сумеют довести до неперешагиваемых пропастей. Нам бы удержаться все опережающей любовью, которая простит и срыв, потому что неловкое слово можно поправить и скверный поступок поправить другим поступком, а мы, к сожалению, слова выучились ставить впереди любви и считать их вырубленными в бронзе или начертанными на небесах. За это и будем платить тяжелой мерой все более плотного одиночества и в конце концов оставлять сиротой свою Родину.

Без любви мы подлинно «кимвалы бряцающие». Сто раз повторю когда-то поразившее — победить нельзя только безоружного человека. Это доказал Христос, но никто не хочет его доказательств, хотя всяк берет его на вооружение. С тоской и отчаянием вижу, что сегодня Христос чуть не дальше от России, чем до крещения. Особенно это видно в церкви, разделенной столь же решительно, как и все наше бедное общество. Об этом на бревнах у бани говорить или в тихих прогулках над Ангарой, вышелушивать из слов ядро смысла, оглядывать себя из края в край и потихоньку выбредать к истине. Но куда уж мечтать об этом. Всяк поневоле наособицу, и это, может быть, страшнее всех иных средств, направленных против человека. Родные душой люди должны видеть друг друга во всякий час, когда темнеет и теряет опору душа, тогда и земля у них стоит здоровой и мир не потеряет рассудок. Спасти Родину можно только любовью к ней и друг к другу. Мы за любовь принимаем что-то другое, и не мудрено, что ничего у нас не выходит.

Прости, Валентин, что все выходят какие-то торжественности, тогда как за ними стоит простая тревога, что мы делаем многое не так и хоть твердим о новом качестве жизни, но сами упорно этого нового качества понять и принять не хотим, предпочитая привычное оружие, которое по внутренней ложности своей лучше работает в руках демократов, ибо они знают его главный секрет — в его пользовании не надобна совесть. А с совестью оно осекается.

Впрочем, все это только смутная догадка о чем-то, никак не проступающая в прямое слово. Но все отчетливее я вижу для себя, что наша всечеловечность, и наша всемирность, и наше избранничество истолкованы нами не так, как следует, и, кажется, неверно поняты (да простит мне Фёдор Михайлович). И именно оттого, что взяты ложные задачи, выходят соответственные результаты, и мы все выходим примером наоборот и скоро станем несчастьем мира.

Нет покоя, нет устойчивости, нет чистого образа будущего. А хотел-то написать только — больше будь на Ангаре, Валентин, в деревне да в покое сиди. И нашего брата на порог не пускай. Настоящая-то наша работа вся впереди. А сейчас — так... разговоры, и на них найдутся другие мастера. Обнимаю тебя.

В.Курбатов

¹ Вячеслав Клыков — советский и российский скульптор.

² Игорь Шафаревич — советский и российский математик, академик РАН, публицист, диссидент.

Валентин Курбатов — Валентину Распутину

Псков

1 ноября 1993

Дорогой Валентин!

Никак не знал, куда тебе написать, но чувствую, что обстоятельства вот-вот позовут в Москву. Когда бы знать, что ты там, я бы даже и приехал. Слишком переменялся мир, тысячелетие успело смениться досрочно, Россия успела сменить генетику и вот-вот родит из своих потемок какую-то неведомую нам державу с чужим языком и мыслью. Сейчас бы самое время на завалинке собраться всем деревенским сходом и рассудить, чего человеку делать — не прохожему, не уличному человеку, а нам самим, каждому по отдельности и всем вместе.

Очень похоже, что никакой России может не остаться вовсе, а борьба за нее переносится из парламентов в человеческое сердце, в каждую отдельную душу. Какое-то партизанское существование, отсиживание по лесам, во всяком случае, сейчас, на период ближайшего ожидающего нас безумного правительства. Надо просто сохранить

человека, сберечь простое его сердце и живую душу. Никто кроме культуры этого не сделает. Во всяком случае, мне не видится ничего другого. Нам действительно придется взяться за перо и спокойно и твердо, несмотря на рев тысяч «глушилок» говорить и говорить о чистом русском человеке, терпеливо лечить его от помрачения.

По мне это и всегда было единственным делом литературы, но теперь кажется, что теперь это услышат или должен услышать даже глухой. Культура не умеет и, как кажется, не должна бороться политическими средствами — она неизбежно терпит в этой борьбе поражение. Неужели опыта прежних Дум не хватило, чтобы убедиться в напрасности сидения в них всем Милюковым и Набоковым? А уж наши «думцы» будут и того беднее. Или хоть там, в ДУМЕ, НЕ СОРЕВНОВАТЬСЯ в красноречии, а учиться незаметному терпеливому делу.

Не знаю. Иногда такое отчаяние охватывает и такой стыд, что хоть беги. Не за страну, не за правителей наших, и это уже как бы позор естественный. А за литературу. За то, что она втягивается в те же средства противостояния и оставляет читателей сиротой. Никто, как наше поколение, не измельчил так значение русской литературы в глазах читателя, никто не уронил его так низко. Сидели ли толстые и Достоевские по правительством, даже бунины и горькие?.. А нам непременно трибуну подавай, министерское кресло. А что выходит. У того же умного критика Сидорова¹, у Клыкова?

Ну, ладно. Это у меня старая песня. Это я от одиночества брюзжу, от усталости. И оттого же к тебе напрашиваюсь на денек, чтобы душой подкрепиться.

Твой В.Курбатов

¹ Евгений Сидоров — советский и российский литературный критик, в 1992—1997 годах — министр культуры Российской Федерации.

Валентин Распутин — Валентину Курбатову

7.08.1995

Иркутск

Дорогой Валентин!

Твои письма пришли с перерывом дней в пять-шесть, но с тех пор минуло недели две, а может быть, и больше, как я получил последнее. Но тут уже вмешалась не одна моя лень, которой я предаюсь во всю Ивановскую, а кое-что поинтереснее. Это кое-что — случившийся со мной удар, выбивший меня из памяти примерно на час. Нечто подобное со мной уже бывало, но слабей и короче, и, возвращаясь в память, я себя сразу находил, а тут еще потребовалось время, чтобы вспомнить, кто я и где я. Это произошло на даче, и хорошо, что сразу отыскались врачи. Поначалу решили, что это инсульт, из породы шадящих, но теперь пришли к выводу, что это, скорей всего, тромб мозгового сосуда. Позволено даже не ложиться в больницу. Но напугали жену, что необходимо находиться в состоянии покоя; я и сам люблю находиться в этом состоянии, однако с женой мы расходимся в понимании покоя, а потому покоя нет, начинаю бунтовать и рваться за ягодой. Но беда в том, что мы слишком долго прожили вместе, и все мои хитрости, даже приготовления к ним, она знает назубок.

Никак не могу согласиться с тобой в полном оправдании В.П., что бы он ни говорил и ни делал, широтой его могучего таланта и полнотой жизни. Мне кажется, что ты невольно поддался «задаче» — и выполнил ее, находя необходимые доказательства. Доказать можно все, что угодно, когда задаешься такой целью. Ни зла, ни обиды у меня на Астафьева нет, и я искренне надеюсь, что, если поживем еще, то и сойдемся, и сдружимся. Но делать это придется заново, потому что того В.П., которого я знал, у которого немало взял и который как человек и как талант был целен, здоров, — того Астафьева уже нет.

«Не сотвори себе кумира» — вот о какой заповеди он запомнил. После Толстого, на которого ты ссылаешься как на авторитет, не оглядывавшийся на так называемое общественное мнение, это не кажется тебе столь большим грехом... А вред? Если он прав в своей «органической правде», то ведь правы и черниченки, и нуйкины, и окуджавы, ибо он сознательно рядом с ними встал, рассылая проклятия и требуя расправы. До того и Толстой не доходил. Толстой в ссоре не участвовал, он поставил себя земным богом и устанавливал законы самовластно. В.П. полагает, что

талантом все оправдывается и талант из любого кривого положения его выведет и выпрямит, что он не может быть неправ, ибо достиг положения, когда и неправда превращается в правду, если смотреть на нее из вечности. Но до вечности-то еще дотянуть надо.

Как бы ты отнесся к священнику, который проповедует в храме, что Бога нет? В.П. сейчас со своей кафедры делает то же самое: обязанный от зла спасать, он не оставляет своему читателю никакой надежды. Ты смотришь на его роман с высоты вечности, а те, кто подхватили его и представили к долларовой оплате, ценят совсем по-иному — как орудие, стреляющее по своим. И не ты ли, бросаясь защищать истязаемое пропагандистской сворой тело, говорил, что отказываться от своей истории, какой бы она ни была, смерти подобно... В.П., живший и участвующий в ней, отвергает ее с матом.

Всю жизнь, ты пишешь, осматривался, не договаривал — теперь требуется выговориться. Да уж так ли оглядывался и осторожничал?

Кажется мне, что мы и тут поддаемся внушению. Да в тех условиях творилось больше и значительней — потому что чуяли, искали и внимали, фигура умолчания перед читателем таяла, как снежная баба. Не сказал ли тот же В.П. о войне в «Пастухе и пастушке» безжалостней и четче, чем в романе? Но — не истязая героя и читателя. Не говорили ли многие из нас в те «сумерки просвещения» полезней и одухотворенней, чем теперь, когда свет бьет со всех сторон, все известно и все понятно?! Да от этого ярко бьющего света ничего не видно и еще меньше понятно, хочется в укрытие, в тень, в Запрет. Не я говорю — великие говорили, а действительность подтверждает, что на свободном-то полностью выпасе искусство и отравляется. А сострадание превращается в один из пунктов распорядка дня.

В.П. решил, что ему все можно, и ты потворствуешь: ему с его талантом, поднимающимся в необжитые высоты, действительно все можно. Но если можно великим, если им это прощается и превращается в знаки величия, если это к тому же щедро оплачивается, то почему нельзя невеликим? Одним можно по величию таланта, другим по малости. А ответственность — штука, которой распоряжается одна лишь вечность, ну и гуляй трын-трава по некогда великой русской литературе, величие которой нынче приобретает другой нравственный знак.

Это-то как раз и есть идти по течению, а не против, как ты говоришь. Потому что то направление, к которому примкнул вольно или невольно Астафьев, победит. И не столь большие для этого теперь потребуются сроки. Монархист Пушкин, кликуша Гоголь, реакционер Достоевский — уж если они были смяты и прокляты, что говорить о нынешних тормозилках! Недолго их испуганный ропот!

Заканчиваю, Валентин. Надеюсь, не обидел ни тебя, ни Астафьева. В.П. я продолжаю любить, но с болью. А с тобой, чувствует мое сердце, нам еще предстоит поспорить о размерах правды.

Обнимаю.

В.Распутин

Валентин Курбатов — Валентину Распутину

Псков

19 марта 1996

Ну, каково дома, Валентин?

Помогают ли стены закончить новые рассказы? Работается ли? Я чего-то вылетел из ритма и никак не соберусь. И потом, меня все несет втягиваться то в один конфликт, то в другой. Теперь особенно в дела Пушкинского заповедника, где все вверх дном, где все разорвано в клочья, потому что слишком много держалось на Гейченко, а тут и он помер, и матушка-система, которая еще могла по инерции поддержать порядок, пока оглядится новый директор. А теперь времени ни у кого нет, и никто не хочет терпеть друг друга ни одной минуты, требуя, чтобы другой немедленно думал так же как он, иначе на него разом слагается бумага в министерство, администрацию, президенту, Патриарху. (Все зависит от поворота вопроса и области противоречия.)

И временами видно, как каждая сторона тоскует по своей «чрезвычайке», расстрелять бы подлеца-противника — и никаких забот, а тут войей, доказывая, терпи.

Я получаю по шее отовсюду и всякий раз даю себе слово отступиться и заниматься «своим делом», но уж, глядишь, опять пишу письма. Звоню, еду, чтобы опять получить по морде там и тут. Все то же. Лета жду — уеду в деревню, спрячусь и примусь думать о высоком и вечном... Слава Богу, скоро картошку можно готовить для посадки, земельку копать, а там, глядишь, и сенокос поспеет, и уж вот там-то меня никто в городе не найдет. Разве вот в Красноярске свидимся. Виктор Петрович придумывает какой-то библиотечно-писательский семинар в Овсянке, клянчит деньги и собирается позвать тебя и Белова, и меня, грешного. И за его бодростью и размышлениями о книжном деле России я слышу тоску навоевавшегося сердца, которое ищет опоры в некогда родных сердцах.

Хорошо, если бы это так и было понято и принято и тобой и Василием Ивановичем. Потом разойтись будет не поздно, но упустить возможность собраться, как встарь, никак нельзя. Он когда-то сам первый протестовал, когда я говорил о вашей неразлучности, а вот повоевал-повоевал и понял, что все вы друг другу написаны на роду и никуда деться друг от друга не можете, потому что в народном сердце теперь навсегда втроем прописаны.

Впрочем, найдет ли еще деньги-то — президентские выборы съедят все, что возможно и невозможно. Больно уж много кандидатов — на всех не напасешься.

Обнимаю тебя и теперь уж в Москве жду — таково непостоянство характера — из Москвы гоню тебя в Сибирь, а уедешь — жду-не дождусь возвращения.

Твой Вал.Курбатов

Валентин Курбатов — Валентину Распутину

Псков

25 апреля 1996

Дорогой Валентин!

Я и сам понимаю всю сложность возможной овсянской встречи, но и знаю, что не делать такой попытки, значит, потакать злу. Кажется, они переносят встречу на август, чтобы мерзость выборов могла отодвинуться. А что выборы — мерзость (при всех исходах) видно уже сейчас по взаимному количеству грязи. В победе Зюганова я почти не сомневаюсь именно потому, что ненависть к нему выходит за все пределы. Бесплатные цветные газетки, рисующие его чудовищем, сделают свое дело. Во всяком случае, сделают его в провинции, как ни пугают старух, что он закроет церкви, и как сами попы уже ни подсюсюкивают властям в этой лжи.

Ну это — Бог с ним. А вот что ты зиму пролежал — это горе и горе. Хорошо хоть бы с пользой. Поправился бы хоть как следует и на год-другой позабыл про больницы. Жалко, что лето опять будешь в Москве. В деревне оно как-то здоровее. Правда, в твоей деревне от политики не спрячешься — народ вокруг дошлый. Да, впрочем, теперь, кажется, и ни в какой деревне не спрячешься. Если уж даже в монастыре не укроешься. Я был на страстной неделе и в Пасху в Печорах — только поворачивайся, все про выборы норовят спросить. Хорошо хоть служб не отменяют, и там успеваешь прийти в себя.

Очень понимаю и то, что ты пишешь о маме. Сам я каждое утро радуюсь, что она рядом, дивлюсь ее юмору и свету — при ее-то жизни, радуюсь таланту, который в каждом движении, в том, что она вяжет, в том, как смотрит кино, как вспоминает, как говорит о своих подружках («А у того дому чуть не все девки мово — 13-го году, все из одной деревни. Все толстые, и зовут Тонями»), как складывает стихи про комара, которого убила ночью... И боюсь заглядывать в будущее, торопясь наглядеться и нарадоваться. И в тысячный раз думаю, что жить надо одним домом и на своей земле, а то дед у меня лежит в одном углу России, отец — в другом, брат — на Украине, так что и на могилу не съездишь. Я уж не говорю о дядях, тетках, двоюродных братьях. Ни роду, ни племени. От этого больше всего Россия и болеет, а не от дурных политиков и идей. Вернее идеи и политики до этого довели, а теперь и не знают, как собрать. А уж чего собирать — прав ты: давно не народ, а одно население.

Я уж в Москву не поеду, пока ты не приедешь.

Обнимаю тебя, Валентин.

Пошли, Господи, здоровье и здоровье.

Твой Валентин

*Валентин Курбатов — Валентину Распутину**Псков**2 октября 1996*

Дорогой Валентин!

Судя по Псковскому ТВ, ты в Москве. Вчера показали, как Зюганов решает судьбу псковского губернатора, и я увидел тебя рядом. Во всяком другом контексте это не вызвало бы моей досады, но тут было невыносимо. Невыносимо, что можно играть, «насолить демократам» судьбой людей целой области только из политических соображений.

Ведь это игра людьми, Валентин, судьбой целой земли. Неужели нельзя было увидеть? Я понимаю, что ты приходил в этот президиум не эти вопросы решать и так уж повернулась судьба, но она теперь всегда так будет поворачиваться. Этим ребятам на народ плевать. Да и на Россию тоже.

Нельзя, нельзя нам сидеть в президиумах ни с Ельциным, ни с Зюгановым — ни тому, ни другому до Родины нет дела. Наше дело держать народную душу со страдающими, труждающимися и обремененными, с потерянными и преданными, а не за парадными столами. Мы эту работу делаем сегодня как никогда плохо...

Прости, Валентин, недоговоренность была бы несправедлива по отношению к дружбе.

Твой Вал.Курбатов

*Валентин Распутин — Валентину Курбатову**22.12.1996**Москва*

Дорогой Валентин!

Прости, что отзываюсь на твое письмо с огромным опозданием. Но трудно было отвечать. Сразу не стал писать сознательно, потому что мог сорваться и на резкость, а затем потянулось уже от нежелания беречь и тебя, и себя. Но объясниться все же необходимо и лучше сначала письменно, хотя и жаль, что мы с тобой разминулись в Москве всего на день. Однако, объяснившись, легче будет и встречаться.

Ты не в первый раз пытаешься поставить меня на место, не мною занимаемое, а определенное для меня тобою. Сначала — года два назад, когда моя подпись оказалась под письмом против церковных обновленцев. Я ее не ставил и не обманывал тебя, говоря, я не нашел ее под письмом, но мог поставить. В старые времена, когда я наверняка был бы более воцерковленным человеком, я наверняка был бы и на стороне старообрядцев. По консервативному своему складу характера и ума, по согласию с аввакумовским доказательством: до нас положено — лежи оно так во веки веков. Я даже в юности узких брюк не носил — и не потому, что комсомол не велел, а потому, что мне это казалось нарочитым, вздорным. Понимая прекрасно, что это невозможно и вредно — находиться России за «железным занавесом» от Запада, я втайне тоскую по нему: сколько доброго было бы не загажено! Так же втайне я сочувствую зарубежной церкви, более охранительной и аскетической к букве православия, чем патриаршья, но всегда до сих пор был против ее приходов в России. По тому закону, который говорит, кто мыслию, взглядом возжелал, уже согрешил, — я грешник, но по теперешним временам это не самый тяжкий грех.

С Зюгановым же я вожжаюсь не потому, что скорблю или скучаю по коммунизму (хотя скорблю — может быть, да, как должно скорбеть по поводу всего, чему народ в течение десятилетий отдавал силы). Но он мне кажется порядочным человеком, порядочней всех, кто имеет всё. Коммунизм ему не вернуть, он и сам это, я думаю, понимает, но составить силу, способную хотя бы тормозить властный разбой, худобно ему удалось. И удалось бы больше, если бы «чистые» патриоты не боялись бы замазаться, белыми платочками вытирая руки в то время, когда надо было выхватывать страну из грязи, грязней которой не бывает. Делиться на красных и белых нынешним летом было безрассудно, безрассудно и сейчас. Но казакам достаточно того, что им дозволено носить лампасы, монархистам — что можно ставить памятники последнему государю, а что вытворяют со страной и народом, за лампасами и памятниками не видать.

Я думаю, ты не обличил Астафьева, когда он лбызался с дурачащим всю

страну... язык не поворачивается, чтобы назвать его президентом. Тебе это показалось неприятным, но допустимым в борьбе с Зюгановым (какой там, к дьяволу, коммунизм, как будто ты веришь в его возвращение!). А когда я сел рядом с Зюгановым на пресс-конференции, посвященной, кстати, финансированию науки, образования и культуры, это сочлось не менее как предательством. Вот уж, с кем вы, мастера культуры? — палачами, вроде Зюганова, или со спасителями Отечества, как Ельцин?

Я запачкаться, Валентин, не боюсь и ни в каких глубинах души согласия у меня, чтобы хоть маленькой запятой оговориться, с Ельциным быть не может. Ваш Туманов, верю тебе, был более подходящей для Попова фигурой, чем новый, которого поддержал Зюганов, но взыскивать с меня за Зюганова, это в тысячу раз менее оправданно, чем спрашивать с Астафьева за творимое Ельциным.

Тысячу раз я давал зарок встать посередине, но то ли характер, то ли слабая воля не позволили. А больше того: как вспомнишь, что делается... да и вспоминать не надо, всегда перед глазами. О своей Аталанке я тебе уже писал. А в середине октября ездил в Кяхту, чтобы обновить впечатления. В городке за 20 тысяч не работает ничего, все стоит. Не работают ни школы, ни больница, полное оцепенение. А по улицам старушки гоняются за покупателями, предлагая сигареты не в пачках, а по одной, поштучно, чтобы насобирать на полбулки хлеба.

Я тебя тоже понимаю все меньше. С редактором «Огонька»¹ ты не побрезговал обсуждать литературно-библиотечное дело, а затем вырабатывать совместное обращение, но, увидав в аэропорту Лыкошина с Володиным², решительно пошел сдавать билет. Не те попутчики. Но в таком случае выходит, что согласие-то, к которому вы призываете, готовится внутри одной стороны, а вторая, грубая и лапотная, так и останется ненавидимой. Видел ли ты опубликованный примерно месяц назад список президентского совета по культуре из 40 человек? Ни одного из «вражеского стана». Это и есть «примирение»: вы молчите, а мы, нахapaвшие выше головы, останемся при своих интересах.

Мне уж в приличное общество не попасть, и попасть — совершенно искренне — не хочется, с отверженными умирать легче.

Все. По этим делам точка.

Книжка с твоим предисловием скоро выходит. Еще раз перечитал: предисловие очень хорошее. Но дадут ли нам еще какие-нибудь денежки, не уверен. Ибо и издатели не уверены — и правильно, что книжка пойдет.

В Иркутск ездил, чтобы добрать справки для оформления пенсии. Тяжело болен брат, тяжело больна тетка, надо было навестить и помочь. Глаза видят все хуже — прошел очередное обследование (бесплатное, чего в Москве уже не получить), чтобы сменить лекарства и очки. Предстоит еще операция, по-видимому, двухразовая, но пока можно потянуть. Словом, не развеселился и в Иркутске. Кругом споры среди бывших своих, глупая злоба. Очень по-нашенски. Но светит каждый день солнышко, лежат богатые снега, стоят морозы.

С наступающим Рождеством Христовым и Новым годом тебя, Валентин! тебя и твоих домочадцев! Дай-то Бог обойтись вам в 1997-м без всяких уронов. О счастье уж не вспоминаю. Не до жиру, быть бы живу!

Очень надеюсь, что ты не обидишься на мои слова.

Искренне твой В. Распутин

¹ Лев Гушин — советский и российский журналист, в 1991—1997 годах — главный редактор журнала «Огонёк».

² Сергей Лыкошин — советский, российский прозаик, в эти годы — один из руководителей Союза писателей России. Александр Володин — советский, российский драматург, сценарист.

Валентин Курбатов — Валентину Распутину

Псков

3 января 1997

Дорогой Валентин!

Спасибо за спокойное и твердое письмо. Видно, мы по-настоящему друг с другом и не говорили. Не о чем нам с тобой спорить — мы до звука согласны в целях — разве

методы видим разные. Да и люди вокруг разные, и каждый из них по-своему красит «нашу» идею, и тут надо просто на полчаса дольше поговорить, чтобы эти оттенки перестали мешать. Что это помрачение общей подозрительности и расхлябанность слов, потерявших ось, привели к несогласию-то. А повернешь слово как следует, вернешь ему настоящий смысл, и тут и видно, что сердце бьется одно. И я ведь, когда кричу о том, что не наше дело по президиумам сидеть, не к «середине» зову — это уж надо или машиной быть, или совершенно равнодушным человеком, чтобы в таком месте устроиться.

Я только хочу, чтобы истину не «обуживали» до партийных границ. Она непременно окажется шире, и, сделав ее слишком «нашей», ты начинаешь увечить ее, а заодно и себя и не заметишь, как сделаешься невольником этой узости, когда тебе уже «товарищи по партии» в сторону и шаг не дадут ступить, сочтя всякий такой шаг предательством. А дело-то не в нас, сужая истину, мы страшно вредим и без того уже потерявшей голову Родине. Они ведь нас как раз в эту узость и загоняют, провоцируют, постепенно расширяя свое поле и вытаптывая на нем все живое и родное, что мы могли бы спасти, когда бы не страшились быть шире, потому что чего же страшиться, когда это наша земля и наше все, что в ней и что надумано о ней. Когда это чувство «нашего» крепко, то можно и ошибаться, и делать неловкие шаги, но сбить человека все равно будет нельзя и передернуть его карту тоже, ибо он везде искренен. Вот только об одном этом я и твержу год за годом и одного этого и хочу — быть дома во всей своей Родине, а не в одном углу, куда меня медленно затолкают опытные софисты другой страны.

И у Астафьева не один редактор «Огонька» был, которому я как раз слова-то не дал на «круглом столе», а много добрых людей из Костромы, Перми, Челябинска, Красноярска, Иркутска. И звал-то Виктор Петрович и тебя, и Василия Ивановича, и Носова, и Лихачёва, и Солженицына. Конечно, было, наверное, там не без расчета и не без честолюбия, но все опять же зависело бы от интонации разговора, от того как и о чем заговорили бы собравшиеся. Хотя, конечно, теперь уже ясно, что ничего такие разговоры не дают, что непременно или на «разборку» съедут, или на «круглые места», но и это говорит не о времени только, но и о нашей усталости, о неверии в побуждения друг друга, а в конце концов и о потере ответственности перед той же Родиной (прости что я будто на риторику съезжаю — не риторика это), потому что когда ответственность эта есть, куда угодно поедешь и с кем хочешь станешь говорить, и дела не унизишь. А ведь то, что мы умудрились окончательно развести «лагеря» — это нам нигде не простится. Надо и о неприятии говорить не в «параллельных» изданиях, а принародно и лицо к лицу, веря, что искреннее слово будет и услышано искренне и понято верно. Хотя и сам уж так устал, что начинаю тоже думать, что это романтизм. А не хотелось бы так думать, потому что это равносильно смерти.

Ну, на бумаге всего не скажешь — только измучаешься. Как у тебя расписание-то? Теперь в Москве будешь? — авось я к началу февраля соберусь. Пока письмо доберется, уж и святки, поди, отойдут. С Крещением тебя! Пошли Бог крещенской чистоты и Святого Духа бедным русским водам.

Обнимаю.

Твой Валентин

Валентин Распутин — Валентину Курбатову

7.11.1998

Москва

Дорогой Валентин,

наконец-то собрался написать тебе, воспользовавшись пролетарским праздником и тем, что телефон молчит. Этот телефон и следовавшие за ним действия за десять дней опустошили меня полностью. И если бы легче было в Иркутске!

По последнему твоему письму, кроме того что сказал по телефону, добавить почти нечего. Мы с тобой можем не соглашаться друг с другом, можем даже поругаться, хотя до сих пор этого, кажется, не было, но до разрыва дело, думаю, никогда не дойдет. К чему? Я знаю, что ты всегда искренен, слава Богу, была возможность в этом убедиться, и ничего плохого замыслить не можешь. Ругай ты меня — ну и ладно, это будет не со зла, остерегай — это не может быть оскорбительным.

Почти вся моя позиция — жизнь по большей части инстинктами, чувствами, я

знаю, этого недостаточно, и даже когда не соглашусь с тобой, то, что требуется, возьму. К тому же ты как критик, как человек художественного и одновременно аналитического ума, в лучшем положении, чем я: ваше перо уверенней, не изнашивается долго, поскольку питается сразу с двух сторон, и если ты скажешь в свое время, что сердечный хлад у меня достал и до пера — я и тут не обижусь. Выслушивать такие вещи будет неприятно, но они неизбежны. А если и не скажешь — почувствую в молчании.

О предыдущем письме. Я, Валентин, до того письма не знал, что Астафьев будет в Ясной Поляне, и от поездки туда я отказался не из-за Астафьева. Очень не хотелось никуда ехать, особенно в многолюдное собрание нашего брата-писателя, очень не хотелось ничего говорить. Да и сказать было нечего, как, чувствую заранее, нечего будет сказать о Пушкине. Тот и другой для меня — это громадное целое, могучее и духовное, и отколупывать от них крошки, тшиться эти крошки объяснить, обнаруживать и насиловать свою бедность — тяжело это. Очень хорошо хоронили Г.В. Свиридова — в полном молчании, ни одной речи. А в колготне, в толпе ни Толстого, ни Пушкина не почувствовать. Сто лет назад после юбилея Пушкина Меньшиков написал блестящую «неюбилейную» статью, которая называлась «Клевета обожания». В будущие годы будет то же.

Что касается поездки в Овсянку — тяжело мне там было бы. Там как раз было бы что сказать, но не нужно было бы говорить. Нам с В.П. лучше оставаться врозь. Прочел я его 15-й том и убедился в этом. Все между нами было бы неискренним и ненужным. В.П. дышит не извне, а изнутри себя.

Не писал я тебе долго по одной причине, по главной — по своему разгильдяйству. Ездил, кроме того, в деревню, ездил в Братск, сочинил рассказ и переписывал его раза четыре. Но уж коли сразу не вышло, не вышло и на четвертый. Дальше мучить не стал и поставил точку. Уже здесь, в Москве, кое-что поправил и хочу отдать Володе Толстому, чтобы хоть отчасти оправдаться перед ним.

Ганичев говорит, что для толстовской премии Володя деньги достал (или достает). Я ему, Володе, еще не звонил. И не знаю, продолжает ли выходить «Ясная Поляна». Жду, что, быть может, позвонит сам. Был на днях Белов Василий Иванович, сказал, что тоже что-то передает для «Ясной Поляны». Заодно сообщил, что с Мишей Петровым поссорился, поскольку тот в своем журнале не признает (или плохо признает) православие. В.И. после операции, довольно тяжелой, которую я перенес раньше, и на многих сердит. В том числе и на себя, считает, что это большой грех. Мы с Володей Крупным его успокаивали, но он не успокаивается.

Обнимаю тебя и жду в Москве. Не будет меня только с 22 по 29 ноября. Затем опять здесь. А после Нового года, как всегда, недели на три в Малеевку.

Твой Валентин

Валентин Курбатов — Валентину Распутину
Псков

27 января 2003

Дорогой Валентин!

С «Перепиской» ты прав. В малое оправдание себя скажу только, что я долго упирался. Разговор о ней завела Марья Семёновна [жена В.Астафьева], когда еще выходило 15-томное соб.соч. В.П.. Она тогда на чтениях в Овсянке сказала, что есть отдельный том вашей переписки. Я уперся. Когда В.П. заболел, за дело взялся Сапронов, я тоже отказался. Ну, а уж после смерти В.П. Марья Семёновна стала корить меня, что я «не хочу помочь делу В.П.». И тут я смалодушничал.

Оценок в отношении тебя я не смягчал, как вообще ничего не менял, убрав только две-три прямые грубости, которые были движением минуты в отношении Василия Ивановича и одну бестактность в отношении Можая. Что до отношения к Абрамову, то тут, верно, виноват я. Мне всегда казалась его проза мертвовой, рассчитанной, умозрительной. Это была как будто не любовь и не страдание, а позиция. Благородная, высокая, но прежде всего позиция, прием, метод. А может быть, это во мне только бессознательная ревность «литературоведа к литературоведу», хотя думаю, что нет. Я просто знаю, что из критического «цеха» сбежать нельзя.

А про свою «книгу» (что пора-де и самому что-то написать) и говорить не буду. Боюсь, мне уж из домашней гонки не выбраться. Смешно сказать, что и моя Турция

тоже отчасти связана с этим. Я там ничего не зарабатываю, но там работодатель кормит меня, и я тем самым сберегаю семейный бюджет. Я бы не стал говорить об этом, когда бы ты не повернул разговор к книге. Да и Бог с ней. Кому сейчас нужна хоть какая-то критика. Тем более о 60 — 80-х годах. Хотя, конечно, это была последняя литература «большого стиля», в которой мы не уступали никакой большой литературе Запада. Для книги об этом надобен ум поосновательнее моего. Тут нужно исследование настоящей академической руки вроде С.С.Аверинцева и П.В.Палиевского. А я уж, видно, так и пробегаю остаток жизни по малым человеческим поручениям.

Спасибо за твое интервью «Правде». Твой разговор о «Норд-Осте» жесток и верен. Но там есть еще один человечески болезненный оттенок. Ребята, работающие в нем, радовались своей работе, потому что там действительно шла речь о Родине, и они радовались чистоте дела. И не зря боевики взяли не «Нотр-Дам», не «Чикаго», а именно Родину в ее лучшем. Но уже и те перевели родное на уж очень бойкий язык, и эти взялись за дело тоже в жанре мюзикла. Трагедия вышла слишком театральной с обеих сторон и скоро сама послужит сюжетом для новых бойких работ.

Ладно. Дай тебе Бог спокойно посидеть за столом. И правильно, что в Малеевке. В Михайловском уж очень «поэтично», и тут прозаики не работают. Муза начинает под руку толкать. Проза — дело скучное, а она дама бойкая.

Обнимаю тебя.

Твой Вал.Курбатов

Валентин Курбатов — Валентину Распутину

Псков

3 апреля 2003

Дорогой Валентин!

Каким было бы счастьем, если бы ты принял предложение В.И.Толстого и приехал в этом году в Ясную Поляну со «Словом» о Льве Николаевиче. Последнее такое «Слово» говорил Л.М.Леонов, вероятно, году в 78-м, на 150-летие. Я видел и слышал его по телевидению и был потрясен страшной глубиной и серьезностью. Снова становилось ясно, что такое русская литература, к чему она призвана и что исповедует.

Сейчас самое время напомнить об этом. А сделать это, кроме тебя, некому. И не лезть это никакая, что ты и сам прекрасно понимаешь, потому что все остальные нынешние художники либо слишком «художники», либо слишком политики и уже не слышат небесной полноты писательского избранничества. Я понимаю, насколько это трудно и ответственно, но понимаю также, что однажды русский художник должен сделать такой шаг и взваливать на себя ответственность сказать свой символ веры с твердостью и прямоотой, к сожалению, все необратимее оставляемыми нашей литературой. Нас все отчетливее приучают к сознанию, что литература только иронический или развлекательный продукт и должна оставлять свои пышные притязания. Это внешне даже как будто благородно и скромно, но внутренне лукаво и разорительно. Ты это знаешь лучше меня, и я уж только от отчаяния пишу это и прошу тебя вместе с Владимиром Ильичом о согласии на Слово.

Теперь другое. Сапронов, очевидно, осознав узость издания только нашей переписки с Астафьевым, решил издавать всю эту переписку, все письма В.П. к разным людям во все годы его работы. Зная, сколько и как писал Виктор Петрович, можно предположить, как велико будет это издание. Но и как интересно! Потому, что не было более искренней и более разнообразной переписки, отражающей всю многосоставность русского литератора, приходящего из крестьянства со всей силой, но и со всеми комплексами такой дороги.

Так вот, Геннадий просит о копиях писем В.П. к тебе. Я не знаю, почему вы разошлись. Он, мне кажется, человек живой и с неповрежденной основой. Впрочем, я не знаю его иркутской жизни и сужу только по тем изданиям, что вышли, и по тому, как он тратит деньги, добытые своим предпринимательством, издавая сейчас «Царь-рыбу» и «Знаки жизни» М.С.¹ с новыми главами о последних днях В.П. Я знаю, что это не прибыльно, как неприбыльна и наша никому не нужная «Переписка». Но, повторяю — не знаю, что могло стоять за вашим расхождением. Я понимаю и сложность самого замышляемого издания переписки В.П. и предупреждаю берущуюся

за редактуру А.Ф.Гремицкую. Но она обещает бережность и чистоту отбора. Да, в конце концов, и всякий адресат должен чувствовать ту же ответственность, предоставляя письма для печати, чтобы не выйти из пределов литературы.

Я по своему извечному простодушию думаю, что вам в Иркутске должно бы встретиться не только по поводу этого издания, а просто потому, что пока в человеке есть живая и благая черта, его надо удерживать, не отпуская туда.

Да, кажется, и время разбрасывать камни (в лицо своим «противникам») сменяется временем собирать эти камни, если мы еще собираемся жить в России, а не на той тающей льдине, которую ты рисовал в речи у Солженицына. Это пусть те переходят на льдину, а мы дома. И мы еще и их, дураков, спасем.

Обнимаю.

Твой В.Курбатов

¹ Мария Семёновна Корякина — советский, российский прозаик, жена Виктора Астафьева.

Валентин Распутин — Валентину Курбатову

8.08.05

Иркутск

Дорогой Валентин!

Я бы и дальше молчал, потому что по лености своей давно обрек себя на молчание, да дали мне прочитать твою переписку с Борщаговским¹. И она заставила меня нарушить обет молчания (но не косноязычия). Знал я тебя, казалось, хорошо, но оказалось, что глубин твоих не знал и десятой доли, и удивительно, что обнаружились они мною опять в жанре вроде бы второстепенном. Но не для тебя, ибо ты и здесь отнесся к этому жанру очень серьезно и точил свой ум с удовольствием, воспользовавшись тем, что собеседник тебе попался серьезный.

Много раз я убеждался, что ничего случайного в жизни и встречах людей друг с другом не бывает и что ведомы мы зрячей судьбой. Нарочно ища такого собеседника с другого, в сущности, берега, меж которыми переправа то есть, то нет, — ни за что не найдешь. А тут он был сознательно показан и подведен, вас заставили расположиться друг к другу, сдружиться с единственной целью — чтобы сказать то, что было сказано. И мне показалось, что Ал-р Михайлович даже откровеннее и напористей, чем ты, потому что он чувствует себя хозяином и не одну пядь занятой территории сдавать не собирается. Он и в глубокой старости не потерял уверенности в себе и своих сородичах и наступает даже там, где нет никакого сопротивления и где опасность выдумывается его либеральной стороной, чтобы воспользоваться ситуацией и снова и снова продвинуться вперед.

Он умен, очень умен, как-то плотно и монолитно умен, не теряя с годами прочности ума. Широкий и в советское время справедлив (старается быть справедливым) и к своим, и к нашим. Не признает этого разделения на «своих» и «не своих», но только до определенного времени, до определенного начала событий, а потом пишет «обвиняется кровь», хотя эти обвинения были или дурными (в «перестройку»), или справедливыми (в послереволюционные годы), у Солженицына, которого не обвинишь в антисемитизме, что показано хорошо. Я у Борщаговского, кажется, ничего не читал, но после вашей переписки захотелось прочитать и «Обвиняется кровь», и книгу о Бабушкине: неужели он и его оправдывает?

Вообще признание нас — Абрамова, Астафьева, меня — вызвано у Борщаговского, во-первых, художественностью наших книг (и этого у него не отнимешь), а во-вторых, их способностью влиять на общество так, что вольно или невольно помогало расшатывать механизм власти. Я говорю о наших книгах 70-х до середины 80-х годов. Хотя ты и не признаешь художественности у Абрамова, но тут я согласен с Борщаговским. Он, может быть, и сам не осознавал разрушительного действия наших книг, да нет, осознавал, конечно, но было это у него по справедливости на втором месте. Но затем, когда пошли «Дети Арбата», книги Эйдельмана и др. своих по крови, книги, которые он поднимает на последнюю высоту литературы, вкус почему-то решительно изменяет ему и справедливости как не бывало.

Он воистину столп либерализма и общечеловеческих ценностей, не в шутку называет себя космополитом. Знает прекрасно, до поры не говорит, что

общечеловеческие-то ценности — это ценности его народа, а для нас они смертельны. Читая, я всякий раз почти безошибочно после твоего письма мог угадать, где он тебя станет поправлять. Ни в чем, что зацепило его позицию, он не согласится, все расставит по своим местам. Делает это умно, без нажима, но не пропустит.

Книга эта будет очень нужна, Валентин, не сомневайся. Конечно, читателей она много не соберет, но какая книга теперь, кроме бесстыжих и развлекательных, собирает читателя? Но сказано в ней много, и диалог напряженный, точно вы заранее сговорились, что письма ваши, как главы, пойдут потом в книгу, и мастерски следили, чтобы нигде не провисло. Я проглотил всю рукопись за четыре или пять приемов, а для меня с моими глазами это действительно «проглотил», не в силах оторваться до трех-четырех ночи. Лично меня нигде не задело, думаю, что редакция твоя была, а если бы и задело, возмущаться бы не стал, ты режешь правду-матку в отношении тех, кого любишь, но свое тоже не отдаешь, заставляя, к примеру, забыть своего оппонента (правда, ему тогда уже было, кажется, за 80), что он говорил накануне, и соглашаться с тобой (отзывы Борщаговского о романе «Прокляты и убиты» — пример тому). Только к концу, когда пошли 80-е годы, я правда, несколько утомился, но ведь и какие события пришлось на эти годы — стыд вспомнить!

Что не принял? Да почти все принял, кроме мелочей. Думаю, что не нужен натурализм о Гейченко в его последние годы, это уже как снимающая все, что было, кинокамера. Задело, что загодя ты заталкиваешь Астафьева в Букеровскую премию и ищешь там справедливости. Но это уж на твой вкус и твой ум, советовать ничего не буду.

Но если бы пришлось что-то советовать Борщаговскому, выразил бы недоумение, зачем так много и восторженно о своем любимом зяте. Герман — режиссер, по-видимому, действительно талантливый, но при родстве-то мера нужна прежде всего.

Ну все, больше ничего не говорю, ибо и сказать-то точно не умею, кроме благодарности вам обоим за это могучее летописание.

Хандра моя нынче, как никогда, была тяжелой и затянулась, не выбрался из нее окончательно и теперь. А может быть, уже и не выберусь. Съездил в Аталанку, в прошлом году наконец-то добился, чтобы строили там школу. Теперь строят, армяне и корейцы, а земляки мои воруют безбожно все, что доставляется для школы, и куражатся, что школа им не нужна. Ой, тяжело на это смотреть! Но смотреть надо, скоро поеду опять. А в Ясную Поляну, вероятно, не соберусь, и не потому, что нет времени, а боюсь уже являть себя. Позвонил недавно Василию Ивановичу в Вологду, а Ольга Серг. говорит, что ему надо минут десять, чтобы подняться и подойти к телефону, что совсем слаб. Нет, деревенское наше происхождение для нынешнего времени прочности не дает, а скорей, напротив, раньше обессиливает. Не та атмосфера.

До Нового года, надеюсь, увидимся. В Москве не обходи, ты там собирался быть в начале ноября.

Обнимаю тебя.

В.Распутин

Р. С. Да, захотелось после вашей переписки прочитать не только «Обвиняется кровь», но и твоего Пришвина. Книжечку уже отыскал и положил поближе. В свое время я ее, конечно, читал, но теперь мало что осталось в памяти. «Но это память, память виновата» — почти песенка.

В.Р.

¹ «Уходящие острова». Александр Борщаговский // Валентин Курбатов: Эпистолярные беседы в контексте времени и судьбы. — Иркутск: Издатель Сапронов, 2005.

Валентин Курбатов — Валентину Распутину
Псков

16 февраля 2008

Дорогой Валентин!

Как недвижна домашняя жизнь, пока не завернешь в какую-то из столиц! Словно мы живем в разных государствах. Или это оттого, что я не смотрю телевизор? А книги и церковь минуют день, как случайность. А там. говорят, какие-то выборы и связанные с ними угрозы. Даже, говорят, какой-то Масон (который прямо так себя и называет) баллотируется в президенты. Поневоле закроешь окно на улицу. Слава Богу, дня через

три приезжает Савва Васильич¹ и привезет эту улицу в полном объеме, так что вокруг на день-другой вскипят кремли и министерства, комитеты и президенты, проекты и воплощения.

А я собираюсь в Вологду, куда меня зовут по вашим с Саввой следам, и, грешный человек, не знаю, о чем там говорить. Ведь и там, верно, ждут «комитетов и президентов», пламенного гнева на Т.Толстую и Дуню [Смирнову], а я ни одной их передачи никогда не видел, как не видел и передач Вити Ерофеева. Никаких точек соприкосновения с аудиторией. Раньше еще можно было о книгах поговорить, а теперь какие книги, если все читают разное, я вон и уважаемых толстых журналов несколько лет не вижу. Ни «наших», ни «ихних». Работа как-то так складывается, что не требует этого чтения. А читатели старой литературы уже кто по домам сидит, а кто и по домовинам. И получается, что еду эгоистически — на Вологду поглядеть, на Василия Ивановича, который числит меня в католиках, оттого, говорят, у будущей аудитории есть вопрос — точно ли это так? и как мне не стыдно. Хотя удостоверение в консистории бери, «вероисповедания православного, у исповеди был тогда-то», как в доброе старое время.

Гена [Сапронов] готовит издание моего Юры Селивёрстова — нашлись московские люди, готовые финансировать, и Наталья Дмитриевна Солженицына приглашает к ней с выставкой к концу апреля. Гена хочет успеть с изданием прямо к выставке. А ведь ему еще надо готовить три книги в серии «Этим летом в Иркутске». Я уже смотрю на него с болью — так можно загнать себя. Из моей лени это непостижимо. Наверное, они какие-то другие люди — Савва, Гена — и у нас все другое: состав крови, устройство мозга, наличие физических сил. Богатыри — не мы! Гена обрадовал, что с кабинетом Виктора Петровича все в порядке. Его купила какая-то тетка из Фонда и повторила до запятой в своем офисе, через который проходят сотни людей, так что кабинет поневоле «будет работать». И Марья Семёновна была на открытии и была очень довольна. Сетует только на нас, что мы все ее позабыли. Я пишу ей в молчание. И постепенно истощаюсь.

Обнимаю тебя.

Твой В.Курбатов

¹ Савелий Ямщиков — советский и российский реставратор, историк искусства, публицист.

Валентин Курбатов — Валентину Распутину

Псков

3 марта 2008

Дорогой Валентин!

Съездил в Вологду, повидал Василия Ивановича. Он зовет меня «Валентин Григорыч из Пскова» — так мы сошлись с тобой в его сознании в одного человека. Память его совсем померкла. Всплывает какое-то имя, он его покатает во рту и непременно вытащит что-нибудь «скромное» к смущению Ольги Сергеевны. И все только приговаривает: «Таланту нет! Таланту нет!» — хотя еще рвется писать стихи. Граница сознания то-о-ненькая. И будь мы все вокруг, была бы потолще, потому что он радуется и на минуту крепнет. Но мы все во-о-н где. И рвется, рвется в свою Тимонику («И пошел бы, и баню истопил»), хотя по комнате ходит маленькими шажками и ковер для него «голгофа» — никак ногу не занести. Ваш приезд с Саввой в филармонии живо вспоминают и поругивают Савву, что он не дал тебе сказать слово. Врут, конечно, просто им хотелось, чтобы ты говорил подольше. Съездил я в Кириллов и Ферапонтов монастырь, захватил земли для нашего Креста, порадовался чистым снегам и зиме, которых в этом году в Пскове не было. Порадовался, как они там крепко живут меж писателями, как уверенно и твердо. Не нам чета. У нас, кажется, все окончательно разъехалось. И похоже, Пушкинский праздник впервые пройдет вообще без нашего участия. На комиссии по подготовке все вспоминали тебя. И напрасно искали еще какое-нибудь объединительное имя, которое можно было бы позвать для авторитета Праздника. Искали и не нашли. Похоже, все будет медленно соскальзывать в развлекательную сторону. А винить некого. Ганичев давно не принимает участия в формировании писательской делегации. И все идет как-то само собой, то есть никак.

Обнимаю тебя.

Твой В.Курбатов

Валентин Распутин — Валентину Курбатову

13.03.08

Москва

Дорогой Валентин!

После второго письма делать нечего, надо садиться и отвечать. Но, честное слово, если бы ты чуть замешкался со вторым, я бы ответил и на первое. Но по вечерам что-то все гость да гость, а после гостя в сон тянет.

Мои эскулапы-академики (не вру!) добились пока того, что я стал, как младенец, засыпать, но в 4—5 просыпаюсь, и больше уже ни в одном глазу. Мне этого маловато, но иногда добираю дневной дремотой. И всегда вспоминаю Маргарет Тэтчер, которой всю жизнь хватало четырех часов. Я знаю и другие примеры, но достается от меня только Тэтчер.

Грустно то, что ты написал о Василии Ивановиче, очень грустно. Год назад он был лучше. Напрасно, наверное, его потащат на юбилей в огромный зал церковных соборов? и набьют его до отказа. Из них треть зала ползет к В.И. целоваться и беседовать.

Я подвигаюсь, похоже, в ту же сторону, что и он. Памяти никакой, а то, что ляпаю несуслазное, и ты свидетель. Но, во-первых, и тянут бессовестно, никто же не верит, считается, что ежели стоишь на ногах, то и все остальное при тебе. Да и сам, признаться, побаиваюсь молчания, потом еще труднее заговорить. Было бы письмо — другое дело, а то ведь и его нет, а хочется хоть понемногу его откуда-нибудь выскабливать.

Но пока учусь спать.

В Иркутск собираюсь в середине апреля, а в июне Гена тянет на строительство последней по Ангаре гидростанции. Выдержу ли, не ведаю. Кажется, в июне же и иркутские встречи. Как они обойдутся на них без тебя, не представляю.

Надеюсь вскоре написать тебе.

Сегодня юбилей С.Михалкова (95), а завтра Василий Иванович.

Обнимаю.

В.Распутин

Валентин Распутин — Валентину Курбатову

05.08.08

Москва

Дорогой Валентин!

Позавчера вернулись из Ясной Поляны, где мы со Светланой прожили, как в раю, три полных дня. Гуляли, читали, барствовали, как и положено старичкам, у которых обязанностей все меньше и меньше. В колокольчик им, конечно, позванивают, чтобы не забывались, но пока еще деликатно.

И каждый день виделись с Володей [Толстым]. Накануне отъезда он привез к себе домой — и долго сидели, познакомились с сыновьями, которых ты обучил стоять на голове, а Катю я знал и раньше. Тут Володя и признался, что «наезжают» на него все решительней, чтобы поделился Ясной Поляной с хозяевами жизни, особенно с той ее частью, где гостиницы. Чувствовалось, что это серьезно. Володя не из тех, кто жалуется по пустякам. Придаться всегда к чему-нибудь можно. И доказать, вернее, указать, что его дело — только музейное, без всяких иных затей.

Поговори с ним, Валентин, не пришло ли время нашей поддержки и какой она может быть? Передел собственности и не думал отступать, аппетиты растут, и чем ближе к концу света, тем больше жадность.

Мы вернулись из Ясной днем, а через три часа юбилей (75) у В.Н.Ганичева. Я поехал на юбилей в Екатерининский зал Дворца вооруж. сил, и уже вечером позвонил Толя Пантелеев, чтобы предупредить, что он завтра едет на тот же самый юбилей. Разговаривала Светлана и объяснила ему, что завтра он опоздает, Толя побежал сдавать билет, а я на другой день вслед за ним. Я на другой день собирался лететь в Иркутск (Светлана отпускает дней на десять), но утром объявили о кончине Александра Исаевича. Улетать было нельзя — месяц назад мы дважды по неделе жили в его доме по приглашению Натальи Дмитриевны, и я четырежды разговаривал с А.И. Всякий раз минут по 15—20, он был уже слаб и передвигаться не мог, но за рабочим столом сидел

каждый день. Голова накануне 90-летия на удивление ясная, память по сравнению с моей прекрасная. Это был по всем статьям богатырь.

Я сейчас вернулся из Академии наук, где сегодня прощание с ним. На почившего несколько не похож. Лицо еще не отжило. А завтра панихида в Донском монастыре и там же похороны.

А послезавтра я сделаю вторую, вернее, третью попытку уехать в Иркутск. Имею приглашение опуститься на полторы тысячи километров [!] на дно Байкала. Как я понимаю, надо показать Байкалу человека, который не принес и не принесет ему вреда, — вот и остановились на моей кандидатуре. Я бы и не против, но надо чтобы позволила медицина, а сердчишко у меня не очень.

Поживем — увидим. А неплохо бы увидеть дно Байкала.

Светлане сейчас полегче, но надолго ли — как знать! Но в больницу ей придется возвращаться еще неоднократно.

Обнимаю тебя, Валентин.

Надеюсь на встречу в сентябре.

Твой В.Распутин

Валентин Курбатов — Валентину Распутину

Псков

18 августа 08

Дорогой Валентин!

Знаю, уже знаю, что ты опускался на дно Байкала. Ну и как оно там? Узнали вы друг друга? Ребята-то ученые — хитрые. Они тебя, как «омулет» опускали, как «жертву» приносили, чтобы их дела были благословлены, чтобы Байкал думал, что раз такого хорошего человека, который жизнь ему отдавал, опускают, то, значит, и сами ребята хорошие. А они чего там ищут-то? Это ведь всегда сначала просто по сторонам оглядываются, а потом, глядишь, что-то и найдут — нефть какую-нибудь, сохрани Бог. А огород-то, огород-то что? Травы и цветы? Кормовые и бахчевые? Представляю, как закричала душа, прося остаться.

Изо всех сил собираюсь в Ясную. Немного устал от псковского сидения. Только дачка и мила, но там сейчас дети, а комнатка там одна, так что график у нас скользящий: один приезжает, другой уезжает. Вот и запросился в Ясную. Нарочно поеду дня на два раньше, чтобы собрать душу перед писательским набегом, потому что там уже все пойдет кувырком — знаем мы этих писателей, сами были...

О похоронах Солженицына хорошо написал Дима Шеваров — как всегда, он видит любяще и чисто. А те, кто не видел, — досадливо. Как вон мне Миша Петров написал, что безлюбый был человек — Александр Исаевич, не любил никого. Я тоже как-то так по книжкам и по жизни видел, что мы были для него только материалом для книг, персонажами его «дней» и «колес». Отчего я, грешный, и Матрёну его так воспринимал. То есть он ее так посторонне написал — вот де есть такие замечательные особи. Словно он не жил у нее, а только остро наблюдал. Ну это у меня от всех его книг. Он и себя так видел. Такое уж Господь определил ему послушание. У него «частной» жизни ни одного дня не было. Вся — социальный опыт.

Впрочем, что мы знаем? У Натальи Дмитриевны надо спросить. У детей...

Но тут уж подлинно успокоился.

И мир его мятежной страдающей и справедливой душе.

Обнимаю тебя.

Поклон Светлане.

Твой В.Курбатов

Валентин Распутин — Валентину Курбатову

16.12.09

Москва

Вчера мы со Светланой вернулись из санатория в Егнышевке, это в Тульской губернии на берегу Оки, в бывших владениях Голенищевых-Пушкиных. Санаторий инвалидный, тебя туда могли взять только как сопровождающее лицо. Я тоже был сопровождающим лицом своей жены, хотя и сам полноправный инвалид. Но так почему-то лучше, а почему — не разобрался. Жили как у Христа за пазухой, кормили

вкусно и обильно, народ мирный, даже жизнерадостный, поет песни, танцует, побрякивая костылями; кино, как я убедился, только старое, новое не признают. Литературой интересуются мало, хотя библиотека хорошая, но газет не держит, ни правых, ни левых. Почти две недели я оставался неузнаваемым, потом, правда, был разоблачен, но, слава Богу, без особого интереса.

Теперь опять Москва и твое письмо, ждавшее меня почти месяц. Ты справедливо отчитал меня за участие во встрече писателей с Путиным. Я до самого последнего момента и не знал, кто из нашего брата там будет. Дважды звонили в Иркутск, сначала я отказался, затем стали настаивать — и согласился. Кто еще будет на этой встрече из нашего брата — не могли сказать. И когда расселись, никого, кроме Юрия Полякова и Андрея Битова, я не в состоянии был узнать, да и Андрея Битова не видел лет 15. Что делать? — вляпался, пришлось терпеть.

Но я не могу согласиться с тобой, что незачем было хлопотать о толстых журналах. Да, они умирают естественно, потому что умирает государство, но ведь они умирают не только у нас, а во всем мире. А поскольку мы с тобой тоже участвовали в жизни литературы, нам ничего не остается, как участвовать (недолго и осталось) в сохранении ее приличия, хотя бы мало-мальского. Ты это постоянно и делаешь, я-то уже не гожусь, хотя время от времени даже в бессилии делаю попытки.

Толстым журналам Путин пообещал библиотечную поддержку. А библиотеки сами должны решать, какие журналы они выбирают. Можно не сомневаться, что «музыка» эта, если она даже «заиграет», будет звучать недолго. Но ведь хочется, хочется, чтобы пожили еще и «Москва», и «Наш современник», и «Лит. учеба», и «Сибирь»... Конечно, все идет к одному концу, но, как говорится, на миру и смерть красна.

Да это и не главное было на той встрече, Литература писателей интересовала куда меньше, чем свое бытие, и очень скоро они дружно свернули на свое Переделкино, на то, что оно запущено, что одним позволяют приватизацию, а другим нет, что там, кроме писателей, селятся неизвестно кто. А то, что вся Россия запущена и в ней селится неизвестно кто, — об этом и речи не было. И вмешаться всерьез было невозможно, я свой голос использовал первым, а потом раза два пробовал вмешаться, но тут же прерывали, в том числе и сам хозяин.

Нет, туда я больше не ходок. Защитник из меня совсем никудышный, и чем дальше, тем больше. Вспомнил, как наградил тебя 72-летним юбилеем. Не потому что юмор такой, а потому что голова такая.

Решили мы возвращаться в Иркутск. Не помню, может быть, я и писал тебе об этом. Но в нынешнем сезоне переселение не удастся. Светлане после Нового года, вероятно, придется возвращаться в больницу, в марте, если все обойдется благополучно, хотим в Иркутск, а уж в следующем году намерены собирать вещички. Готовиться к смерти и умирать надо на Родине. А здесь до того хорошо бы побывать на могиле Саввы. Без него пустоты в Москве стало еще больше. Какая-то кричащая, никак не умолкающая пустота.

И я тут теперь соучастник ее.

Прости и ты меня за это настроение.

Твой В.Распутин

Валентин Курбатов — Валентину Распутину

Псков

25.02.10

Дорогой Валентин!

Ничего я пока для наших «Встреч» не написал. Никакого «сценария». Как-то мы всегда обходились без «сценариев». И ничего. Не проваливались. Думаю, что и сейчас как-нибудь выберемся.

А вот про Ангару после Богучан, думаю, мне уж придется забыть. Запрягли меня тут в Михайловском во всякую умную работу. Давай, говорят, рассказывай, про что в жизни узнал и какие книжки прочитал. И рассказывай в Тарту, в Эстонии, в Праге, в Стокгольме. Везде договорились. И я буду каждый месяц по неделе притворяться умнее самого себя. А они будут за это притворство платить. Не знаю, зачем им это. Но вот не решаюсь отказаться. Вдруг явилась старикинская уверенность, что нам и правда надо чего-то говорить, пока мы живы, потому что материя жизни рвется на глазах, и мы последние, кто помним, чем она держалась.

А иначе мир останется в заложниках у Ерофеевых и Гельманов. И уж они его не выпустят. Гельман уже обвинил меня в сталинизме и тоталитаризме, хотя мы еще не знакомы и не перекинулись и словом — наносит упреждающий удар. Вызывает на соревнование на интернетовские поля, где они как рыба в воде. А я не пойду. Я один раз видел, как какой-то добрый человек посмел сказать против Дмитрия Галковского, так его, этого отважного человека, просто «запинали ногами» в интернете.

Теперь для войны не надо иного оружия, кроме интернета. Города можно сравнивать с землей, а уж человека убить — раз плюнуть. Опять соглашаюсь с Виктором Петровичем — хорошо, что старый и не увижу окончательного падения мира, хотя наши внуки уверены, что им выпало счастливейшее время России. А мы с тобой не сумеем им объяснить, отчего мы не так веселы, как им хотелось бы, и отчего нам их так жаль.

Господь действительно обрадуется тебе: А-а, вот человек, не знавший интернета, — отворите ему райские врата! Ты войдешь, а там нет никого. Все остальные сидят в интернет-кафе и жадно мечутся по экрану. И не учись! Нет там ничего. Давай останемся последними, кто еще читал книжки и писал последние письма.

Обнимаю тебя. Поклон Светлане.

Твой В.К.

Валентин Распутин — Валентину Курбатову

07.03.2010

Москва

Дорогой Валентин!

А ты ведь говорил, что уезжаешь в заграникомандировку, а я по своему обыкновению забыл. И стал звонить тебе, тоже не помню по какой надобности, кажется, чтобы сказать, что в журнале «Сибирь» твоей работе о нашем ангарском путешествии обрадовались и дают ее в 1-м номере.

А я не могу привыкнуть, что письма из Иркутска приходят ко мне в два раза быстрее, чем из Пскова. Твое последнее, датированное 25.02, прибыло вчера, 06.03. Вот что делает интернет. Еще до него было известно: если в одном месте ускорение, то в другом непременно замедление. Закон природы. Меня привело в восторг твое предвидение: если бы даже передо мною открылись райские врата за мою стойкость перед интернетом, то за ними действительно не оказалось бы ни единой души. Ты у меня последнюю надежду отнял. Но где-то там должно быть отдельное и уютное помещение для старушек, для самых-самых последних в человечестве, которые не только не нюхали этот самый интернет. Должны быть такие вроде моей бабушки и тетки Улиты. Не нюхали и не слышали о нем.

А что касается нас с тобой... Да нешто там только ад и рай, и нет ничего посередине? Должно быть, но скрывают. Вот туда нас с тобой, надеюсь, и поселят. Ты Господа чтить, и заветы его исполняешь, но интернетом под старость увлекся, а я интернет не принял, но в храме Божиим бывал только по праздникам и не все заповеди соблюдал. Вот нас и обяжут друг друга выправлять.

Прости, Господи! И из литературы я выпал, а все тянет к литературным картинкам.

Повеяло весной, и потянуло в Иркутск. Но Светлана опять пошла по врачам, и ближайшее будущее мое в тумане. Написал в Красноярск Николаю Ивановичу, что нынешнее наше путешествие по Ангаре и Енисею под вопросом. А теперь, когда выясняется, что тебе придется просвещать Европу по части русской литературы, — тем более. А от просветительного этого дела отказываться не надо. А чтобы не скучно было — бери иногда с собой Володю Толстого; я вспоминаю, как вы с ним выступали на одной сцене в Иркутске — никакой Европе, ни ближней, ни дальней, не устоять.

Но, как говорится, в Иркутске, надо быть, еще встретимся.

Я тут сделал опять заявку побывать снова на дне Байкала — и не менее, чем на километровой глубине. Обещают, но обещают как-то пристально всматриваясь в меня. То ли сомневаются, то ли удивляются. Балласт, конечно, но я же не в космос прошусь.

Обнимаю тебя.

Твой Валентин

Валентин Распутин — Валентину Курбатову
2011

Москва

Дорогой Валентин!

Твое последнее письмо пришло довольно скоро — всего за десять дней. На этот раз я отрываюсь сразу же, пока не началась предпраздничная лихорадка.

Агнесса Фёдоровна [Гремицкая] позвонила мне сразу по возвращении из Красноярска. Но то, что ты по своей дотошности обнаружил полное совпадение со времени ухода в мир иной Виктора Петровича и Марьи Семёновны, в рассказе Агнессы не было. И это действительно чудо — день в день и час в час. И не кто иной, как сам Господь, мог об этом позаботиться.

Едва ли мне удастся побывать еще в Красноярске. Без Светланы я ничто — ни сказать теперь, ни вспомнить, не найти дорогу. А Светлана больна. От больницы до сих пор отказывались, но теперь уже, кажется, не миновать. С нетерпением она теперь ждет вестей из Иркутска и звонит каждый день: у Сергея вот-вот должна родиться девочка, и наша бабуля ждет ее с таким нетерпением, будто она, девочка-то, ее и спасет.

А может, и верно спасет.

Похоронили Лёню Бородин¹. Я был на отпевании в храме, а вечером в редакции его журнала. Отмаялся Лёня. А маялся он очень, потому что годы и годы жил только переливаниями крови чуть ли не каждый месяц. Кто займет его место в журнале, пока окончательно не решено. Рвется откровенно Капитолина Кокшенёва, но Ганичев стоит за Володю Крупина. Сейчас наш брат, похоже, этим и занят. Но кто бы ни пришел, придется ему тяжело. У Лёни был авторитет не только писателя, но и страдальца за правду, у него, кроме того, был характер, и это помогало ему худо-бедно держать журнал на плаву. А у преемника его этого может не быть. Один из тех, кто давал деньги, был на прощальном ужине в журнале, и у меня не осталось сомнений, что давал их из уважения к Бородину.

Ну, поживем — увидим!

Первым поздравляем тебя с наступающим Новым годом. Дай-то Господь...

Обнимаю.

В.Распутин

¹ Леонид Бородин — советский и российский писатель, диссидент, с 1992 года главный редактор журнала «Москва».

Валентин Курбатов — Валентину Распутину
Псков

10 февраля 2012

Дорогой Валентин!

Все понемногу сыпется в наших «Иркутских Вечерах». Кризис он и есть кризис. Видно, не только в Египте, Сирии, Ливане, а и у нас. Да и перед выборами все нервничают — жизнь вышла из колеи и ищет, в каких бы берегах успокоиться.

Ищу кандидатов из последних сил, но вдруг оказалось, что знаю нынешнюю литературу мало, и никто сразу на ум не приходит. Хотел попросить о вечере иркутских писателей. Но меня предупредили, что всех честолубий за один вечер не утолить и все выйдет только к размежеванию и ожесточению. И лучше такого вечера не затевать. А мне давно хочется, чтобы один вечер был непременно иркутским. Трудно с вами — писателями!

У нас отошел театральный Пушкинский фестиваль. Опять «Борисы», «Моцарты», «Пиковые дамы» — оперные, драматические, кукольные. И опять Пушкин как новенький. Играют его, играют, и чем больше, тем он только свободнее, радостнее и непостижимее! И тут же возня с выборами. Митинги, как в столицах. Меня зовут, а я цитирую то питерского поэта Соснору: «С горы валили митинги, выворачивая ноги, как при полиомиелите», то В.В.Розанова:

— Зачем вы, В.В., ходите на митинги? Что вы там слушаете?

— Я не слушаю! Я смотрю. Курсистки! Глаза блестя! И много хороших!

Пока от меня отступаются, но кольцо все теснее. И понимаешь, что надо бы сказать что-нибудь простое, человеческое, и одновременно знаешь, что будешь истолкован самым бесстыдным образом. Никогда еще мир так не искал двусмысленности в каждом слове и никогда так не успевал в этом. Скорее бы кончилось все, и можно было бы начать жить хоть с какой-то определенностью. Только возможна ли эта определенность в мире, который из всех сил хочет подтвердить пророчества календарей майя о конце света 21 декабря этого года. Ну раз все, то мы, что, рыжие, что ли? Мы тоже на митинги и в революции.

Вразуми, Господи, нас, грешных.

Обнимаю тебя.

Кланяюсь Свете.

Твой В.Курбатов

Валентин Курбатов — Валентину Распутину

Псков

27 октября 2014

Дорогой Валентин!

Я привыкаю к своим 75-ти, учусь «властвовать собой», «не соваться» во все проблемы, не бегать через две ступеньки. И сердце давно говорит, что хватит, и одергивает на бегу.

Ездил на вручение «Ясной Поляны». Дали Борису Екимову из «классиков» и тут же задумались: «А кому на следующий год?»

Классики быстро кончаются. А мне пришлось говорить о молодом Сергее Шаргунове, о его романе «1993», в конце которого он пообещал от молодого поколения, что мы напрасно решили, что все прошло, что еще будет «ярко и жарко». И так уж, видно, и не пожить в простых заботах дня, в обычной человеческой работе. Наши ребята от тоски бегут повоевать в Донбассе, а немецкие принимают ислам и летают на джихад. Что сделаешь с молодой кровью — не сельское же хозяйство поднимать, не промышленность строить. И мальчишки уже не хотят быть Варфоломеями, которые станут Сергиями Радонежскими, и Прохорами, из которых выйдут Серафимы Саровские.

Ну, значит, так и будем топтаться по Болотным площадям, пока они не станут площадью Революции, и все — по кругу, по кругу... Из Настёниной¹ триады «страшно жить, стыдно жить, сладко жить» осталось только «страшно жить»...

В Иркутске затеяли читать вслух «Матёру». — Так недавно без перерыва днем и ночью разные люди в стране читали «Анну Каренину»: я не слышал, но Толстой говорит, что было здорово — надо было кому-то вставать среди ночи, чтобы с запятой продолжить того, кто читал на другом конце страны, — это какая-то новая возможность интернета. Может, кто-то из читающих устыдится на минуту и соберет сердце вокруг твоей «Матёры», и она еще раз сделает свою благородную работу.

Обнимаю тебя.

Жду, когда выпишешься, посидеть как встарь.

Твой В.Курбатов

¹ Настёна — героиня повести Валентина Распутина «Живи и помни».

P.S. Тут и оборву, хотя переписка еще длилась, но времени в ней уже оставалось все меньше — живая боль и старость заслоняли день на дворе. Мы еще виделись на Иркутских вечерах, но тоже старались не задевать «общественного».

И публикую я это только для того, чтобы окликнуть другие переписки других писателей, чтобы мы вместе оглядели время и, может быть, больше поняли бы в нем, а там и вернее строили и новый день, за который, пока живы, отвечаем перед русским словом и историей.

Ольга Балла

Высокий модерн в поисках Другого

Культура путешествий в Серебряном веке: исследования и рецепции: коллективная монография / сост. Ю. С. Подлубнова, Е. В. Симонова; предисл. Л. В. Маштаковой. — Екатеринбург; Москва: Кабинетный ученый, 2020. — 300 с.

«Культура путешествий в Серебряном веке» — конечно, в значительной мере книга-авантюра. В чем-то, пожалуй, даже и провокация. И это несмотря на то, что все, что в ней может быть отнесено к жанру исследований, выполнено в этом жанре с безупречной строгостью, а все, что умещается в категорию рецепций, — одно любопытнее другого. Нет, то есть как раз прямо вследствие этого.

Авантюрой и вызовом (сложившимся границам восприятия, междисциплинарной разметке да понятийной сетке — чему ж еще?) было сведение вместе, под одной обложкой и в рамках единого замысла — текстов аналитических, художественных и (особенно) тех, что успешно противятся любому жанровому определению. Да, есть среди них, кстати, и текст, который ничему такому не противится, зато ни к академичным, ни к художественным не принадлежит: это — единственное в основном разделе сборника интервью. Называется оно «Вызов авиатора. Авиационное турне Василия Каменского» и было дано поэту Юлии Подлубновой (одной из инициаторов и организаторов проекта) Зоей Антипиной. (Единственное, к чему тут сразу же стоит придраться, пока рецензент не забыл, — это то, что интервью стоило бы все-таки сопроводить хотя бы небольшим врезом, пояснив несведущему читателю, кто такая Зоя Антипина и почему именно с ней ведется этот разговор. Ну хотя бы сноску дать. — Дотошный рецензент, впрочем, уже выяснил, что Антипина — кандидат филологических наук, преподаватель кафедры журналистики и массовых коммуникаций Пермского государственного национального исследовательского университета, специалист по творчеству поэта Василия Каменского. Вообще, отсутствующий здесь раздел «Об авторах» пошел бы сборнику, несомненно, только на пользу. Впрочем, отсутствие такой справки — кажется, единственный повод придраться к этому насыщенному, информативному тексту.) Происхождение составившего книгу материала тоже довольно разнородно — не все тут писалось под проект, кое-что уже публиковалось в разных изданиях и в буквальном смысле вылавливалось из контекста; что же касается стихов, то они как раз в большинстве своем были написаны, по словам автора предисловия к книге Любови Маштаковой, специально для секции поэтической программы «InВерсия: Обна(ру)жение границ» фестиваля современного искусства «Дебаркадер», проходившего в Челябинске в сентябре 2018 года. Кстати, некоторые из них отчасти представляют собой реплики в разговоре участников этого фестиваля друг с другом и с иными собратьями по культурному пласту, буквально окликают их по именам или и вовсе, в силу известности имен участникам разговора, обходятся без

оних — понимающим достаточно. Так, Екатерина Симонова в своем поэтическом цикле «Уехавшие, высланные, канувшие и погибшие» вспоминает не только многочисленных культурных героев Серебряного века, но и ныне здравствующих Геннадия Каневского, и Елену Баянгулову, и Юлию Подлубнову, и иных современников-соратников, а к неведомой собеседнице, обсуждая, в общем-то, ее личные проблемы, и вовсе обращается прямо: «Дорогая подруга, обращаюсь к тебе без имён, / ты всё равно поймёшь, что я обращаюсь к тебе / (поскольку заранее послала стишок в твою личку)...»

(Вопрос, имеют ли эти внутренние до эзотеричности разговоры отношение к Серебряному веку и культуре его путешествий, остается открытым, но на него можно ответить и так: да, тоже имеют, потому что в книгу включались тексты, не только целиком посвященные этим темам, но тем или иным образом задевающие их, попадающие в поле их тяготения. Потому что у каждой темы, вот и у этой тоже, есть плотное ядро — и рассеянная широкая периферия.

В эту периферию втягивается, может быть, каждый, кто думает, говорит, воображает что бы то ни было об эпохе русского модерна и ее особенных — а они, да, были особенные — взаимоотношениях с пространством.

Да, и еще одно, — тут придется забежать вперед, но так и быть, забежим: такие экскурсии в почти-сиюминутность при разговоре о Серебряном веке и путешествиях видятся уместными еще и потому, что речь в сборнике — и не только в цикле Симоновой — не раз заходит еще и о путешествиях во времени. И рамки представления о путешествии здесь вообще существенно расширяются, о чем мы еще скажем.)

Ну да, в некотором смысле это игра. Но вполне всерьез.

Читатель уже, наверное, догадывается, что разного рода рамки вся эта вполне разнонаправленная совокупность текстов успешно разламывает, да и обложку не разрывает только потому, что буквы этого еще не умеют.

Но вот на единый замысел, как ни парадоксально, — эта игра работает. И правильно, потому что сам предмет такого свойства, что одними только рациональными средствами не улавливается. Много в нем — и в путешествии как предприятии, и в Серебряном веке как умысле и вымысле, и, в особенности, в отношении к путешествию в то время — такого, что неотделимо от культурных мифов и напрямую апеллирует к архетипическим корням. Поэтому для освоения темы оказываются равно необходимы и аналитические, и образные, и интуитивные средства.

В результате перед нами три — по меньшей мере — разновидности текстов. Во-первых — рационально выстроенные исследования. Во-вторых — (чередующиеся с первыми) художественные произведения, представленные, правда, почти одной только поэзией. Исключения здесь три, и все — на грани между прозой и поэзией, с чертами и того и другого: два эссе Юлии Подлубновой — «Каштановый Париж» и «Только алый меч» — и поэтическая проза Марии Галиной «У каждого города свой запах...». (Магический, кстати, текст, завораживающий, сновидческий, таинственный. В нем главное путешествие — вовсе не по названным здесь городам: Одесса, Львов, Петербург, Москва, Лондон... Они — не более чем транспорт. А путешествуют здесь, на самом деле, по временам и реальностям. Правда, о Серебряном веке в этом эссе не сказано ничего... или почти. Не исключено, что именно оттуда в петербургском эпизоде текста слышно, как ходит по квартире, скрипит паркетом давно умершая прабабушка девочки-героини — по времени вполне подходит.) И наконец, тексты, активно обживающие межжанровое пространство. К таковым принадлежит и открывающий книгу (следственно — ключевой для нее) трактат Дмитрия Замятина о метафизике путешествия (кстати, и в нем о Серебряном веке — ни слова), и большой комментарий Александра Маркова к стихотворному циклу Симоновой, «Цикл с отброшенным ключом», разрастающийся до самостоятельного и самоценного эссе.

При этом у сборника явно есть стержни, на которых все крепится — и упрятаны

они, для надежности, в самой его сердцевине. На эту роль, кажется, с полным правом могут претендовать концептуальные, вполне академичной выделки статьи. Задавая уровень академизма, они тем самым одновременно подводят под весь разговор твердое — как всякая рациональность — основание, но кроме того, рассматривая как будто конкретный материал, они формулируют на нем некоторые важнейшие обобщения. Это — «Урал как предчувствие: Заметки к геопоэтике Бориса Пастернака» Владимира Абашева и «Урал из окна вагона: средства коммуникации и травелог» Елены Власовой. Здесь сказано много принципиального о русском освоении пространства и самого представления о нем в обсуждаемое время. «С художественным освоением Урала, — говорит, например, Абашев, — в русскую культуру вошла новая модель геопространства, доминирующим началом которой стала не равнинная бескрайность, а темная и неистощимая глубина земли.» А Власова показывает, как поезд — казалось бы, просто средство перемещения «заставил современников увидеть мир по-новому, он сам стал “взглядом”».

Обратим внимание, что обе статьи — уральские.

Вообще стоит заметить, что недаром над составлением сборника работали и издали его уральцы: их стараниями у разговора — в дополнение к тому, что обычно приходит на ум при словах «путешествия в Серебряном веке»: Восток, Африка, Италия... — появилось значительное и плодотворное уральское (отчасти — сибирское и северное) измерение. Показано, как в первые десятилетия XX века Россия не только открывала экзотические страны и заново переосмысливала страны классические, истоки собственной культуры и цивилизации: она — с неменьшим изумлением — открывала и переосмысливала, а тем самым и создавала заново сама себя.

В основном — почти по умолчанию — в сборнике говорится о русских путешественниках, открывавших в своем Серебряном веке новые пространства (как, скажем, Константин Бальмонт и Андрей Белый — Египет, Николай Гумилев — Африку) или новые возможности путешествия как жанра. Но есть исключение: рассказ Елены Милюгиной о том, как предметом такого открытия (и неминуемо сопутствующего ему безудержного домысливания и идеализации) стала сама Россия для иностранца — Райнера Мария Рильке и спутницы его Лу Андреас-Саломе, людей, хотя и не принадлежавших в строгом смысле к «Серебряному» веку (это название традиционно относится именно к русскому модерну), но вполне разделивших типичные настроения эпохи и характерные для нее способы мышления.

Самое время сказать о происходящем в сборнике расширении рамок представления о путешествии. Как мы уже заметили, одно из основных направлений, в которых оно совершается, — это путешествие во времени. («Портал закроется через четыре дня. Надо спешить», — говорит себе лирический герой стихотворения Алексея Александрова, отправляясь в первое десятилетие прошлого века, запасаясь в путь всем необходимым: «Не забыть взять с собой новинки издательства “Воймега”, / Пусть, их листая, побесится Мандельштам». И совершенно то же происходит с безумным (ли?) попутчиком Александра Переверзина «в электричке Москва—Черусти», перемещавшемся меж временами через слив в ванной. К людям Серебряного века и обратно. А у Яниса Грантса в стихотворении, так и названном: «Во времени», — между временами, от одного своего обреченного читателя к другому, посмертно путешествует Блок.)

Однако есть и еще одно, неожиданное, измерение, которое распахивают авторы сборника перед представлением о путешествии. Это — движение по вертикали, в небо: блок материалов посвящен здесь авиации начала прошлого столетия, связанным с нею представлениям, ожиданиям, мифам. Тут кроме упомянутого уже разговора Юлии Поддубновой и Зои Антипиной о поэте-авиаторе Каменском необходимо отметить статью Елены Желтовой о культурных мифах вокруг авиации в России в 1900—1910-е годы. Казалось бы, при чем тут путешествие? — в самую последнюю

очередь, если вообще, аэропланы рассматриваются здесь (и рассматривались современниками) как транспортное средство. Путешествие ведет авиаторов — показывают авторы — в первую очередь из стихии в стихию (с земли — в воздух), а по существу — из одного человеческого состояния в другое (разумеется — более совершенное). Вплоть до Первой мировой войны и отчасти еще во время ее авиация воспринималась прежде всего как героическое приключение духа и уж только потом — как все остальное.

И еще интересный вариант: стихотворение-центон Екатерины Захаркиной «История падений в русской литературе. Серебряный век», составленное из взятых у авторов этого времени строк, в которых говорится о падении чего бы то ни было — от листа и снега до сердца. Тут — речь если и о путешествии, то только о совсем уж метафорически понятом: о перемещении из состояния в состояние, из статуса в статус.

И тут уловлена, может быть, главная — или одна из главных — интуиций, связанных для людей Серебряного века с самой идеей путешествия: оно — в первую очередь преображение, для того и предпринимается. А телесное перемещение как таковое — только средство, да и не такое уж обязательное. (Поэтому на равных правах с «настоящими» рассматриваются в книге и воображаемые путешествия, которым посвящена статья Анастасии Козаченко-Стравинской «Транссибирская магистраль как символ культурных отношений между Россией и Францией: литературные путешествия в 1893—1913 гг.»)

Не менее чем статьи и художественные тексты в книге интересны небольшие интервью заключительного раздела — с людьми, которые теоретически могли бы стать авторами основной ее части, но что бы то ни было этому воспрепятствовало. Каждому из участников этого заключительного разговора составители сборника, они же инициаторы всего проекта, задали четыре одинаковых вопроса: об актуальности и плодотворности сегодняшних обсуждений Серебряного века; об оптимальном языке описания заявленной в сборнике темы; о знаковых путешествиях рассматриваемой эпохи и о том, что они привносили в культуру своего времени и в поэтику самих путешественников.

Тут — пусть в объеме отдельных реплик — сказано много дельного и о наших нынешних отношениях с Серебряным веком, и о недопрожитости, недопродуманности по сей день идущих от него смысловых импульсов, и о самом концепте «Серебряного века», сведшем воедино все тексты сборника. Особенно досталось концепту от Даниила Давыдова, резонно заметившего, что ему «представляется крайне неудачной и даже раздражающей сама терминологическая метафора “Серебряного века”» и куда грамотнее было бы говорить применительно к этому времени о «высоком модернизме» и «историческом авангарде», о «модернистско-авангардном антагонистическом двуединстве», а точнее всего — «о последнем “большом” стиле — постсимволизме, создавшем единый язык для самых разных групп и отдельных авторов».

А Анна Голубкова сформулировала главный смысл путешествий в эпоху высокого модернизма, он же — и причина нынешнего исследовательского интереса к ним: «путешествия литераторов привносили в культуру Серебряного века в первую очередь информацию о том, что происходит в мировом культурном пространстве, связывали их с актуальным литературным процессом того времени. Ну и кроме того, эти путешествия <...> совершались прежде всего в поисках Другого, причем этот Другой мог находиться как в особом пространстве, <...> так и в историческом прошлом».

Борис Минаев

Красота обречённых

Я пришел в Московский ТЮЗ на спектакль «Кошка на раскалённой крыше», как бы это сказать, с неким подавленным предубеждением.

«Кошка на раскалённой крыше» — не только пьеса американского классика Теннесси Уильямса, но и знаменитый фильм «золотой» эпохи Голливуда с Элизабет Тейлор и Полом Ньюманом. Фильм 1958 года, в памяти — почему-то черно-белый (а на самом деле цветной). Хотя с чего бы ему быть черно-белым?

Просто та эпоха кино, она действительно осталась в памяти черно-белой, как бы укрупняющей — по контрасту — яркие эмоции, исполинские характеры, душераздирающие драмы, ну и так далее. Черно-белая (или монохромная, или локально-цветная) гамма лишь подчеркивала тогда, что реальный мир, со всеми его деталями, горизонтом, деревьями или мебелью — только сцена, условная декорация для жизни человеческого духа.

Так вот, когда шел в театр, то думал — зачем все это смотреть снова, сейчас, в 2020-м нашем году?

Впрочем, кое-какой опыт у меня уже был — «Нюрнберг» в РАМТе, «Кроличья нора» на Малой Бронной вроде бы доказали мне, что театральная версия старого кино вполне возможна — но вопрос все равно оставался.

Советским цензорам было трудно угодить, но Теннесси Уильямса все-таки ставили в СССР, и ставили широко — в 60-е, 70-е, 80-е годы — чего стоит только знаменитая постановка в театре Маяковского, затем ставшая телефильмом, с Джигарханяном и Аллой Балтер...

Советские версии старых и новых западных пьес — при всей их талантливости — объединяло одно: «ужасы капитализма» должны были быть на первом плане. Они, ужасы, и были главным героем, неперенным фоном, очевидным подтекстом.

Но вот и эта эпоха закончилась, наступила и в самом деле новая, абсолютно новая.

Как наложить ту матрицу — на эту реальность? Пришел, сел в кресло, закрыл глаза — и снова открыл.

Брик в исполнении Андрея Максимова — совсем молодого, 20-летнего актера, который только в прошлом сезоне дебютировал на сцене московского ТЮЗа — это, собственно, и есть ответ на мой вопрос: зачем? Сам типаж выбранного режиссером Камой Гинкасом на главную роль актера, вся его психофизика, весь его облик — говорят нам о том, что предыдущее знание о «Кошке...» и ее героях обнуляется и приходит новое.

Пол Ньюман — несмотря на свою молодость, уже тогда, в 1958 году, красавец-мужчина, собственно, ничем не выделялся на фоне поколения. Достаточно взглянуть на фотографии — выпускники наших школ или американских колледжей середины XX века — это молодые мужчины. Да, с румянцем и первым пушком на щеках, но по сути — крупные сильные ребята, которые и в армии могут служить, и жениться, и быть отцами, и, как говорится, избирать и быть избранными. Они уже готовы занять свою позицию в череде социальных ролей, которые предлагает им тогдашнее общество. Они ждут и даже весьма жаждут этого.

Таков и Брик Пола Ньюмана: красавец, романтик, бретер, разочарованный и сильно пьющий мужчина, — в сущности, мечта любой девушки этой планеты. (Что уж говорить о 40-летнем Джигарханяне.)

Тюзовский Брик — Андрей Максимов — принципиально не готов ни жить, ни взрослеть в том мире, который ему предлагается. Он и по виду, и по сути — подросток: хилый, худой, шуплый, отверженный, одинокий, несчастный, каким может быть только подросток. Костыли (Брик, как вы помните, прыгал ночью через барьеры на стадионе в пьяном виде) лишь подчеркивают это душевное состояние и эту душевную организацию. Этот Брик — «малыш», хромая утка, ребенок, ущербный по определению в мире взрослых. Есть, конечно, одно «но» — нынешний подросток, в начале XXI века, вряд ли будет глушить виски (дорогой, буржуазный напиток) целыми бутылками, скорее предпочтет что-то другое. Что именно «другое» — лучше и не думать.

Но это — лишь условность, и театральный зритель способен ее понять.

В остальном — персонаж Максимова — тот самый шуплый «хипстер», хиппарь нового поколения, обитатель московских кафе и мессия уличных демонстраций, непохожий на свою страну даже внешне, отрицающий ее ценности одним своим видом — мы на таких ребят насмотрелись этим летом, когда они ходили по улицам и требовали справедливости, но точно такие же ребята — сидят в любой IT-конторе, в любом клубе, на любой тусовке художников и писателей, в любом «кластере», которые пооткрывались на месте прежних старых фабрик. Это поколение, выросшее и воспитанное на других привычках, на другой еде, на другом «материале», чем мы.

И как-то сразу становится понятно, зачем режиссер Кама Гинкас забросил этого персонажа туда, в ту патриархальную реальность 50-х.

А чтобы проверить. Проверить подлинность тех ценностей и тех конфликтов, на которых выросло нынешнее поколение бунтарей.

Ведь там, в 50-х, все по-другому, все по-настоящему. Там эти «ценности нового века» еще не обросли коммерцией, идеологией, модой, дизайном, пиаром, словом, золотым салом. И когда Брик вдруг открывает, что его покойный друг Скиппер, «Капитан», по мнению окружающих, проявлял к нему какой-то «неподобающий» интерес и, поняв это, он умер, покончил с собой — это для Брика потрясение. Настоящее потрясение. То, что сегодня выглядит всего лишь как штамп современной культуры («однополая любовь»), — там, в мире Теннесси Уильямса — настоящая буря, настоящий разряд тока. Кстати говоря, Теннесси Уильямс не был сильно доволен знаменитой экранизацией Брукса — то, что в пьесе звучит как чудовищно важный вопрос, не имеющий ответа («однополая любовь»), — в фильме (и, конечно же, вслед за ним и в советской теледраме) — уходит на второй план, затушевывается, стирается.

Но дело, конечно, не только в этом. Все темы, важные для всех поколений молодых бунтарей, — тогда звучат совсем иначе. Ну, скажем, основная тема — конфликт поколений, отцы и дети.

Мир, построенный отцом Брика, «большим Па»: его кровавый труд, его пот торговца, по копейке сложившееся состояние, его великие экономические достижения, — сегодня это просто счет в банке, стандартный набор образа жизни богатых людей. Тогда — это настоящее «большое наследство», из плоти и крови, выстраданное и выработанное первым поколением этих богатых «отцов», обладающее ценностью личного опыта, ореолом силы, это то, что нельзя потерять и нельзя не ценить, оно абсолютно уникально и неповторимо: дом, люди, власть, деньги, — все, от чего так легко отказывается Брик.

Так ли легко сегодняшние бунтари готовы отказаться от денег, от власти? Или — напротив — к ней стремятся? Важный вопрос.

Ну и, наконец, сама проблема бегства, эскапизма, ухода от реальности в «свой мир» — то, что теперь так привычно, так обыденно, чему теперь служат тысячи умных и дорогих сервисов, целая индустрия «ухода», от культуры дауншифтинга в далеких азиатских странах, на побережье теплых морей — до виртуальных «жизней», которые можно проживать, не выходя из комнаты, — а вот для Брика — это труднейшая, чудовищная схватка с живыми людьми, которые его не понимают. Каждодневная битва, в которой у него только один союзник — этот самый виски.

Готовы ли сегодняшние бунтари на конфликт такой классической силы?

Кама Гинкас смотрит на своего героя — и одновременно смотрит на самого себя, проверяя и свой жизненный путь, свои ценности, в этом подспудная сила спектакля, он, конечно, автобиографичен для поколения наших «шестидесятников» и «семидесятников», кем бы они ни были.

Герой Андрея Максимова — это своеобразный «апостол Брик», предтеча всех нынешних бунтарей с их комплексами и страданиями, но только если шестьдесят лет назад он появился на мировых экранах в образе невероятно красивом, очаровательном, привлекательном и даже слегка отлакированном — то сегодня мы смотрим на него (глазами режиссера) совсем иначе.

Он как будто придавлен этим страданием, он ментально разрушен, он — фактически пациент всемирно-исторической больницы.

Да, из него может выйти революционер, может выйти обыватель, но мы уже сегодня знаем, что эскапизм его и его бунт — упрутся в стену. И в шестидесятые, и в восьмидесятые, и в девяностые, и в нулевые, и сейчас — ничего из этого бунта не выйдет. Новый мир для Брика никак не желает выстроиться, новая реальность, в которой он хотел бы жить, невозможна, деньги и власть — как бы это ни было ему противно — по-прежнему в тупой кровавой связке.

Непросто понять сразу, какими средствами Кама Гинкас обновляет, или говоря более обтекаемо, «актуализирует» палитру идей Теннесси Уильямса. Конечно, не только с помощью одного Брика, его типажа и характера. Невероятная по мощи игра Валерия Баранова — отца Брика — это то, что нужно назвать прежде всего. Вообще, пожалуй, главное отличие этой театральной постановки от всех предыдущих версий — Брик как бы нарочито «ослаблен» (хотя, как оказывается в итоге, на поверку многократно усилен) как персонаж, а те персонажи, которые выглядели на его фоне мелко, пошло, слишком бытово, поверхностно, служили иллюстрацией советского тезиса о «мещанстве», — они нереально усилены и становятся мощной антитезой всей истории мирового бунтарства, воплощенной в Брикe. Они живые, плотные, плотские, яркие, энергетически сильные — буквально все, от Мэгги (ее замечательно играет молодая звезда ТЮЗа Софья Сливина) до священника. В отличие от бесплотного Брика — это «живые люди», люди, которые хотят не исчезнуть, как он, а занять как можно больше места. Все они — правы в споре с Бриком, и трагически-мощный, умирающий «большой Па», который хочет оставить свой мир интересному, талантливому Брику, а не другой родне, поглощенной производством младенцев. Невероятно обаятельная Мэгги, которая прекрасно понимает, что только ее любовь и нежность способны спасти бунтаря. И даже Гупер и Мэй, с их пятью детьми, озабоченные получением наследства, идеей выживания, замкнутые в своем мире «наследства» и наследников, то есть младенцев, которые ничуть не оправдывают их пошлости и интриганства, — тоже по контрасту подчеркивают бесплотность и ментальную «бледность» Брика.

Однако их правота раз за разом разбивается обо что-то.

И это тоже показано в спектакле с какой-то подспудной, неявной убедительностью. Идея Брика о том, что этот мир, несправедливо и подло забравший у него лучшего друга, обречен на умирание, на полный крах, — она оказывается все же более важной и более сильной. Эта идея о том, что возможен иной, более цельный и более чистый мир, несмотря ни на что, побеждает и утверждает себя. И все бунтари, которые во всех поколениях, раз за разом расшибают лбы об стену, — в этом Брикe показаны как заколдованное племя победителей. Только в них есть правда. И только поэтому и отец, и Мэгги, и все прочие — склоняются перед этим сломленным, опустошенным алкоголиком. Он ведет человечество в очень правильном (или единственном?) направлении. Так выходит, так получается. Получается — несмотря на всю «красоту обреченных», которую уже в первой сцене замечает в любимом не только сексуальная, но и умная Мэгги.

Когда-то о «Дон-Кихоте» Мережковский писал, что роман Сервантеса принадлежит к тем произведениям, основные смыслы которых раскрываются постепенно, в будущем, в следующих поколениях. Не знаю, можно ли причислить к этому ряду «Кошку на раскалённой крыше», но мне так показалось.

Summary

Sergey Samsonov. High Blood. A novel

Critics compared S. Samsonov's novel "To Hold On to the Earth" ("DN", # 8-10, 2018) awarded by "Yasnaya Polyana" prize with "Quietly Flows the Don". In his new novel (it's a kind of prequel) the author openly steps upon Sholokhov's territory – Cossack hamlets and stanitsas of the times of the Civil war. "The war has turned into ashes the notions of the old sod, foreign country and homecoming, since the motherland was now everywhere and nowhere belonging both to you and to the reds. And this inseparability of everything around, the necessity to tread common prairie, to breath common air began to boil with hatred in the people".

Galina Klimova. The Storyteller of the Birds. Long short story

It's all simple: two colleagues, middle-aged family people, "sunstroke" – and the souls that haven't jointed. "No final point, no good-bye forever", the lives lived apart with all the concomitant signs: the gloom of solitude, searching for one's place in the changing country and acquirement of the worldly wisdom. But the tensely ringing intonation with which they are recreated by Galina Klimova makes us to speak about prose of the poet.

Poetry

Time and the Times – one of the eternal themes of poetry. A flashback from today into antiquity with its myths of the gods and heroes and then still deeper into the Old Testament world – this is what kindles our interest in the poems of Efim Bershin and Alexander Timofeevskij. Sergej Pagin meditates over the time as a criterion of the human life. Andrey Dmitriev takes up his call.

Igor Sid. Russia and Ukraine: Synergy of Ressentiments

"Catastrophic events that took place in Ukraine in the last years to many people seem to be self-sufficient. In this essay we'll try to analyze how the process of the newest split of Ukraine is not only connected with some less evident processes that had been taken place in the country in the previous more than 20 years but largely determined by them," – that's how the author himself allots the task of his essay.

Mikhail Rumer-Zaraev. Sons of Abraham

A view of the more than thousand-year long history of relationships between Jews and Arabs from the XXI century.

Valentin Rasputin, Valentin Kurbatov. Letters of the 1990 – 2000s.

'You haven't blame Astafiev when he osculated with the man fooling the whole country – my tongue refuses to call him president. For you it was unpleasant but permissible in the fight with Zuganov (what communism are you talking about, as if you believe in its return!). But when I sat next to Zuganov at the press-conference – dedicated by the way to financing of the sciences, education and culture, – it was interpreted as not less than treachery. Now talk about "whom are you with, masters of culture"(1996)

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Журнал «Дружба народов»

можно выписывать с любого месяца во всех отделениях Почты России.

Подписной индекс в каталоге «ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ» — **70250**

Подписной индекс в зеленом каталоге «ПРЕССА РОССИИ» — **91826**

Электронную версию «ДН» можно купить на <http://дружбанародов.com>

Журнал продается в московских магазинах:

«Фаланстер» (Малый Гнезниковский пер., 12/27)

«Русский путь» (Нижняя Радищевская ул., 2. (Дом русского зарубежья)

Также журнал можно приобрести через интернет-магазин Лабиринт.ру
в любом городе страны.

Верстка: Елена ЖИРНОВА

Дизайн обложки: Степан ЛУКЬЯНОВ



ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ
И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ
И ФОНДА «РУССКИЙ МИР»

**4/2020**

Читайте:

Полина Иванушкина
Роман «Забывать-река»:

«Соловову — я не помню его имени, не намеренно не помню, просто в детском доме мы почти не звали друг друга по именам, а местные, темниковские сироты, всегда были на кулаках с нами, привозными, ещё недавно домашними большей частью детьми, — Соловову я надоела быстро, как надоедает игрушка, которая не хочет играть, как заводной солдатик, в котором сломан завод. Он был ходячий, а я ещё долго лежала в “кроватьке”. Старше меня года на два. Очень скоро он оказался в лагере тех, кто на наш первый в Темниковке Новый год, устроенный свежей партией эвакуированных взрослых, воспитателей и врачей, видел наряженную ёлку — бедно, дико, смешно наряженную — первый раз в жизни, всего пару лет как их разрешили снова. Оказался в лагере тех, кто не знал любви, но умел ненавидеть. В лагере тех, кто потом станет безотказным, послушным, исправным солдатом режима, жалким железным винтом. Октябрёнком. Пионером. И самоубийцей...»

Валерия Крутова
Рассказ «Музей чудиков»:

«Я смотрю этот сериал и думаю, что бумажный дом — это сама я. С хрупкими стенами — личными границами, как сейчас модно говорить. С протекающей крышей, а то и вовсе растворяющейся в воде, как туалетная бумага, крышей. То есть по сути — бумажный дом из самой меня — это нечто зыбкое, ненастоящее, и оно скоро рухнет и станет не красивой пылью памяти по ветру, а некрасивой кучей мусора на полу. Можно ли назвать автомобиль участью? Можно ли, продав его, сменить эту участь? Или легче поменять всю жизнь, чтобы не чувствовать себя рыбой в металлической клетке. И помянуть жизнь. Чтобы не чувствовать себя рыбой в музее чудиков. “Чудиков”, кажется, чудесное слово — каждый человек способен сотворить чудо. У кого-то это чудо на уровне аварийки, на уровне дёргающегося глаза — подмигивания. Но ведь я этому улыбнулась. Чем не чудо?...»